90 коп. Индекс 70331

## В КОНЦЕ 1989 — в 1990 гг. В «ЗНАМЕНИ» ЧИТАЙТЕ:

Ф. ИСКАНДЕР. Око. Повесть.

А. ПРИСТАВКИН. Рязанка. Роман

В. КАРПОВ. Маршал Жуков

А. ТВАРДОВСКИЙ. Из рабочих тетрадей (1953—1960)

Н. С. ХРУЩЕВ. Мемуары

Д. ШЕПИЛОВ. На трудном пути. Воспоминания

Рой МЕДВЕДЕВ. Брежнев

Р. ГУЛЬ. Азеф. Роман

Г. БЕЛЛЬ. Из наследия

Подробнее об основных публикациях в конце 1989 и в 1990 г. см. стр. 239—240.

ISSN 0130-1616 Знамя. 1989. № 8. 1—240.

ISSN 0130-1616

# ЗНАМЯ

1989

Август



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

8
АВГУСТ
1989

## Содержание



Москва
Издательство
«Правда»

*Марина Кудимова*

# ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

●

Цел
былл
мой
дом,
Да не велел
Бог
жить
в нем.
Такой-сякой немазаный,
Укосицей не связанный,
Немилый, постылый,
Нетопленый, остылый,
Не венчанный коньком,
Цел
был
мой
дом,
Да пал кверху дном.
По досточкам расхватан,
По бревнышкам раскатан.
Кто в этот неукром
Войти не поколеблется?
Петр-полукорм...
Аксинья-полухлебница...

●

Что мне сказать вам в напутствие —
Тем, кто приходит молчать?
Литературу в отсутствие
Выпало мне изучать.

Больно из времени оного
Бьют в циклопический глаз:
Это у Вас от Платонова,
Это от Бродского в Вас!

Слезы текли, и от сырости
Стала оскальзывать плеть.
Глядя на лес ли не вырасти?
Глядя на щепки ль сотлеть?

Перестилала по досточке
В брошенном доме полы.
Ворон не нашивал косточки,
Выпь не кричала из мглы.

Мрели в углах беломошники,
Цвел на стене иммортель.
Но собирались помощники
И составлялась артель.

Спросит прохожая странница
Или пролетный ямщик:
— Тут за кого так стараются?
— Тут — за отсутствующих.

Чтоб, например, к возвращению
Было готово жилье.
Им обрядим помещение —
Примемся и за свое.

Стала начитанность массовой,
Умствует всякий дурак:
— Это у Вас от Некрасова...
Господи, если бы так!

Крышу покрыли, отстроились,
Холки намяли, горбя.
Хоть бы теперь успокоились,
Пожили бы для себя.

Только пространства огромные,
Только истек документ.
Так и гуляем — бездомные,
В торбе таскаем струмент.

Бурсы предстанут Лицеями,
Запад свернет на восток,
Скинутся тюрьмы музеями, —
Наша работа не впрок.

Правый укажет неправого,
Тот заполучит свое...
— Это у Вас от лукавого!
— Очень возможно, месьё...

## *Марфа и Мария*

Чем ниже эта высь,
Чем каменнее выя,
Тем ближе эта мысль —
О Марфе и Марии.

Пришла издалека
Твоя дорога, Спасе.
Вписал в нее Лука
Две женских ипостаси.

И старшая сестра
Об ужине радела,
А младшая сестра
В ногах Твоих сидела.

Вот так — инстинкта власть,
Так — жажда идеала.
И старшая пеклась,
А младшая внимала.



Убегалась с утра,
Упесталась, устала,
И старшая сестра
На младшую восстала.

Мол, что за жизнь пошла,
Мол, слыханное ль дело,
Чтоб жилы я рвала,
Ты — средь мужчин сидела!

Позор-де и кошмар!
И — с сердцем чашку оземь...
Да кто ж осудит марф,
Пекущихся о мнозем?

Прибегнули к станкам
И сели в кабинеты,
Но преданы векам
Их главные приметы.

При семьях, при гостях —
Наседки, хлопотуньи.
И, кажется, пустяк,
Что дух остался втуне.

Не вдунут, не врожден
Иль вечным воплощеньем
Рассеян, растворен
И чужд перемещеньям.

Вне догмата добра
Торгуют, лечат, кормят...
А младшая сестра —
Та изменилась в корне.

И раскусила днесь,
Как пареную репу,
Что называют здесь
Единым на потребу.

Холодный колорит,
Значительная мина.
Мария говорит —
Внимают ей мужчины.

Признали острый ум
И равенство Марии,
И стрижку, и костюм, —
Но нет средь них Мессии.

И жалко им ломать
Последнюю границу:
Мария — чтоб внимать,
А Марфа — чтоб жениться.

Короткая узда,
Великая натуга.
И сестры иногда
Зависят друг от друга.

На выходные дни
Меняясь ношей крестной,
Видаются они,
Но не живут совместно.

*Фазиль Искандер*

# СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА

**ПОВЕСТЬ**

## Идеалист

**(Рассказ Виктора Максимовича)**

Некогда я дружил с одним молодым ученым. Он и сейчас работает в одном из научно-исследовательских институтов нашего города, поэтому имени его я не буду называть. Такова история, что имен не будет.

Познакомились мы с ним на рыбалке, понравились друг другу и стали встречаться примерно раз в неделю. Обычно мы выходили рыбачить на моей лодке, а потом сидели у меня в саду или в зимнее время дома за бутылкой вина или чачи.

Поверь моему вкусу, это был редчайшей душевной тонкости человек. Коллеги его, которые, кстати, и познакомили меня с ним, говорили, что он первоклассный биолог, гордость института. Но он тогда был всего лишь кандидатом наук. Однажды, когда я спросил у него, почему он не готовит докторскую диссертацию, он мне ответил:

— Пришлось отдать ее шефу. Я ведь занимаюсь своим любимым делом. А каково ему, бедняге?

И расхохотался! Никогда, ни до, ни после него, я не видел человека, который бы так самозабвенно смеялся. Умея, как никто, замечать в себе, в людях, в событиях окружающей жизни смешные, парадоксальные черты, он в то же время отличался феноменальной доверчивостью. Вариант лжи или вариант зла просто ему никогда не приходил в голову.

Вот пример. Однажды, когда мы рыбачили недалеко от загородного пляжа, он, кивнув на берег, сказал:

— В юности ребята часто мне говорили, что лучший способ познакомиться с девушкой, это взять лодку на прокатной станции, подойти к пляжу, и обязательно какая-нибудь девушка, купающаяся поблизости, попросится в лодку. Ты ей помогаешь перелезть через борт, катаешь, и, пожалуйста, у тебя появляется романтическая подружка.

И вот, поверьте мне, я за одно лето примерно пятьдесят раз брал лодку, подходил к пляжу, и ни разу хотя бы мало-мальски приличная девушка не попросилась ко мне в лодку. Пару раз просились, но это были такие крокодилицы в своей надводной части, что знакомиться с их подводной частью просто было боязно. И я до сих пор не могу понять, почему я, ни в чем не уступая нашим ребятам, каждый раз терпел крах. Можете вы мне ответить?

А я ему отвечаю, как в анекдоте:

— А что тебе мешало рассказывать своим приятелям, каких очаровательных девушек ты катал в своей лодке?

---

Продолжение. Начало см. «Знамя» № 7 за 1989 год.



— Как?! Как?! — переспросил он у меня и, бросив весла, принялся хохотать: — Почему же мне это ни разу не пришло в голову!

Я часто думал о природе его необыкновенной доверчивости, но до конца ее не мог понять. Что это — львиная храбрость духа, который не боится ударов жизни и не выставляет никаких сторожевых постов? Считаю, что было и это.

Обаяние натуры щедрой, доброй, никогда не стремящейся выскочить вперед и отцапать побольше у жизни и потому не наживающей себе врагов? Думаю, отчасти и это.

Семья? Отец и мать, простые педагоги, правда, не знали ни тридцать седьмого года, ни других потерь.

Мы несколько раз с ним обсуждали проблему его патологической доверчивости, и он, смеясь, так объяснял ее механизм:

— Если мне говорят о человеке, который никогда в жизни не пил, что он пьяный валяется на улице, я эту информацию мгновенно обрабатываю так: он никогда не пил. Не умея пить, первый раз выпил и именно поэтому валяется на улице.

Разумеется, бывали люди, которые его обманывали или подводили с низкими, корыстными целями. И он убеждался в этом. К таким людям он потом испытывал хроническое отвращение. Насколько я знаю, он никогда никому не мстил, но прощения им не было во веки веков. Это была какая-то музыкальная злопамятность.

Однажды в одной компании речь зашла об одном известном в городе человеке, который почти насильно запихнул свою мать в дом для престарелых.

— А что вы удивляетесь,— сказал мой друг,—я с ним учился в школе. Этот негодяй в седьмом классе бросил кошку с третьего этажа.

Приходя ко мне, он обычно рассказывал забавные истории о самом себе и своих коллегах-чудаках, о должниках, он одалживал деньги направо и налево, об одном нищем, с которым у него был прямо-таки многолетний роман, и особенно много он рассказывал о своем профсоюзном боссе.

Вот что он однажды рассказал о себе:

— Недавно один мой коллега попросил помочь ему и поковыряться в его теме. Мы работаем в одной области. Ну, я поковырялся, поковырялся и неожиданно сделал два маленьких открытия, громко выражаясь. Одно поинтересней, другое попроще. Теперь как быть? Отдать ему или взять себе? С одной стороны, находки мои. С другой стороны, не попроси он поковыряться в своей теме, я бы их не сделал.

Я проявил благородство второго сорта. Одну находку взял себе, а другую отдал ему. Но так как благородство мое было второго сорта, я вознаградил себя находкой, что была попроще. Справедливо? Хохочет и добавляет:

— В таком случае, может быть, я проявил благородство первого сорта? Тогда почему же я не отдал ему обе находки?

А вот несколько историй из его бесчисленных рассказов о своем профсоюзном боссе. Он к нему относился, как к любопытнейшему насекомому с новыми мутационными признаками.

Однажды в одном районном городе мой друг сидел в заполненном автобусе, и шофер уже закрыл дверь, когда он заметил в толпе людей, стремившихся сесть в этот же автобус, своего профсоюзного босса. Тот, потрясая высоко поднятым портфелем, через стекло давал знать шоферу, что важность содержимого портфеля требует его немедленной доставки по месту назначения вместе с владельцем портфеля.

Шофер некоторое время держался, а потом дрогнуло его сердце, скорее всего не под влиянием портфеля, а под влиянием толпы, и он открыл дверь, куда хлынули люди. Как только профсоюзный босс очутился в автобусе, он немедленно стал ругать шофера, что тот впускает людей в переполненный автобус.

— Классический пример разорванности сознания,— хохоча, заключил он свой рассказ.

Это была его любимая тема. Я помню блистательный каскад его рассуждений о потере цельности, о драме разорванности сознания современного человека. Именно эти его рассуждения мне так понравились, что я сблизился, а потом подружился с ним.

Однажды, после командировки в Москву, он пришел ко мне и рассказал:

— Слушайте, что учудил наш профсоюзный босс! Перед моей поездкой в командировку он зашел в лабораторию и попросил, чтобы я его завтра утром подкинул на своей машине до аэропорта. Я ему сказал, что я этого сделать не могу, потому что сам завтра утром улетаю в Москву и в аэропорт поеду на автобусе. А он мне на это отвечает: «Ну и что? Ты меня подкинь на своей машине, приезжай домой, оставь машину и поезжай в автобусе».

Ну, не прелесть ли этот человек? Так и не понял, почему я его не повез на своей машине.

А вот еще один случай с этим неисчерпаемым боссом. Мой друг узнал, что их профсоюзная организация имеет одну путевку в санаторий, куда очень стремилась попасть его жена. Он зашел в его кабинет, где сидело еще несколько членов профкома, и стал просить у него путевку.

Босс сказал ему, что он не может дать ее, потому что она нужна ему самому. Некоторое время они спорили, стараясь доказать друг другу, кому нужней эта путевка. Наконец, исчерпав все аргументы, мой друг сказал ему:

— Ты ведь коммунист, а я нет. Вот ты и прояви бóльшую сознательность.

В ответ на его слова раздался гомерический хохот всех членов профкома во главе с боссом. Впрочем, через несколько мгновений мой друг сам присоединился к общему хохоту. Члены профкома во главе с боссом с удовольствием посмеялись его словам, но путевки все-таки так и не дали.

— Юмор моего замечания заключался в том,— пояснил он свои слова,— что я как-то забыл, что они об этом давно забыли. А они смеялись потому, что были уверены, что все помнят, что они об этом давно забыли, и вдруг выискался такой чудак.

О нищем, считавшем себя самым интеллигентным нищим города и потому сидевшем возле их научно-исследовательского института, он рассказывал множество историй.

— Познакомились мы,— вспоминал он,— таким образом. Как-то я прохожу мимо него, а он окликает меня: «Гражданин, постойте!» Я останавливаюсь и вижу, он мне протягивает пуговицу и говорит: «Три дня назад вы мне бросили в шапку эту пуговицу. Если это по научной рассеянности — можете исправить ошибку. А если вы считаете, что я коллекционирую пуговицы, то вы глубоко заблуждаетесь».

И в самом деле это была пуговица от моего пиджака. Я все забывал жене сказать, чтобы она ее пришила. Представляете, какой наблюдательный! Я сыпанул ему мелочь из кармана, и так мы познакомились.



В другой раз утром иду в институт, что со мной случается крайне редко, прохожу возле него и вижу — солидная горсть мелочи лежит у него в шапке.

Я кладу пару монеток ему в шапку и говорю:

— Неплохой урожай с утра.

— Нет,— отвечает он,— это я сам насыпал для возбуждения милосердия клиентов через мнимое милосердие других.

Какой психолог! Я его просто расцеловал.

А вот о чудаке.

— Есть у нас в институте один профессор. Невероятный чудак. Однажды он уговорил меня подняться на ледник Бибисцкали. Ну, вы же знаете, Виктор Максимович, что я терпеть не могу все эти пешие походы с ночевками в дурацких мешках. Но он с упрямством, свойственным пламенным чудакам, затащил меня на этот ледник.

Ну, ледник как ледник, похож на самого себя. Идем обратно. Примерно через час мой спутник вдруг садится на камень и объявляет, что дальше не пойдет, потому что голоден. А у нас никаких припасов и впереди пятичасовой путь. Представляете? Сам же меня втравил в эту вылазку и сам же закапризничал. Я с величайшим трудом уговорил его идти дальше. Идем. Но он продолжает ныть, что хочет кушать, угрожая снова сесть и больше не встать.

Вдруг недалеко от тропы мелькнули пастушеские шалаши грузинских пастухов. Мой профессор ожил.

— Сейчас,— говорит, потирая руки,— попросим у них свежего творога и сыру!

— Как же мы у них попросим,— отвечаю,— когда они ни слова не понимают по-русски!

— А я с ними по-немецки буду говорить! — уверенно отвечает он.

— Да по-не-мецки,— говорю,— они тем более не понимают!

— Как же не понимают? — удивляется он.— Я, например, был в Чехословакии и там с простыми людьми объяснялся по-немецки.

Ну, что ты ему скажешь? Подходим к пастухам. Он бодро заговаривает с ними по-немецки, и они, вежливо кивая, выслушивают его. Как только он замолк, они, разумеется, поняв его по жестам, которыми он сопровождал свою речь, вынесли нам из шалаша по большому куску сыра и по миске с кислым молоком.

— Вот видишь! — подмигивает он мне, уплетая сыр и запивая его кислым молоком.— Я же тебе сказал, что простые люди прекрасно понимают по-немецки. Правда, они простоквашу спутали с творогом, но это даже лучше!

Хитрец, хитрец! Сначала-то он вполне искренне сказал, что будет с пастухами говорить по-немецки, а потом уже, переигрывая образ, сделал вид, что с самого начала шутил! Это тем более точно, что он, кроме как в Чехословакии, ни в одной стране не бывал!

А вот об одном из должников.

— Подходит ко мне,— рассказывает он,— один наш сотрудник и просит меня одолжить деньги, если не сейчас, то хотя бы в конце месяца. Я ему говорю, что в ближайшее время не получится, потому что не предвидятся свободные деньги.

— Как же не предвидятся,— возражает он и, присев к моему столу, берет бумагу, ручку и подсчитывает мои предстоящие доходы: зарплату, премиальные и гонорар за статью, о которой я сам забыл.

— И ты ему дал? — спрашиваю я.

— Пришлось дать,— хохочет в ответ,— он правильно подсчитал мои доходы!

— Не слишком ли ты небрежно раздаешь деньги? — спросил я у него однажды.

— Нет,— сказал он,— за последние семь-восемь лет я раз сто одалживал людям деньги и только в трех случаях мне их не возвратили. Доверие к человеческой порядочности можно считать экспериментально оправданным.

— А как жена, не контролирует твои доходы?

— Нет,— говорит,— жена у меня молодчина. Она выше этих мелочей.

Иногда после рыбалки на берегу собирались вместе с нами рыбаки-любители. Готовили уху, пили водку, рассказывали всякие житейские истории. Среди этих рыбаков-любителей попадались отставники, причем самого широкого профиля. Мой молодой друг, совершенно невоздержанный на язык, начинал в их присутствии обсуждать проблемы, которые не принято обсуждать с малознакомыми людьми. Тем более с отставниками самого широкого профиля. Я, славу богу, битый волк, несколько раз предупреждал его, но он отмахивался, говоря:

— Миф о стукачах создан людьми, испытывающими острую нехватку в стукачах!

Он и этих отставников умел обаять, выуживая у них всякие интересные истории. Один из них однажды рассказал о своей встрече с Троцким.

Во время гражданской войны он был рядовым бойцом. В тот день они трижды неудачно атаковали вокзал одного городка, где засели белогвардейцы. Полуголодные, озлобленные потерями, бойцы отошли на свои позиции, и тут появился на своем броневике Троцкий. Выйдя на броневик, он стал произносить речь, но сначала его не только не слушали, но и громко матюгались в его адрес.

Минут двадцать он говорил почти в полной пустоте, а потом постепенно к броневику стали стягиваться бойцы, а часа через два он так раззадорил всех своей неистовой речью, что бойцы вслед за броневиком ринулись в атаку и захватили вокзал.

— Прямо так вместе с броневиком захватили вокзал? — спросил мой друг.

— Нет,— пояснил рассказчик,— броневик по дороге свернул, но мы захватили вокзал.

— Я так и думал! — захохотал мой друг, обнимая и целуя отставника.

Но больше всего я любил наши встречи вдвоем после рыбалки. О чем только мы не говорили за бутылкой хорошей «Изабеллы» или чачи.

Сколько же он успел перечитать и передумать в свои тридцать четыре года!

Мы говорили о Средиземноморье как об истинной духовной родине русских, закрепленной в творчестве Пушкина. (— Вы варяг, Виктор Максимович, кричал он,— у вас жесткая душа воина, но если вы способны защищать наши нежные души — княжьте! — и откидывался в хохоте), о национальной драме русского человека, его культурной неукорененности по сравнению с европейцем (чуждость вольтеровскому: каждый — свой виноградник), о трагедии огромных растекающихся пространств, которые всегда объективно приводили к непомерному сжиманию обручей государственности, что закрепляло в русском человеке психологию перекати-поля, благо было куда катиться, о способах преодоления этой психологии, об интуиции Столыпина, о золотом сне Новгорода, о сочинениях Платона («Апологию Сократа» он знал наизусть от первой до последней строчки), о влиянии мутагенных веществ на наследственные процессы, о низменных тенденциях искусства двадцатого века, его тайном рабстве в служении дурному своеволию под видом абсолютной свободы и о многом другом.



Как же я любил его в эти часы, как хорошело его лицо, когда он, подхваченный вдохновением, развивал только что тут же родившуюся мысль! Нет, думал я, не может сгинуть страна, в которой уже есть такие люди! Конечно, ощущение его душевной незащищенности порождало во мне некоторую тревогу, но и эта черта его была обаятельна. Да, это был один из тех редчайших людей, которые в клетку с человеком всегда входят без оружия!

Единственное, что мне в нем не нравилось, это его абсолютная неспортивность. Высокий, немного нескладный, он отличался некоторой нескоординированностью движений, свойственной людям такого рода. Конечно, раз в неделю, когда мы выходили в море, я сажал его на весла, но и тут он пытался всячески отлынивать.

Вот что он однажды ответил на мои упреки по этому поводу:

— Да, я питаю отвращение ко всякому физическому действию. Мне легче выучить новый язык, чем по утрам полчаса размахивать руками. Недавно я даже сконфузился из-за этого. Стоя в очереди в кофейне, я вынул из кармана мелочь и уронил пятак. Мне неохота было нагибаться, я же длинный, нерентабельно — и я не поднял монету. Оказывается, за мной стоял какой-то местный старичок. Он все видел, минуты две терпел, а потом как понес меня: приезжают тут всякие, сорят деньгами, взвинчивают цены на базаре, жить невозможно.

— Дедушка,— говорю,— я местный, хоть и русский.

— Нет,— говорит,— какой ты местный, я всех местных знаю.

И опять ругаться. А ведь он прав. Нельзя было оскорблять взгляд бедного человека такой пижонской сценой.

А все из-за моего отвращения ко всякому физическому труду. Для меня ввинчивать лампочку в патрон, все равно что выполнять ритуал чуждой мне веры. А они, проклятые, перегорают с быстротой спички. А вбивать гвозди в стены? Что за унылое занятие! Как сказал, кажется, Олеша: вещи не любят меня. Добавлю к этому — и я не люблю вещи. Зато идеи любят меня, и я люблю идеи. Человеку свойственно обращаться к тому, что его любит...

— Не слишком ли ты много ишачишь на своих коллег,—спросил я его тогда,— со своей взаимной любовью к идеям?

Он пожал плечами:

— Человек знакомит меня со своей работой. Я ему говорю, если что-то плодотворное приходит мне в голову... Это в порядке вещей... Конечно, надо рациональней дозировать свое время.

Единственное, в чем он терял чувство такта, это в разговорах о своей жене. То, что он ее очень любит, это было ясно и так, хотя он об этом никогда не говорил. Но проскальзывали какие-то мелочи, которые неприятно царапали слух, тем более, что они исходили от него, столь тонкого во всем остальном человека. Например, пойманную рыбу он никогда не брал домой.

— Жена не любит возиться с рыбой,— говорил он.

И, наоборот, если я коптил пойманную ставриду, он охотно брал ее домой.

— Жена обожает копченую ставриду,— говорил он.

Иногда он жаловался, что жена его сильно переутомляется. Я знал, что она нигде не работает и у них единственный десятилетний мальчик. В таких случаях он отправлял ее к матери в Москву или в какой-нибудь санаторий. Мальчик в это время переходил жить к его родителям.

— Отчего это она у тебя переутомляется? — спросил я у него однажды, сдерживая раздражение.

Он что-то такое начал бормотать об ее ужасном детстве, психопа-

тическом отце, который угнетал семью, пока не покинул ее и не завел новую.

Одним словом, то ли из-за этих, правда, достаточно редких напоминаний о его жене, то ли по каким-то другим причинам я избегал бывать у него дома, хотя он несколько раз приглашал меня к себе.

Так длилось примерно два года. И вот однажды он пригласил меня на праздничный банкет в институтский клуб. Лаборатория, в которой он работал, получила премию Академии наук, и банкет должен был состояться по этому случаю. Я пытался отказаться, но тут он очень настаивал, говорил, что, в сущности, это его личный праздник и он обязательно хочет, чтобы я там был.

Я согласился, и мы договорились в восемь часов вечера встретиться в вестибюле клуба. Подойдя ко входу, я заметил женщину, стоявшую с той стороны и глядевшую наружу через стеклянную дверь. Наши взгляды встретились, и что-то неприятное заставило меня оцепенеть на несколько секунд, и эти несколько секунд мы смотрели друг на друга с какой-то тяжелой взаимной неприязнью. Я никак не мог понять — откуда эта неприязнь и почему она взаимная. Я открыл вторую створку двери, прошел мимо этой женщины, неприятное ощущение улетучилось, и минут через десять я нашел своего друга. который бросился мне навстречу.

— Сейчас я познакомлю тебя со своей женой,— сказал он и подвел меня именно к этой женщине.

Мы познакомились. Это была немного полная, но довольно стройная тридцатилетняя женщина с красивым лицом, тяжеловатым взглядом больших, выразительных глаз, с хорошо очерченными губами, с тяжелым темным пучком волос на затылке.

Теперь, глядя на нее, я понял, что где-то видел ее раньше, и то, что я ее видел где-то, внушало мне неприятное чувство. Более того, по ее взгляду я понял, что и она где-то меня видела, но не может вспомнить где, и то, что она меня видела, внушает ей тоже тревожное, неприятное чувство.

— Ну что, красавица у меня жена? — спросил мой друг, улыбаясь и, видимо, воспринимая некоторую мою сдержанность как результат слишком сильного впечатления. Он взял нас обоих под руки, и мы отправились в помещение, отведенное под банкетный зал, который уже заполнялся шумной, веселой толпой.

Мой друг посадил нас рядом, но она вдруг закапризничала, ссылаясь на свет люстры, якобы бьющий в глаза, и пересела на ту сторону стола. Там еще было несколько пустых мест.

Мой друг слегка засуетился, хотел перетащить и меня на ту сторону, но я остался, потому что понял, почему она решила сидеть напротив. Так ей удобней было смотреть на меня и вспоминать, где она меня видела. И мне так удобней было смотреть на нее и вспоминать, где я ее видел.

Банкет после двух-трех чопорных тостов институтского начальства, словно облегченно вздохнув, зароился весельем. Время от времени к моему другу подходили коллеги, чтобы лично с ним чокнуться и сказать ему несколько дружеских слов. Я видел, что его в самом деле любят, и радовался за него. Он и сам радовался за себя, был счастлив и с явно преувеличенной добросовестностью выпивал с каждым из них.

А между тем я время от времени бросал взгляд на его жену, и меня не оставляло ощущение, что где-то я ее видел и видел нехорошо. Она тоже время от времени взглядывала на меня с выражением туповатой тревоги, и я чувствовал, что и она пытается меня вспомнить и никак не может это сделать.



Кстати, ее отвлекали те, что подходили чокаться с мужем, они и ее поздравляли, и она им благосклонно улыбалась, едва пригубляя свой бокал. При этом выражением лица она показывала, что дар ее мужа имеет и нелегкую сторону, но она, как и положено настоящей жене, безропотно несет свою ношу.

Время от времени мы продолжали поглядывать друг на друга. Я чувствовал, что между нами уже идет незримая борьба: кто быстрее вспомнит, где и почему мы встречались. Казалось, от этого зависит что-то очень важное, казалось, что если она быстрее вспомнит, где мы встречались, у нее еще будет время стереть следы этой встречи, перечеркнуть их.

И вдруг я совершенно отчетливо, как будто в голове вспыхнула лампочка, вспомнил ее. Ровно пять лет тому назад я жил в московской гостинице. Однажды ко мне пришел один мой бывший солагерник со своей приятельницей, как он ее мне представил. Это была она!

Мой бывший солагерник был, что называется, интересный мужчина и, выйдя на свободу, намеренно не женился, стараясь, как он это объяснял, наверстать упущенное за время заключения. По-моему, он давным-давно наверстал упущенное, но у меня не было никаких оснований вмешиваться в его образ жизни. Лагерь легко сближает людей по главному их признаку, по признаку несвободы, но когда человек выходит на свободу, обнаруживается, что разные люди по-разному понимают ее и по-разному ее используют.

Мы были совсем разные люди, но меня это приятельство не тяготило, потому что я бывал в Москве редко и две-три встречи во время моих приездов ничего не означали.

Так вот, он пришел с ней. Кстати, он по телефону предупредил меня, что будет со своей приятельницей и не имею ли я чего-нибудь против. Разумеется, отвечал я, приходи с ней.

Они посидели у меня несколько минут, и я решил позвонить в ресторан, чтобы заказать бутылку вина и кое-какие закуски. Но телефон у меня почему-то забарахлил, и я вышел из номера, сказав, что мне нужно поговорить с коридорной. Я намеренно не сказал, что собираюсь звонить в ресторан, чтобы он не подключился к моему скромному мероприятию и не довел его до размеров пьянки. Такая склонность у него тоже была.

Я вышел из номера, подошел к столику коридорной, и мне пришлось еще несколько минут ожидать, потому что она сама звонила. Потом я позвонил в ресторан, заказал бутылку вина, немного закуски и минут через десять вернулся в свой номер.

Приоткрыв дверь и автоматически сделав шаг, я замер, ничего не понимая. Номер был погружен в полную темноту. Поняв, в чем дело, но все еще растерянный, я довольно глупо, вместо того чтобы тихонько выйти, постучал в приоткрытую дверь.

И тут из темноты раздался ее быстрый шепот:

— Скажи, что его нет!

Он подошел к дверям. Из коридора доходил слабый свет, и он подслеповато, как курица в полутьме, глядя на меня, сказал:

— Его нет... Он ушел...

Вместе с этими словами он легонько так оттеснил меня за дверь и закрыл ее. По его жесту было решительно непонятно — узнал он меня и сказал эти слова, чтобы не смущать свою приятельницу, или в самом деле не узнал. Так или иначе, оказавшись в коридоре, я сильно разозлился на своего бывшего солагерника. Какого черта! Я не давал ему повода делать из своего номера дом свиданий! В крайнем случае хоть бы предупредил меня!

Я еще с полчаса оставался в коридоре. У меня было время поразмыслить над тем, что случилось, и несколько успокоиться. По-видимому, в самом его предупреждении, что он будет с приятельницей, уже заключался договор, о котором я не подозревал. Потом, когда я, как, вероятно, ему показалось, сделав вид, что не смог дозвониться, вышел из номера, он решил, что я выполняю условие договора.

Когда я вошел в номер, занавески были раздвинуты, постель была убрана еще лучше, чем горничной, она сидела в кресле, а он, присев на стол, курил.

— Тебя тут кто-то спрашивал,— сказал он, глядя на меня с великолепным нахальством. И все же было непонятно — говорит он это для нее, чтобы она не смущалась, или в самом деле он тогда меня не узнал. Продолжая полусидеть на столе, он придвинул к себе телефон и стал пытаться куда-то звонить. Такие люди, ублажив себя в одном месте, сразу же начинают звонить в другое. Убедившись, что телефон не работает, он бросил трубку на рычаг, скорее всего забыв о том, что я тоже не дозвонился.

Она неподвижно сидела в кресле. Притихшая, может быть, смущенная. И я помню, впечатление какой-то тяжести было от взгляда ее больших, выразительных глаз, выпукло очерченных губ, мощного пучка волос. И помнится, у меня тогда же мелькнула мысль: тяжелая тупость красавицы. Как позже выяснилось, она была умственно совсем не тупая. Тупость ее была гораздо более глубокого свойства.

Одним словом, официантка принесла вино и закуску. Они посидели у меня около часу, а потом ушли. Больше я ее никогда не видел. Через неделю я снова встретился со своим бывшим солагерником. Мы гуляли по улице Горького.

— А где твоя приятельница? — спросил я.

— Не знаю,— ответил он достаточно презрительно,— она мне надоела со своими коровьими глазами. Я ей сказал, что уезжаю в Ленинград по делу.

— А если она тебя вдруг увидит? — спросил я.

Он пожал плечами:

— Ну, увидит — увидит.

И вот через пять лет я узнаю, что она жена человека, которого я полюбил, и я знаю, что у них десятилетний сын. Трудно передать то тошнотворное состояние, в котором я находился.

Она все еще меня не узнавала и время от времени смотрела на меня своими большими, выразительными глазами, в глубине которых чувствовалась и растерянность и мучительная попытка вспомнить, где она меня видела. И вдруг я с пронзительной ясностью понял характер затруднения, которое испытывала ее память: слишком много встреч она тасует в голове, чтобы угадать, какой именно я был свидетелем!

В конце концов угадала, и я это понял по ее взгляду. Он, ее взгляд, пытался внушить мне, что тогда в гостинице ничего не было. Но теперь, когда я совершенно очевидно узнал ее и она уже знала, что я узнал ее, я пытался внушить ей своим взглядом, что вообще не помню ее. Но она взглядом своим правильно определила, что отсутствие теперь в моем взгляде любопытства к ее личности объясняется не тем, что это любопытство угасло, а тем, что я ее уже узнал и именно поэтому делаю вид, что не узнаю. Такой вариант ее не устраивал, видимо, он казался ей недостаточно надежным. И ее взгляд теперь мне говорил: «Нет, ты помнишь, где и когда меня видел, но тогда ничего плохого не было».

Вот такой вариант ее устраивал.

Банкет окончился. Мой друг слегка перепил, и его вместе с женой



увезли друзья. Меня тоже его коллеги подвезли к дому. От всего, что я увидел и узнал в этот вечер, на душе остался горький осадок. Что делать? Он ее, конечно, очень любит. Она его, конечно, не любит, но дорожит браком с этим блестящим ученым. Я ничего не собирался ему говорить, но тяжелое предчувствие беды давило душу.

Прошло недели две, и он снова пришел ко мне. Мы, как обычно, вышли в море. К этому времени я несколько успокоился.

— Виктор Максимович,— сказал он, вспоминая банкетный вечер,— вы понравились моей жене, а ей редко кто нравится... Вкус у нее есть...

Конечно, она ему должна была сказать что-нибудь в этом роде. Но дело, к сожалению, на этом не остановилось. Однажды он пригласил меня к себе домой, все мои попытки отказаться были тщетны, и я пошел.

Встретила она меня как великолепная гостеприимная хозяйка. И все было бы хорошо, если бы она опять несколько раз не бросала на меня выразительные взгляды, означавшие, что именно тогда она была в гостинице, но ничего порочного в этом не было. То ли из какого-то упрямства, то ли для того, чтобы вышибить у нее из головы эту тему, я отвечал взглядом, что ничего не знаю и ничего не помню. Но ее этот вариант не устраивал, как я уже говорил, он ей казался недостаточно надежным.

И вот я стал бывать у него, почти каждый раз под напором его настоятельных приглашений, и я даже почувствовал некоторое обаяние, свойственное этой красивой женщине. Слегка подвыпив, она делалась легкой, милой, и ее облик переставал источать тяжесть туповой чувственности.

У меня была подспудная надежда, что характер наших отношений с ее мужем, наша ничем не замутненная дружба может благотворно воздействовать на нее. Какая глупость! Как правило, душевный порок человека становится заметным людям уже в необратимый период метастаза. Человек может перебороть свой порок тогда, когда он еще незаметен другим. Если человек не смог или не захотел бороться со своим душевным пороком, этот порок неуклонно стремится к универсальному охвату души. И достигает его, как правило.

Но каждый раз, когда я приходил, она была щедра, гостеприимна, мила, и мне в конце концов стало казаться, что, может быть, у нее тогда была какая-то внезапная, безумная влюбленность в моего солагерника и потому все тогда так получилось. Он был хорош собой и к тому же в отношениях с женщинами превращал свой лагерный опыт в маленький романтический бизнес.

Однажды ночью часов в одиннадцать приходит ко мне соседка, у нее был телефон, и говорит, что звонила жена моего друга и просила срочно зайти.

Я решил, что у них что-то случилось, и пошел к ним. Они жили в двадцати минутах ходьбы от нашего поселка.

— Виктор Максимович,— говорит она, открывая мне дверь,— тысячи извинений... У меня кран испортился и раковина засорена... Боюсь, зальет нижний этаж...

Я прошел в ванную. В самом деле кран льет и раковина засорена.

— Где у вас инструменты? — спрашиваю.

Она открывает кладовку и показывает на ящик с инструментами.

— Инструменты есть,— говорит,— да что толку — муж у меня безрукий.

— Зато не безголовый,— отвечаю, роясь в ящике,— а где он?

— Он в командировке,— говорит она.

Я беру нужные инструменты, привожу в порядок кран, прочищаю раковину, мою руки и выхожу. Смотрю — на кухне водочка и закуска. Только теперь я обращаю внимание, что на хозяйке легкий халатик с короткими рукавами и выглядит она слегка возбужденно. Ну, ладно, думаю, выпью рюмку и уйду.

Присел за стол, наливаю рюмку и только тяну ее ко рту, как вдруг сзади за шею меня обнимают ее голые руки и она льнет ко мне своей пахучей, надушенной головой.

— Это как понять? — говорю как можно более спокойным голосом, чтобы не оскорбить ее, и осторожно ставлю невыпитую рюмку на стол.

— А вот так и понять,— отвечает она, еще сильнее прижимаясь ко мне,— я влюбилась в вас... Каждая женщина мечтает о сильном человеке...

Тут я разозлился на нее и на себя. На себя за то, что боялся оскорбить ее. Тем не менее я все еще достаточно вежливо отцепляю ее руки, встаю и спокойно говорю, хотя изнутри меня всего выворачивает:

— Вы очень избирательно любите, мадам... Стоит человеку посидеть в тюрьме, как вы в него влюбляетесь. Может, для того, чтобы полюбить своего мужа, вам надо его посадить?.. При его невоздержанности на язык в принципе это возможно, хотя и трудновато в наше время...

И вдруг впервые в жизни я вижу, как женщина в бессильной злобе ощеривается. Я раньше считал это чисто литературным преувеличением. Нет, на моих глазах верхняя губа ее конвульсивно дернулась, обнажая зубы. Через несколько секунд она взяла себя в руки.

— Вы меня оскорбляете,— сказала она тихим голосом,— как это неблагородно со стороны мужчины... Кстати, возьмите вашу книгу, мы ее уже прочли.

Она приносит из комнаты книгу Платонова «В прекрасном и яростном мире» и протягивает ее мне. Я молча беру книгу и выхожу, несколько удивляясь, почему она в такую минуту вспомнила о книге. Я решил, что это знак того, что она не хочет больше видеть меня у себя дома.

Какая мразь, думал я по дороге, чтобы полностью обеспечить мое молчание относительно гостиничной встречи, она решила подключить меня к своим грехам.

Что делать? Я решил ничего не говорить моему другу при встрече и просто никогда больше не бывать у него дома. Но вот проходит месяц, два, а его нет. Что это — затянувшаяся командировка или она ему что-то сказала? Но что?

И вдруг я узнаю от одного автомеханика, что мой друг приходил к нему починять машину. Он ни бельмеса не понимал в моторе и чуть что обращался ко мне. Я понял, что она ему что-то сказала. Ну, ничего, думаю, не может быть, чтобы мы где-нибудь не столкнулись. И в самом деле, месяца через два я встречаю его в кофейне. Стоит за столиком и пьет кофе, длинный, нескладный, одинокий.

Я взял кофе, подошел к его столику, поздоровался и поставил чашку. Он суховато мне кивнул.

— В чем дело,— спросил я,— почему ты не появляешься?

Он криво усмехнулся, вдруг весь покраснел и, глядя вниз, стал говорить:

— Виктор Максимович, дело прошлое, я вам все простил... Но дружить мы не можем... Я много думал об этом... Я понимаю, что вы влюбились... Вы долго боролись с собой... Мне всегда казалось странным, что вы так неохотно принимаете мои приглашения... Вы боролись с собой, и это делает вам честь... Но ваш последний приход в мой дом и... солдафонское признание в любви моей жене не делает вам чести...



— Мой приход?! — опешил я,— мое признание в любви?!

— Ну, разумеется,— криво и болезненно усмехнулся он, все еще глядя вниз,— формально вы пришли за своей книгой... В двенадцатом часу...

Так вот зачем она всучила мне книгу! Как молниеносно соображает порок, когда действует в своей области!

Почему я тогда не сказал всей правды? Да потому что язык не повернулся! Не знал я, чем для него кончится такая операция! Ну и, конечно, некоторое рыцарское отношение даже к этой гадине! Ну как я ему скажу, что она обняла меня за шею?! Ты спросишь: «На что она рассчитывала?» — Вот именно на все это рассчитывала и правильно рассчитала.

Но часть правды я ему сказал. Я сказал, что явился в его дом по телефонному звонку, в чем он может убедиться, спросив у соседки. Сказал, по какой причине меня вызвала его жена, сказал, что книгу мне она сама всучила, когда я уходил. Сказал, что его жена, может, имеет какие-то свои достоинства, но она, безусловно, очень лживая и очень вероломная женщина.

Он как-то мимо ушей пропустил это все и сказал:

— Оставим нравственные качества моей жены... Но вы ведь влюбились в нее и признались ей в этом...

Я ему объяснил, переходя на язык науки, как более доступный ему, что этого со мной не могло произойти и не произошло. Кристаллизация чувства требует времени, хотя бы самого малого, сказал я. Чтобы влюбиться в жену друга, надо какое-то, хотя бы очень короткое время смотреть на нее как на свободную женщину, то есть быть в это время абсолютно аморальным по отношению к своему другу. Считает ли он, спросил я у него, что я мог быть по отношению к нему аморальным?

Мне показалось, что он стал прозревать. Он поднял голову и посмотрел на меня.

— Тогда во имя чего вся эта чудовищная ложь?! — вскрикнул он, глядя на меня, и я увидел на его милом лице ужас ребенка, на глазах которого разваливается его родной дом, и он умоляет остановить этот развал.

— Успокойся,— сказал я ему,— есть тип женщин, которые бешено ревнуют мужей к их друзьям, даже если и делают вид, что они им нравятся...

Не думаю, что я его убедил до конца. Высокий, нескладный, он ушел, неуклюже горбясь. Но мысль его, начавшая работать в новом направлении, уже не могла остановиться. Не знаю, догадался ли он о приключениях своей жены или, прокрутив в своей светлой голове события их прошлой жизни, убедился в ее абсолютной лживости, и этого ему было достаточно, но через год он с ней разошелся. Представляю, что это за год был для него.

Но и ко мне он больше не вернулся. Поверив на какое-то время своей жене, он унизил себя в моих глазах. Так ему должно было казаться. А человеку страшнее всего возвращаться туда, где он был унижен. Особенно если он был унижен самим собой.

Поверь, мне в жизни нравились многие люди, но так, как его, ни одного мужчины я никогда не любил. Наверное, о такой мужской дружбе говорится в абхазской поговорке: будь ты горящей рубашкой на мне, и то бы не скинул тебя.

Он был на пятнадцать лет младше меня, и я его любил одновременно и как сына и как брата. Ни того, ни другого у меня никогда

не было. Он был мне сыном по своей духовной незащищенности и братом по духу.

Я и сейчас смотрю иногда на его фотокарточки. Я его несколько раз щелкал у себя в саду и в море. Но разве они могут передать бесконечное одухотворение его лица, когда он заговаривал на любимую тему или импровизировал, развивая только что родившуюся мысль. А как он хохотал, господи, как он смеялся!

Прошло с тех пор шесть лет. Я знаю, что у него новая семья. Он доктор наук, профессор. Попивает. Однажды я познакомился с одним научным работником их института, который перевелся туда из Москвы. Он с большим восхищением говорил о нем. Они дружат. Нет, я не испытывал никакой ревности.

— Скажите,— спросил я у него, не распространяясь о нашей недолгой, но горячей дружбе,— он под настроение все так же самозабвенно хохочет?

— Хохочет?! — переспросил он, уставившись на меня недоуменными глазами,— он, безусловно, самый талантливый ученый института, но и самый желчный человек из всех, кого я видел!

Страшная вещь — оскорбленный идеализм.

# Мальчики и первая любовь

**(Исповедь Виктора Максимовича)**

У нас была компания из четырех мальчиков. Мы все учились в одном классе. Конечно, время от времени к нам присоединялись и другие, но настоящая духовная близость была только между нами. Главным авторитетом в ней был Коля Шервашидзе. Он был потомком, хотя и достаточно непрямым, того самого князя Георгия Дмитриевича Шервашидзе, обергофмейстера двора, который после смерти Александра Третьего женился морганатическим браком на его вдове Марии Федоровне. Вот как нас высоко заносило!

Но, разумеется, нас привлекала к нему не его высокородность. Да и род его к этому времени распался, и сам он жил в ужасающей нищете. Большой, многоквартирный дом его отца был давно распродан, родители умерли. Сначала отец, кажется, он был юристом, потом мать.

Из трех оставшихся комнат две еще при жизни матери сдавались жильцу, а в одной обитал Коля со своей восьмилетней сестренкой. Комнаты жильца имели парадный выход на улицу, а Колина комната через обширную веранду выходила во двор. В десяти шагах от веранды росла могучая магнолия, бросавшая на нее в жаркие летние дни прохладную тень. Почти круглый год подножие дерева пестрело опавшими, но упорно негниющими листьями и плюшевыми шишками. Здесь на веранде мы обычно собирались.

Большая комната Коли наполовину была загромождена книжными шкафами. Часть книг, не уместившаяся в шкафах, дряблой горой лежала прямо на полу. Бывало, если вытащишь из груды заинтересовавшую тебя книгу, облачко пыли подымется над горой, что означало — вулкан еще не потух.

В комнате стояли две кровати, прикрытые ветхими, засаленными одеялами, стол и огромный буфет, напоминающий деревянный дворец, как бы усохший за исторической ненадобностью.



Колин квартирант казался нам странноватым. Звали его Александр Аристархович. Мы о нем знали только то, что приехал он из Ленинграда. Сначала один прожил целый год, а потом к нему перебрались жена с дочкой.

Он преподавал в деревенской школе математику и физику. Под влиянием Коли, конечно, мы почему-то дружно решили, что он беглый меньшевик. О юность! Почему меньшевик? Почему беглый? Никаких сведений! Единственное: живет в городе — преподает в сельской школе. Значит, беглый меньшевик; путает следы.

Может, это покажется странным, но ни один из нас не был монархистом. Даже Коля, хотя он и любил хорохориться своим происхождением. Мы жалели царя и его семью, но по убеждению были сторонниками демократической системы.

Изредка мы слегка выпивали сухое винцо, и Коля, неизменно стоя, произносил свой неизменный первый тост:

— За здоровье ее величества королевы Англии!

Он считал, что русская история надломилась в 1905 году, когда царь упустил возможность дать стране настоящий парламент и сохранить монархию по английскому образцу.

Распахивать окно в феврале семнадцатого года, по убеждению Коли, было уже поздно, ибо наружный воздух России в то время был гораздо тлетворней внутреннего и страна задохнулась. Так он считал.

И вот мы, принимая Александра Аристарховича за скрытого меньшевика, совсем, как в советских фильмах, но по своим причинам, смеялись над ним. Большевики их высмеивали, потому что те якобы по своей злокозненной тупости не понимали победную правильность ленинского пути. Мы же над ними горько иронизировали, потому что они, по нашему мнению, прошляпили демократию.

Трудно понять все причины, но Александр Аристархович был предметом постоянных издевательств Коли, и нас он этим заразил. Может быть юношеское самолюбие сказывалось тут, зависимость от квартплаты жильца, пятьдесят рублей в месяц, единственный твердый доход. Правда, иногда он еще продавал букинисту книги. Кроме того, изредка приходили денежные переводы из Сибири, куда после революции отбросило его бабушку и дедушку по материнской линии. Я сознательно не называю большой город, где они жили. Еще живы люди, которых это может огорчить.

У Александра Аристарховича были жена и дочка, анемичная Дудоня, студентка педагогического института. Она время от времени брала у Коли что-нибудь почитать. Коля целенаправленно руководил ее чтением, что не всегда нравилось ее отцу.

Я был уверен, что она влюблена в Колю. Но он этого не замечал, как не замечал и того, что она не понимает его длинных литературоведческих рассуждений.

Недавно, читая Бахтина, я вдруг вспомнил с необыкновенной яркостью фразу, мелькнувшую во время импровизированного семинара, когда Коля, склонившись над перилами веранды, объяснял бедной Дудоне суть метода Достоевского, а она, стоя на земле, смотрела на него обреченно-обожающими глазами. Фраза эта прозвучала так:

— Движущийся скандал!

Но ведь это почти то же самое, что говорит Бахтин. Если бы он его читал, он прямо бы его и процитировал, память у него была фотографическая.

Иногда Коля играл в шахматы с Александром Аристарховичем. Жилец у него чаще всего выигрывал, что, конечно, не способствовало Колиным симпатиям к нему.

— Невозможно играть с человеком, у которого все время трясут-

ся руки,— жаловался он.— Протянет руку над фигурой и замрет на полчаса. А она у него трясется! Я не могу думать! Бестактность этого человека феноменальна! Раз уж у тебя псевдопаркинсонова болезнь, ты сначала обдумай ход, а потом тяни свою трясущуюся руку!

Мы редко видели Александра Аристарховича. Работая в сельской школе, он иногда оставался там ночевать. Видно, ему там выделили комнату. По этому поводу Коля неоднократно давал голову на отсечение, что тот завел в деревне незаконную жену.

Александр Аристархович был грузноватый, розовый мужчина лет пятидесяти с бритой яйцевидной головой, всегда очень аккуратно и чисто одетый. Обычно он во двор входил с двумя ведрами, набирал в колонке воды и осторожно, чтобы не облить брюки, возвращался домой.

Пока ведра наполнялись водой, он почти всегда с каким-то тупым удивлением оглядывал могучую крону магнолии, как бы не до конца веря в реальность этой южной роскоши, а возможно, и несколько осуждая столь бесплодную, хоть и внушительную трату земных соков. Иногда он подымал шишку, подолгу рассматривал ее, осторожно нюхал и никогда не бросал на землю, а, нагнувшись, клал ее. Не поручусь, что на то же место, но клал.

Если Коля ловил его за этим чрезмерно уважительным обращением с шишками магнолии, он кивал нам, трясся от беззвучного смеха и страстно шептал:

— Мания лояльности! Мания лояльности!

При всем этом Александр Аристархович никогда не забывал о своих ведрах: не давал переполниться подставленному под струю, вовремя пододвигал пустое.

Обычно Коля обращал наше внимание не только на действительно странное отношение к шишкам Александра Аристарховича, но и на все его действия, а также бездействие возле колонки, явно преувеличивая количество комических подлостей, заключенных в них.

Александр Аристархович стал для нас образцом буржуазной пошлости. Почти каждый раз, когда мы приходили к Коле, он что-нибудь рассказывал о нем, чаще всего уличающее того в невежестве.

— А мой петербуржец опять оскандалился,— говорил Коля с презрительной улыбкой,— я вчера у него спрашиваю: «Как вы находите трактовку идей Ницше у Брандеса?» — а он мне: «Какой Брандес? Бундовец?» И это человек с университетским образованием? Невежество этого типа феноменально! Феноменально!

Заранее уверенные в феноменальности этого невежества, мы начинали громко хохотать, а Коля, готовя кофе над вечно коптящей керосинкой, тут же экспромтом излагал статью Брандеса о Ницше «Аристократический радикализм».

Легкий, как перышко, в изжеванной нищенской одежде, с пятнами копоти на лице, с лихорадочным блеском черных глаз, он с необыкновенной непринужденностью, начав разговор о свойствах малярийных плазмодий, мог кончить афоризмами Шопенгауэра. И кофе! Кофе! Кофе! С утра до вечера!

Всякую нашу попытку обратить внимание на свою внешность, навести на себя хоть какой-нибудь марафет он отвергал с нескрываемым презрением. Культ духа, всепожирающая любовь к знаниям и льющаяся через край готовность делиться ими.

— Светлейший князь скрывает породу,— пошутил как-то по поводу его немытого, чумазого лица один из членов нашей компании, а именно Алексей.

Однажды случилось редчайшее совпадение, мы пришли к нему на веранду, когда он только что вернулся из бани, куда он, разумеется, без крайней надобности не ходил. Все, смеясь, обратили внимание на то, что он неожиданно похорошел. Что-то в нем было от «Мальчика» Мурильо.



Не могу вспомнить, чтобы он спокойно обедал. Всухомятку. На ходу. Учился кое-как. Занятия пропускал безбожно, а в десятом классе поближе к зиме совсем перестал ходить в школу.

Но до этого на уроках литературы и истории с его лица не сходила усмешечка, за которую его можно было убить, если бы учителя посмели расшифровать эту усмешечку. Но они этого не смели и как бы с некоторой виноватой осторожностью пробрасывали мимо него свои убогие знания.

Справки о болезни сестренки или о собственной болезни, кстати, не всегда ложные, устраивала ему очень подвижная старушенция-врач, которую мы у него иногда заставали за кофе. Она же время от времени наводила в его хозяйстве кое-какой порядок и кормила девчушку.

— Ладно, мальчики,— говорила она, вставая,— вы тут развлекайтесь, а я пойду в кибениматограф.

Так она шутила, хотя кино и в самом деле любила. Она была одинокая и очень привязалсь к Коле. Мы ее так и называли — старушка-кибениматограф.

— Хорошей фамилии,— уважительно кивнул ей вслед Коля, когда мы ее застали в первый раз, и не менее уважительно добавил: — Морфинистка.

Здесь на веранде мы обсуждали во главе с Колей все прочитанные книги и политические проблемы. Мы были проперчены политикой насквозь. Помню, мы удивлялись, что Шульгин задолго до прихода Сталина к власти кое в чем предугадал его физический облик. Кстати, Сталина Коля всегда называл Джугашвили. На людях — вождь. Среди своих — Джугашвили.

Книжка Фейхтвангера «Москва, 1937 год» была высмеяна вдоль и поперек. Мы только спорили: Джугашвили купил Фейхтвангера или тот запасался нашей страной как пушечным мясом против Гитлера? Сейчас я думаю, что дело обстояло еще хуже. Европейский интеллектуал был заинтересован в продолжении опыта над Россией: не умрут — тогда и мы кое-что переймем.

После пакта с Германией Коля кричал:

— Теперь Джугашвили и Гитлер расхапают Европу! Грядет великая война! Англия с Америкой против Гитлера и Джугашвили! Конец непредставим! Скорее всего долгий, изнурительный пат... После чего возможно новое нашествие желтой расы...

Оставляя в стороне пророчества Коли, должен сказать, что в общих чертах мы знали все, что происходит в стране. Я это говорю к тому, что все еще бытует мысль, мол, многие ничего не знали. Ничего не знали те, кто не хотел ничего знать. Нас и объединило именно это желание знать правду.

Самым близким Коле человеком был Алексей, сын потомственного рабочего. Среди нас он один упорно занимался иностранными языками. Алексей был умен, обладал мрачноватой внешностью, таким же юмором и был невероятно капризен. Дерзил Коле только он и, дерзя, переходил на «вы». Своими дерзостями и капризами он как бы испытывал истинность привязанности к нему князя.

А князь был почему-то привязан к нему особенно. То ли потому, что именно он и только он предлагал перейти от слов к делу, то есть расклеивать разоблачающие Сталина листовки, что отвергалось князем как революционная вздорность, но должно было льстить его просветительскому честолюбию. То ли в Колиной, все-таки мальчише-

ской, голове, жила идея, что здоровый представитель народа пришел именно к нему. Так или иначе, но этот здоровый представитель народа обладал самой причудливой психикой.

Бывало, обычную просьбу он излагал, морщась от смущения, краснея и уставившись в пол. Но таким же образом, смущаясь и краснея, он мог высказать и необыкновенную дерзость.

Во время наших самых раскаленных споров он вдруг залезал под стол и оттуда продолжал излагать свои соображения, что при его не очень отчетливой дикции создавало дополнительные акустические неудобства. Князь почему-то с особой серьезностью относился к аргументам, доносившимся из-под стола.

Порой, когда Коля, излагая свои мысли или чужие философские идеи, становился утомительным — и такое случалось! — Алексей вдруг уставится пугачевским взглядом в его сестренку, играющую на полу, и смотрит, смотрит на нее, пока она этого не заметит и не начнет хныкать.

— Алексей, прекрати! — кричал князь, не глядя и торопясь довести до конца свою мысль, пока девчонка не разревелась.

При этом именно Алексей больше всех о ней заботился, баловал, и она была привязана к нему не меньше брата.

Иногда он вдруг оскорблялся без всякого видимого повода и, покраснев и уставившись в пол, говорил:

— Если я здесь кому-нибудь в тягость, могу уйти.

И уходил своей победной походкой. Но тут князь бросался за ним и после некоторых пререканий возвращал его на веранду. Как я хорошо помню походку Алексея! Каждым движением, как бы преодолевая некую зависимость, он провозглашал свою независимость. Но именно потому, что каждое его движение подчеркивало независимость, в конечном итоге чувствовалось постоянное присутствие того, от чего он пытался быть независимым.

И четвертым в нашей компании был очаровательный хохол Женя. Он был сыном богатого кубанского крестьянина, в тридцатом году бежавшего от раскулачивания на Кавказ. Он был красив, мягок, добродушно-насмешлив.

Женя писал стихи, очень хорошо рисовал и готовился стать художником. При этом, имея довольно средние отметки по алгебре, он на других уроках, если не рисовал карикатуры, склонив свою лобастую голову, решал задачи по высшей математике.

Он легко все схватывал, но никогда ни во что не углублялся, как бы боясь чем-нибудь себя закабалить. В наших спорах почти не принимал участия, даже страдал от них, хотя вдруг иногда выдавал свежие соображения. Но если на них возражали, он тут же без всякой обиды замолкал.

— Во цу диз лерм? — недоуменно повторял он, кажется, фразу Мефистофеля в любом положении, грозящем дисгармонией, раздрызгом, скандалом.

У него были очень красивые волосы, но, увы, уже тогда слегка редевшие, что его сильно беспокоило. Он их подолгу оглядывал в зеркале, висевшем на веранде, при этом пальцами беззастенчиво довивая и без того вьющиеся волосы. Наши остроты и насмешки по этому поводу не производили на него ни малейшего впечатления.

Внезапно влюбившись, он исчезал, но ненадолго. Снова появлялся, опять занимался своими локонами, как бы слегка потрепанными в любовной схватке, и, глядя в зеркало, неизменно мурлыкал себе под нос одну и ту же песенку:

Мой добрый старый Джека,
Родной цыган.
Что делать человеку?



Любовь — обман.
Пусть звуки старой скрипки
Напомнят мне,
Как часто врут улыбки
При луне.

Забавная история приключилась с Женей. В нашей школе в параллельном классе был еще один поэт. Звали его Толя. Рыжий, коренастый коротышка. Он был ужасно самоуверен, напорист и в своих не очень умелых, но очень громогласных стихах призывал к мировым классовым битвам. Впрочем, у него была и лирика со знаменитыми на всю школу строчками:

О, как мне хочется мясо любимой
Финским ножом полоснуть!

Мясо он, конечно, раздобыл у раннего Маяковского, а финский нож — у позднего Есенина.

В школе были поклонники как Толи, так и Жени. На вечерах соперники пользовались переменным успехом. Толю любили за напор и мощную глотку. Женю любили за внешнюю красоту и умение высмеивать школьные происшествия.

Толя при всей своей напористости был ужасно наивен и считал, что он, безусловно, первый поэт школы, а Женя добивается дешевого успеха, поэтизируя сиюминутные проблемы, вместо того чтобы ставить проблемы века.

Женя его всерьез вообще не принимал и добродушно высмеивал за неумелые ухаживания как за Музами, так и за девушками. Между ними часто обыгрывалась тема: кто первый поэт школы?

Однажды при мне Женя ему говорит:

— Толя, ты первый поэт школы, а я второй...

Толя с уважением к такого рода самоотверженному признанию кивнул ему головой.

Но тут Женя неожиданно добавил:

— ...Поэт страны.

Толя сначала онемел от возмущения, а потом заикаясь выговорил:

— Ты, ты, ничтожество, второй поэт страны?

— Да,— скромно подтвердил Женя,— я второй поэт страны.

Толя, хоть и был страшно возмущен, все же не удержался от любопытства узнать, каким отсчетом он пользуется, давая себе такую наглую самооценку:

— Хорошо! А кто первый поэт страны?

— Первого просто нет,— сказал Женя скромно.

Толя, готовившийся его высмеять, продемонстрировав всю смехотворность разницы между первым и вторым поэтом, был сбит с толку и взбесился.

— Ты совсем сбрендил,— закричал он,— ведь по логике получается, что раз первого нет, ты и есть первый поэт страны. Где твоя логика, псих?

— Ну хорошо, Толя,— как бы трезво оценив свои возможности, сказал Женя,— я первый поэт школы, а ты второй поэт страны. Идет!

Тут Толя на несколько мгновений замолк, стараясь уловить в глазах Жени насмешку, однако, не улавливая ее, замялся и в конце концов предпочел синицу в руке:

— Я первый поэт школы! А насчет страны — все впереди!

В другой раз Женя ему как-то сказал:

— Кто за один урок напишет стихотворение в три строфы, тот и будет первым поэтом школы.

— Идет! — крикнул Толя и хлопнул Женю по плечу. Толя был или считал себя продуктивней Жени.

— Только с одним условием,— добавил Женя.

— С каким?

— Все рифмы должны быть сверхдидактилические.

Бедный Толя опять онемел от возмущения. Он явно не имел никакого представления о сверхдидактилических рифмах.

— Формалист проклятый! — наконец выпалил он, не давая себя провести такими дурацкими условиями,— берем любую тему! От Красной площади до Красной Испании! Кладу тебя на лопатки!

Бедняга Толя в отличие от Жени совершенно безуспешно ухаживал за девушками. Угрожающие стихи относительно финского ножа и мяса любимой тоже не способствовали успеху у девушек. Кармен или другой любительницы сильных страстей в доступном Толе окружении не находилось.

Однажды в школьной стенгазете Женя напечатал на Толю такую эпиграмму:

«Девушки, Толя! — Музы вскричали и в чащу!
Толя, блаженный, стоит. Снова в руках пустота».

Случайно при мне Толя прочел эту эпиграмму и явно не придал ей большого значения.

— Блаженный! — презрительно фыркнул он, обращаясь ко мне, как к человеку, хорошо знающему обоих.— Кто из нас блаженный?! Люди не видят себя со стороны!

С этим он ушел. Ничто не предвещало бури, но буря разразилась.

Толя не обратил внимания на двойной смысл эпиграммы. А потом, когда на переменах девушки стали толпиться у стенгазеты и, хохоча, повторять ее, он заклокотал.

Через одного своего поклонника он вызвал Женю на дуэль — драку. Бедный Женя не на шутку растерялся. В отличие от Фальстафа он не был трусом. Я был с ним в горах, и он, как козел, вскарабкивался на такие скалы, куда не всякий альпинист решится взойти. Но драка? Это хаос, дисгармония. Нет, нет, это ему никак не подходило.

— О, менш, во цу диз лерм? — обратился он ко мне, тревожно трогая волосы, как бы предчувствуя, что они могут пострадать.

Я пытался уладить дело, но Толя отказался со мной говорить и выставил для переговоров своего поклонника-секунданта. Я был ему неприятен сейчас не столько как друг Жени, сколько как человек, знающий, что он не сразу обиделся на эпиграмму. Тут была своя тонкость.

Я предложил секунданту принести из спортзала перчатки, песочные часы и провести бой из трех раундов по три минуты. Секундант пошел советоваться с оскорбленным поэтом. Мы ждали. Ответ его был суров и четок: песочные часы — да. Перчатки — нет. Бой до третьей крови.

Мы договорились, что поединок произойдет в пять часов вечера на волейбольной площадке рядом с детским парком.

— Ты же умница, Женя,— укорял своего друга Алексей, узнав о дуэли,— неужели ты будешь драться с этим шибздиком. Плюнь! Он же вообще не человек.

— Меня вынуждают,— оправдывался Женя,— ты бы ему это сказал!

Кстати, в субботу предстоял школьный вечер, где должны были выступить оба поэта. Толя обещал в случае отказа от дуэли сделать на этом вечере такое заявление, после которого Жене только и останется перейти в другую школу.



Коли, как обычно, на занятиях не было. Когда мы пришли, он сидел на веранде, читая книгу и покручивая ручку своей скрипучей кофемолки. Он выслушал нас, не переставая крутить ручку и оглядывая нас своими разумно-лихорадочными черными глазами. Потом он сказал:

— Эпиграмма прекрасная. К сожалению, по этикету, принятому у французов, она может быть поводом для дуэли. Условие драться до третьей крови вообще безграмотно. Дерутся или до первой крови, или до смерти одного из противников. Ты, Витя, мог бы об этом знать как дворянин. Так что смело отвергайте это условие.

Кстати, античный мир вообще не знал, что такое дуэль. В те времена только государство могло отнять честь у человека. Сдается мне, что мы вернулись в античность, Джугашвили отнял у нас честь. Но, серьезно говоря, так оно и было. В Афинах Крат, получив по морде, привесил к месту фингала дощечку с надписью — «Это сделал Никодромос». Он ходил в таком виде по городу, и афиняне сочувствовали ему и возмущались хамством Никодромоса.

— А кто такой Крат? — спросил Алексей.

— Циник,— небрежно кивнул Коля, взглянув на Алексея, и продолжал: — Сенека любил говорить...

— Если вы, светлейший князь,— обиделся Алексей,— встали сегодня не с той ноги, я могу удалиться.

С этим он встал, повернулся и пошел своей четкой, независимой походкой. Коля с трудом покинул античный мир и осознал, что случилось.

— Алексей, вернись! — закричал он и, бросив мельницу, кинулся за ним.

— И вскрикнул внезапно ужаленный князь,— не удержался Женя, несмотря на опечаленность предстоящими делами.

Коля догнал Алексея и, сумев его остановить, стал объяснять, что под циником он имел в виду не Алексея, а Крата, который был представителем философской школы циников, или киников, возникшей в Греции после Пелопонесской войны.

— Что ж, я такой кретин, что не знаю о философах-циниках,— бормотал Алексей, возвращаясь вместе с Колей на веранду и голосом показывая, что другой на его месте и теперь мог бы обидеться, но он уж привык,— ты бы так по-человечески и сказал...

— Женя,— мимоходом бросил Коля,—твоя последняя острота—настоящая плоскодонка. Возможно, для кубанских плавней она и годится, но здесь у нас на Черноморье плоскодонки не проходят. Потрудись оснащать свои остроты килем... Так вот, Сенека говаривал: «Оскорбление не достигает мудреца». Но Толя не Сенека. Оскорбление достигло с соответствующей быстротой. Придется драться. Я не хочу принимать участие в этом зрелище черни. Но ты, Витя, будешь секундантом и отвечаешь мне за голову Жени.

— О, менш,— воскликнул Женя,— неужели дело может дойти до головы?

Я успокоил Женю и стал обучать его простейшим правилам защиты. От приемов атаки он с негодованием отказался.

Потом я, Женя и Алексей втроем пошли в спортзал. Пока я доставал часы, Алексей и Женя наблюдали за спарринговыми боями.

— Лучше бы в перчатках,— задумчиво вздохнул Женя. Он понял, что в перчатках почти невозможно ухватиться за волосы противника.

— Поздно,— сказал я, и мы вышли.

— Умный человек, а пошел на поводу у этого идиота,— всю дорогу попрекал Женю Алексей, при этом сам вышагивая своей отчетливой походкой, как бы отсекая и отсекая от себя глупую навязчивость окружающего мира.

В парке нас уже ждали. Как только я перевернул песочные часы, Толя рванулся, как рыжий боевой петух. В первую минуту Женя растерялся и получил несколько ощутимых ударов. Но потом он его отбросил. Боясь, как бы в схватке не пострадали его волосы, Женя неожиданно правильно построил бой. Используя преимущество своих длинных рук, он брезгливыми ударами-толчками отбрасывал Толю, и тот уже никак не мог добраться до его лица.

После второго раунда они оба смертельно устали. К счастью, дело не дошло даже до первой крови. Уже обоим драться ужасно не хотелось, и тут хитрый хохол придумал выход.

— Хочешь,— сказал он Толе, вытянув ноги,— они сидели рядом на траве,— я на вечере в субботу прочту свою эпиграмму так:

«Девушки, Женя! Музы вскричали и в чащу!
Женя, блаженный, стоит. Снова в руках пустота».

— Конечно,— завопил наивный Толя,— тем более это чистая правда!

— Тогда целуйтесь,— сказал я, изо всех сил сдерживая смех.

— Зла не держу! По-пролетарски! — крикнул Толя и, сидя облапив Женю, поцеловал его. Женя слегка растерялся.

— Наш первый в жизни поцелуй,— сказал он, оправившись от растерянности и снова насмешничая. Он явно намекал, что первый в жизни поцелуй Толи пришелся, увы, на Женю.

— Опять начинаешь? — насторожился Толя.

— Первый поцелуй поэтов,— пояснил Женя.

— Это другое дело,— сказал Толя, оглядывая своих поклонников.

На вечере в субботу вся школа уже знала о том, что предстоит. Когда высокий, красивый Женя, близоруко щурясь в зал и поминутно трогая шевелюру, стал читать юмористические стихи и последним прочел эпиграмму, теперь как бы на самого себя, зал грохнул от хохота. Сейчас эпиграмма прозвучала как утроенная насмешка.

— Нет, Толя! — с глупой вероломностью выкрикивали некоторые девушки с места.

Толя на эти выкрики не обращал внимания. Он сиял от восторга и озирался на своих поклонников.

— Но пасаран! — кричал он сквозь общий хохот и вздымал сжатый кулак.— Я его вынудил!

* * *

Ко мне Коля относился сдержанней, чем к Алексею и Жене. Мое увлечение авиацией и спортом он рассматривал как уступку черни.

— Энергия мышц не усиливает энергию ума,—шутил он,— а невозможность воспарить духом не заменишь самолетом.

Меня эти шуточки нисколько не огорчали. Меня огорчало другое. Если вдруг возникали политические разговоры вне нашей среды, Коля как-то легко перестраивался под общую пошлость и точно угадывал, на какую степень пошлости нужно перестроиться именно в этой среде. Ну, разумеется, для нашего слуха он иронизировал. Но иногда и не иронизировал. Конечно, отсутствие иронии тоже можно было рассматривать как утонченную форму иронии, но все же, все же...

Я сам в себе чувствовал эту давящую иррациональную силу, но что-то во мне вызывало бешеное сопротивление ей, и иногда оно выплескивалось в виде слов, которые не принято говорить в малознакомой компании.

— Тебя, Карташов, чекисты заметут,— кричал Коля потом.— «Мухус—Магадан» будет твоим первым беспосадочным перелетом! И не будет снимка в «Правде»— Джугашвили облапил нового Чкалова! Ты же спишь и видишь такой снимок!



Разумеется, ни о чем таком я не мечтал.

— А твои улыбочки на уроках истории и литературы? — бывало, спрашивал я.

— Не ловится! — кричал он, яростно улыбаясь.— Улыбочки можно отнести за счет недостаточной подкованности преподавателя!

Пророчество Коли, правда, с большим опозданием, но сбылось. Как я сейчас понимаю, источником всплесков моих откровений была еще и неосознанная потребность уважать людей. Доверяя людям, я как бы заранее демонстрировал уважение к их порядочности и призывал держаться уровня этого уважения. После тюрьмы, хотя и время изменилось, я стал осторожней. И знаю, что на столько же обеднил себя.

...Время от времени к Коле заходил единственный букинист нашего города. Звали его Иван Матвеевич. Это был хромоногий человек на деревянном протезе со светлыми глазами и дочерна загорелым лицом от вечного стояния под открытым небом над желтой, перезрелой нивой своих книг. Время от времени он приходил к Коле за покупками. Иногда Коля сам, желая у него приобрести ту или иную книгу, менял ее на свою. Имея в виду его деревянную ногу и свирепый океанский загар, мы его между собой называли пиратом Сильвером.

Однажды мы были свидетелями забавной сцены. Коля хотел приобрести однотомник Пастернака, включающий почти все его стихи, написанные до 1937 года, и отдавал за него пирату два тома Карлейля. Пират требовал третий том.

Забавность их торга заключалась в том, что каждый унижал именно то, что хотел приобрести. Пират, уважая в Коле равного себе знатока книг, сам Коля над этим равенством посмеивался, называл его по имени-отчеству.

— Поверьте мне, Николай Михайлович,— говорил пират,— цена на однотомник Пастернака будет неуклонно расти, учитывая, что его больше не издадут. Это их ошибка. А Карлейль, что ж, Карлейль... Это давно прошедшие времена, и, если строго говорить, он же, в сущности, не историк...

— То есть как не историк,— возмущался Коля,— вас послушать, так кроме Покровского не было историков.

— Николай Михайлович, вы же образованный человек,— говорил пират,— вы прекрасно знаете, что Карлейль скорее поэт истории, нежели историк. Да и во всем городе навряд ли найдутся еще два человека, которые о нем слыхали... Продать его будет чрезвычайно трудно, разве что отдыхающим... Но у них каждая копейка на учете...

— Ну, конечно,— выпалил Коля в ответ,— Мухус только и делает, что клянется именем Пастернака! А поэтический взгляд на историю и есть единственно возможный взгляд... Всю правду знает только бог!

— Кстати, учтите.— Пират снизил голос и вопросительно посмотрел на нас. И хотя он прекрасно знал, кто мы такие, но взгляд его означал: не изменились ли мы со дня его последней встречи с Колей?

— Свои, свои! — раздраженно пояснил Коля.

— Так вот, учтите,— тихо сказал пират,— Пастернак ни разу не воспел Сталина. Это о чем-то говорит?

Он явно решил сыграть на ненависти Коли к Джугашвили. Но Коля не дал сыграть на этой струне.

— Пока жив тиран,— безжалостно осадил он пирата,— никогда не поздно его воспеть.

Пират до того огорчился таким ходом дела, что забыл об осторожности.

— Николай Михайлович, это несправедливо,— сказал он крепнущим от обиды голосом,— если уж он его в тридцать седьмом году не воспел, нет никаких оснований подозревать...

— Да вы что думаете, я не знаю творчество Пастернака? — перебил его Коля.— У меня почти все его книги есть. Конечно, прямых од он не писал, но есть одно весьма подозрительное место...

— Николай Михайлович, такого места нет!

— Иван Матвеевич, не спорьте! Я с этой точки зрения тщательно профильтровал его творчество. В цикле «Волны» есть одно место, на котором прямо-таки застрял мой микроскоп.

— Нет там такого места, Николай Михайлович!

— Иван Матвеевич, почему вы нервничаете? Однотомник у вас в руках. Да я и наизусть помню это место. Пастернак, говоря о неких условиях становления человека в Грузии, кстати, мы, живущие здесь, этих условий как-то не приметили, пишет:

Чтобы, сложившись средь бескормиц
И поражений и неволь,
Он стал образчиком, оформясь,
Во что-то прочное, как соль.

— Ничего себе образчик! Фальшь! Фальшь! Замаскированная лесть!

— Николай Михайлович, это придирка!

— Это не с моей стороны придирка,— парировал Коля,— это с его стороны притирка!

Мы рассмеялись неожиданному каламбуру, и пират помрачнел.

— Зачем же тогда вы его берете? — сказал он.

— Затем, что он настоящий поэт. А вы из него делаете Христа.

— А ваш Карлейль с его высокопарностями...

Коля в конце концов победил. Он приобрел однотомник Пастернака за два, а не за три тома Карлейля, как хотел пират.

* * *

Теперь о главном. Девушку звали Зина. Первым с ней познакомился и влюбился в нее Женя. Она училась в другой школе. Так как такое с Женей случалось и раньше, мы посмеивались над ним. Особенно над его рассказом о том, что он влезает на платан, растущий возле ее дома, и оттуда, с ветки, заглядывая в ее комнату, делает с нее зарисовки. Насчет зарисовок мы сильно сомневались, но то, что он влезал на дерево и оттуда вглядывался в ее комнату, чтобы узнать, кого она на этот раз пригласила в гости, было похоже на правду. Кстати, и позже его насмешливый карандаш никогда не делал с нее набросков.

Потом Женя как-то привел в ее дом Алексея и Колю, и они тоже влюбились. У меня было меньше времени, я ходил в спортзал и, наверное, потому попал к ней позже. Так что был промежуток, когда я насмешничал над такой повальной влюбленностью.

А потом мы пришли к ней в гости, и я увидел ее. Стройная, резвая кареглазая девушка с каштановой прядью на лбу встретила нас. На ней был серый свитер и серая юбка. Протягивая руку для знакомства, она просияла глазами с каким-то сладящим любопытством, как если бы я был первым мальчиком, с которым она знакомится впервые в жизни. Нет, сказал я себе, совсем не обязательно влюбляться, она вполне переносима, даже с запасом.

Так началось наше знакомство. Мы гуляли по набережной и по городу, пили чай у нее в комнате, танцевали, провожали ее в музыкальную школу. И я как будто ничего не чувствовал. Мне только



нравилось очаровательное свойство ее глаз видеть то, что делается сбоку. Идешь с ней или сидишь в ее комнате рядом, она с кем-то разговаривает, а ты в то же время чувствуешь, что ее глазок под мохнатыми ресницами все время видит тебя. Зачем ему надо видеть тебя — непонятно, но зачем-то надо. Я никогда точно не мог вспомнить мгновения перехода в состояние влюбленности.

Помню лунную ночь, равномерные вздохи прибоя, мы на скамейке, и она нам гадает. Дошла очередь до меня. Я подсел к ней. Может, уже был влюблен, потому что было ужасно приятно подсесть к ней. И вдруг впервые в жизни таинство прикосновения девичьих пальцев к ладони. И другая рука ее как-то по-хозяйски поворачивает мою ладонь к луне, чтобы яснее различать на ней линии судьбы. И легкое, странное, летучее прикосновение тонких пальцев, и взгляд потемневших глаз исподлобья, и смугло голубеющее в лунном свете лицо, и нежный лоб, и темная прядь у самого глаза, и слова о моей судьбе, строгая, горькая, родственная заинтересованность в моей судьбе. Может, тогда? Или позже, когда она у себя в училище играла «Вальс-фантазию» Глинки? Нет, не знаю. Просто ты однажды просыпаешься утром и точно знаешь, что влюблен, а когда это случилось, не знаешь. Вероятно, это случилось ночью, когда ты спал.

Одним словом, начался золотой кошмар. Дело дошло до того, что однажды вечером, идя к ней домой, я каким-то образом проскочил ее улицу и в городе, где каждый переулочек исходил сто раз, запутался. Это было невероятно. И от самой реальности этого безумия я совсем потерял голову и блуждал в ужасе, что вот так и не найду ее дома и не увижу ее сегодня.

В конце концов мне хватило сообразительности решить, что если я буду спускаться вниз по улице, то обязательно выйду к морю и тогда разберусь, что к чему. В страшном возбуждении я добрался до моря, и, словно могучая стихия сразу оздоровила меня, я мгновенно узнал часть берега, на которую вышел, и все стало на свои места, все улицы, глядевшие на меня с выражением враждебной странности, превратились в старых, милых знакомцев. Это было какое-то наваждение. Черт попутал, говорят в народе.

Зина жила в верхней части Мухуса на тихой, обсаженной платанами улочке. Небольшой травянистый двор, виноградная беседка и двухэтажный деревянный дом, на верхнем этаже которого ее семья занимала трехкомнатную квартиру. Часть стены, обращенная к улице, и вся лестница были оплетены глицинией. Видно было, что хозяин дома, у которого они снимали квартиру, любовно следит за своим зеленым усадебным островком.

К этому времени все мои друзья успели признаться ей в любви и все получили мягкий отказ. Так что дружеские отношения не менялись. Было похоже, что друзья мои готовы заново пройти программу влюбленности, снова признаться ей в любви и, как бы сдав переэкзаменовку, перейти в счастливый класс.

— Тоже мне, дворяне из девятнадцатого века,— ворчал Коля, получив отказ,— наш род княжил с пятого...

И тут же взвился, вспомнив соседа:

— Мир еще не знал такого подлеца! Вчера играем с ним в шахматы. Его король буквально зажат моими фигурами. Но надо мной висит мат в один ход ладьей. Стоит мне сдвинуть пешку, и этот липовый мат сгинет. Но я решил: зачем, когда я его сейчас заматую? Я: — Шах! — он, подлец, находит клетку. Я: — Шах! — он, подлец, опять находит клетку. И тогда я, забыв, что надо мной висит, делаю предварительный ход, чтобы покончить с ним вторым ходом. И тут он тупо ставит мне мат. Ну, я зевануl! Браво! Браво! Керенский на

белом коне! Так этот подлец, знаете, что мне говорит в утешение: «Все равно у вас было все плохо».

Это у меня было все плохо?! Я чуть сознание не потерял от возмущения! И эти люди с таким пониманием реальности правили Россией?! Правда, недолго! Не триста лет! Даже не триста дней! Джугашвили, где ты? Возьми его!

Кстати, чуть не забыл. Однажды Александр Аристархович, заметив, что мы на веранде играем в шахматы, оставил свои ведра и поднялся к нам. Он стал с нами играть, и руки у него в самом деле заметно дрожали, хотя это было вполне терпимо.

Все мы ему проиграли, и только один Женя, не обращая внимания на его руки, выиграл. Он играл примерно на нашем уровне, но гораздо меньше нас проявлял интерес к шахматам. У Александра Аристарховича ему захотелось выиграть, и он выиграл.

— У вас оригинальное шахматное мышление,— сказал ему Александр Аристархович,— вам стоит всерьез заниматься шахматами.

— Да,— согласился Женя и начал дурачиться,—девушки так и говорят про меня: «Наш Алехин».

— Вы тренируете команду школьниц?— спросил Александр Аристархович.

— Тренирую,— подхватил Женя,— в моей команде есть и две студентки. С дебютами у нас все хорошо. Но дальше беда! Они никак не хотят идти на жертвы.

— Умение жертвовать,— важно заметил Александр Аристархович,— это достаточно высокая стадия шахматного мышления... Ничего... Со временем научатся...

Видя наши корчи, он что-то почувствовал, но не мог понять что.

— Остается надеяться,— вздохнул Женя,— но ведь лучшие годы проходят, Александр Аристархович. Согласитесь, обидно.

— Ну, что вы, у вас все впереди,— засмеялся Александр Аристархович, продолжая что-то чувствовать.— Спасибо, ребята, за удовольствие. Я пойду...

С этими словами он покинул веранду, всей своей солидно удаляющейся фигурой как бы говоря: нет, нет, все было прилично.

...Однажды во время вечеринки у Зины в комнату вошел ее отец. Кроме нас, там было еще несколько мальчиков и девушек. Некоторые танцевали. Отец ее оказался мужчиной среднего роста, ладным, спортивным, с быстрыми насмешливыми глазами. Мы о нем знали только то, что он крупный банковский чиновник.

— Рад познакомиться,— сказал он мне просто,— я давно знаю вашего отца.

Он оглядел комнату дочки. На диване в окружении мальчиков и девушек сидел Коля и витийствовал. Рядом стоял Алексей. Тогда как раз был у них период страстного увлечения символистами, которых Коля при полной поддержке Алексея через полгода проклял. Идея проклятия была такая: декаданс из искусства, как зараза, перешел в политику и оттуда проник во дворец в виде гигантского микроба, Распутина. Благодаря всему этому часть нации потянулась к лжездоровью, понятно кого. Но это потом, а сейчас сквозь музыку «Рио-Риты» доносился страстный голос Коли:

Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры...

Алексей слушал его с выражением горестной сумрачности, всем своим обликом показывая жертвенную готовность взвалить на свои плечи увесистые светильники культуры.

— Это, конечно, князь,— быстро определил отец Зины,— а брюки кто ему мешает погладить, большевики? Или это знак протеста? А этот мрачный малый, вероятно, бомбист!



Он перевел взгляд на танцующих. Женя, конечно, танцевал, но не с Зиной, а с одной из ее подружек. Танцевал он прекрасно и, время от времени с улыбкой наклоняясь к своей девушке, что-то ей интимно нашептывал. Потом он вдруг озирался, близоруко щурясь, находил глазами Зину, бросал на нее несколько тоскующих взглядов и снова, склонив свою лобастую голову, начинал что-то нашептывать своей девушке.

— А это, видимо, ваш художник,— кивнул отец Зины на Женю,— хорошо танцует... Хорош... Хорош... Так, так... Понятно... И о хлебе насущном не забывает, и о дальней цели помнит.

Я расхохотался, до того точно он схватил облик Жени. Услышав мой хохот, Зина бросила своего мальчика и подбежала к нам.

— Что папа сказал? Что? — пристала она ко мне, переводя свой сияющий взгляд с меня на отца. Я ей передал слова отца, и она, закинув голову и блестя зубами, стала смеяться всем лицом, всем телом, как смеялась только она. От смеха не в силах вымолвить ни слова, она кивками головы подтверждала тонкость наблюдений отца и, продолжая смеяться, повернулась к танцующему Жене. Женя, услышав взрыв ее хохота и видя, что она смотрит в его сторону, придал своим танцевальным движениям оттенок усталого, вынужденного автоматизма и издали болезненно ей улыбнулся, как бы говоря: радуюсь твоему смеху, превозмогая собственные страдания. Это его новое выражение лица вызвало новый взрыв смеха, тут Женя, почувствовав какую-то опасность, перестал улыбаться и, подтанцевав к нам, спросил у меня:

— О, менш, во цу диз лерм?

— Ой, папа,— сказала она, наконец, вздохнув и слегка прикрывая ладонью губы отца, в том смысле, чтобы он все-таки не слишком далеко заходил в своей критике и не обижал Женю.

Кстати, чуть не забыл. Женя читал нам стихи, посвященные Зине. Вообще, перед тем как читать новые стихи, он имел привычку говорить одну и ту же фразу:

— Похвалу принимаю в любом виде. Критику — только умную.

Стихи, посвященные Зине, казались мне прекрасными. Когда он их читал, меня охватывало пьянящее ощущение одновременно восторга и ревности. Удивительно было то, что к живому Жене с его ухаживаниями я не чувствовал ревности, а к стихам чувствовал. В стихах казалось, что он глубже ее понимает и потому достойней ее. Это было так странно совмещать с его насмешливым обликом. И все-таки восхищение всегда побеждало ревность. Я от души восторгался его стихами. Мне и сейчас думается, что для шестнадцатилетнего мальчика он писал просто хорошо.

И тоску никуда не затискаю,
Всюду, всюду глаза с поволокою.
Никогда она не была близкою,
А теперь стала вовсе далекою.

А сейчас снова об отце Зины. В другой раз, войдя в комнату дочери и увидев у меня в руке томик Зощенко, он взял его у меня, листанул оглавление и, возвращая, сказал:

— Ваш знаменитый Зощенко...

— А вам не нравится? — спросил я.

— Конечно, юмористика,— сказал он и вдруг добавил: — Когда нация в бесчестии, у нее два пути: или учиться чести на высоких примерах, или утешаться, читая Зощенко... Но не будем заниматься поли-

тикой, лучше пойдемте в кухню лепить пельмени. У нас сегодня будут настоящие сибирские пельмени.

Он потащил нас на кухню лепить пельмени, с большим юмором, знаками давая нам понять, чтобы мы не тревожили Колю. Юмор заключался в том, что он свои гигиенические соображения выдавал за уважительный трепет перед учеными разговорами. Коля в это время, сидя на диване, проповедовал девушкам своего любимого Гаутаму Будду, учение которого прямо-таки отскакивало от юных девушек, а Коля вдыхал аромат пыльцы, сбитой этими отскоками. Милые лица девушек словно говорили: «Ты нам немножко Будды, а мы тебе немножко пыльцы».

— Банкир с головой,— признал Коля, когда я ему на следующий день передал отзыв о Зощенко,— но он слишком рационалистичен... Зощенко — это прорыв, эксперимент. Первая в мировой практике попытка создать серьезную литературу вне этического пафоса.

— А разве это возможно? — с такой личной обидой спросил Алексей, что в воздухе замаячил очередной уход с веранды.

— Иногда надо делать невозможное,— с неожиданным раздражением сказал Коля и стал проповедовать необходимость героического освоения тупиковых путей. Если б мы знали, что будет!

* * *

Она, конечно, не могла не понимать, что я безумно влюблен. Иногда она оказывала мне знаки внимания, а порой, словно устав от моего назойливого присутствия, целыми вечерами не смотрела в мою сторону. Когда мы покидали ее дом, на меня вдруг находила такая тоска, что она это замечала, хотя я, конечно, старался скрывать от нее всякое внешнее проявление моего чувства.

— Выше голову, Карташов! — вдруг говорила она, проводив нас до крыльца, и, мгновенно трепанув меня по волосам, вбегала в дом.

Порой я сам целыми вечерами, собрав всю свою волю, не смотрел на нее, пытаясь увлечь разговором какую-нибудь из ее подружек. И вдруг она подходила к нам и тихо усаживалась рядом. Иногда я ловил на себе ее долгий, задумчивый взгляд. Взгляд этот был приятен пристальностью к чему-то во мне и тревожил, как если бы она убедилась, что не нашла во мне того, что пыталась разглядеть. Я не мог ничего понять.

Однажды, когда мы гуляли по городу и подошли к маленькой корявой сосне, росшей на краю тротуара, я как-то автоматически обошел дерево, и оно нас на мгновение разделило. Зина вдруг побледнела и сказала: «Это к разлуке...»

Тогда я подивился силе ее капризного суеверия. Я не понимал, какая страстная натура живет в этой резвой, веселой девушке!

Разумеется, мы хотели ее видеть гораздо чаще, чем это было возможно. Я помню долгие зимние вечера, когда мы бесконечно ходили по городу, до оскомины во рту пережевывая наши проклятые вопросы, одновременно мечтая встретить ее где-нибудь с подругами и чувствуя беспрерывно подсасывающую душу тоску по ней.

И сила этой тоски и отчаяния порой была такая, что, мысленно воображая Зину, хотелось схватить ее за эту каштановую прядь, падающую на лоб, и проволочить по городу, пока она не оторвется. Или, схватив обеими руками, до отказа раздернуть в обе стороны ее длинное коричневое кашне, лихо повязанное поверх воротника пальто, или в крайнем случае взять и вдавить в лицо этот аккуратненький, не по чину самостоятельный носик! Обезобразить ее, чтобы не мучила!



И как забывалось это мучение, как все расцветало, брызгалось свежестью жизни, если она вдруг появлялась с подружками из-за угла! Каким ветерком обвевало душу, раздувая в ней веселые угольки надежды, как глупо расползалось лицо в благодарной улыбке и как стыдно было на глазах у ее переглядывающихся подружек становиться столь бессовестно счастливым!

Но так бывало редко. Чаще всего мы ее нигде не встречали. И тогда, перед тем как разойтись по домам, мы подходили к фотоателье на набережной, где в витрине вместе с другими фотографиями был выставлен ее снимок.

Мы подолгу любовались ее лицом, таинственно оживающим в неровном свете фонаря, полуприкрытого раскачивающейся веткой эвкалипта. А с моря налетали холодные, сырые, соленые порывы пронизывающего ветра, и веера пальм, росших на тротуаре, издавали сухой, бронхиальный скрежет, и была юность, влюбленность, государственное сиротство и слегка согбенная под этим вера в свою обреченную правоту! Фотографию эту обнаружил, конечно, Женя.

Вся семья у нее была музыкальная. В ту зиму ее отец и мать играли в любительской постановке оперы «Евгений Онегин». Репетиции почему-то проводились в клубе Моряков, и Зина нас туда время от времени водила. Отец играл Онегина, а мать играла Татьяну.

Бедные кулисы, бедная сцена с глупой трибункой в углу, жалкие костюмы, но музыка Чайковского, и она рядом в сером свитере и серой юбке. Вечно меняющая позу, покашливающая в коричневое кашне, в клубе было прохладно, отбрасывающая его край, покусывающая губы от волнения, одновременно все время видящая меня рядом своим непостижимым карим глазком, встряхивающая головой и отбрасывающая прядь со лба, в ужасе закрывающая уши, если на сцене сфальшивили, кричащая туда или, если ее не понимали, вскакивающая и бегущая с развевающимися концами длинного кашне, вылетающая на сцену, свет которой почему-то с особой жадностью озарял и ловил ее быстрые, цветущие ноги! Движения, движения, движения и моя влюбленность, с пугливой цепкостью следящая за ними!

От ее близости, от самого ее запаха, от музыки Чайковского, от изображения нашей потерянной пушкинской родины в голове все перепутывалось и, перепутываясь, оживало странной явью. Оттого, что Онегина и Татьяну играли ее родители, уже стареющие, нежно любящие друг друга муж и жена, казалось, что и Онегин с Татьяной были счастливы в настоящей жизни, а просто так, по таинственной воле поэта, сыгран теневой вариант их судьбы, и сам Пушкин не убит, и с ними наша прежняя родина, а все, что с ней случилось, это только сон, только теневой вариант судьбы, который мог бы случиться, но, к счастью, не случился, и милый чудаковатый мсье Трике — это Париж, влюбленный в неповторимую поэтичность Татьяны-России. Как это было давно, но это же было!

Зина думала обо всем примерно так же, как и мы, но терпеть не могла политические наши разговоры.

— Как можно все время об одном и том же,— встряхивала она головой и предлагала пойти в кино, выпить лимонад Логидзе, нагрянуть к одной из подруг или даже испечь пирог, если мы после долгой прогулки соглашались подождать.

— Мой папа говорит,— любила она повторять в таких случаях,— что мы, русские, сначала разучились жить, а потом научились жить химерами.

Бывая у подруг Зины, детей простых советских служащих, мы заметили, что все они гораздо избалованней ее, просто неумехи, и их матери дома все за них делают.

Мы обсудили между собой этот вопрос, и Коля ехидно заметил:

— Все обстоит просто. Бывшие кухарки, потеряв своих барынь, стали кухарками своих детей. А бывшие барыни, потеряв кухарок, сделали кухарками своих дочек.

Иногда мы всей гурьбой заходили к Коле поболтать и выпить кофе по-турецки. Однажды мы там застали старушку-кибениматограф. Зина ей явно понравилась. Узнав, чья она дочь, старушка-кибениматограф, хитренько взглянув на шмыгнувшего в комнату Колю, быстро прошептала ей:

— Выходи за Колечку замуж. В будущем. Ничего, что он князь. Сейчас, милочка, это не имеет большого значения.

Мы захохотали достаточно нервным смехом.

— Чем я заслужила такую честь? — смеясь спросила Зина.

— Заслужила,— избавляя ее от комплексов, уверенно кивнула старушка и быстро приложила палец к губам, потому что в дверях появился Коля.

Весной, когда все расцвело, комната Коли как бы стала еще более затхлой, и Зина не выдержала.

— Мальчики,— сказала она,— дальше терпеть нельзя! Это не дом, а притон бродяги!

Она сорвала с вешалки старый халат Колиной мамы, почти дважды завернулась в него и крепко перепоясалась. Со времени смерти мамы Коли, а с тех пор прошло четыре года, полы в комнате, конечно, никто не мыл. Усохший дворец буфета был покрыт таким слоем пыли, что хранил на своей огромной поверхности все рисунки, нанесенные на него пальчиком его сестренки. Вглядевшись в эти рисунки, можно было проследить за развитием ее воображения от наскальных примитивов до первых школьных сюжетов.

Коля был не на шутку взбешен этим, как он сказал, чекистским вторжением. Но Зина в ответ только смеялась. В знак протеста Коля уселся на веранде с книгой и ни разу не взглянул в нашу сторону.

С очаровательным вкрадчивым коварством Зина подошла к горе книг, достававшей ей до плеча, и толкнула ее руками, как бы разыгрывая сцену из неведомой пьесы «Молодость и мудрость». Вершина рухнула, и вулкан осел, выбросив в потолок вялое облако истлевшей мудрости.

Зина громко чихнула и, расхохотавшись, взялась за тряпку. Книги, сохранившие обложки, тщательно протирались и водружались на кровать. Книги же, лишенные обложки, не только не удостаивались быть протертыми тряпкой, но сами встряхивались, как тряпочки, и укладывались на кровать. Три из них, наиболее ветхие, не выдержав такой физкультуры, частично лишились своих потрохов, а она, поощряемая нашим хохотом, возвращала им внутренние органы, не слишком заботясь об их естественном расположении. С выражением на лице: «Сами разберутся, если живы!» — она поспешно вкладывала в них вывалившиеся страницы, отправляла на кровать и бралась за новые. Коля, конечно, этого не видел.

Колина половая тряпка, найденная после долгих поисков под топчаном на веранде и с большой осторожностью отодранная от пола, совершенно не гнулась и была похожа на обломок глиняной стены со следами клинописи, не поддающейся расшифровке. Пытаясь вернуть ее к жизни и придать ей если не первоначальную, то хотя бы какую-нибудь эластичность, мы положили ее под колонку и пустили воду, рискуя не только смыть следы клинописи, но и вообще растворить в воде ее новую субстанцию.

Заняв половые тряпки у соседей, мы принялись отмывать полы. Когда я первый раз с ведром, наполненным грязной водой, подходил к помойной яме, я увидел дочь Александра Аристарховича. Шагах в десяти от меня, спиной ко мне, она стояла, прислонившись к шелковице, и всхлипывала. Появление Зины в доме у Коли да еще эта хозяйственная суета, а главное, что она облачилась в халат его матери, явно надломили ее.



Возвратившись в дом, я рассказал Коле об увиденном. Коля отбросил книгу и взвился, устремляя ярость по поводу нашего вторжения на свой Карфаген.

— Этот невежда,— закричал он,— злится на меня за то, что я избавляю его дочь от невежества! Я дал его дочери почитать книгу Гусева «Нравственный идеал буддизма». Этот кретин вернул книгу и стал объясняться. Сегодня я над ним издевался как никогда! «Коля,— сказал он,— зачем вы забиваете голову моей дочке реакционными вероучениями? Она же будущий педагог!» «Помилуйте,— говорю,— Александр Аристархович, по этому вероучению уже две с половиной тысячи лет живет треть человечества! Вам же, конечно, известно, что Гаутама Будда, кроме того что был великим философом, лечил больных и защищал угнетенных примерно за две тысячи четыреста лет до Маркса? Ведь вы же не станете отрицать признанное всеми историками, что правление первого буддийского царя Асоки было самым гуманным, разумеется, для того времени, а не для нашего?!»

Он надулся и сказал: «Это реакционное вероучение облегчило английскому империализму захват Индии».

Такого перехода я даже от него не ожидал. Ну, тут я ему выдал.

— Да,— говорю,— Александр Аристархович, относительно того, что буддизм зародился в Индии, вы попали в точку. Но и точка, согласитесь, достаточно крупная. А в остальном вы не правы. К сожалению, Александр Аристархович, вам никогда не стать Буддой! Буддой, Александр Аристархович, вам не стать! — Он, конечно, не знает, что Будда означает — просвещенный. Не знает! Не знает!

— А я, Коля, и не претендую,— говорит он,— это мне странно даже слышать. Я только прошу насчет дочки...

— Нет,— говорю,— Александр Аристархович, Буддой вам никогда не стать!

Он ушел, видимо, решив, что я рехнулся, и наказал дочь. Вот она и плачет.

Пока Коля рассказывал, мы, переглядываясь, хохотали. Смех наш был следствием юмора, рикошетирующего от его рассказа к уборке его библиотеки. Дело в том, что одной из трех книг, не выдержавших Зининых встряхиваний, и была книга «Нравственный идеал буддизма». Хотя бедному проповеднику были полностью возвращены внутренние органы учения, однако явно не в первоначальном порядке. Так что, попадись Александру Аристарховичу эта книга после нашей уборки, он уже с полным основанием мог бы обвинить учение Будды в некоторой логической путанице.

Дополнительным источником юмора к рассказу Коли служило его собственное восприятие нашего смеха: то ли он стал намного остроумней, то ли мы, поумнев от соприкосновения с его книгами, лучше стали понимать его? Он так до конца и не решил, время от времени тревожно поглядывая на свою сестричку, которая слегка опьянела от всей нашей суматохи и каждый раз хохотала вместе с нами.

Наконец, отсмеявшись, мы взялись за половые тряпки. Пол, надо было еще до него добраться, наконец выскребли и вымыли. Под слоем многолетней грязи, как на раскопках, обнаружили великолепный паркет. Мебель была протерта, стены очищены от рыболовецких сетей паутины вместе с усохшими трупиками уловов, а книги стопками уложены возле книжных шкафов.

Незадолго до конца уборки Женя куда-то исчез и через полчаса вернулся с бутылкой вина и стал осторожно, как бокалы, выклады-

вать из карманов электрические лампочки. Издевательски бормоча: «Принесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры», он вывинтил на веранде и в комнате тусклые, замызганные лампочки и ввинтил сияющие, многосвечовые. Нас всегда удручали Колины лампочки, но мы как-то примирились с этим, чувствуя, что, если по этому пути идти, слишком многое придется преодолевать.

Мы весело распили бутылку вина. Коля, как всегда стоя, провозгласил первый тост за здоровье ее величества королевы Англии, подданные которой с полным правом утверждают, что их дом — это их крепость, поскольку к англичанину никто не может ворваться и под видом генеральной уборки устроить у него в доме повальный обыск.

Тут Женя в связи с тостом Коли вспомнил, что он, возвращаясь после покупки вина, подошел к колонке и полюбопытствовал о судьбе Колиной половой тряпки. По его уверению, она уже вяло пошевеливается под струей воды, хотя и уменьшилась до размеров мужского платка.

Он напомнил, что у Коли с носовыми платками всегда обстояло, мягко выражаясь, туговато, и предложил ему скорее вытащить ее из-под струи, а то за ночь она там полностью растворится или, что тоже не исключено, ее просто сопрут.

Тут вставился Коля, уже готовивший кофе над керосинкой, особенно радостно коптившей под обновленной верандой. Он давал голову на отсечение, что если кто и похитит его таинственное сокровище, то только не Александр Аристархович. Если, придя на утренний водопой, он обнаружит ее под колонкой и со свойственной ему проницательностью примет ее, к этому времени соответственно уменьшившуюся и даже побледневшую, за большой лепесток магнолиевого цветка, слетевшего с дерева, он может только взять ее в руки, понюхать, удивиться ее запаху, обрадоваться, что удивление его по поводу странности ее запаха в еще спящем доме никто не заметил, и, решив, что на данном этапе цветам магнолии дано указание именно так пахнуть, положит ее на место.

Закончив свой монолог, Коля разлил нам кофе по чашечкам и как всегда поставил свою турку прямо на стол, уже неоднократно, как старый каторжник, клейменный ее раскаленным днищем. По этому поводу Женя сказал, что если уж Коля дал буддийский обет никогда в жизни не пользоваться носовыми платками и если половая тряпка, уменьшившись до размеров носового платка, сохранила при этом свое великолепное свойство в сухом виде каменеть, то ее с завтрашнего дня можно использовать как подставку для Колиной турки. Его коптящая керосинка, заметил он, может быть использована для окончательного обжига уже окаменевшей тряпки. На этом импровизации на данную тему, вдохновляемые смехом Зины, были как будто исчерпаны.

Напившись кофе, Коля окончательно примирился с нами в духе буддизма и уже в собственном духе прочел нам лекцию о жизни и учении своего любимого Гаутамы

Наши отношения с Зиной, мучительные своей неопределенностью, в ту памятную на всю жизнь весну вдруг изумительно прояснились. Сейчас, когда я думаю о лучших минутах моей жизни, я вспоминаю не сладость первых поцелуев, а ее, когда она, быстро стуча каблучками, отбрасывая скользящей по перилам рукой фиолетовые кисти глициний, вихрем свежести слегала ко мне со второго этажа своего деревянного дома. Или позже, уже осенью, как бы со стороны, вижу нас обоих, притихших и взявшись за руки идущих по чистой улочке, усеянной листьями платана, шуршащими под ногами.

...— Я поняла, что это навсегда, понимаешь, навсегда и потому испугалась,— говорила она в наш первый вечер вдвоем. А потом сама поцеловала меня и добавила: — Ты папе тоже понравился...



Я ничего не говорил друзьям, но все было ясно и так. Милый Женя продолжал улыбаться своей лукавой улыбкой и по привычке трогал свои драгоценные кудри, словно, убедившись, что они на месте, убеждался сам, что мои успехи временны.

Алексей важно отвел меня к подножию магнолии и, покраснев и опустив голову, приказал:

— Дай клятву любить ее всю жизнь.

Я дал.

А Коля, конечно, был верен себе, хотя долго делал вид, что ничего не замечает.

— Авиация, спорт, женщина — полный совдеповский джентльменский набор,— сказал он с улыбочкой и с особенным бешенством накинулся на своего квартиранта.

В те времена, не знаю, помнишь ли ты, в дни советских праздников флаги вывешивались не только на фасадах правительственных зданий, но и частных домов.

— Он совсем спятил! — закричал Коля. — Он за три дня до Октябрьского переворота вывесил флаг! Кретин, не понимает, что такой наглый подхалимаж навлекает подозрение Чека! И на меня навлекает! Он же мой квартирант! Я ему говорю: — Что это вы, Александр Аристархович, так смело передвинули наш всенародный праздник? А ведь вождь учит, что историю нельзя ни ухудшать, ни улучшать. Любопытствую, что означает ваша поспешность? Улучшение истории или ее ухудшение? — я его загнал в ловушку! Ведь они считают, что Ленин мистически точно предугадал день! Любой ответ звучит двусмысленно! Он смутился, ужасно смутился!

— Я,— говорит,— Коля, еду в школу. Боюсь, что жена забудет.

— Так и забудет! Держи карман шире!

...Конечно, мы с Зиной любили говорить о будущем. Уже было твердо решено вместе ехать в Одессу — я в летное училище, она в мединститут. Мы целовались до умопомрачения, но все еще последнюю черту не переходили.

И вот после выпускных экзаменов мы идем на день рождения к ее подруге. У нас впереди вся ночь! Такого никогда не бывало! И мы знаем, что это будет наша ночь!

Подруга ее жила возле греческой церкви, совсем недалеко от Коли. Туда явилась вся наша компания, и было множество полузнакомых друзей ее подруги.

Столы. Салаты. Вина. Музыка. Смех. И рядом она в моем любимом платье, и ее горящее лицо, и видящий, обжигающий сбоку глазок, и отважная шея, и ледяная ладонь, почти беспрерывно ловящая мою руку под столом и сжимающая ее, и ощущение какой-то тревоги, переизбытка напряжения, грозящего непонятным взрывом.

После ужина начались танцы. Ее много раз приглашали, но она так и не встала с места. Особенно упорствовал один мальчик. Он даже разозлился, но потом отстал.

Слегка шаржируя, Женя начал набрасывать быстрым карандашом портреты мальчиков и девушек. И только один мальчик у него никак не получался похожим. Он несколько раз брался его рисовать, но рисунок не удавался. Возможно, сказалось, что Женя к этому времени слегка подпил.

И тут вдруг Коля сострил:

— Одно из двух: или у художника нет таланта, или у модели нет лица.

Все расхохотались. Смеялся и мальчик, чей портрет никак не получался. Видимо, он был уверен, что виновато не его лицо, а рука художника. Женя просто покатывался от хохота, настолько смешным казалось ему предположение, что у него нет таланта. Видя, что оба,

и художник, и модель, смеются, остальные начали находить в этом новый источник юмора и долго смеялись.

Смех уже начал угасать, как вдруг Алексей плеснул топливо в этот догорающий огонь. Краснея и опуская голову, он сказал:

— Возможен еще один вариант: и у художника нет таланта, и у модели нет лица!

Все грохнули, а Женя от смеха даже свалился со стула. Но мальчик, чей портрет не получался, вдруг страшно разобиделся, стал кричать, пробираться к выходу, отмахиваясь от тех, кто пытался его удержать. Но тут целая гроздь кричащих девушек в него вцепилась, и он позволил себя остановить.

Все успокоились и сели к столу. Я было подумал, что вот этой вспышкой и разрешилось то перенапряжение, которое я чувствовал. Но лицо Зины все так же пылало, ее карий глаз под мохнатыми ресницами все так же обжигал меня сбоку, и ладонь, сжимавшая мою руку под столом, была все такой же ледяной.

Ни с того ни с сего разговор зашел о киножурнале с докладом Сталина. Некоторые стали умильно упоминать якобы неожиданные сталинские слова и телодвижения: вдруг взял да и оглянулся на президиум (никто бы не подумал!), пошутил, улыбнулся, сам себе налил боржом, нет, сначала налил боржом, а потом выпил и пошутил, и все такое прочее, может, обдуманно рассчитанное им самим для оживления его тухлых слов.

И вдруг громкий голос Зины:

— А мой папа говорит: — Беглый каторжник управляет страной!

Сквозняк ужаса пробежал по комнате и разом сдунул все голоса. На некоторых лицах мелькнула тень отдаленного любопытства—разве так уже можно говорить?! — и тут же улетучилась. Тишина длилась пять-шесть невыносимых секунд, и было ясно, что каждый боится что-нибудь сказать, потому что первый, сказавший что-либо после сказанного, будет обязательно привязан к сказанному. И тут раздался спокойный голос Коли:

— Конечно, вождь семь раз бежал с царской каторги. Об этом неоднократно писалось в его биографиях. Жаль, что еще нет кинофильма о его героических побегах с каторги.

А лицо Зины еще несколько секунд пылало, словно она хотела сказать: — Нет, мой папа имел в виду совсем другой смысл! — а потом ее лицо погасло, она опустила голову, ее ледяная ладонь, сжимавшая мою руку, разжалась, и я сам схватил ее ладонь и сжал изо всех сил.

Компания, оцепеневшая было на минуту, словно облегченно вздохнув, лихорадочно зашумела. С какой грозной разницей звучит одно и то же понятие! Одно дело: вождь бежал с каторги! Другое дело: беглый каторжник управляет страной!

Начались танцы. Зина в передней нашла свою сумочку, я схватил плащ, и мы выскочили на улицу. На ходу, целуя ее, я упрекнул:

— Ты что, спятила? Разве так можно?

— А ты? А ты? — отвечала она, прижимаясь ко мне горящей щекой и сияя в полутьме глазами.— Ах, ничего! Князь меня спас!

За два квартала от дома ее подруги был тот самый парк, где когда-то Женя дрался со своим соперником. Мы быстро шли туда. Пройдя ближнюю часть парка, оборудованную для детских игр, мы углубились в него и уселись на скамейке под могучей секвойей. Впереди была целая ночь. Мы обнялись, и началось долгое истязающее блаженство, иногда прерываемое признаниями и разговорами о будущем. Кстати, тут я ей рассказал о дуэли Жени с Толей. Как она хохотала, как в темноте блестели ее зубы!



Где-то далеко от нас сидела какая-то компания. Оттуда время от времени доносились голоса. Я понимал, что это скорее всего хулиганы. Они меня не тревожили, но все-таки останавливали от последней смелости. Уйдут же они когда-нибудь, думал я.

— Сумка! — вдруг вскрикнула Зина, и я увидел тень человека, метнувшуюся от нашей скамейки.

Я вскочил и тупо побежал за ним. Он мгновенно растворился в темноте, а я, пробежав метров тридцать, споткнулся о какой-то корень и растянулся на мокрой земле. Ночь была пасмурной и иногда накрапывало.

Когда я вскочил, было уже совсем непонятно, куда бежать, да и тревожный голос Зины вернул меня к ней.

— Ой, хорошо, что ты пришел,— сказала она, прижимаясь ко мне,— бог с ней, с сумкой, там ничего не лежало... Я закричала от страха!

Человек этот скорее всего был из той компании и, услышав наши голоса, решил поживиться. Уже к скамейке он явно подполз, потому что когда я его заметил в темноте, фигура его разгибалась. Было неприятно думать, что кто-то к нам подползал, пока мы целовались.

— Пошли отсюда,— сказал я.

Парк упирался в поросший сосняком холм, и я знал, что на ровной вершине этого холма, где растет мимозовая рощица, мы найдем укромное место. Я взял ее за руку, и она покорно пошла со мной. Мы стали подыматься по крутому холму, покрытому опавшей хвоей.

В темноте подыматься было трудно, ноги соскальзывали с нахвоенного склона, но меня вдохновляло то, что нас ждет впереди, и она героически и безропотно следовала за мной. Иногда она останавливалась, чтобы вытряхнуть хвою из туфель, и пока она в полной темноте, сливаясь с этой темнотой, в которой, как в воде, слегка изгибаясь бледнели ее голые руки, стояла на одной ноге, держась за меня, и вытряхивала из туфель хвоинки, я осторожно целовал ее в затылок опущенной головы.

На самых крутых местах я выискивал какие-нибудь кусты и подтягивался на них, а потом протягивал ей руку и вытягивал ее к себе, на себя, и мы, разогнувшись на крошечной площадке и задыхаясь от крутизны подъема, яростно целовались, и я вдыхал смешанный с запахом хвои запах ее расцветающего и расцветающего в теплой темноте тела и пальцами, горящими и натертыми наждачной хвоей и колкими кустами, особенно чутко ощущал в объятиях чудо ее прогибающегося ребрами любящего тела.

Чувственный порыв освежал наши физические силы, и мы снова пускались в путь. Задумчиво шелестя на вершинах сосен, время от времени накрапывал дождь, но до их подножия он почти не доходил.

Вдруг мне показалось, что я слышу какой-то вкрадчивый посвист. Я прислушался. Он снова повторился где-то слева. Потом справа. Это был тихий пересвист по крайней мере двух человек.

Я ей ничего не сказал, чтобы не волновать ее. Мне было неприятно, что какие-то люди параллельно с нами, по обе стороны от нас, пробираются на холм. Я слышал о мерзавцах, которые охотятся в таких местах за уединившимися парочками, но юность, влюбленность, беспечность победили мою тревогу, и я решил, что, может быть, эти люди к нам никакого отношения не имеют. Этот еле уловимый посвист еще несколько раз повторялся, но Зина его не слышала или принимала за какие-то звуки летней ночи.

Мы выбрались на холм После сумрачного склона здесь сразу стало светлей. Дождь перестал накрапывать. Темнела трава, и на лужайке были разбросаны голубоватые на фоне травы легкие кусты мимозы.

Я огляделся и возле одного из кустов, место это показалось мне особенно уютным, расстелил на мокрой траве свой плащ. Я осторожно опустил ее и уже сам хотел сесть, но что-то заставило меня выпрямиться.

— Ты что? — шепнула она, глядя на меня снизу вверх темными, непонимающими и в то же время навсегда доверяющими глазами. Еще девушка, но уже как истинная женщина, она не понимала, почему я покидаю с таким трудом добытое гнездо и одновременно в голосе ее была та изумительная покорность развитой женской души, которая и порождает в мужчине настоящую ответственность. Это, конечно, я сейчас все осознаю, вспоминая ее облик.

— Подожди,— шепнул я ей и, оглядевшись, подошел к большому кусту мимозы, росшему в десяти метрах от нас. Только я сделал шаг за куст, как вдруг увидел перед собой на расстоянии вытянутой руки лицо хама. Вся большая фигура его, наклоненная вперед, и широкое лицо с мокрыми, прилипшими ко лбу волосами выражали подлый, пещерный азарт любопытства. Я замер, и мы секунд десять, не отрываясь, смотрели друг на друга. Наконец, скот не выдержал и, молча повернувшись, бесшумно исчез за другими кустами. Видимо, когда я столкнулся с ним, он только собирался выглянуть из-за мимозы и потому не заметил моего приближения.

Я вернулся к Зине. Ясно было, что нам оставаться здесь нельзя. Вспоминая, удивляюсь, но почему-то большого страха не было. Если б я один в таком месте столкнулся с ним, наверное, было бы гораздо страшней. Но тут и взволнованность, и готовность защищать то, что мне дороже всего в мире, и оскорбленность, что за нами следят какие-то мерзавцы, с какими-то темными целями, видимо, ослабляли страх.

— Смотри, что я нашла? — шепнула она мне, что-то протягивая.

Я наклонился. Две темные земляничины на стебельках торчали над ее сжатыми пальцами.

— Как мы удачно выбрали место,— сказала она,— это самые последние в сезоне. Одну тебе, другую мне. Почему ты не садишься?

Я отправил свою землянику в рот и спокойно сказал:

— Нам лучше уйти отсюда...

— Почему,— спросила она и, ухватив губами землянику, оторвала стебелек,— разве что-нибудь случилось?

— Лучше уйти,— сказал я и подошел к кусту мимозы. Я наклонился и, чувствуя лицом ласково лижущуюся мокрую зелень, выломал достаточно крепкую ветку, стараясь при этом как можно громче хрустнуть ею.

— Зачем тебе это? — спросила она с некоторым беспокойством.

— Пригодится,— сказал я громко и стал очищать палку от мелких веточек.

Она покорно встала, я надел плащ, и мы пошли назад. Сейчас в ее покорности была и усталость, и я подумал, что замучил ее, бедную, за эту ночь. Все же я об этом подумал мимоходом, потому что мысленно готовился к отпору, если они все-таки подойдут и пристанут к нам.

Но к нам никто не пристал, и мы снова вошли в сосняк. В темноте спускаться было еще трудней, но палка мне пригодилась. Я опирался на нее и тем самым давал Зине опереться всей тяжестью на свое плечо, и мы боком спускались вниз, порой оскальзываясь и скатываясь, как на салазках, на пластах хвои. В конце концов мы вышли в парк, и я бросил палку.

Снова стал тихо накрапывать дождик. Мы уже перешли в детскую часть парка, чтобы выйти на улицу. Я взглянул на ее бледное, осунувшееся лицо, вспомнил весь наш поход, и мне вдруг стало бе-



зумно ее жалко, и без всякого чувственного желания я обнял ее, и она бессильно склонила голову на мое плечо.

Целуя ее, я снова ощутил волнение и снова почувствовал оживающую встречную нежность, и волнение все нарастало, и дождик усиливался. Я быстро снял плащ и накинул на нее и снова обнял ее под плащом, а дождь не переставал идти, теплый, парной дождь, и волнение нарастало, и я целовал ее лицо и мокрую от дождя голову, пахучую, как букет, а дождь все не переставал идти, и я сквозь промокшую рубашку чувствовал очаровательное, уже торкающее прикосновение ее горячих рук, обнимавших меня, и вдруг заметил в десяти шагах от нас домик, в котором днем играют дети.

Демоны иронии подсказали мне решение. Я схватил ее за руку, и мы побежали к домику, и когда я впустил ее вперед, и она, наклонившись, входила в узкий дверной проем, рассчитанный на детей, она — умница! — уловила юмор мгновения и успела обернуться ко мне смеющимся ртом.

В домике выпрямиться было невозможно, и мы сразу расстелили плащ. Дождь близко, близко стучал о крышу, и был неповторимый уют домашнего очага, и в темноте ее пылающий шепот.

Мы очнулись от бодрого пения птиц, словно они, сговорившись, грянули разом. Мы выскочили из домика. Светало, и на небе не было ни единой тучки.

Во всем теле я ощущал незнакомую, пьянящую легкость. Мы молча и быстро шли к ее дому. Возле одного магазина сторожиха, окинув нас сонным взглядом, проворчала, как старая нянька:

— Охолодил ее, окаянный...

Мы рассмеялись и пошли быстрей. Я проводил ее до дому и пересек город, еще спящий, еще свежий после ночного дождя. Мы условились встретиться в этот же день в шесть часов вечера.

Дома я так и не смог уснуть. Была странная, пьянящая легкость, звон в ушах, ощущение ускользающего из-под ног нахвоенного склона, запах ее мокрой головы и какая-то уже особенная, телесная, родственная, сиамская тоска по ней. Около шести часов я был у ее дома и прекрасно помню, что никакого предчувствия у меня не было.

Старик хозяин, которого я и раньше много раз видел, сейчас стоял возле дорожки к дому и, мерно взмахивая руками, косил траву.

— Мальчик, ты куда? — спросил он, останавливаясь и поворачиваясь ко мне. Из травы выблеснуло лезвие косы.

— К Зине,— сказал я, удивляясь его любопытству. Он видел меня много раз и знал, куда я иду.

— Их нет,— сказал он строго,— иди домой и больше сюда не приходи.

— Как нет? — спросил я, деревенея.

— Их взяли сегодня днем... Всех! Квартира опечатана... За домом, вероятно, следят... Ты у меня спросил, который час,— он посмотрел на часы (неприятное, сильное, костистое запястье),— я тебе ответил — шесть часов... Иди и да хранит тебя бог.

И я пошел. И снова услышал за спиной сочный звук срезаемой травы: чок, чок, чок! Я шел и все время слышал этот звук, странно удивляясь, что он от меня не отстает. Я очнулся в детском парке у нашего ночного домика. Рядом с ним была скамейка. Я сел на нее и заплакал. Детей в парке уже не было, и никто не обратил на меня внимания. Кажется, тогда я выплакал все свои слезы.

Часа через три я пришел в дом под магнолией. Друзья сидели на веранде. Все были потрясены моими словами, и сначала никто ничего не мог сказать. Потом Коля заметался.

— Это она сказала, чтобы тебе угодить! — крикнул он, мечась по веранде.

— Ни малейшего сомнения,— безжалостно подтвердил Алексей,— но ты, конечно, не виноват.

— Нет,— возразил Женя,— она и раньше мне это говорила, когда вы еще ее не знали...

Коля стал лихорадочно вычислять, кто бы мог донести. Сначала все остановились на том мальчике, про которого Алексей сказал, что у него нет лица. Потом вспомнили мальчика, приглашавшего ее несколько раз танцевать. Потом других. Мы еще были так юны, что девушки оставались у нас вне подозрения. А позже в лагере я встречал стольких людей, сидевших по доносам жен, любовниц, сослуживиц.

Алексей предложил сейчас же всем вместе идти в НКВД и сказать...

— Что сказать? — набросился Коля.

— Ну, сказать,— краснея и уставившись в пол, начал Алексей,— что все так именно ее поняли, как ты сказал вчера... Она никого не хотела оскорбить...

— Глупо! Глупо! Глупо! — вскричал Коля. — Всех заметут, и на этом кончится все! Они и несказанным словам придают свое значение, а о значении сказанных слов они ни у кого не спросят.

— Трусость сгубила Россию,— сказал Алексей столь угрожающе, что Коля задергался.

— Ну, я пошел,— добавил Алексей через несколько минут. Коля в него вцепился. Алексей страшно сморщился, покраснел и презрительно процедил:

— Светлейший князь, я еще, кажется, не состою в вашей челяди. Никому не дано распоряжаться моей свободой. Я просто иду домой. Не могу же я каждый день приходить в час ночи. Я все-таки из рабочей семьи, у нас рано ложатся и рано встают...

Он ушел. Коля заметался по веранде. Все это я видел сквозь какое-то сонное оцепенение. Прошло минут десять. Князь метался и что-то бормотал. И вдруг я очнулся, как от слепящей пощечины! Я сорвался и побежал.

Я догнал Алексея уже на улице Энгельса, за два квартала от здания НКВД. Я его остановил, и мы заспорили, кому из нас туда идти.

— Послушай, Витя, не будь кретином,— сказал он, уставившись в землю,— ты прекрасно понимаешь, что они заинтересуются происхождением защитника... Ты недобитый враг, а у меня три поколения рабочих позади.

Я не уступал, и тогда он, как это с ним бывало и раньше, вдруг перешел на самый высокий тон и сказал:

— Ну, ладно. Пойдем оба. Если надо — умрем за нее.

Было уже около одиннадцати часов ночи. В дверях стоял часовой. Мы были готовы ко всему. Только к одному мы не были готовы, что нас не пустят. Выслушав наш сбивчивый рассказ, он проговорил:

— Здесь разберутся... А вы даже не родственники... Идите домой и не шумите! Будете шуметь — милицию вызову!

Мы ушли. Утром я рассказал отцу о случившемся. Маму я не хотел беспокоить. Он молча стал ходить по комнате, потом остановился и посмотрел на меня:

— Витя, пойми, во мне сейчас говорит не отец, а здравый смысл. Я их знаю больше двадцати лет. За это время никогда ни одна попытка защитить людей не увенчалась успехом. Она только подхватывает новых людей. Если ты пойдешь туда, ты там останешься и убьешь свою мать... Может быть, они сами их отпустят... Такое бывало... Не исключено, что вас вызовут... Вот тогда твердо держитесь версии князя... Другого выхода нет...



С неделю мы ждали, но нас никто не вызывал. За это время я трижды побывал в доме Зины, но квартира их была опечатана, а хозяин ничего о них не знал. В городе у них не было родственников. Я сходил к ее подруге, у которой мы были на дне рождения. Она была страшно перепугана. Она знала, что их взяли. То ли уже ходила какая-то версия, характерная для тех времен, то ли она сама ее придумала, чтобы отвести беду от своего дома,— не знаю. Она сказала, что их арестовали, потому что ее отец, работая в банке, способствовал распространению фальшивых денег.

— Вспомни, Витя,— говорила она взволнованно,— как они широко принимали гостей! Я сама видела своими глазами, как Зинина мама выбрасывала пирожные в помойное ведро под видом протухших... Бедная Зина не виновата, но ее отец...

Через несколько дней мы решили попросить в фотоателье переснять ее снимок, выставленный в витрине. Мы подошли к витрине и застыли в ужасе — на месте фотографии Зины висел снимок какой-то парочки.

Мы поняли, что это не случайно, и вошли в ателье. Там работал маленький фотограф по имени Хачик. Когда мы спросили у него, почему с витрины снята фотография девушки, он напустил на себя необыкновенную важность и сказал, что меняет снимки по собственному усмотрению и ни перед кем за это не отчитывается. Тогда мы попросили сделать нам копии с той фотографии. Видно, что-то в нашем облике его тронуло.

— Кто она вам, родственница? — спросил он, потеплев.

— Нет,— сказали мы,— она наша подруга.

— Идите, идите, ребята,— сказал он и болезненно развел руками,— эту фотографию я сам порвал... Политика! Политика! Хачик — маленький человек...

Мы вышли. Нам было ясно, что оттуда кто-то приходил и приказал уничтожить фотографию. Нас потрясло не только их всеведение, город у нас маленький, но и само безжалостное желание вырвать последнее, что от нее оставалось по эту сторону жизни.

Раздавленные этой избыточной энергией уничтожения, мы вернулись на веранду. В то лето мы разъехались навсегда. Коля уехал первым. Он и так собирался уезжать в Сибирь к дедушке и бабушке. При помощи старушки-кибениматограф он купил себе аттестат об окончании средней школы. До этого он говорил, что, уезжая, обязательно выселит Александра Аристарховича и продаст квартиру другому человеку. Но тут он лихорадочно заторопился, спустил всю свою огромную библиотеку пирату-букинисту, а квартиру, поленившись искать другого покупателя, продал своему старому жильцу, еще больше его за это возненавидев.

— Этот город исчерпал себя,— говорил он,— надо начинать новую жизнь.

Алексей уехал в Харьков и поступил там в университет на факультет иностранных языков. Женя — к родственникам в Краснодар и, видимо, за неимением под рукой другого вуза, поступил в пединститут. Я — в Одессу в летное училище.

До самой войны мы с Алексеем переписывались. А он еще переписывался с Колей и Женей. Женя по-прежнему влюблялся, рисовал и писал стихи, а с Колей приключилась метаморфоза. Он поступил в университет, он член комитета комсомола, отличник. В научном кружке на его доклады по истории приходят профессора. В своих длинных письмах Алексею он иносказательно объяснял необходимость буддизировать действительность изнутри и, нежно заботясь о друге, настойчиво предлагал идти его путем.

Отец несколько раз заходил в дом Зины. Их квартиру теперь занимали другие люди, и хозяин ничего не знал о судьбе своих прежних жильцов. А я до самой войны все видел ее во сне. И ничего мучительней этих снов не было в моей жизни.

В каждом сне я ее искал и уже заранее с тупой болью предчувствовал, что не найду. Во сне я или сразу ее искал, или было мгновение счастья,— и мы на веранде у Коли пьем кофе, шутим или дурачимся на вечеринке у нее в комнате, и вдруг она на минуту куда-то выходит и не возвращается. И я ее начинаю искать. Ищу у моря, в горах, в каких-то незнакомых городах, многолюдных вокзалах, на каких-то фантастических пустырях и нигде не могу найти.

И во сне терзает одна и та же мысль: как это я не догадался спросить, куда она идет или почему я не вышел вместе с ней?! Ведь это так ясно было, что она сама дорогу назад никогда не найдет! Ведь это так ясно было!

И среди этих снов был один, не повторившийся ни разу. Миг счастливого дружества, мы всей гурьбой на веранде у Коли, но она же, эта веранда, почему-то наш с ней дом. И вдруг она с привычной легкостью вскакивает в своем летнем сарафане и входит в комнату Коли, которая одновременно и наша с ней комната. По той легкости, с которой она привычно вскочила и вошла в комнату, я понимаю, что она подошла к нашему ребенку, спящему в кровати. Но вот она не возвращается, и я во сне уже испытываю знакомую тягость и начинаю понимать, что это сон, который я и раньше много раз видел, что она исчезла навсегда. И тут вдруг я соображаю во сне, что на этот раз это не сон, а явь, потому что раньше, во сне, она никогда не выходила к ребенку. Радуясь своей сообразительности, я вхожу в комнату в полной уверенности, что теперь это не сон и потому я ее сейчас там найду. Я вхожу в комнату и вижу, что кровать пустая и никого в комнате нет. И тогда я запоздало начинаю понимать, что те тягостные сны мне потому и снились, что они были предупреждением: береги ее, не отпускай от себя! И я в удручающей тоске теперь думаю во сне: как же я не догадывался о смысле тех снов, ведь это же ясно, что сны меня предупреждали! Как же я не догадывался! Нельзя же и во сне и наяву вечно повторять одну и ту же ошибку! И вот они ее взяли вместе с ребенком! И дополнительное стыдное чувство, что я почему-то забыл облик своего ребенка и никак не могу представить его себе. И вот они ее взяли вместе с ребенком.

Но как же, думаю я, они могли ее взять, когда другой двери нет, а мимо нас они не проходили. И тогда я вдруг вижу окно и не удивляюсь ему, хотя знаю, что в Колиной комнате нет окна, не выходящего на веранду. Взять ее могли только через окно. Но оно закрыто, и шпингалет изнутри задвинут. Вдруг молнией догадка: один из них остался, он и задвинул шпингалет окна изнутри!

Я мгновенно оборачиваюсь и вижу в углу комнаты того хама, который смотрел на меня из-за кустов мимозы. Он стоит точно в такой же позе, как и тогда в кустах, но я почему-то понимаю, что он принял эту позу с той же быстротой, с какой я на него обернулся. Большой, чуть наклоненный вперед, с широким лицом и мокрыми волосами, налипшими на лоб, и с выражением подлого, пещерного любопытства в глазах, но теперь уже только ко мне, к постыдной тайне моей личности.

Мы опять смотрим друг другу в глаза, плотоядные губы его не шевелятся, но я как будто бы слышу его слова:

— Ты меня испугался...

— Нет,— кричу я ему,— это ты, скотина, тогда повернул и молча скрылся в кустах! Больше мы с тобой нигде не встречались!



А он, продолжая неподвижно смотреть на меня с выражением подлого любопытства к постыдной тайне моей личности, опять не шевеля своими плотоядными губами, уверенно повторяет:

— Ты меня испугался!

Я кричу, я пытаюсь ему напомнить, где и как мы встретились и кто повернул и бесшумно скрылся в кустах, а он с выражением все того же подлого любопытства смотрит на меня. И вдруг его толстые губы раздвигаются в неостановимой, торжествующей, почти добродушной и именно поэтому гибельной для меня улыбке. И я слышу его голос, хотя он только улыбается:

— Не все ли равно, где ты меня испугался... В кустах мимозы или где-нибудь в другом месте... Главное, что испугался...

И меня пронзает невыносимая догадка: он прав!!!

— Карташов! Проснись! Проснись! — услышал я над собой голос товарища по общежитию училища. Он тряс меня, приговаривая:

— Ну, что я за невезучий человек! В той комнате храпели, как свиньи! Перешел сюда! Здесь кричит, как зарезанный! Что за народ!

А я слушал его, и струя нежной благодарности разливалась по телу, и хотелось слышать и слышать голос, возвративший меня из этой жути в наше такое милое в своей грубой мужской простоте общежитие!

Этот сон больше не повторялся, но я на всю жизнь запомнил его смысл. Видит бог, я их с тех пор не боялся! Но ее я продолжал видеть во сне и иногда, по рассказам товарищей, во сне кричал. Потом война, и она мне перестала сниться, словно легкая улетучилась, чтобы не мешать мне защищать нашу безумную несчастную родину.

Из нашей компании все, кроме Коли, у него в самом деле было очень слабое здоровье, попали на войну. Мы с Алексеем вернулись, а милый Женя, так и не доносив свои редеющие кудри, погиб: О, менш, во цу диз лерм!

А потом арест, смерть Сталина, двадцатый съезд, реабилитация. Вечером шестого марта 1956 года я гулял по Мухусу. Поклонники кумира, взбешенные критикой Сталина, в годовщину его смерти вышли на улицы. Город два дня, в сущности, был в их руках. Милиция боялась нос высунуть. Шествия, бесконечные гудки насильственно остановленных машин, митинги у памятников Сталину.

Вот в такой вечер я встретил на улице Александра Аристарховича. Несмотря на годы, он почти не изменился. Даже стал глаже. Узнав, кто я, искренне обрадовался. Оказывается, он уже на пенсии, но подрабатывает в городском методическом кабинете. Его консультации ценят. У него два внука, а сам он женат второй раз, потому что жена умерла. Это случилось много лет назад.

— Ваша жена не из деревни, где вы преподавали? — дернул меня черт спросить, вспомнив Колины намеки.

— Да,— сказал он, с некоторым удивлением взглянув на меня,— так получилось.

Оказывается, он Колю видел лет пять тому назад. Коля приезжал к нам в город с молодой, симпатичной, по словам Александра Аристарховича, женой. Заходил с нею во двор и, стоя под магнолией, рассказывал ей что-то о своей прошлой жизни. Несмотря на уговоры Александра Аристарховича, в свой бывший дом он так и не заглянул.

— Может, я ошибаюсь,— сказал Александр Аристархович,— но мне кажется — он меня почему-то недолюбливал. Нет, нет, он никогда не грубил! К нам несколько раз в свое время заходила та аристократическая старушка, что помогала ему, когда он здесь жил. Она мне говорила о его научных успехах. Я никогда не сомневался, что он необычайно способный мальчик. Но в нем всегда была какая-то

чрезмерность. Этот кофе и все остальное. И эта чрезмерность осталась. Я это заметил. Попомните мое слово, такая чрезмерность не может окончиться добром.

Я сказал ему, что мы в мальчишестве считали его скрытым меньшевиком.

— Нет,— засмеялся он,— я никогда ни в какой партии не состоял. В тридцать четвертом году я бежал от ужасающих чисток в Ленинграде после убийства Кирова. Мы с вами люди культурные, и я буду с вами откровенен. Поверьте моему опыту. Критика Сталина — это новый дьявольский маневр. Предстоят чистки. Они высматривают, кто высунется с критикой Сталина...

Я уже его почти не слушал. Мы проходили мимо центрального городского парка. Огромная толпа окружала памятник Сталину. Ораторы с постамента что-то говорили. Я предложил моему спутнику войти в толпу и послушать их.

— Нет, сказал он,— и вам не советую. Возможны эксцессы, да и чекисты, безусловно, все это снимают на пленку.

Он остался у входа в парк, а я вошел в толпу. Ораторы говорили ту же пошлость, что и при жизни Сталина. Выкопали откуда-то пьяного отставника. Он явно был под газом, и сзади его слегка придерживали. Он кричал о полководческом гении генералиссимуса.

Потом какие-то доморощенные поэты читали стихи о Сталине. А люди, стоявшие вокруг меня, сентиментально посматривали в мою сторону и бросали дружественные реплики. Я уже хотел уходить, как вдруг раздался какой-то приказ, и вся толпа мгновенно повалилась на колени.

И разом оголили мою душу! Те, что сентиментально посматривали на меня, знаками и словами стали показывать, чтобы я последовал их примеру. Их взгляды как бы уверяли: это просто, это даже уютно. Я не последовал их примеру. По толпе калек прошел злобный, фанатический ропот. Я почувствовал, что ноги у меня чугунеют. Человек, стоявший на постаменте, явно тот, что дал приказ рухнуть, несколько раз махнул мне рукой. Видя, что я не следую его призыву, он решительно обогнул постамент и зашел за него. Вероятно, там у них был какой-то штаб, и он хотел спросить, как быть со мной. Я решил больше не испытывать судьбу. Огибая коленопреклоненных, я вышел из толпы. За мной никто не погнался.

Александр Аристархович ничего не заметил. Мы пошли дальше. Какая-то женщина, спешившая на этот митинг, как спешат женщины занять очередь за дефицитным товаром, с победной злорадностью крикнула:

— Вот такая демократия!

Сарказм ее означал: вы критиковали Сталина за нарушение партийной демократии, так вот она, демократия, и мы демократическим путем митингуем за Сталина.

— Все-таки вы напрасно вошли в толпу,— сказал мне на прощание Александр Аристархович,— чекисты все снимают на пленку.

На этой любимой советской ноте, которую ни смерть Сталина, ни его критика не смогли перебороть, мы с ним и расстались.

Прошло лет десять. И вдруг ко мне пришел Алексей. Я после тюрьмы, приехав домой, заходил на квартиру его родителей, но они уже там не жили, и я не знал, куда они делись. Он приехал в отпуск к родителям и решил узнать: жив ли я, дома ли? Мы братски обнялись, я собрал на стол закуску и выпивку, но, увы, оказалось, что он в большой завязке.

Вот его судьба. После войны он окончил университет и многие годы работал в иностранном отделе какой-то харьковской библиотеки. Женился, имеет взрослого сына. Еще до «оттепели» у него начались нелады с начальством. После «оттепели» усилились. Он много раз свирепо запивал. Бросал. Снова запивал. И, наконец, бросил пить, бросил библиотеку и пошел на завод, где до сих пор работает токарем. Как и у многих, сильно пивших, а потом совсем бросивших пить, в нем есть что-то ушибленное.



Но походка та же, даже усугубилась. Еще круче, еще непреклоннее, преодолевая некую зависимость, она провозглашает независимость. И от этого еще отчетливее чувствуется в воздухе то, от чего он зависит.

О судьбе Коли я узнал от него. Он долгое время переписывался с ним, а потом с его сестрой. Еще аспирантом Коля вступил в партию, но женился на любимой студентке. Она ему родила двух детей. После аспирантуры одним прыжком он стал профессором истории, на лекциях которого яблоку негде было упасть.

Но после двадцатого съезда у него начались серьезные неприятности с начальством. Он так ненавидел Сталина, что, видимо, решил: настал его час! Вероятно, он стал пытаться буддизировать историческую науку. Когда рухнула главная стена — Джугашвили, — либеральная пыль, поднятая этим падением, некоторое время прикрывала наличие многих малых, но зато уходящих в бесконечность стен. Пыль осела, и он стал задыхаться, нервничать, делать неточные ходы. Авторитет у него все еще был большой, и его кое-как с выговорами терпели.

И вдруг у него от родов умерла жена, и все покатилось. Он стал пить, потом колоться. Его отовсюду прогнали. Но ему еще для куска хлеба давали читать лекции — о чем? — о международном положении!

Родственники жены забрали детей, и он в это время связался с дочкой одного высокопоставленного человека. Женщина эта, еще будучи студенткой, была влюблена в молодого профессора. Теперь она кололась, и на этом они сошлись. Она не удержалась в своей среде и попала в люмпен. А он не удержался в своей, выпал в ее среду, но и там не удержался, и они встретились на дне.

Дальше случилось вот что. Об этом друг Коли писал Алексею. Оказывается, Коля женился на этой женщине, и они, обменяв свои квартиры, съехались. Колин друг был против этой женитьбы и особенно этого обмена. По его словам, о семье этой женщины ходили всякие темные слухи.

Через какое-то время друг по какому-то тревожному предчувствию позвонил Коле. Но никто не ответил и весь день не отвечал.

Тогда он решил пойти к нему домой. Дверь была заперта, и на его звонок страшным воем ответила Колина собака. Друг вызвал милицию. Взломали дверь. С воем выскочила поседевшая собака Коли и куда-то сгинула навсегда. Мертвый Коля лежал на полу, судя по всему, уже несколько дней. Вены на обеих руках были взрезаны. Телефонный шнур был тоже перерезан.

Жена и бабушка жены, которая уже много лет не выходила из дому, оказались в отъезде. Друг подозревал, что это — убийство, тщательно замаскированное под самоубийство. По его словам, так перерезать вены на одной руке, с уже перерезанными венами на другой, невозможно. Но таинственное, могучее давление каких-то сил заставило всех остановиться на версии самоубийства. Что там было, теперь никто не узнает.

Коля, последний всплеск нашей крови, зачем ты пошел к ним?! Господи, как он был талантлив и слаб!

Окончание следует

Юлий Ким

# ПАМЯТИ ДОСТОЕВСКОГО

## (1881—1981)

### 1

Все исполнилось, Федор Михалыч,
Все свершилось — и оптом и врозь.
Только то, о чем страстно мечталось,
Вот единственно, что не сбылось.

А исполнилось — даже с лихвою,
Да с такою лихою лихвой,
Что не надо ни Босха, ни Гойю,
А укрыться бы в гроб с головой!

Да, конечно, сегодня полегше,
Но по сути — как было, и есть:
С той поры мы живем обомлевши,
Не успели и дух перевесть.

Нашу память и совесть, как вата,
Облегает спасительный страх,
Чтоб не видеть, с какого раската
Совершен был решительный шаг.

И несет нас!.. И что нам пoбрезжит?
Где звезда в облаках грозовых?
Ямщики уже вожжи не держат,
Им бы лишь удержаться за них!

Не поймешь, чем жива колымага:
Все вразнос, и с винтов сорвалось,
И лоскутьями гордого флага
Не прикрыть перебитую ось.

Нет конца карамазовской бездне,
Опостылел безумный полет...
Боже правый — народ твой в болезни!
Неужели летальный исход?

Боже! Иов — как жил, так и умер:
В вере крепок и в разуме тверд.
Ну, а если бы он обезумел,
Кто ж бы выиграл — Ты или черт?

### 2

Тут такая история, Федор Михалыч.
В нашей публике, даже и между учеными,
Нынче многие стали крещеными.
(Вам об этом, наверно, рассказывал Галич).

Но гляжу я на них — и мне как-то неймется.
Ибо вижу: глухие — по-прежнему глухи,
И кто был каковым — таковым остается.
И готово словцо: это все с голодухи.



Но не стану, не стану... Словцо, хоть и верно,
Да ведь только отчасти, по первым приметам.
(Есть за нами такое, скажу откровенно,—
Припечатать скорей и оставить на этом)

А скорей всего, мне слишком хочется чуда:
— Поступил? — Поступай по уставу отныне:
Откажись от корысти, неправды и блуда,
А первейший мой спрос — откажись от гордыни!

Даже хочется больше — вот честное слово! —
Их за фалды! наз-зад! оттянуть от купели!
— Стой! Куда это вы? Как вы только посмели?
Так вот просто? Неправда! Ведь вы — не готовы!

Не готовы... готовы... ну вот; припечатал.
(Есть за нами такое!) Пардон... ваши фалды...
Это я неготовый... О том и кричал бы...
Что не знаю, мол, кто там — Господь? либо Фатум?

Или нет ничего?..
Эх, да кабы, да если б!
Но в крови от младенческих дней (спокон века) —
Постижимость причин,
Предсказуемость следствий,
Объясненье всего — из ума человека.

### 3

Подбираемся к Богу давно и по-разному.
Применили понятье Всемирного разума.
Обозначили свойство: всезнанье вне времени.
Обозначили место: в нуль-нуль измерении.

А с другого конца — по-другому стремятся:
Там и блюдца гласят, и столы шевелятся.
То — святому во снах голоса и пророчества.
То — надежда на дух благовонный от старца
Опочившего...
Очень наглядности хочется!

Но, как мертвая, стрелка стоит на нуле.
Не скользит огонек по приборной шкале.
И на вопль богохульства — ни звука в ответ.
Информации нет.
Ну, а нет — значит нет!

Вон какие миры шевелят наши стрелки!
Электрон разобрали! Микроб под контролем!
Все любовные страсти нашлись в яйцеклетке!
А Исус — оказался мутант с биополем!

Человек — он, по Вашему слову, широк:
Он объял и проник, превзошел и возмог!
Он недаром старался — а как настрадался!
И на все посягнул! И все ризы совлек!
И на голом безбожье воздвиг государства!

Нет ЕГО — значит можно и в раж! и в кураж!
Сами боги себе: не стесняйся средства́ми,
И слезинку-то детскую — тоже туда ж!
Оправдаем потом колбасой и курями!

Вот как вышло-то, Федор Михалыч!
Пóшло вышло.
Впрочем, Вы это, может быть, видите сами...

Бездуховно, бездушно. Почти безвоздушно.
Бедный дух негодует, томится и мечется.
И в восторге отчаянья духу мерещится:
Белый венчик из роз... впереди... и надвьюжно...

Как?
Опять?
Это после такого-то века?
После наших неслыханных невероятий?
После массовой гибели прежних понятий —
Возвращаться к фантазиям новозавета?!

Невозможно.
С молитовкой? Пальцы сложа?
Да и как их сложа-то: в двуперстье? в трехперстье?
Я одно только чувствую: в теле — душа.
Это вроде бы есть. Да бессмертие — есть ли?

Мне ль того не хотеть! Мне ль о том не мечтать!
Скольких я проводил уже в землю сырую,
Не успев на земле слова толком сказать!
Ведь надеюсь еще! Неужели впустую?

Это старый вопрос. Это праздный вопрос.
Потому что — вопрос. Ожиданье ответа.
Если нам
Хоть на миг
Будет знак с того света, —
Обессмыслится жизнь. И не нужен Христос.

4

Где-то в наших потьмáх,
в наших каторжных Пóтьмах,
Атеист и баптист
отбывают свой срок.
Под одним автоматом,
в равноправных лохмотьях
За написанный вместе диссидентский листок.
В нем писали они — не за страх, а за совесть —
Про всеобщую жажду и тягостный зной,
И просили воды — справедливости то есть —
И хлебнули сполна справедливости той.
Лейтенант Смердяков их гноит и мурыжит,
Капитан Верховенский их поедом ест.
Ни друзья, ни родные — никто им не пишет,
И не знает о них никакой Красный Крест,
Лишь один Господь Бог — знает, видит, жалеет.
Он зовет на совет окруженье свое:
«У баптиста есть Я.
Атеисту — хужее.
Не дадим ему ада,
Дадим — небытье».

• • •

Вот какая история, Федор Михалыч.

1981

---

*Криста Вольф*

# ОБРАЗЫ ДЕТСТВА

**РОМАН**

## 10. СОБЛАЗН САМООТРЕЧЕНИЯ. ПОТЕРЯ ПАМЯТИ. УЧИТЕЛЬНИЦА

Стало быть, девочка — Нелли — должна пойти за тебя в огонь и в воду. Поставить на карту свою жизнь. Не самообман ли — думать, что эта девочка движется сама по себе, по собственным законам. Жить в заданных образах — вот в чем проблема.

Все путем, говорил Бруно Йордан, когда что-либо выходило само собой. По субботам все было путем в магазине. Все было путем с продажей бананов по сниженным ценам. И доставочный велосипед йордановской фирмы ученику, Эрвину, полагалось смазывать так, чтобы все было путем.

Человек — продукт своего окружения, говорит твой брат Лутц. Смелей, всё путем: марионетки.

Девочка, коль скоро все путем, — это твое средство добраться до цели. Только вот до какой? Чисто случайно — вся надежда на это — ты на днях отчетливо и подробно видела во сне собственную смерть; точнее, свое медленное неотвратимое умирание и безразличие других, особенно врача, который привычно оказывал помощь, отпуская до боли деловые комментарии, особенно же собственную покорность приговору — еще час, гласил он — и бессильное негодование на свою неспособность хотя бы в смертный час взбунтоваться против неписаной договоренности, что негоже относиться к себе с чрезмерным участием, ведь тем самым — а это словно бы страшнее смерти — человек рискует вызвать у других недовольство и, чего доброго, стать им в тягость.

Вот уж распоследнее дело. Становиться кому-либо в тягость — распоследнее дело. Во всяком случае, Шарлотта Йордан почитала за благо обходиться своими силами. Лучше гордо пойти ко дну, чем ждать помощи от других.

Зато девочке — Нелли, — как тебе кажется, помощь нужна, и ты, можно, пожалуй, сказать, нарочно довела ее до этого. Теперь уже нельзя назвать ее другим именем, хотя это имя выбрала для нее не кто иная, как ты. Чем ближе она подвигается к тебе во времени, тем более чуждой становится для тебя. И это, по-твоему, странно? (И это, по-твоему, убрано? — говаривала Шарлотта Йордан, входя в Неллину комнату. И это, по-твоему, чисто? А это, по-твоему, съедено?)

Если хочешь знать, Нелли — продукт твоего ханжества. Обоснование: только ханжа сначала изо всех сил старается сделать из субъекта объект и противопоставить его себе, а потом жалуется, что не может с ним совладать, что все меньше его понимает.

Или, по-твоему, можно бы понять и того, кого стыдишься? Взять под защиту человека, которого беззастенчиво используют, чтобы выгородить себя?

Любишь ли ты ее?

Ах боже мой, нет, конечно! — таков бы должен быть правильный ответ, но сейчас же приходят сомнения, ведь любовь, в расхожем понимании, очень напоминает то, как ты обошлась с нею: набросила ей на голову сетку, сплетенную твоим узором, а запутается — ее забота, ее беда. Пусть-ка тоже узнает, каково это — быть пойманной. (Точнее, быть зажатой между двумя непримиримыми альтернативами — безальтернативно.) Пусть вовре-

---

Продолжение. Начало см «Знамя» № 6, 7 за 1989 г.

мя научится чувствовать, что́ выражает ее бесстрастное лицо. Пусть до конца изведает страх, как бы не выделиться.

«Симпатию» толковый словарь определяет как «сочувствие, влечение и расположенность к кому-либо или чему-либо». Но как, спрашивается, ратовать за симпатию к ребенку, который начинает красть? И будет продолжать это годами, с все меньшими угрызениями совести. Речь идет о краже съестного, однако Шарлотта Йордан, неумолимая к нарушениям закона, выразилась бы покрепче, если бы узнала (впрочем, и она видит лишь то, что рассчитывает увидеть), что ее дочь начала походя таскать конфеты из стеклянных посудин на прилавке — сперва дешевые, а потом исключительно самые дорогие. Стало быть, кража. Двойная ломка запретов: сидеть у окна в большой комнате — на диване, — уплетать краденые сласти, а заодно читать «Дас шварце кор» [1].

Ибо на эту газету распространяется строжайший запрет Шарлотты Йордан — запреты вводит всегда Шарлотта Йордан и никогда Бруно, которого спасение дочкиной души тревожит куда меньше. Тома «Мужчина» и «Женщина» под запрет не попадают: они хранятся в бельевом шкафу отца под аккуратной стопкой кальсон, и это без слов относит их к разряду вещей несуществующих. Никому в голову не придет вытащить их из шкафа и читать в открытую. Каждый том снабжен крупноформатной вклейкой, на одной изображена обнаженная женщина, на другой — обнаженный мужчина; отогнув их «кожу», можно увидеть все внутренние органы. Смелая штука (так выражается Шарлотта Йордан, когда речь заходит о чем-либо рискованном); ведь краски иных внутренних органов, успешно соперничая с природными, способны легко и надолго внушить буйной фантазии приторную гадливость.

Нелли прикидывается перед собою, будто все-все знает, а одновременно хорошо понимает, что это отнюдь не так. Она не раздумывая дает нагоняй брату — однако же маме на него не ябедничает, — застукав его возле юлиховского забора с рыжей Элли, возмущенно обзывает эту девчонку, которая старше Лутца, пакостницей (Лутцу она с ходу отводит роль соблазненного), в ответ на что слышит: Сама такая!

Ночью Лутц лицемерно требует просветить его, иначе он будет вынужден обратиться к посторонним. Пускай ему точно скажут, откуда берутся дети. Нелли, тоже лицемерно (ну никак от этого слова не отвяжешься!), вступает в игру, жеманится, изображает высоконравственную озабоченность и вместе с тем чувствует себя польщенной, но на всякий случай требует гарантий. Лутц их предоставляет, усиленно напирая на крайнюю ненадежность своей памяти. Услышит что-нибудь вечером, а к утру начисто забудет, это уж, мол, как пить дать. — Он и побожиться готов? — Само собой, с чистой совестью. Засим по ее настоянию они возобновляют давнишний детский уговор: тот из двоих, кому «после» придется все выложить, что вообще-то нежелательно, должен испросить у другого позволения, трижды стукнув в стенку. Брат готов и на это. И наконец происходит передача долгожданных знаний — три-четыре фразы, вероятно маловразумительные, сообразно уровню просвещенности. Они, к сожалению, утратились в отличие от неповторимой интонации заключительной реплики Лутца: Ах вот оно как!

Не то разочарование, не то удовлетворение. Серединка на половинку. Если угодно, впервые с легчайшей примесью мужского превосходства. И все, никогда больше ни слова об этом.

Видимо, как раз вскоре Шарлотта и Бруно Йордан решили, что их разнополым детям нельзя долее ночевать в одной комнате: случилось событие, которого Нелли ждала уже несколько месяцев и о котором, словно ничегошеньки не понимая (лицемерка!), рассказала матери, а та обняла ее за плечи, назвала своей «взрослой девочкой» и добавила: теперь, мол, надо еще лучше следить за собой и соблюдать предельную чистоту. Нелли едва сравнялось тринадцать, и Шарлотта находила, что «все это рановато»; так она сказала прислуге, Аннемари (которая не замедлила передать ее слова Нелли), и тете Люции. На другой день Нелли не разрешили влезть в магазине на стремянку, чтобы разложить хлеб на самой верхней полке. Она восприняла это с удовлетворением: все, мол, идет как надо.

[1] Эсэсовская газета.



Пришлось в результате выселить госпожу Крузе, снимавшую в верхнем этаже йордановского дома, рядом с Германом и Августой Менцель, вторую квартирку, поменьше — комната с кухней, — за 25 марок в месяц; квартиросдатчик и домовладелец Бруно Йордан решил по-иному распорядиться своей жилплощадью. Госпожа Крузе возмутилась: да по военным временам это просто неслыханно! — и в письме, составил которое, разумеется, ее непригодный к военной службе сын (кстати, живший весьма просторно), упомянула, какие чудовищные жилищные условия наши солдаты обнаружили на востоке (семеро детей в одной комнате!), но Бруно Йордан быстро ее урезонил: его дети — немцы, и нечего их равнять с русскими да с поляками. Госпожа Крузе уехала. А Нелли получила отдельную комнату: там, за столом, покрытым черной клеенкой, можно было делать уроки и заодно смотреть в окошко на город, реку, равнину; бывшая кухня Крузе стала складом дефицитных товаров, в частности шоколада.

Обычно склад держали на замке, однако Нелли сумела добыть себе ключик; особенно она пристрастилась к пористому шоколаду и присваивала его более чем дерзко. Забраться в постель, читать книжку и жевать пористый шоколад. Крикнуть: Да сейчас! — когда мама, стоя внизу, у лестницы, велит погасить свет; на несколько минут выключить лампу, затем накрыть ее платком и читать дальше, иногда до часу, до двух ночи, и порой запоздалые прохожие из числа йордановских покупателей говорили Шарлотте, что видели в окне у ее дочери свет, а ведь затемнение никто не отменял. Это я вчера только допоздна зачиталась, оправдывается Нелли. Нечаянно, правда-правда. Больше не буду.

Ну что, помнит Лутц, кто его просветил, или он не зря хвастался своей памятью и действительно забыл?

После полудня всех вас одолела усталость. Лутц предложил (известно ведь, в городе зной нарастает по меньшей мере часов до трех — камень кругом, а от этого еще жарче) съездить «на другую сторону». То есть через мост, в «мостовое» предместье. Именно этот район бывшего Л. вы оба с Лутцем знали из рук вон плохо, скрывай не скрывай. Раньше, бывало, только услышишь: «Мостовое» предместье, — и сразу все тебе ясно: речь идет о работягах с джутовой фабрики и из канатной мастерской. В «мостовом» предместье обитала беднота. Эти люди населяли ветхие, покосившиеся халупы или плохонькие многоквартирные дома. Весной в подвалах стояла вода. Дети этих людей ходили не в те школы, где учились вы, и купались совсем в других местах, за пределами купальни, там были песчаные отмели и омуты и оттуда они панибратски переговаривались с плотогонами и матросами-речниками. «Наследн. Штрауха» — поблекшая надпись на кирпичной стене фабричного цеха. Штраух, Штраух, задумчиво повторял Лутц, это, кажется...

Да. Отец или дед доктора Юлианы Штраух, тот самый, один из богатейших местных предпринимателей, который пожертвовал городу статую для фонтана на Рыночной площади, ее так и прозвали — «Штраухова Мария». Ни слова больше о фройляйн доктор Штраух, пока ни слова. Взамен ты напоминаешь брату, кто его просветил, а машина тем временем тихонько ползет узкими улочками на другом берегу Варты, которую ты увидела впервые за много лет. Только сейчас, когда ты сказала, говорит он, что-то смутно прорисовывается. Ленка заметила, что такое сестринское рвение, пожалуй, достойно несколько большей благодарности.

Вы вдруг нежданно-негаданно выехали к береговой дамбе, отлогому, тенистому склону, поросшему травой. Вот тут мы пока и остановимся, сказала Ленка.

Тебя и саму поразил открывшийся вид. Река именно здесь широко и привольно забирает к востоку, теряясь в прибрежных зарослях. А за рекою, на фоне неба, силуэт города: железнодорожные арки, пакгаузы, церковь, жилые дома, — точь-в-точь как на открытке в киоске. На переднем плане — высокая бетонная лестница новой купальни.

И как раз теперь, любуясь этой перспективой, даже и тебе едва знакомой, даже и тебя поразившей, — («Из мрака /течешь, мой поток,/ из заоблачных высей...») слово «величие» ты и в мыслях никогда бы не применила к здешнему ландшафту, — как раз теперь они, Ленка с Х., решили, что все понимают. Ну и ну, сказали они. Да-а. Это, конечно, вещь. Есть в этом кое-что. Город на реке — он кое на что сгодится, хотя бы как вос-

поминание. Они сыпали именами поэтов, цитировали стихи. «За полями, далёко /за лугами/ поток...»

Вы с Лутцем молчали.

На траве расстелили старые куртки X. и Ленки. Незачем утаивать, что ты с огромным удовольствием положила голову на землю. И то закрывала, то открывала глаза, пока этот образ — город на реке — не запечатлелся под сомкнутыми веками во всех подробностях. Здесь и пахло водою, и, хотя царило полное безветрие, слышался легкий журчащий шум. Ну а еще — вода сверкала, играли на волнах солнечные блики. Однако же никаким на свете перечнем — если даже назовешь буквально каждый из серовато-серебряных ивовых листочков — не воссоздать глубочайшего умиротворения, какое испытываешь в те редкие часы жизни, когда все правильно, все на своем месте.

Вне всякого сомнения — об этом ты догадываешься только теперь, — открывшаяся взору картина не была столь уж неожиданной. Грунт, нанесенный десятки лет назад, вдруг обнажился, придавая восприятию глубину. Давно-давно, ранним воскресным утром, Нелли, закутавшись в одеяло, любовалась из окна своей комнаты восходом солнца над городом и рекою. (Шарлотта — спальня-то у нее была прямо под Неллиной комнатой — застигла дочку у окна, пожурила за раннее вставание, напророчила простуду и в конце концов настояла, чтобы она хоть носки надела, — ты бы настояла на том же, если бы захватила Ленку в таком положении.) Но именно это незабываемое утро плюс тысячи других взглядов, брошенных из этого окна или из окна «усишкиной» бабули, шестью метрами правее, у которого Нелли частенько стояла днем, как-то раз даже в слезах, потому что мама не пустила ее в кино на «Великого короля» с Отто Гебюром [1] в главной роли, — вот фон, на котором спустя столько лет свободно и, так и хочется сказать, дерзко проступили краски того послеполуденного часа.

Ленка, как все дети безошибочно чуткая к настроению родителей, лежала на своей старой куртке, уткнувшись головой тебе в плечо, и уже спала. Ты успела еще понаблюдать, как двое детей, девочка и мальчик, держась за руки, взбирались по высоким ступенькам новой лестницы и считали шаги, по-польски. Ты тоже стала считать за компанию, по-немецки, а до скольких досчитала — теперь уж и не вспомнить. Потом вдруг — наверно, прошло некоторое время — навстречу тебе в какую-то непонятную погоду на неведомой серой улице вышли трое людей, не имевших друг с другом ну совершенно ничего общего — ты остро это чувствовала: Вера Пшибилла с Вальпургой Дортинг, твои одноклассницы, с которыми ты никогда не дружила, а между ними — твой старый друг Йоссель. Увлеченные спокойной беседой, они подходили все ближе, пожалуй, и видели тебя, но как будто бы не собирались объяснять, как и почему именно они, явно никогда друг друга не знавшие, встретились здесь.

Разбудил вас тихий оклик милиционера. Вежливой, но решительной жестикуляцией он довел до вашего сведения, что сидеть на дамбе запрещено. Вы, опять-таки знаками, объяснили, что не заметили запрещающей таблички — прочесть ее вы бы все равно не сумели, но понять-то бы поняли — и готовы немедля сделать соответствующие выводы и ретироваться. Милиционер согласно кивнул и подождал, пока вы уйдете. Немногочисленные прохожие и жильцы окрестных домов наблюдали за происшествием — без злорадства, с деловым интересом. Дети — мальчик с девочкой — по-прежнему или снова взбирались по лестнице. Прошло не более получаса. Милиционер козырнул и запустил мотоцикл. Bye-bye [2], сказала Ленка. Молодец, что не пришел раньше.

А что теперь? — Школа, сказала ты. Бёмштрассе. — Дорогу найдешь? — Хоть во сне.

Итак, во сне эти двое — Вера и Вальпурга, подружки с того самого дня, как Вальпурга с некоторым опозданием была зачислена в Неллин класс, — прихватили с собой Йосселя, хотя в жизни никак не могли его знать. Что же это означало? О прочих несообразностях и вовсе нечего говорить: девчонки выглядели, как тогда, шестнадцатилетними — Вера с моцартовской косичкой, Вальпурга с длинными распущенными волосами, — а Йоссель на свои нынешние годы. И эта их близость, беспардонно искажавшая действительное положение вещей, ведь с Йосселем тебя связывала многолетняя дружба, а эти две девчонки — бог весть, где они теперь! — никогда не были друзьями Нелли и понятия не имеют о его существовании. Впрочем, если б он повстречался вам в ту пору, когда вы были шестнадцатилетними — тут сон опять-таки был справедлив, — в ту пору, когда Йоссель был молодой, без этой бороды и без этого выражения во взгляде, для которого нелегко подыскать название, мало-мальски подошло бы «потерянность»; в ту пору, когда он, венский еврей, был схвачен во Франции и отправлен в Бухенвальд, — так вот, если бы он в ту пору очутился здесь, в городе, — что, собственно, было немыслимо, — он скорее мог бы пройтись по улице с Верой Пшибиллой, баптисткой, и с ее подругой Вальпургой, дочерью христианина-миссионера (она долгие годы жила в Корее и бегло говорила по-английски, но никто, в том числе и учительница английского, ее не понимал), чем с Нелли.

Если назначение этого сна было указать на сей ошеломительный факт, то он свою задачу выполнил.

«Упразднить стражу у врат сознания».

Как раз теперь, когда искренность оправдала бы себя, что случается не всегда, а может быть, даже и не часто, ты столкнулась с новым видом амнезии, в корне отличной от провалов в памяти, относящихся к раннему детству и как бы само собой понятных, от тех туманных и белых пятен среди причудливого, озаренного солнцем ландшафта, над которым витает сознание, точно привязной аэростат на переменном ветру, конечно же отбрасывающий собственную тень. Теперь, однако, само сознание, опутанное событиями, хотя, вспоминая, должно было бы подняться над ними, частично как бы помрачается. Оно как бы соавтор тех затемнений, какие ты намерена с его помощью осветить. Задача становится неразрешимой. Но делать нечего — выдумки отпадают, а воспоминание о воспоминаниях, воспоминание о фантазиях можно использовать лишь как сведения из вторых рук, как отражения, не как реальность.

(У Адольфа Эйхмана, читаешь ты, была чрезвычайно плохая память.)

Да ведь попросту быть не может, чтобы вдруг стало происходить меньше событий. Впечатление такое, будто в пустыне лопатой гребут песок против ветра — иначе определенные следы совсем уж заметет.

Почти двенадцати лет от роду Нелли пополнила собой ряды кандидаток в командиры и стала ходить на их сборы, которые проводились уже не в школьных классах, а в собственном «клубе» — трех-четырех голых комнатах на чердаке бывшего дома благотворительных обществ, по сей день стоящего на том же месте. Были, конечно, вступительные церемонии и суровые правила, которые нужно было соблюдать, упражняясь в исполнении обязанностей будущего эталона, примера для подражания. Нелли наверняка не осталась от этого в стороне. Однако же ни одно из этих граничащих с уверенностью допущений не удается ни выразить в зрительном образе, ни процитировать в виде определенной фразы. Сохранились — зато уж с предельной отчетливостью — лишь одна картинка и одна фраза, связанные с данными обстоятельствами: у входа в школьную библиотеку Нелли встречает доктора Юлиану Штраух, заведующую библиотекой, по обыкновению пугается (хотя втайне ищет встреч с фройляйн Штраух), говорит «хайль Гитлер!», а в ответ не просто слышит слова приветствия — учительница обнимает ее за плечи и удостаивает звучного: Браво, девочка. От тебя я иного не ожидала.

Скажи кто-нибудь, что ради этой похвалы Нелли бы горы своротила, а не только сделала первый шаг на пути в гитлерюгендовские вожаки, и он был бы, наверно, прав. Что же до Юлианы Штраух, учительницы немецкого языка и истории, которую обычно звали Юлией, то здесь память работала как нельзя лучше. Ее лицо, фигура, походка, манеры — все это двадцать девять лет пребывало в тебе в целости и сохранности, хотя прочие воспоминания о том времени, когда она безраздельно владела Неллиными мыслями, скорее обрывочны. Словно на ней одной Нелли сосредоточила все внимание.

(Вероятно, не стоит делать из таких наблюдений скоропалительные выводы, тем паче по аналогии. Но разве не может быть так, что — забудем

[1] Гебюр Отто (1877—1954) — известный немецкий актер, в фильме «Великий король» (1942) сыграл роль Фридриха Великого.
[2] Пока (англ.).

времен раннего детства, песни об Испании со старых пластинок, которые на новом проигрывателе не прослушаешь, и Моргенштерн [1], и Рингельнац [2].

(Она целыми днями валяется на диване и слушает музыку. Ты так и намерена кончить год? — спрашиваешь ты. — Отстань, говорит она. Последний год был не очень-то хорош. — Ты имеешь в виду свою лень? — Я имею в виду, что начинаю привыкать. — К чему? — К тому, что всё — псевдо, и я сама тоже, в конечном счете. Псевдолюди. Псевдожизни. Или ты не замечаешь? Или я, может, ненормальная? Или, может, правы те, кто об этом не задумывается? Иногда я чувствую, как снова отмирает кусочек меня. А кто виноват? Одна я?

Страх за нее, совсем новый страх, захлестывает тебя. Писать надо совершенно иначе, думаешь ты, совершенно иначе.)

Как всякий влюбленный, Нелли изводила себя, выискивая неопровержимые доказательства взаимности, никоим образом не связанные с заслугами и выгодами. Да, безусловно, как-то раз Юлия провела урок только для нее, и это было одно из самых замечательных событий ее школьной поры. «Что теперь с асами? Что теперь с альвами? Турсы в смятении; боги совет ведут» [3]. От суровых строф Эдды через скандинавские саги о героях, личностях ярких и беспощадных, которые, однако, никогда не руководились низменными мотивами, вплоть до мрачно-трагического витязя Хагена фон Тронье, преданнейшего из преданных, омывающего меч кровью врагов своего суверена; упрямец Хаген, не ведающий раскаяния, отрывок из его предсмертной песни Юлия цитирует наизусть: «О женщины — проклятье! /Они есть зло, и вот /за их телес объятья /Бургундов гибнет род./ Яви нам ту причину /Второй здесь Зигфрид, я /Ему вонзил бы в спину /Второй раз сталь копья» [1].

Нелли, которой Юлия на исходе этого урока наконец-то посмотрела прямо в глаза, не подала виду, что поняла: Юлии было ненавистно, что она женщина. А Нелли волей-неволей вынуждена была признать, что весьма далека и от этого.

В конце этой цепочки мыслей, перечисление всех звеньев которой завело бы слишком уж далеко, тебе видится картина: Нелли в так называемом отцовском кабинете сидит на диване, углубившись в запретный «Дас шварце кор»; после обеда, около четырех, можно было читать газету, не рискуя, что тебя застукают с поличным. Читает она — дело происходит, кажется, осенью — заметку об учреждениях, именуемых «Лебенсборн», сиречь «Кладезь жизни» (кстати, одно из их отделений, как ты узнала спустя много лет, размещалось в Мюнхене в бывшем доме Томаса Манна); это были дома, где рослых, голубоглазых, белокурых эсэсовцев сводили с такими же точно невестами в целях зачатия чистокровных младенцев, каковых затем — с восторгом подчеркивал «Дас шварце кор» — их матери приносили в дар фюреру. (Ни слова о том, что эта же самая организация с большим размахом занималась похищением детей в странах, оккупированных вермахтом.) Тебе запомнилось, что автор заметки то в резком, то в насмешливом тоне бичевал старозаветные предрассудки, порицающие такое поведение, хотя на самом деле оно вполне достойно германских идеалистов обоего пола.

Истины ради следует добавить, что Нелли, прочитав эту заметку, опустила газету и отчетливо подумала: ну уж нет.

Это был один из тех редких, драгоценных и необъяснимых случаев, когда Нелли оказывалась в сознательной оппозиции к «нужным» взглядам, которые она бы все ж таки с радостью разделила. Нечистая совесть, как бывало нередко, запечатлела этот миг в ее памяти. Откуда ей было догадаться, что нести бремя нечистой совести в тогдашних обстоятельствах составляло необходимое условие внутренней свободы? Девочка тринадцати лет, зажатая в тиски: с одной стороны, настоятельные советы матери не «ронять своего достоинства», с другой — газетные директивы насчет безоговорочной преданности фюреру. Все, что имело касательство к ее полу, было сложно сверх всякой меры. Она читала книгу про Тридцатилетнюю войну, где одна девушка, Кристина Торстенсон, нарочно заразилась в собственном лагере чумой, а потом пошла к врагам и, «предаваясь» им, заражала всех подряд моровою язвой. Ну уж нет! — подумала Нелли, дочитав до конца, с восторгом и унынием. Сбегала на кухню, приготовила себе из овсяных хлопьев, сахара, молока и какао сладкую похлебку и торопливо съела, положив газету на колени и устремив невидящий взгляд в окно.

Школьный двор (10 июля семьдесят первого года, обогнув справа краснокирпичное школьное здание, ты зашла туда через кованую калитку, которая по-прежнему не запирается), школьный двор Юлия, если ей выпадало дежурить на перемене, обходила дозором по предписанному маршруту, размашистым шагом, заложив руки за спину, в стоптанных туфлях на низком каблуке, в чулках, заштопанных чуть не до половины икры. Ее пристальный взгляд был повсюду. На ее переменах никто не ссорился, выговаривать за неразрешенные игры в мяч и в снежки или за неподобающее поведение тоже не было нужды. Иногда она зна́ком подзывала к себе одну из учениц, расспрашивала о житье-бытье: выписалась ли из больницы мама, пишет ли с фронта отец, как обстоит — у девочек, чьи семьи жили не в городе, — с комнатой и квартирной хозяйкой. Все видели: даже самые наглые, украдкой насмехавшиеся над ней, были смирными и послушными, когда она их отпускала. Если не ходить вместе со всеми, а прислониться спиной к красной кирпичной стене гимнастического зала (там теперь стоит лавочка, и в тот субботний послеполуденный час, когда ты спустя много лет ступила на школьный двор, на ней отдыхал коренастый мужчина в синей рубахе — швейцар педагогического училища), — если не ходить вместе со всеми, то можно было заметить, что и одинокие ученицы, и целые их группы согласовывали свои дворовые маршруты с маршрутами Юлии, так что в определенных точках они перекрещивались или какое-то время шли параллельно. Или, наоборот, вообще не соприкасались. Нелли не желала попадать в многочисленную компанию тех, кого никогда не удостаивали разговором. Поэтому она остановилась и сподобилась внимания: когда зазвонили на урок и школьный двор начал пустеть, Юлия, которая заняла пост у двери, перехватила Нелли, входившую среди последних, легонько взяла ее за плечо, поднялась вместе с нею на десять ступенек лестничного марша и даже задержалась у дверей библиотеки, обсуждая с нею неудачу всего класса на последнем сочинении.

Не то чтобы сама Нелли не справилась — в сочинении по немецкому такое было невозможно, Юлия об этом ни слова не сказала. Но почему же многие бойко строчили работы про «Народ без пространства» или «Нордический дух в античной поэзии» и не могли сладить с такой простенькой темой, как «Первый снег»? Нелли ответа не знала, только смутно догадывалась, что писать о себе гораздо сложнее, чем об отвлеченных идеях, которые вызубрил вдоль и поперек. Она точно помнила одно; описывая тот воскресный день, когда в этом году впервые выпал снег, она ни на секунду не забывала, для кого пишет. В каждой строчке сквозил легчайший налет неправдоподобия; свою семью она изобразила чуть слишком идиллической, а себя даже более чем примерной — в точности так, как, по ее представлениям, хотелось бы Юлии. (Лицемерность, притом почти неосознанная, равно как и тяга к искренности, — что, если это был своего рода выход? Сбереженный остаток частной жизни, на который впоследствии можно будет опереться?)

Чтобы завоевать расположение Юлии — или ввести ее в обман, это ведь было, по сути, то же самое, — она должна была, остерегаясь неуклюжих маневров, оплести взыскательную учительницу, которая плохо поддавалась на лесть, тончайшей паутиной взглядов, жестов, слов, строчек, лежавших на самой грани искреннего чувства, но никогда ему не тождественных.

Наверное, по этой причине после мгновений наивысшего взлета — после того как Юлия на прощание положила руку ей на плечо и кивнула на знаменитый свой манер, — поднимаясь по лестнице в класс, Нелли уже сникла, и ее охватила грусть, которой она боялась и в которой не хотела себе признаваться. Нельзя же так, нельзя, чтобы мгновения наивысшего счастья, ради которых она и живет, каждый раз кончались пустотой, если не сказать разочарованием, но это слово она даже в мыслях не произносила. Она рухнула за парту, она не проявила ни малейшего интереса к анг-

[1] Моргенштерн Кристиан (1871—1914) — немецкий поэт, мастер гротеска.
[2] Рингельнац Иоахим (1883—1934) — немецкий сатирик-кабареттист.
[3] Старшая Эдда. Прорицание вёльвы; 48. Перевод С. Свириденко.

на минуту об особых закономерностях становления детской памяти — замедленный, до известной степени более обстоятельный ход жизни создает лучшие предпосылки для развития тех участков мозга, где должна запечатлеваться жизнь, нежели все возрастающая спешка, в которой мелькают перед нами люди, предметы, события и которую мы чуть ли не боимся назвать жизнью? Та украинка, что на днях, испуганная вестью о смерти матери, пробудилась от двадцатилетнего летаргического сна, вероятно, могла бы поведать о разительном несогласовании ее внутренних часов и нанесенного временем урона, к которому окружающие, как правило, уже успели привыкнуть. Странное волнение охватывает душу, когда она произносит фразу, на первый взгляд совершенно банальную, но как бы выплывающую из пучин иного, для нас безвозвратно ушедшего мира: Мне хочется жить. И думаешь: а вдруг ошеломительное испытание вроде того, что выпало на ее долю, дает человеку силы осуществить этот замысел? Средства послабее на нас, кажется, уже не действуют.)

Как бы там ни было, ясно одно: ты хотя и не утверждаешь, что сумела бы описать первую встречу Нелли с Юлией Штраух — по всей вероятности, вы просто разминулись на школьной лестнице, — а вот за правдивое воспроизведение их последней встречи ты вполне можешь поручиться. (После нее они виделись только лишь мельком, в гимнастическом зале школы имени Германа Геринга и в большом танцевальном зале ресторана «Вертоград», то бишь в помещениях, оборудованных в январе сорок пятого для приема беженцев с востока; в попечении о беженцах доктор Юлиана Штраух, возглавлявшая женщин-нацисток, играла важную роль, а Нелли была привлечена к подсобным работам, о которых в свое время тоже будет рассказано.)

С первых же зимних дней сорок четвертого — сорок пятого года завернули холода, и наверняка холоднее всего было на белесых, голых улицах в районе Шлагетерплац, где ветер беспрепятственно гулял между ровно, по линеечке, возведенными порядками домов. Нелли мерзла в своем конфирмационном пальтеце, прохаживаясь возле дома Юлии и считая минуты до четырех. Она злилась на себя за то, что настроение у нее хуже некуда. Но ведь это же обычное дело: перед самым исполнением давнего горячего желания радость скисала — изъян характера, вынуждавший ее всячески развивать и совершенствовать умение притворяться.

Вконец оробев, Нелли позвонила в квартиру Юлии, и в тот миг, когда приблизившиеся шаги замерли у двери и Юлия, наверно, уже протянула руку, чтобы открыть, — в этот миг в Неллиной душе, к счастью, вновь вспыхнуло прежнее волнение, разогретое простым средством — воспоминанием о пылких мечтах, в которых Нелли рисовала себе, как, получив приглашение, придет к Юлии в гости. Ведь, само собой понятно, без приглашения к Юлии не заявишься.

Разумеется, ей даже в голову не пришло смущать Нелли извинительными замечаниями насчет черствого овсяного печенья, жидкого чая или весьма экономно протопленной комнаты. В любой обстановке Юлия сохраняла невозмутимое спокойствие, делавшее ее неуязвимой и не только горделиво-самоуверенной — это слово слабовато, — но величавой. Ей ничего не стоило встретить неизбежные у четырнадцати-пятнадцатилетних девчонок-школьниц приступы смеха шутливой, казалось бы, репликой: Не вижу, над чем тут можно посмеяться, ну разве что надо мной.

Но самым значительным ее достижением, безусловно, было другое: сколько труда, причем втайне от всех, она затратила, чтобы сгладить разительный контраст между собственным обликом и идеалом немецкой женщины, который она без устали пропагандировала. Мало того, что она была маленького роста, черноволосая, с откровенно славянским лицом — «плоским», как писали в учебнике биологии; вдобавок это была единственная интеллектуальная женщина, с какой Нелли была знакома в юности (если не считать госпожи Леман, которая, видимо, была женой еврея); а главное, она не сочла нужным выйти замуж и подарить немецкому народу детей. Кстати, она добилась, чтобы ее называли не «фройляйн», не «барышня», а «госпожа доктор», ибо почетное звание «госпожа», «матрона» прилично любой особе женского пола, достигшей определенного возраста. На уроках истории она нет-нет да и роняла замечание, что, мол, история Европы — к превеликому сожалению, породившая жутчайшую мешанину благороднейших и неполноценных кровей — привела к тому, что в людях, чья внешность как будто бы даже намека на это не допускает, обнаруживаются чисто германские мысли и чувства, словом — германская душа.



Подобные замечания, которые ты записываешь не сразу, потому что они легко могут показаться надуманными, слетали у Юлии с языка совершенно естественно. И в беседе с глазу на глаз она, конечно же, говорила, что Германия должна теперь напрячь все свои силы, в том числе и силы молодежи, чтобы одержать победу в решающей битве с врагами. А у них в классе — вот об этом-то она и хотела потолковать с Нелли — в последнее время наблюдаются симптомы расхлябанности, нарушений элементарной дисциплины, групповщина.

Нелли не могла не согласиться с Юлией, как всегда безоговорочно, по всем пунктам. Но уместно ли называть серым словом «согласие» то, что было скорее единомыслием, глубинной общностью, а у Нелли еще и узами неволи. Ибо любовь Нелли узнала сперва как узы неволи.

После уроков Нелли торчала возле школы. Бёмштрассе. Как и обещано, ты нашла ее без труда, хотя подъездная дорога со стороны Варты, пересекающая городской центр, коренным образом изменилась, иными словами — ее модернизировали. Спрямили, расширили. Был третий час пополудни. Улицу перед школой, к счастью, затеняли дома. Деревья (ты готова была поклясться: боярышник, но, присмотревшись в лупу к фотографиям, обнаружила, что это липы, посаженные, видимо, не так давно, лет двадцать назад) сгущали тень еще сильнее. Из таблички у двери вы узнали, что теперь в школе размещено педагогическое училище.

Не в пример большинству учителей Юлия обыкновенно пользовалась выходом, отведенным для учениц младших классов. Сидела она чаще у себя в библиотеке, а не в учительской, и держалась особняком от других преподавателей, которые определенно уважали ее, но не любили. Люди, не умеющие скрыть, что они считают себя совершенней других, любви не вызывают. Зато Нелли — как и все, подавленная неодолимой пропастью между совершенством Юлии и собственной своей греховностью, — торчала возле школы (якобы дожидаясь подруги и поставив портфель на низкую стеночку, окаймлявшую газон), чтобы взгляд и приветствие Юлии выделили ее среди других и подняли в собственных глазах.

«Самоотверженность» — было одно из любимых слов Юлии. Нелли чувствовала, что по крайней мере в этом пункте способна удовлетворить требованиям Юлии. Из знакомых ей женщин ни одна не жила такой жизнью, какую она могла себе пожелать или хотя бы вообразить, — кроме Юлии. (Юлия! Юлия! — говорила Шарлотта. Если Юлия велит тебе прыгнуть в окошко, ты ведь прыгнешь, так, что ли?) Нелли прислушивалась к шорохам, долетавшим из кухни Юлии, словно там кто-то возился. Может, в самом деле хозяйство у нее ведет старшая сестра? Юлия объяснять эти шорохи не собиралась.

Вопрос был не в том, ждала ли она от Нелли больше, чем от других, — это разумелось само собой, так как Нелли не составляло труда блеснуть в сочинении по немецкому или в докладе, за что Юлия оценивала ее строже, чем остальных, и это было в порядке вещей. Доказательством доверия и отличием могли служить скорее уж небольшие спецзадания: например, она поручала Нелли подготовить экскурсию или просила ее дополнительно позаниматься с каким-нибудь мальчиком, сыном знакомых, который опасался, что не выдержит вступительных экзаменов в среднюю школу.

Когда же Юлия, ответственная за школьный праздник в честь дня рождения фюрера, поручила Нелли продекламировать в актовом зале программные стихи, это был уже верх доверия: «Когда народу /Страданий поток /Захлестывает рот, /Выхватывает бог /Своею рукой /Из сокровищницы мужей, /Что всегда у него наготове, /Пригоднейшего /И швыряет его,/ Как кажется, беспощадно /В беспросветную тьму, /Нанося смертельные раны ему /И сердце его наполняя /Горчайшими муками /Ближних» [1].

Ленка говорит: Вот это память. Я ни одного стиха больше года не помню. Проверка показывает: так и есть. Даже из «Пасхальной прогулки» только обрывки. Зато неистребимый запас дворовых и уличных песенок

[1] Перевод здесь и далее А. Науменко.

лийским экзерсисам мисс Войсман, ей было безразлично, что́ она получит за перевод, — вместе со своей подружкой Хеллой она склонилась над листком бумаги и принялась играть в «лабиринт».

Об эту пору Шарлотта Йордан приметила, что ее дочка общипывает кожицу вокруг ногтей, хотя это, конечно же, ей запрещалось — правда, безуспешно.

По-настоящему ты на школьный двор не заходила. Дошла только до угла дома и тут увидела швейцара. В каникулы на школьные дворы доступа нет. Разве что во время войны, когда все старшеклассницы должны были неделю отдежурить в ПВО; спали четверо дежурных в одном из классов, где стояли раскладушки, еду готовили на школьной кухне. Под руководством Доры, которая единственная из всех умела стряпать, они сварили клецки и сели обедать на воздухе, в дальнем конце школьного двора, под как никогда пышными липами. Юлия, начальница караула, устроившись на торце простенького дощатого стола, нахваливала клецки. Кажется, лето выдалось тогда жаркое. Они не рассчитали: клецок вышло чересчур много, и остаток их был ночью тайком утоплен в Кладове, невзирая на большой плакат, висевший на кухне: «Порче продуктов — бой!»

Днем воздушные тревоги случались пока редко, вечером они сидели в темноте под липами и пели по выбору Юлии: «Высокие ели на звезды глядят» и «Нынче нет страны прекрасней». Юлия расспрашивала девочек, кем они хотят быть. Дора подумывала о профессии медсестры, Хелла вступит во владение отцовским книжным магазином, Марга, эвакуированная из Берлина, намеревалась извлечь пользу из своих чертежных талантов. Нелли сказала: Учительницей. Юлия кивнула. Нелли долго ждала случая открыть Юлии, что она хочет последовать ее примеру. И вот — открыла, изнывая от страха, что Юлия сочтет ее втирушей.

Из распахнутого окна в доме по ту сторону маленького сочно-зеленого Провала, на дне которого течет речушка Кладов, доносилась музыка. Кто-то включил радио на полную громкость, играла флейта, потом бравурным, взлетающим вверх пассажем вступило фортепиано. Нежданно-негаданно мелодия взяла тебя за душу — если можно еще так выразиться, когда на глаза набегают слезы. Казалось невмоготу, что ты не познакомишься с женщиной — почему-то тебе представлялась молодая женщина, — которая слушает музыку в своей комнате, да что там не познакомишься, даже не увидишь ее. И хотелось тебе одного: посидеть в холодке на зеленом бережку Кладова, и поныне сплошь заросшем папоротником и плющом, слушать музыку и наконец-то забыть о себе. Ведь только когда забываешь о себе, ненадолго смыкается трещина между тем, каким ты вынуждаешь себя быть, и тем, каков ты есть.

(«Упразднить стражу у врат сознания». Это Шиллер, лучше кого бы то ни было знавший, о чем он говорит. Большая, многослойная проблема самоцензуры. Писать надо совсем по-другому. Высыханье, иссякание — в изоляции от так называемых истоков. Когда пуще всего надо бояться этой тяги, этого принуждения к известности. Словно недугом самонадзора и самослежки страдают только профессиональные писатели, словно не встречается он среди современников буквально на каждом шагу, причем они его толком не замечают, а многие так и вовсе отрицают, объясняя распространенную апатию, отмахнуться от которой весьма трудно, иными причинами.)

Дневник, который Нелли вела в те годы, к счастью ли, к несчастью ли, сгорел под конец войны в трактирной печке-буржуйке, в деревне Грюнхайде под Науэном, где семейство Йордан — без отца, он был в советском плену — нашло приют после первых трех недель «драпа». Ну, с этим пора кончать! — объявила Шарлотта Йордан — она, конечно же, украдкой читала дочкин дневник, — прежде чем семейство вновь двинулось в путь, ибо Красная Армия начала наступление на Берлин. Она приподняла кочергой чугунные кольца печной конфорки и проследила за гибелью опасной тетрадки в огне: Если русские найдут ее у нас, пиши пропало, а все из-за твоей дурости да прямоты! Впоследствии русские ни разу не заподозрили семейство Йордан в укрывательстве каких-либо бумаг и ничего у них не искали, однако же ты так и не решилась по-настоящему пожалеть об уничтожении этого невосполнимого, но, безусловно, разоблачительного документа.



Мы уже упоминали, что у Юлии были голубые глаза? Светло-голубые, говорили одни, васильковые, твердили другие. В тот январский день у нее в квартире эти глаза, по обыкновению пристально, воззрились на Нелли, когда их обладательница подошла наконец к сути разговора с ученицей: она намеревалась ее усовестить. Тон не стал укоризненным, был по-прежнему ободряющим и полным понимания — в точности таким, который — Юлия это, конечно, знала, и Нелли знала, что она знает, — доходил прямехонько до Неллина «нутра».

Нелли и ее подружка Хелла: в прошлом полугодии, о котором говорила Юлия, поводов для нареканий оказалось больше чем достаточно. Не на ее уроках, правда, но это уж было бы совсем из ряда вон. Обе рассмеялись. Но фройляйн Мерц, к примеру, всерьез жаловалась на ее откровенно слабый интерес к математике. Красноречивый взгляд Нелли: ах вот как, Мерц? Все в школе прекрасно понимали, что она была единственной серьезной соперницей Юлии, этакая трезвая, холодная естественница, с мужской стрижкой, в очках, неподкупная. Нелли ее боялась. Взгляд был принят к сведению и получил сдержанный ответ. Ну а штудиенрат Гассман — он был потрясен до глубины души, увидев, что Нелли осмеливается жевать на его уроке. Ах, штудиенрат Гассман! Да ведь у него за спиной в классе всегда черт-те что творится. Юлия знала об этом и переменила тему. Ладно, вернемся к главному; Юлия хотела, чтобы Нелли поразмыслила о своих взаимоотношениях с подружкой, с Хеллой, и сделала соответствующие выводы.

Как всегда, Юлия нащупала самое больное место. Пятнадцатилетнюю Нелли в первую очередь тревожил не исход войны — Германия войну проигрывала, и над этим человек был не властен, — а потеря подружки. Хелла была склонна к неверности. Как раз сейчас она носилась с девчонкой по имени Иза, которая, по словам Юлии, «умом не блистала, зато иными достоинствами обладала в избытке», а у Нелли Хелла под угрозой окончательного разрыва вынуждала признания, весьма для Нелли неприятные. В самом деле, Юлия могла бы и не вдаваться в детали. Нелли и так догадалась: это все следы строптивости. Мельком она подумала, что Юлия проглядела, откуда ей грозит подлинная опасность — не от Хеллы и не от Изы с их тягой к дерзким выходкам, с их записочками на уроках и шушуканьем в переменки, разумеется, о мальчишках, а от Кристы Т., новой ученицы из окрестностей Фридеберга; она ничего из себя не строила и в Юлии не нуждалась, и перед самыми рождественскими каникулами Нелли выклянчила у нее почти твердое обещание прислать письмо.

Но об этом Юлии ни слова. Надо, как всегда, проявить благоразумие, подкрасив его, впрочем, — хоть и без задней мысли — легкой отчужденностью. Этой уловки оказалось достаточно, чтобы вытянуть из Юлии фразу, которой Нелли так долго и тщетно ждала: Ведь мы-то с тобой отлично понимаем друг друга, верно?

Фраза эта опоздала, сомнений нет; чуда, по сути, не произошло. Нелли никогда бы себе не призналась, но в ней шевельнулось подозрение: может, Юлия все делает с расчетом?

(Странно, говорят, перед смертью — Юлия умерла от тифа в сибирском эшелоне — она сказала: Такова воля божия. И это вызывает удивление, потому что за все время знакомства Нелли не обнаружила в ней ни намека на религиозность. Кстати, в эшелоне она, по рассказам, держалась образцово, иными словами, забыв о себе, помогала другим, — в этих сведениях содержится по крайней мере частичный ответ на вопрос, которым Нелли не раз задавалась после войны: присутствовал ли в поступках Юлии так называемый «честный идеализм»; поспешила ли бы она, как почти все, с кем тогда сталкивалась Нелли, переменить свои взгляды или осталась бы «верна себе», что бы эта верность себе ни означала?)

Потом опять улица, опять пронизывающий ветер. Темно, хоть глаз выколи. Визит к Юлии не вполне оправдал надежды, которые возлагала на него Нелли, ну да ей это не в новинку. Так одна часть Неллина существа говорила другой части, ведь у нее вошло в привычку наблюдать за собою со стороны, а значит, все время давать себе оценку. Зачастую это мешало ей высказаться напрямик, без обиняков, и не позволяло, когда надо, действовать решительно. Однажды она встретила на Людендорфштрассе девчонку из своего юнгфольковского звена, которая почти не ходила на собрания

и потому заработала от нее, Нелли, письменный выговор. И вот теперь, на улице, при всем честном народе, мать этой девчонки резко ее отчитала: дескать, мало каши ела, чтоб моей дочерью командовать. А Нелли, вместо того чтобы заявить свои права, поспешно согласилась с этой мамашей, ибо та часть ее существа, которая сверху наблюдала за происходящим, сказала, что ей должно быть стыдно.

Пройдемся немножко. А машина тут постоит. В этакую жарищу, говорит Ленка. Здесь можно где-нибудь искупаться?

Можно, только не здесь, не на Гинденбургплац, что совсем рядом, буквально за углом, и, как ты, верно, уже говорила, изменилась к лучшему — вон сколько травы, и деревья вокруг совсем большие, и на лавочках под их сенью субботними вечерами сидят картежники. Так и хочется стать частью этой картины. Водочные бутылки под лавочками. Дети на коленях и у ног отцов. Широкобедрые, пышногрудые молодые женщины вчетвером на лавке, с младенцами на руках.

У юго-восточного края площади, примыкающего к бывшей Бёмштрассе, в свое время по средам и субботам собирался «на построение» Неллин отряд. Нелли тоже выстраивала свое «звено», по росту, в одну шеренгу, приказывала рассчитаться по порядку номеров и с беспокойством ждала результата, ведь явка подчиненных — мерило организационных способностей командира; потом она командовала «направо!» и «в колонну по трое становись!», чтобы отдать рапорт подошедшему только теперь командиру отделения или отряда. После этого все маршировали на учебные занятия. Нелли, как и другие девочки-командиры, не в колонне, а слева, рядом со звеном. Левой, левой, два, три, четыре. Запевай. «Испытаем нынче наш /Разудалый новый марш, /В Вестервальд наш путь лежит, /Ветер в спину нам свистит».

Спины шагающих в колонне. Уличная мостовая. Фасады домов. Но ни одного лица. Память подводит, да еще как — в голове не укладывается и досада берет. Имен тоже нет, ни имен начальства, ни имен подчиненных.

Назвать это положение вещей странным — язык не поворачивается. Странными кажутся лишь тогдашние групповые и массовые картины: марширующие колонны. Ритмические массовые упражнения на стадионе. Полные залы, распевающие: «Отчизна святая, /Грудью тебя /Сыны заслоняют — /В опасности ты,/ Отчизна святая» У костра. Снова песня: «Вздымайся, пламя!» И снова ни одного лица. Гигантское каре на Рыночной площади, шеренги девчонок и мальчишек из юнгфолька; вся организация поднята по тревоге и построена: на фюрера было совершено покушение. Ни единого лица.

К этому ты была не готова. Школа, улица, площадка для игр — сколько фигур и лиц, которые ты и сейчас еще могла бы нарисовать. Там же, где Нелли была как нельзя более увлечена, где выкладывалась целиком, — там подробности, значимые, важные, стерлись. Надо полагать, постепенно, не сразу, и легко догадаться, каким образом; видимо, очень кстати пришлась их утрата смятенному сознанию, которое, как все знают, способно за своею же собственной спиной отдавать памяти категорические приказы, например, такой: больше об этом не думать! Приказы, годами неукоснительно выполняемые. Избегать определенных воспоминаний. Не говорить о них. Не допускать появления слов, словесных рядов, целых цепочек мыслей, которые могут их пробудить. Не задавать в обществе ровесников определенные вопросы. Ведь нестерпимо же при слове «Освенцим» волей-неволей думать: я. Коротенькое словечко «я» в прошедшем времени сослагательного наклонения: я бы. Я бы могла. Сделать. Повиноваться.

Тогда уж лучше — ни единого лица. Выпадение участков памяти ввиду их неиспользования. И вместо тревоги по этому поводу даже и теперь, честно говоря, — облегчение. И понимание, что речь, упорно добиваясь наименований, заодно сортирует, отфильтровывает желаемое. Произносимое. Закрепленное. В таком вот духе. Как сделать, чтобы регламентированное отношение проявлялось спонтанно?

ЭПЖЧ, говорит Ленка.

Это еще что?

Вы подъезжаете к маленькому угловому кафе, раньше его здесь не было. Внутри довольно малолюдно. Играет пианист, кофе стоит десять злотых. Вам подают его по-турецки, крепкий и вкусный, в больших чашках. С земляничными пирожными. Входят несколько пьяных юнцов. Один пристает к девушкам за соседним столиком. Официантка, полная, миловидная женщина средних лет, возмущенно стыдит мальчишек и выпроваживает за дверь. Без долгих препирательств они нетвердой походкой вываливаются из кафе, уже на улице один, покачнувшись, всей тяжестью падает на стекло большой витрины. Лица девушек и официантки принимают выражение гадливости и высокомерного превосходства над невменяемым мужским полом, которое так в ходу у нынешних женщин.



ЭПЖЧ — новый термин с урока биологии, и означает он «эпоха перехода от животного к человеку». Вот до середки этой эпохи мы как раз и добрались, верно? — говорит Ленка. В одних больше от животного, в других — уже от человека.

В ту пору она рисовала скорченных человечков в капсулах, обособленных, одиноких. Изредка пару, заключенную в капсулу. И печальные автопортреты. Недавно она рассказала тебе, в каком сне или кошмаре долго блуждала: за каждым ее движением день и ночь якобы следила кинокамера, и громадный зал, полный ни о чем не подозревающих людей, которые зашли с улицы на первый попавшийся двухчасовой фильм, — весь этот зал вынужден был сидеть и смотреть на огромном экране фильм ее, Ленкиной, жизни. Сутками, неделями. Более чем тягостно, сказала она, и для этих людей, и, как ты понимаешь, для меня тоже. — Сдержать в такой миг возглас: Знакомая история! — наверное, выше человеческих сил. Она вскинула брови: Это как же? Выходит, и ты испытывала ощущение, будто тебя снимают на пленку? — Нет, столь технических ассоциаций у меня не возникало. Объективом камеры было в моем случае око господне, а постоянным зрителем — сам бог-отец. — Ну-ну, долго же ты верила в бога. — Твое «верила» предполагает возможность неверия, но ее не существовало. Кстати, чем эта самая кинокамера отличается от ока господня?

Над этим еще надо подумать, решила Ленка.

Вероятно, нам только и остается, что сообщить тем, кто придет после нас, о нашей увечности. Рассказать о том, что происходит с человеком, когда все пути, открытые ему, ведут в ложном направлении. Вероятно, тебе стоило бы все-таки пожалеть о Неллиных утратах, невосполнимых, как ты знаешь теперь. Вероятно, тебе стоило бы пожалеть девочку, ушедшую тогда навеки, — окружающие так ее и не поняли и любили такой, какой она могла бы быть. Унесшую с собой тайну — тайну стен, в которых она была заперта, которые ощупывала в поисках проема, внушавшего чуть меньший страх, нежели другие, и все же страх.

Страх этот проявлялся тогда в пронзительном, неотступном ощущении чуждости самой себе, и след его как раз в том и заключается, что он стер следы: человеку, который не желает бросаться в глаза, в скором времени ничего уже в глаза не бросается. Ужасающая жажда самоотречения не дает человеческому «я» поднять голову.

Лутц с Ленкой заспорили, почему — ты как-то не очень уловила. Лутц сказал, что, конечно, бунтовать против того, что есть, может, и геройство, только смешное какое-то. Существующее наличествует и одним этим фактом уже доказывает свое право на существование.

Как вы до этого додумались? — спросила ты.

От ЭПЖЧ плясали, сказала Ленка. Лутц-то у нас консерватор. — Реалист, поправил Лутц. А вы — романтики.

Из кафе ты вышла совершенно подавленная. Неподалеку от того места, где вы опять сели в машину, минутах в трех ходьбы, на бывшей Франц-Зельдтештрассе еще стоит, наверно, двухэтажный дом, в котором размещался тогда штаб гитлерюгенда; уж это здание ты бы как-нибудь узнала. Нелли неизменно входила туда с трепетом душевным, а выходила неизменно с облегчением. Время нашлось бы, хотя был уже пятый час и вы собрались наконец в гостиницу. Предложи ты сделать маленький крюк, никто бы не стал возражать. Но тебе это в голову не пришло.

Недосмотр, замеченный лишь сегодня.

# 11. ЖЕРТВЫ И ПОСТОРОННИЕ. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Окончательное решение.

Теперь уж не выяснить, когда ты впервые услышала эти слова. И когда, услышав, вложила в них смысл, им соответствующий; наверное, это произошло спустя годы после войны. Однако и позднее — до сегодняшнего дня — при виде всякой окутанной дымом высокой трубы ты невольно думаешь: Освенцим. Тень от этих двух слов становилась все больше, все гуще. Открыто встать в эту тень до сих пор не удается; ведь фантазию, обычно далеко не ленивую, отпугивает амбициозное требование поставить себя на место жертв.

Непреодолимый рубеж навсегда разделил тех, по кому это ударило, и тех, кого это не коснулось.

31 июля 1941 года — в каникулярный, жаркий, наверное, день — Нелли, скорее всего, лежала в саду, в любимой своей картофельной борозде под вишнями, и читала книжку, а на животе у нее нежилась на солнышке ящерка. Возможно, она вскочила на ноги, когда из радиоприемника, который летом выставляли на веранду, после фанфар, возвещавших специальные сообщения, раздались сводки о дальнейшем продвижении германских войск в глубь России. Ее отец в этом походе не участвовал. После польской кампании его сверстников демобилизовали, а сам он, признанный «годным к гарнизонной службе в тылу», получил назначение в канцелярию управления призывного района в Л., в чине унтер-офицера.

Так или почти так прошел у нее день, когда рейхсмаршал Герман Геринг по поручению фюрера уполномочил шефа охранной полиции и руководителя службы безопасности (СД) Райнхарда Гейдриха заняться «окончательным решением еврейского вопроса в зоне германского влияния в Европе», — того самого Гейдриха, которому 24 января 1939 года (Нелли не исполнилось и десяти лет) было приказано осуществить окончательное решение на территории германского рейха.

Обе даты — одна из них в нынешнем, 1974 году отметила свое тридцатипятилетие — больше, чем некоторые другие, заслуживали бы звания памятных. Недавно Ленка спросила: Эйхман, а кто он, собственно, такой? Вы оборвали разговор. Потом ты попросила у нее учебник истории. Девятый класс, сказала она и уныло поплелась в подвал, искать его среди старых учебников, сложенных в картонный ящик.

Фашистской диктатуре в Германии уделено почти сто страниц. Имя Адольфа Эйхмана там отсутствует, ты убедилась своими глазами. Дважды упомянут Генрих Гиммлер, в том числе в связи с его высказыванием: «Благоденствуют ли другие народы или подыхают с голоду, интересует меня лишь постольку, поскольку они как рабы нужны для нашей культуры. Все прочее мне безразлично».

Позен — ныне Познань, — где 4 октября 1943 года перед группенфюрерами СС была произнесена эта речь, находился в каких-то паршивых ста тридцати километрах от Неллина родного города. Девочкой она не бывала так далеко на востоке. Ты приводишь Ленке еще несколько отрывков из той речи: «В корне ошибочно нести чужим народам всю нашу бесхитростную душу, нашу отзывчивость, нашу доброту, наш либерализм». Ленка глядит тебе через плечо, вы вместе читаете то, что нельзя произнести вслух: «Большинство из вас знают, наверное, каково это, когда перед тобой лежит сотня трупов, пять сотен трупов или тысяча. Выдержав такое и притом — малодушие было здесь исключением — оставшись порядочными, мы стали жесткими, суровыми. Не было доныне в нашей истории и впредь никогда не будет столь славной страницы...»

Ленка молчит.

В ее учебнике истории на странице 206 изображены ворота Освенцима-Бжезинки (по ассоциации Ленка сразу же думает о Франци; Франци из Праги, которую она узнала и полюбила еще в раннем детстве, прошла через эти ворота). Под снимком четыре цитаты из переписки «И. Г. Фарбен» с концлагерем Освенцим относительно поставки женщин из лагеря на фабрику, для опытов, штучная цена — 170 марок; в результате этих опытов 150 женщин погибнут, прямо так точно и сообщается. «В скором времени мы обратимся к вам на предмет поставки новой партии товара».



Что для нее «И. Г. Фарбен»?

Для тебя «И. Г. Фарбен» — длинный комплекс построек из красного кирпича, возведенный в середине тридцатых годов на правой стороне Фридебергершоссе, обширная территория с производственными цехами, где нашли работу и кусок хлеба последние в городе безработные (объявления о найме в «Генераль-анцайгере»!). В войну на этой же территории стояли жилые бараки поволжских и волынских немцев, которых фюрер вернул в рейх, чтобы они трудились в «И. Г. Фарбен» и могли получить на рождество в подарок от юнгфольковских девочек (в том числе и от Нелли) шарфы да варежки ручной вязки и пряники собственной их выпечки. Когда девочки пели «Хайчи-бумбайчи», волынские немки плакали, утирая глаза кончиками головных платков, которых они и в комнатах не снимали (впрочем, какие уж там комнаты — вонючие барачные конурки с грубыми деревянными столами и двухэтажными нарами), и сквозь слезы благодарили за чудесные подарки, иные даже пытались целовать руки молоденьким барышням. Нелли не любила ходить в бараки, но понимала, что увиливать от этого нельзя.

На странице 207 в Ленкином учебнике приводится «Карта фашистских концентрационных лагерей в Европе во время второй мировой войны», формат 14 × 9. На этой карте нет городов. Обозначены Северное и Балтийское моря и крупные реки, указаны также названия шестнадцати главных концлагерей, изображенных большими черными точками. Пять из этих названий подчеркнуты — лагеря смерти. Карта пестрит мелкими точками («лагеря-филиалы») и крестиками («гетто»). Ты физически почувствовала, как Ленка впервые в жизни уясняет себе, среди какого ландшафта прошло детство ее матери. Географическое положение лагерей смерти Хелмно, Треблинки, может быть, даже Майданека позволяет допустить, что эшелоны с людьми, отправленные в эти лагеря, шли и через Л., ведь он лежал на восточном участке железной дороги. Поезда на Освенцим и Белжец, наверное, шли южнее. Нелли никогда не слыхала ни слова об этом от своих земляков, ни в войну, ни после. В ее семье никто уже не работал на железной дороге.

Насколько она понимает, говорит Ленка, подавляющее большинство ее одноклассников — да и она сама тоже — рассматривали эту карту не очень-то внимательно, во всяком случае, без глубоких переживаний. У них, говорит она, не возникло чувства (а может, его в них не пробудили), что эта карта затрагивает их куда больше, чем другие документы из учебника. В тебе закипает сильное, перемешанное с досадой удивление и тотчас сходит на нет, разбившись о вопрос: надо ли вообще осуждать такое, не лучше ли пожелать, чтобы у детей никогда не возникло чувства вины, которое могло бы заставить их внимательнее вглядеться в эту карту. До третьего и четвертого колена — жуткое заклинание бога мести. Но речь не об этом.

Ты видела, как они толпами тянулись через бывший лагерный плац на Эттерсберге, безмятежно дожевывая бутерброды и яблоки, — это зрелище не возмутило тебя, а вызвало удивление и тревогу. Некто стал тебе объяснять, что, мол, решение переоборудовать бывшие эсэсовские казармы при лагере Бухенвальд в своего рода туристскую гостиницу было вполне рациональным, сэкономило и материалы, и деньги. Этот человек не говорил о гостеприимстве напрямую, но, по сути, вел речь именно о нем, а твоего вопроса, действительно ли он полагает, что кто-либо, например иностранный турист, способен ночью сомкнуть в этом доме глаза, — твоего вопроса он не понял. Честно, сказал он, я не понимаю. Ты заметила, что нынешним посетителям бывшего концлагеря не мешало бы на несколько часов, что они здесь пробудут, отказаться от еды и питья, от песен и транзисторной музыки, он, однако, счел твою идею далекой от жизни. Честно, сказал он, это не стыкуется с реальностью. Людей надо принимать такими, каковы они есть.

Когда же ты все-таки брала дополнительно уроки у штудиенрата Лемана? Наверняка уже после 31 июля 1941 года. И определенно после 20 января 1942 года, когда состоялась так называемая Ванзейская кон-

ференция; в ней наконец-то дозволено было участвовать и Адольфу Эйхману (он был там, правда, самым младшим по званию), и — к величайшей его радости — статс-секретари всех ответственных министерств и прочие высокие чины с едва ли не восторженным единодушием одобряют план, осуществление которого даст ему возможность блеснуть всеми своими умениями и талантами: «прочесать» Европу «с запада на восток» на предмет разыскания евреев.

(Адольф Эйхман, Ленка, ты наведи о нем справки. Человек, который не терпел неудачливости, который до последней минуты сыпал громкими фразами, в том числе и о собственной смерти,— мастер и жертва той губительной категории речевых норм, что одним несут долгожданное абсолютное единение с господствующей идеологией, а других обрекают на гибель — от руки тех, кто, отняв у языка и речи совесть, способны убивать, не чувствуя угрызений совести. Ибо чувствовать-то они способны только желательное. Адольф Эйхман был самым опасным, он ближе всех подошел к «нормальному» поведению современников. Он полностью подчинился переоценке ценностей, диктуемой государством, и до последнего дня видел свою вину лишь в покорности — а ее воспитывали в нем с детства, как добродетель.)

Тебе запомнилось, что было это зимой, ближе к вечеру: господин штудиенрат Леман и его жена, долголетние покупатели йордановского магазина, сидя вместе с Шарлоттой в кабинете, взволнованно, прямо-таки нервозно заговорили о своем происхождении. Странным и необъяснимым образом Нелли все это время находилась тут же, вероятно, по желанию матери, которая намеревалась предложить чете педагогов свою дочку в качестве ученицы и не могла знать наперед, как повернется разговор. Но штудиенрату Леману было очень, очень важно убедить ее, что его освобождение от работы в школе по причине якобы расовой неблагонадежности вызвано роковой ошибкой, которую он, Леман, стремится исправить, разослав великое множество ходатайств в надлежащие ведомства и даже самому господину Гиммлеру.

Штудиенрат Леман носил с собой копии документов (и буквально принудил Шарлотту Йордан в них заглянуть), из которых совершенно однозначно вытекало, что родители — кстати, действительно евреи,— воспитавшие его, вовсе ему не родные; более того, он может представить почти полные доказательства, что он внебрачный сын простой девушки чисто арийских кровей, к сожалению ныне покойной. Девушки, у которой не было никакой, ну совершенно никакой возможности вступать в интимные сношения с мужчинами-неарийцами. Что же до него, Лемана, то он, мол, с непоколебимым спокойствием ожидает итогов расследования.

(«Морозы настали сильные, как никогда».)

Нелли не забыла белые, дрожащие пальцы, перебирающие бумаги, и жутковатый смешок, который вырвался у штудиенрата Лемана, когда он спросил, уж не похож ли он в самом деле на еврея. У него было круглое, бледное, чуть дряблое лицо, жидкие рыжеватые волосы, и Шарлотта Йордан быстро сказала, что евреи с виду совсем не такие. Затем она поспешно перевела разговор на ящик-термос, который Леманы соорудили, руководствуясь газетными рекомендациями экономить электричество (рубрика: «Краже угля — бой!»). Госпожа штудиенрат Леман — как и ее муж, она преподавала иностранный язык и тоже была отстранена от работы ввиду общей семейной ответственности — достигла в обращении с этим ящиком-термосом изрядного успеха и готова была открыть желающим свои хитрости.

Нелли отнюдь не возражала, чтобы господин Леман научил ее произносить английское «р», упорно ей не дававшееся. Сидя у Леманов в гостиной за овальным, покрытым вязаной филейной скатертью столом, она вдумчиво отрабатывала артикуляцию и добилась если не идеального, то вполне удовлетворительного результата. Сказать, будто она ни на миг не забывала, что ее учитель подозревается в принадлежности к евреям, было бы преувеличением. Но его чрезмерная, едва ли не подобострастная приветливость не давала Нелли почувствовать себя свободно. Когда она сидела перед господином Леманом, руки у нее были мокрые от пота, даже на учебнике английского оставались пятна. Ее преследовало ощущение, что учитель ее боится, и она понимала, что никакая преувеличенная дружелюбность с ее стороны не избавит его от этого страха. В каждом слове, сказанном ими друг другу, ей слышалась фальшь. Но о том, чтобы попросту отказаться от этих мучительных занятий, нечего было и думать, ведь теперь Леманы только благодаря урокам и сводили кое-как концы с концами.



Нелли завидовала своему брату Лутцу: не ведая душевного разлада, он под руководством господина Лемана «лечился» от шепелявости — кончиком языка перекатывал во рту одно-единственное маковое зернышко, до тех пор пока язык сам собою не отыскал положение, в котором произносится правильное «с».

Чтобы послать детей к Леманам, маме потребовалось немалое мужество, но тогда Нелли об этом не думала. Позднее Шарлотта говорила, что была возмущена тем, как отблагодарили за долголетнюю верную службу двух хороших, опытных учителей,— позор, да и только. Вдобавок ей было жаль их. Она уже точно не помнила, поверила ли, нет ли тому, что́ господин Леман старался доказать своими бумагами. Ясно было одно: детям от этих людей ничего не грозило. А вздумай власти учинить ей допрос, она бы стояла на том, что-де бумаги штудиенрата Лемана убедили ее в его арийском происхождении.

Этот человек, возможно еврей, не вызывал у Нелли антипатии. Она жалела его, сама себе в этом не признаваясь. Пронзительное чувство неловкости и так уж отравляло ей каждый урок, а штудиенрат Леман еще и подливал масла в огонь, почитая своим долгом как можно чаще давать сводкам верховного главнокомандования вермахта одобрительный комментарий. Русский немца никогда не победит, говорил он, и Нелли, всем сердцем соглашаясь с ним, однако же невольно спрашивала себя, не страх ли толкал его на такие громогласные заявления.

Ужасно противно — чувствовать, что тебя боятся. Но ведь немыслимо же прямо сказать штудиенрату: Да успокойтесь вы наконец, я вам верю! — и тем навсегда избавить его от страха. Такие слова как раз бы и довели неловкость до предела и выпустили на волю поток взаимных клятв.

Одна молодая женщина, которой тогда еще не было на свете, несколько дней назад мимоходом рассказала тебе, что, мол, ходила в сауну и, насидевшись в тесной кабинке, ночью впервые в жизни увидала во сне, будто ее травят газом. А на руках у нее почему-то был ребенок, ее собственный, хотя на самом деле она бездетна... После этого она так и не смогла вновь пойти в сауну. Глупо, конечно. Но во сне все было невероятно жутко.

Про Генриха Гиммлера известно, что человек он был крутой, пунктуальный, набожный. Точно так же можно было бы охарактеризовать отца Рудольфа Хёсса, первого коменданта Освенцима, чьи записки ты впервые прочла ровно год назад (теперь у нас март 1974-го), притом в больнице, где тебе были предписаны диета, долгие прогулки, занятия спортом, сауна (вот слово, вызвавшее ассоциацию) и массаж. (Сначала на свете должны появиться родители военных преступников, а уж потом сами военные преступники.) Эта книга, которую библиотека выдает лишь в порядке исключения, лежала на белом столике. Чтение затянулось, заодно ты стала проглядывать и другие книги. Врачи, которые обычно следили за тем, что пациенты читают, взвешивали книгу в руке и клали обратно, без возражений. В большинстве они моложе тебя, кой-какие имена, прочно засевшие в памяти твоего поколения, им уже ничего не говорят.

Конечно, едва ли ты подсознательно искала в этой книге средство выбить у себя же из рук работу, вот эту самую работу. Только, на беду, по причине отсутствия пишущей техники тебе пришлось собственноручно делать извлечения из мемуаров коменданта Освенцима, написанных им в течение нескольких месяцев перед казнью, когда он сидел в одной из польских тюрем. Ничего из ряда вон выходящего не случилось, рука не отнялась. Здравомыслящая внутренняя инстанция, цель которой, в частности, разграничивать то, что под страхом безумия путать запрещено, функционировала по-прежнему исправно. Она отделяла описывание от написания, картину того, что бы могло быть, от воспоминания о реально случившемся, прошлое — в меру возможности — от настоящего. А значит, удерживала командные высоты, контролирующие душевное здоровье.

Не в ее власти был скрытый распад от медленного яда отчаяния.

Не могла она предотвратить мелкие сбои, безвредные для конструкции в целом, как-то: определенные сновидения, после которых глаз сомкнуть невозможно; внезапные, непредсказуемые превращения безобидных сцен в нечто жуткое (когда, например, в столовой в очереди к раздаточному окошку прозвучали слова «до того осточертело, впору газом травить»); неотвязные поползновения расклассифицировать весь больничный персонал с точки зрения того, годятся ли эти люди в соучастники массовых преступлений — данное понятие обозначает не только преступления против масс, но и массовое появление преступников и их подручных. Как ни «успокаивали» коменданта Хёсса определенные открытия, прежде всего то, что газ «циклон-Б» пригоден для массового уничтожения людей — впервые он был испытан на 900 советских военнопленных в старом крематории Освенцима, — «ведь в ближайшем будущем надо было приступать к массовому уничтожению евреев, а ни у Эйхмана, ни у меня до сих пор не было ясности относительно способа умерщвления этих масс. Теперь наконец мы получили и газ, и метод».

Чего ты требуешь от Ленкина учебника истории? Чтобы он остановил бег времени? Передал злосчастную память грядущим поколениям? Воспрепятствовал тому, чтобы всё и вся, в том числе зверство, с годами блекло, стиралось?

Не так давно, точнее ровно две недели назад, в первых числах марта 1974 года, на одном из семейных дней рождения (старые фотоальбомы, воспоминания) твой брат Лутц сказал: Ох этот Эмиль Дунст, попадись он мне тогда... Я его до смерти ненавидел.

Дети понятия не имели, кто такой был Эмиль Дунст: Ваш двоюродный дед, владелец конфетной фабрички. Среди фотографий нашелся снимок его могилы, тетя Трудхен обожает фотографировать богато украшенные могилы близких родственников. «Здесь, вдали от родных мест, покоится мой дорогой муж...» (Вполне во вкусе тети Ольги.) Тот еще был фрукт, этот Эмиль Дунст, сказал Лутц. Помнишь, летом сорок пятого — мы в ту пору ютились в Бардикове, в сарае, — он вдруг явился бог весть откуда и еще издалека крикнул нам: Вашего отца нет в живых, это вам, поди, известно, а? Его русские ухлопали. — Знаешь, я его чуть не придушил.

Эмиль Дунст еще когда пробовал отравиться газом. Веселые язычки огня по периметру столов, подогревавшие вязкую конфетную массу, — это ведь было газовое пламя. Если открыть кран, не зажигая горелки, да еще развесить вокруг стола одеяла, то газ под столом достигал концентрации, вполне достаточной, чтобы отправить на тот свет двух людей — дядю Эмиля Дунста и ранее упомянутую госпожу Люде. Именно так и выразился впоследствии Готлиб Йордан, хайнерсдорфский дед: На тот свет отправиться хотели. Ну не мерзавец ли! — Чутьем он безошибочно отличал подлинного несчастливца от человека, который выставляет напоказ жалость к себе.

Нашел их обоих хайнерсдорфский дед. Этакого зрелища он бы злейшему врагу не пожелал увидеть. Да-да, именно он собственноручно вытащил их из-под стола, а после частенько говаривал: Лучше бы я их там оставил. А то девочке вон сколько еще мучиться пришлось.

Девочка — это тетя Ольга, которая не в силах выставить муженька за дверь, а вот Шарлотта Йордан (по ее собственным словам) непременно бы так и поступила с Эмилем Дунстом тогда, летом сорок пятого, будь у нее дверь. Поэтому, когда он объявил ей о смерти мужа, она только цыкнула на него: Заткни свою поганую пасть! — а он, не больно-то обидчивый, невозмутимо ответил: Пожалуйста. Кого слова не берут, с того шкуру дерут.

На лоне природы нравы быстро приходят в упадок. Но у Шарлотты как-никак были сведения, хотя и неподтвержденные, что много позже того дня, когда ее муж, по словам Эмиля Дунста, был убит, его видели живым и здоровым очень-очень далеко отсюда.

Давно забытые черты Эмиля Дунста снова и снова возникали на фоне книги освенцимского коменданта — как ответ на вопрос, знавала ли ты кого-нибудь, кто мог бы выступить на страницах этих записок. Эмиль Дунст! Он бы по всем статьям подошел. Ты ведь не забыла, как он сыпал некоторыми словами. Польский сброд. Жидовское отродье. Русские свиньи. У него были все данные, чтобы стать шестеренкой — любой шестеренкой! — описанной Хёссом машины уничтожения. Он сгодился бы на выгрузке. И как конвоир. И на селекции. И чтобы открывать газовые вентили. И как надзиратель у печей крематория. Он был бы на месте и среди охранников, которые вечерами сидели в казармах и топили в шнапсе жалость к самим себе. Не забудь, он еще частенько распинался насчет «низменных инстинктов», которые столь успешно одолел в себе Рудольф Хёсс.



Одного, впрочем, ему недоставало — старательности. Печально, но факт: Эмиль Дунст был лентяй. Эйхман и Хёсс были весьма прилежными немцами, одержимыми в работе, и ничто их так не огорчало, как непонимание и халатность окружающих, мешавшие им образцово выполнять свою работу.

Получив первые сообщения из лагерей смерти, союзники их не опубликовали. Причина: они не могли в это поверить. Не хотелось им, чтобы их обвиняли в распространении измышлений о зверствах. Мы же теперь ждем от людей чего угодно. Мы считаем, что всё может быть. Мы знаем что к чему. Вероятно, это самое важное отличие нашей эпохи от предшествующих.

Вероятно, необходимо, чтобы это наше знание вновь утратилось.

Теперь — Неллины выступления, дававшиеся ей, похоже, без труда.

Начнем с вещей безобидных, с концертов в лазарете. Бывшая психиатрическая лечебница на Фридебергершоссе в войну была лазаретом. Никто не задавался вопросом, куда подевались сумасшедшие, на чьих койках лежали теперь раненые. Под руководством командира отряда Кристель Нелли и ее отделение подготовили превосходную программу, памятуя о негласном уговоре, что раненым требуется что-нибудь «полегче». «Генераль-анцайгер», корреспондент которого описывает концерт в лазарете, не упоминает ни одной из боевых песен Движения, вообще ничего воинственного, зато перечисляет такие песни, как «Я — музыкант» и «Все мне едино, хоть смейся, хоть пой, сердце мое — ровно птица, к тебе устремилось, девица».

Возгласы «хо-хо!» и овации легкораненых. Тяжелораненые, у которых в палате, несмотря на распахнутые окна, стоял какой-то сладковатый запах и которым разрешено было послушать одну-единственную песню, попросили «Роземари, ах, Роземари, семь лет мое сердце томилось по ней». По впадинам на одеялах Нелли догадалась, что кое-кто из них лишился рук и ног.

Под конец юнгфольковские девчонки пропели в коридоре «Лили-Марлен», да так, что буквально все расчувствовались. «Когда клубятся поздние туманы...» А совсем уж на прощанье раненые камрады, лежа в постелях, отблагодарили песней юнгфольковских девчонок. «Аргоннский лес в полночный час, /Хранит сапер уснувших нас, /Звезда мерцает во тьме ночной, /Путь указуя в край родной», пели они. Песня не умолкала. Взгляды солдат были прикованы к одеялам, девчонки потихоньку, на цыпочках вышли за дверь, а вслед им неслось: «В Седане дальнем на юру /Стоит на страже часовой, /У ног его товарищ, /Сраженный пулей шальной»:

Вечером всегда хуже некуда, сказала молодая белокурая медсестра, провожая девочек к выходу. Шарлотта, поджидавшая дочку у открытого окна, обронила только: Кто вернет горемыкам здоровые руки-ноги!

А в тот субботний день, 10 июля 1971 года, в Г., бывшем Л., время давным-давно перевалило за шестнадцать часов (это было после передышки в новом кафе). Наконец-то можно и в гостиницу.

Нелли в детстве не бывала ни в этой, ни в других гостиницах; Ленка, получая ключ, держится так, будто для нее это самое что ни на есть привычное дело. Вам отвели комнаты на первом этаже. Внутри все пышет дневным зноем. Призвав на помощь русский язык, вы сумели, к счастью, расшифровать польский указатель «Душ на втором этаже. Ключи у администратора».

Пошли вместе, а?

О'кей.

Клёвая штука — такой душ, говорит потом Ленка. Безо всяких там выкрутасов, стены выкрашены ша́ровой краской, на полу — деревянная решетка. Она открывает краны, позволяет тебе намылить ей спину; воблочка ты этакая, говоришь ты, а она отвечает: Погоди, то ли еще будет! И во все горло распевает: «И все поем мы «очень хорошо»!». Ты заме-

чаешь, что кабина вряд ли звуконепроницаема. I like you[1], отзывается Ленка.

Потом она бросает взгляд в быстро запотевающее зеркало и видит там себя, в купальной шапочке. Без волос, говорит она, ей в пору сниматься в фильмах ужасов. Спустя некоторое время, передав ключ от душа своему дяде, она объявляет, что решила вздремнуть, и укладывается на кровать возле окна, отделенную от твоей двумя тумбочками. Ты уже засыпаешь, когда она говорит бодрым голосом: Вообще-то так и хочется разреветься.

Тебе сразу понятно, о чем это она.

Как подумаю, что, может, именно сейчас, когда я уютно нежусь в постели, солдаты-американцы убивают людей в какой-нибудь вьетнамской деревне,— как подумаю об этом, так просто видеть себя не могу, противно. Ты молчи, говорит она, я знаю, что несу глупости, но, наверно, еще более страшная глупость — спокойно спать, когда происходят такие вещи.

А самое-самое страшное, наверно, то, что люди ко всему привыкают.

Утешения, успокоительные фразы — вот что первым делом приходит тебе в голову, но ты прикусываешь язык. Не хочешь, чтобы она уже сейчас сбилась с толку. Не хочешь, чтобы уже сейчас на ее лице запечатлелось то выражение посвященности, от которого тебе самой никогда теперь не освободиться: Меня не проведешь! Я все насквозь вижу!

Однако же, говоришь ты, тем, что человечество выжило как вид, оно не в последнюю очередь обязано способности привыкать.

Мне все ясно, говорит Ленка. А если сейчас человечество привыкает к этим вот вещам, которые уничтожат его как вид? Ну? Что тогда? Скажи хоть что-нибудь.

Н-да, говоришь ты. Может, нельзя самому впускать в себя сумасшествие.

Beg your pardon?[2]

Я имею в виду многочисленных людей, которые свято верят, будто все, что делает и думает большинство, совершенно нормально.

Ах, эти, тянет Ленка. Знаю я их.

И что же?

Да ничего. Они жутко действуют мне на нервы. А иногда я их жалею.

А тебе не страшно, когда ты думаешь совсем не так, как они?

Страшно? — удивляется Ленка. Так ведь я вижу, что́ с ними творится!

Ну а если они к тебе пристанут, да не на шутку?

Я тогда жутко разозлюсь и начну рычать.

Но вдруг они правы, ведь их большинство — такая мысль тебе в голову не приходила?

Не-а, говорит Ленка. Мне пока жить не надоело. А как я это оцениваю, тебе в голову не приходило?

Обо мне тут вообще речи нет. Может, поспим все-таки?

Отвлекающие маневры, говорит Ленка.

Номер выходил окнами во двор. Какой-то водитель отогнал свою машину в тень, потом все стихло.

Между прочим, напоследок сказала Ленка, уже тихонько, я недавно ужасно рассорилась с Улли.

Из-за чего?

Да мы проходили «Марио и волшебник»[3]. Потрясная книжка, кстати говоря. Я сказала, что в нашем классе никто бы перед волшебником не устоял.

А Улли?

Он меня обругал: зачем, мол, выпендриваться, я что, умней других, что ли. Да нет, конечно. Но, думаю, его бы я раскусила.

Неужели? — бормочешь ты сквозь сон, странно умиротворенная. А потом начинается хорошо тебе известное: опять все та же похоронная процессия. На сей раз она шагает по белой гравийной дорожке на самом берегу Балтийского моря, по правую руку тебе все время видны мелкие волны с белыми пенными барашками, пляж. Впереди, во главе процессии,

[1] Зд.: Ты прелесть (англ.).
[2] Прости? (англ.).
[3] Новелла Т. Манна.



оркестр играет «Вы жертвою пали». Люди вокруг тебя все в черном, но твое серое будничное пальто их не шокирует, они называют тебе имена высокопоставленных участников погребальной церемонии. Но ты и без того их знаешь. Из звуковой колонки у обочины слышен голос популярного репортера, который, едва не плача, восклицает: Вот он вступает в зал, связанный для него с таким множеством дорогих воспоминаний... Почему это — в зал? — думаешь ты, зная, что будет дальше: процессия останавливается на краю кладбища возле гигантского необработанного валуна, на котором стоит одно только имя — Сталин. Люди в траурной процессии каждый раз приходят в замешательство: Так он уже умер? Уже лежит здесь? А кого, собственно, мы хороним?

Когда же, спрашиваешь ты у X., впервые рассказав ему свой сон, когда мы начнем говорить и об этом? Как отделаться от ощущения, что покуда все сказанное нами носит предварительный характер и лишь тогда разговор пойдет по-настоящему?

X. считает, что хочешь не хочешь, а надо жить со всеми вашими сновидениями, происходящими из разных временны́х пластов. Но боже упаси жить в сновидениях, ведь тогда эти времена возьмут над вами верх. У него на любой случай готова цитата, вот и сейчас он цитирует Майстера Экхарта[1]: «Решающий час — это всегда час нынешний». Ты, говорит он, живешь ради будущего. Я нет. Я живу сегодня, сейчас, каждое мгновение.

Самые тяжкие травмы из нанесенных вам обсуждаться не будут. Не умолкающие всю жизнь отзвуки детской веры в то, что когда-нибудь мир достигнет совершенства.

В апреле 1940 года Нелли узнает из «Генераль-анцайгера», что изобретены деревянные сандалии-«стукалки»: «Обувь без талонов». Рецепты вегетарианского фрикасе и паштета из эрзац-печенки. Читает о том, как гитлерюгенд воюет за бумагу (она тоже участвует, с мешком и тележкой). Владельцы нелегальных радиоприемников приговорены к различным срокам заключения в каторжной тюрьме. Фотоснимок в рубрике «Камрад Женщина»: Матери за плугом. Принят на вооружение самый современный самолет-разведчик ближнего радиуса действия — «Фокке-Вульф-189». Траурные извещения о погибших занимают полосу с лишним: «Возлюбленный, оплаканный и незабвенный!» Знак «V» — символ победы на всех фронтах. Осень 1941 года: «Судьба Советов решается в эти осенние дни». На рождество городской театр дает для маленьких и взрослых зрителей «Мальчика с пальчик». Нелли смотрит «Пандур Тренк» с Хансом Альберсом, «Главное — счастливый!» с Хайнцем Рюманом, «...скачите ради Германии» с Вилли Биргелем, «Материнскую любовь» с Луизой Ульрих, «Подводные лодки западным курсом» с Ильзой Вернер.

Наступил 1943 год.

Перед рождеством девочки из юнгфолька устраивают в ресторане «Вертоград» праздник для офицеров и унтер-офицеров роты выздоравливающих. Шарлотта напекла пряников, «усишкина» бабуля связала напульсники. На столах — белые бумажные скатерти. Елка в свечах. Все хором поют рождественские песни.

За Неллиным столом сидит раненный в ногу унтер-офицер по имени Карл Шрёдер. Это первый мужчина, который представляется ей по всей форме, то есть привстает и делает легкий поклон: Вы позволите? У него черные волосы с залихватским вихром на лбу и бледные, отливающие синевой щеки. Как нарочно, именно он усерднее других отгадывает разыгрываемые девочками шарады. Он первым выкрикивает в зал отгадку и при этом щелкает пальцами, как мальчишка-школяр. В награду ему разрешено заказать песню. И он заказывает «Вот дороги хоть куда, /по ним ходят-бродят /великанские слоны, /место все находят».

Родом он из Бранденбурга-на-Хафеле. И, однако же, умеет петь на тирольский манер, сообщает унтер-офицер, который несколько времени — очень недолго — служил в горнострелковой части. Его просят показать свое искусство. Он не ломается и пожинает бурные аплодисменты. Ведь по натуре-то он весельчак, говорит он Нелли, когда доходит черед до шнапса и ликера, но вот с женщинами ему не везет. Зато он на хорошем счету у

[1] Майстер Экхарт (ок. 1260— ок. 1328) — немецкий мыслитель, представитель философской мистики позднего средневековья; монах-доминиканец.

начальства. Ну да все сразу человек иметь не может, хотя иной раз туго приходится, одному-то.

Ему уже двадцать три года.

Глаза у него маленькие, черные-пречерные. Когда его рука, которую он положил на спинку Неллина стула, касается ее плеча, он извиняется и руку убирает. Наш брат вечно в проигрыше, говорит он. На той неделе все равно двинем, как один, на Восточный фронт, и прощай родная сторона.

Старший по званию дает господам офицерам на час увольнительную, чтобы они проводили своих дам. Нелли предупреждает, что путь неблизкий, но для унтер-офицера проводить ее — дело чести. А вдобавок поистине зов сердца. Она ему верит? Вопрос звучит так, словно от ее ответа зависит его жизнь. Да она представить себе не может, что такое для него эти часы.

Нелли худо-бедно знает, что должна чувствовать. Но все ее знания кошке под хвост. Внимание она сосредоточивает на том, чтобы шагать в ногу с прихрамывающим унтер-офицером. Раздумывает, удобно ли высвободить руку или нельзя отнимать у раненого фронтовика опору. Поцеловать себя она не дает, да он, впрочем, и не настаивает. Оказывается, у него самые положительные наклонности, и в ней он предполагает такие же. Луна, говорит он, вот когда она спокойно так стоит в небе, а по ней плывут облака, на сердце у него теплеет. А у Нелли как? Тоже теплеет? Да, говорит Нелли, еще бы. — Он так и знал, что у них родственные души. Это большая редкость, пусть уж она поверит ему на слово.

Шарлотта Йордан, как и следовало ожидать, несмотря на холод, дежурит у окна, и прощание, с ее легкой руки, не затягивается. Карл Шрёдер вкладывает в рукопожатие целую гамму чувств. Я дам о себе знать, говорит он напоследок.

Шарлотта напоминает дочери, что ей всего-навсего четырнадцать лет и что солдатам перед отправкой на фронт море по колено — в известном смысле. — Да знаю я, знаю. — В таком случае ей незачем больше встречаться с унтер-офицером. Шарлотта ничтоже сумняшеся взяла бы отказ на себя, но, когда Карл Шрёдер звонит по телефону, снимает трубку Нелли. Ее решение для него тяжелый удар, но он был к этому готов. Людей вроде него преследуют неудачи. Однако же он позволит себе пожелать ей всяческого благополучия на жизненном пути. Можно ли надеяться, что она хоть изредка вспомнит о нем? — Конечно, можно.

Ну, тогда прощайте навсегда.

(В эти дни — в марте семьдесят четвертого — газеты опубликовали фотографию выстроенных на поверку узников чилийского концлагеря на острове Досон. В лупу можно разглядеть выражение лиц — мрачное, отрешенное, — среди них лицо Хосе Тоа Гонсалеса, заместителя премьер-министра при Альенде. На снимке он еще живой. Ты пытаешься представить себе людей, которые задушат его, сидящего в инвалидном кресле. Наверняка у них самые стандартные лица. Но допустимо ли переносить свой европейский опыт на другие континенты? Распознают ли в других районах мира палача среди заурядных, будничных физиономий? И можно ли назвать это козырем?)

Лица свидетелей на освенцимском процессе 1963 года в Старой ратуше Франкфурта-на-Майне. В своем фирменном лагере Моновиц «И. Г. Фарбен» установила для узника, работающего на концерн, среднюю вероятную продолжительность жизни четыре — шесть месяцев. «Охранные отряды» СС обещали, что слабосильных заключенных можно будет депортировать. СС и «И. Г. Фарбен» сообща разрабатывают экономичную аккордную систему; «И. Г.» со своей стороны участвует в совершенствовании карательной системы. Выстроить фабрику именно здесь директорату рекомендовали эксперты, записавшие в своем заключении, что «такому выбору благоприятствуют почвенные условия — запасы воды и известняка, — а также наличие рабочей силы, например поляков и узников концлагеря Освенцим».

А вечером — вопросы молодежи, франкфуртских студентов, которые у себя, в скудно обставленных комнатах, горячо обсуждали процесс: они словно бы подозревали на дне ваших душ или вашей совести какую-то кошмарную тайну. Их требование, чтобы ты раскрыла свою тайну, застало тебя врасплох. Ты издавна привыкла к мысли, что и кошмарные тайны, и неспособность либо нежелание их раскрывать — это все удел более старшего поколения. Как будто у тебя был шанс увильнуть от обязанности сводить счеты с собственным детством. Причем с годами страна детства словно сама собой отодвинулась в тень печей Освенцима.



Но тайна, которой мы доискиваемся, есть полнейшее отсутствие всякой тайны. Вероятно, потому она и неразрешима.

Осенью 1943 года Нелли вместе с украинками копала картошку на полях государственного имения. Она не сочувствовала этим чужим женщинам, а робела перед ними, остро ощущала свою непохожесть, и в основе этого ощущения была не тайна, а уроки истории, преподанные Юлией Штраух: непохожесть означает бо́льшую ценность. Нелли не разрешалось собирать картошку в общую корзину с остарбайтерами. Размышляла ли она по поводу супа, который девушкам-украинкам наливали из отдельного котла? Что, если б ей пришло на ум встать, шагнуть через пропасть — всего-то три десятка шагов — к женщинам-остарбайтерам, сидевшим на том же краю поля, и отдать одной из них свой котелок, в котором плавало мясо?

Кошмарная тайна не в том, что она струсила, а в том, что у нее даже мысли такой не мелькнуло. Об этот факт разбиваются любые попытки объяснения. Банальный тезис «сытый голодного не разумеет» ничего тут не объяснит. Страх? Безусловно, да — если бы у Нелли возникло хоть крохотное искушение. Однако искушение сделать этот естественный шаг в ней отнюдь не шевельнулось. Нелли — по ее разумению, безгрешная, даже примерная — сидела и жевала мясо.

Впрочем, не она наябедничала Юлии, когда управляющий имением, одноногий инвалид, не обращая внимания на то, что рядом украинки, выбранил девушек-немок за халатность в работе. Вообще-то поставить Юлию в известность полагалось именно ей, как вожаку рабочего отряда. Но из-за этой халтурной работы она буквально сгорела со стыда перед украинками, которые виду не подали, дошла до них суть происшедшего или нет. Зато ее подружка Хелла по телефону сообщила обо всем Юлии, и на следующее утро управляющий вынужден был принести им извинения. Нелли сгорела со стыда, тем все и кончилось.

Однажды поздним вечером — отец был в отлучке, дружеская вечеринка в управлении призывного района — маме срочно потребовалась врачебная помощь. Дело, о котором Нелли имела весьма туманное представление, не терпит ни малейшего отлагательства, и вот около одиннадцати Нелли разбужена матерью, чья бледность и выражение лица до смерти ее пугают. Быстро одевайся и беги за госпожой Бланкенштайн. Нелли мчится во весь дух. Госпожа Бланкенштайн, видимо, знает, о чем речь, и вопросов не задает. Только звонит куда-то и говорит в трубку: Скорее, скорее. Женщина истекает кровью.

Истекает кровью. Но ведь мама не ранена. На носилках ее выносят из дома. Она еще успевает сказать: Ты, Нелли, уже большая, будь умницей. Госпожа Бланкенштайн добавляет: Большая и храбрая; потом уходит.

Целый час Нелли ждет отца. Оказывается, для передачи некоторых сообщений у отца с дочерью не хватает слов. Отец, видимо, удивлен так же мало, как и госпожа Бланкенштайн. Значит, мама правильно жаловалась, что он оставил ее одну, хотя знал, что ей нездоровится. Нелли вовсе не жаждет, чтобы он почувствовал себя виноватым и вконец сконфузился и оробел. Отец не на высоте, она видит. Требовать от него объяснений нельзя, ни под каким видом. Говорить друг с другом они не способны, это ясно. (Ничего себе ночная сцена: отец и дочь на пороге спальни, тусклый свет, смятая постель матери, нетронутая — отца; Нелли в пижаме, отец в унтер-офицерском мундире, без шапки. Недосказанные фразы.) Рука отца сжимает плечо еще не взрослой дочери. Ничего, все уладится. — Потом он отсылает ее спать.

На другой день она невольно подслушивает, что, в сущности, все обернулось наилучшим образом: Еще один ребенок, в нынешние времена — да боже упаси! Так говорит тетя Люция, и отец с нею согласен. Маме лучше, гораздо лучше. Нелли позволяют ее навестить. Я знаю, в чем было дело, говорит она. Ребенок.

Ну и хорошо, что знаешь, говорит Шарлотта.

Больше об этом толковать нечего.

Наконец-то Нелли получает разрешение подстричься. Парикмахерши хихикают между собой над ее неуклюжестью. Завивка выходит чересчур крутая. А, пустяки, дольше держаться будет. Нелли долго стоит перед зеркалом и теребит волосы. Ни длиннее, ни глаже они от этого не становятся. Перед сном она туго повязывает голову платком, чтобы сохранить укладку. А лежа в постели выдумывает прически, которые сделают ее красивее. Она в растерянности, как же теперь двигаться, как скрыть неловкость? Поди разберись, как это иные девчонки одной лишь походкой дают понять, что душа и тело у них в полной гармонии.

Из управления призывного района приходит в гости друг Бруно Йордана, Рихард Андрак, по профессии фотограф, и щелкает семейство Йордан на фоне белой стены их дома. Каждого по отдельности, а потом всех вместе. Отдавая Нелли ее портрет, он говорит: Тут сразу разглядишь, кто в семье самая красивая. Вообще-то унтер-офицер Андрак ей симпатичен. На снимке видно, как отутюженные складки кофточки топорщатся на груди.

Зато совершенно не видно — Нелли на фотографии смеется — некоего подобия сухотки, которая все сильнее ее подтачивает и, поскольку Нелли не в состоянии разобраться в происходящем, вызывает приступы меланхолии. Она по-прежнему грызет заусенцы. Милая моя, ты же сама себе делаешь больно! — а она никак, ну никак не может бросить это занятие, хотя и понимает всю его предосудительность. Она карает себя лишением сладкого. Но потом вдруг, почти не таясь, берет ключи от кладовки и реквизирует большое количество пористого шоколада, который и съедает, лежа в постели. Чувствует она себя при этом до омерзения хорошо. И прямо-таки физически ощущает, как идет на убыль ее уважение к себе.

На другой день она раз десять проходит на крыльце босиком по железной решетке. Бог все видит. Неправда, что наказание отпускает грехи.

Черствость — это кошмарная тайна.

## 12. ГЛАВА ЗА РАМКАМИ. ГИПНОЗ

Гипноз.

Рука тянется за словарем, он тяжелый, килограмма два с половиной, и лежит слева от чужого письменного стола, за которым ты сидишь, на деревянном пюпитре — сей предмет ты впервые видишь в употреблении именно здесь, в этом американском кабинете. Random House Dictionary of the Eiglish Language»[1]. Статья «Hypnosis»[2]: «An artificially inducted state resembling sleep, characterized by heightened susceptibility to suggestion»[3].

Объективная формулировка. Субъекты непричастны. Воплощение идеала: Nobody is involved[4]. Но это не тот гипноз, о котором здесь пойдет речь, ибо тот не был «вызван искусственно». Среди английских и немецких книг отсутствующего профессора К., чей дом вам предоставили на время пребывания в Штатах, обнаруживается «Малый немецкий Брокгауз», который дает чуть-чуть иное и более удачное определение, нежели его американский соперник: «...сноподобное состояние с повышенной восприимчивостью к внушению» — это и в «Брокгаузе» отмечено, однако далее следует пассаж, проясняющий взаимосвязи: «...которое у человека вызывает либо другой какой-то человек, либо он же сам».

Ты цепляешься за маловажное словечко «вызывать», и на ум тебе почему-то приходит компьютер и «вызов данных» — ох и быстро же они доставляются оператору! Впрочем, тебя доставили тоже быстро: девять часов полета, причем освещение совершенно не меняется, на запад, в другой часовой пояс, где утро настает шестью часами раньше, на широту Мадрида да еще в систему координат, в точке пересечения которых наверняка пришпилена долларовая купюра с мелко, но разборчиво напечатанной сентенцией: In God we trust[1'].

---

[1] «Словарь английского языка издательства Рэндом-Хаус» (англ.).
[2] «Гипноз» (англ.).
[3] «Искусственно вызванное сноподобное состояние, характеризуемое восприимчивостью к внушению» (англ.).
[4] Никто не причастен (англ.).



Кончилась страница. Американская бумага для пишущих машинок форматом короче привычного европейского стандарта «DIN A-4», вмещает строчки на две, на три меньше. Разумеется, это пустяки, мистер Рэндом. Просто поневоле осознаешь: вовсе не господь бог самолично распорядился назначить машинописной странице формат 210×297 мм. Или воде точку замерзания в ноль градусов. Впервые ты отдаешь себе отчет, сколько амбиций заключено в маленьком слове «DIN», которое многие расшифровывают так: Das ist Norm — Это стандарт. И все же: человеку, выросшему в регионе, где принята шкала Цельсия, явно потребуются долгие годы, прежде чем он перестанет воспринимать шкалу Фаренгейта как претенциозную аномалию. (Выпадение из привычных рамок. Глава за рамками.)

Надо вам сказать, мистер Рэндом: Америка, чем бы она ни была, вынуждает гостя изрядную долю того внимания, которое он собирался уделить работе, отдать будничным делам, хлопотам, покупкам, самому примитивному общению. Америка утомляет, мистер Рэндом.

А гипнозом занимались на Неллиной конфирмации. Она отнюдь не считала свою конфирмацию такой уж естественной. Ведь вот ее подружка Хелла, именовавшая себя «просто верующей», не конфирмовалась. Однако до язычества от этого еще весьма и весьма далеко — Юлия, между прочим, тоже так говорит. Зато чистейшее лицемерие — отроду не ходить в церковь, но конфирмоваться. Либо — либо, думает она. Отец ее вообще не видит здесь криминала, а мама, зная Неллино упрямство в вопросах убеждений и побаиваясь его, уклончиво ссылается на «усишкину» бабулю: она, мол, не переживет, если Нелли откажется от конфирмации. Да, в церковь она, правда, не ходит, но верит в бога и все такое прочее. Так что будь добра, сделай нам одолжение.

В бога верит и Нелли. Но говорить, что торчать каждую среду с восьми до девяти утра в общинном доме на занятиях конфирмантов для нее пара пустяков, было бы самым настоящим враньем. После третьего урока у пастора Грунау она еще упорнее твердит, что не хочет конфирмоваться.

Что стряслось?

Ничего. Не скажешь ведь, что сложенные на животе руки пастора Грунау вызывают у нее отвращение. Она понимает: священниковы руки не аргумент. Или вот еще: во время молитвы надо опускать голову. А пастор Грунау с поднятой головой проверяет, опущены ли головы подопечных. Впрочем, спустя некоторое время он перестает с негодованием выкликать ее имя. Бог, в представлении Нелли, не желает знаков подхалимажа. Пастор не видит, что Нелли, вместо того чтобы по всем правилам молитвенно сложить руки, кладет их рядышком на спинку переднего стула.

По мнению Шарлотты Йордан, поступать, как все, — нисколько не в ущерб собственному достоинству. От этого еще никто не умирал.

Конечно, никто не умрет от того, что затвердит на память десять заповедей. Возлюби Господа Бога твоего и трепещи перед Ним... Голос у пастора Грунау масленый, но посреди благочестивого текста в нем вдруг могут послышаться угрожающие нотки. Верую, что Бог создал меня вместе со всеми тварями земными... — на протяжении этой фразы голос священника успевает выразить целую гамму чувств: кротость, затем удивление, разочарование, угрозу и праведный гнев, — а сам он тем временем добирается до скамеек учеников народной школы и шлепает своим катехизисом по пальцам Лизелотты Борнов, которая украдкой чистит ногти. Нелли просто не в силах выслушивать его объяснения насчет того, что прелюбодействовать нельзя и почему нельзя.

Кстати, вполне вероятно, она относилась к нему некорректно, unfair. Fair! Коль скоро это сигнал, предупреждающий, что в текст закрадываются неподходящие слова, — как тогда быть? Ужесточить надзор или оставить все как есть? Подождать, пока ты вернешься

---

[1'] В господа веруем (англ.).

туда, где у слова «fair» нет точного эквивалента, где оно может, правда, означать нечто вроде «справедливый, честный, порядочный» (thank you, Mr. Random! [1]), но отнюдь не «красивый, белокурый, светлокожий» [2]? Иными словами, туда, где можно сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на удивление по поводу языка, который ничтоже сумняшеся объявляет справедливыми, честными, порядочными лишь белокурых да светлокожих своих носителей. И красивыми тоже.

Irritation. Ирритация [3]. Единственное слово, не входившее в твой лексикон, беспрепятственно минует контрольные инстанции. Фильтры, которые в первые дни неукоснительно задерживали необычное, чтобы критически его проанализировать, стали более проницаемыми. Куда это может завести?

А чего ты ждала? Что океан, который пришлось пересечь, никак на тебя не повлияет? Что столь резкая «передислокация» не помешает тебе миновать часовые пояса, временны́е зоны, почти уже привычные? Что она не станет препоной на том пути вспять, который измеряется не в милях, не в километрах, но все же в конечном счете только европейским масштабом?

Точно установлено: электрическое раздражение участка между затылочной, височной и теменной долей мозга воскрешает эпизоды детства, и они, сопровождаемые зрительными и слуховыми галлюцинациями, раскручиваются тогда как кинофильм, в правильной временно́й последовательности. Обонятельные галлюцинации встречаются как будто бы реже. Однако у Нелли запах ландышей неизменно вызывает в памяти образ накрахмаленного и аккуратно сложенного белого платочка на черном сборнике псалмов. И звуки органа. И длинный проход между скамьями в церкви девы Марии, заканчивающийся у алтаря. И сбивчивые, через силу, шаги по каменному полу (Идти! а не топать! — шепчет пастор Грунау).

В церкви девы Марии вы, кстати, не побывали. Дважды, вечером десятого и утром одиннадцатого июля семьдесят первого года, вы пытались проникнуть туда через восточный притвор, возле которого воскресным апрельским днем 1943 года собрались конфирмующиеся, в том числе и Нелли. Но в субботу дверь была заперта, а утром в воскресенье толпа верующих — их так много, что они не умещаются внутри и занимают весь двор — не дает войти праздным зрителям, которым всего-то навсего хочется освежить воспоминание. Из церкви доносилось пение, и люди у притвора, стоя к вам спиной, тонко и несмело подхватывали мелодию. (В Филадельфии, в негритянской методистской церкви, вся община обернулась к вам, трем белым, когда священник с кафедры назвал ваши имена и страну, откуда вы родом, и попросил тех, кто сидит поблизости, приветствовать вас. Они протягивали вам руки и улыбались, и тихонько произнесенное «So glad to see you!» [4] внезапно обрело смысл.)

Прихожане, плечом к плечу сидевшие на скамьях церкви девы Марии, все как один, словно их за веревочку дернули, обернулись назад, когда процессия конфирмантов шла по проходу к алой дорожке, разостланной на ступенях алтаря, где они очень скоро по двое преклонят колени, точь-в-точь как тренировались еще накануне. «Как мне принять тебя, как встретить» — играет орган, поют прихожане. У девочек-конфирманток все мысли о том, чтобы преклонить колени и не оборвать подвязку, чтобы не подавиться сухой облаткой и кислым вином. От вас можно ожидать чего угодно, сказал им пастор Грунау. Ради бога, хоть на глазах у людей ведите себя по-человечески.

И вот ведь — чисто агнцы божии; и ходят, и поют, и отвечают, как надо, поодиночке и хором: Да, верую; не споткнувшись, приближаются к алтарю, преклоняют колени, не давятся ни телом, ни кровью господней, позволяют пастору Грунау в благословении коснуться белой рукою их темени, поднимаются и благочестиво шествуют вокруг алтаря. Но едва полотно с изображением страстей Искупителя, обернувшись к ним изнанкой, укрывает их от глаз священника и паствы, — за алтарем они вдруг вскидывают вверх руки, корчатся от беззвучного хохота, строят друг другу

[1] Спасибо вам, мистер Рэндом! (англ.).
[2] В английском языке слово «fair» имеет такие значения, в немецком — нет.
[3] Раздражение, возбуждение.
[4] «Рад вас видеть!» (англ.).



жуткие рожи (и все это на ходу!) и через десять — двенадцать секунд чинно-благородно, потупив невинные очи, появляются с другой стороны алтаря.

Тогда еще была надежда, замечает Ленка.

В ресторане на Рыночной площади города Г., где вечерами сидят, дымя папиросами и потягивая пиво, почти одни только местные жители — в большинстве молодые парни, родившиеся уже в этом городе; не сводя с Ленки глаз, они предложили подвинуться и усадить ее за стойку, — так вот за столиком у окна, где вы в конце концов отыскали свободные места и подкрепились сандвичами с мясным салатом и ветчиной, возникла дискуссия насчет несовершенства памяти. Шалости за алтарем тебе запомнились, однако же Сталинград, хотя после него минуло тогда не более двух месяцев, отпечатался неглубоко. («Миф Сталинграда!» — писал «Генеральанцайгер» 4 февраля, а немногим позже: «Самоотверженный путь 6-й армии — священный завет для всех нас!») Неллина память сохранила, что фройляйн Шрёдер, учительница рукоделия, влетела в гомонящий, расшалившийся класс и напустилась на них: как, мол, вам не стыдно! Наши германские солдаты гибнут под Сталинградом, а вы тут знай хохочете да поете.

И это все. Тотальная война закрепилась в твоей голове опять-таки акустически — голос Геббельса по радио, истерически вопящий: «Восстань же, народ! Пусть грянет буря!»

Но ни малейшего доказательства, что в Неллином присутствии когда-либо произносились имена Софи и Ханса Шолль [1], упоминавшиеся, кстати, в газетах. Что хоть раз зашла речь о восстании еврейского населения в варшавском гетто, которое достигло высшего накала в те самые дни, когда Нелли преклоняла колени у своего христианского алтаря. (А что если черные гетто однажды все-таки восстанут? — спрашиваешь ты белого американца. Он отвечает: К сожалению, их шансы равны нулю. Они же черные. Их же сразу видно. Поодиночке перестреляют.)

Конфирмовалась Нелли, как положено, в черном платье из шелковой тафты, сшитом «усишкиной» бабулей. Вдоль узкого выреза — белый рюш: это облагораживает. Когда обед с участием всей родни закончился, Нелли сидела во главе стола, ее место было украшено зелеными еловыми веточками, «усишкина» бабуля заколола трех кроликов. Нелли загрустила. Мужчины курили в хозяйском кабинете, обсуждали положение на фронтах. Женщины мыли посуду и резали пироги. Братишка Лутц в детской возился с конструктором, увлеченно строил какое-то заковыристое сооружение. Нелли, сложив руки на коленях, сидела в кресле в столовой.

Н-да, сказала «усишкина» бабуля. Ожидание радости и есть самая чистая радость.

Мама, однако, позвонив по телефону, позвала в гости кузину Астрид и Неллину подружку Хеллу. На кофе. Нелли для компании. Ведь это в конце концов ее праздник.

В одно время с Астрид и Хеллой пришел унтер-офицер Рихард Андрак, фотограф.

Лутц, ты же наверняка помнишь Андрака! — Уж не тот ли это псих, который на твоей конфирмации разыгрывал великого чародея? — Ничего себе «разыгрывал»! Ты еще не забыл, как все началось?

(В ресторане на Рыночной площади Г. вечерами шумно, особенно по субботам, когда к парням присоединяются девушки, они садятся за столики у окна, курят и даже искоса не глядят на стойку, а парни меж тем шумят кто во что горазд. Тут себя и то едва слышишь. А Ленке приспичило выяснять, почему это псих?)

Сперва Андрак делал свое дело: фотографировал. Со вспышкой, конечно. Воскресенье выдалось холодное и пасмурное, от съемок на воздухе пришлось отказаться. Групповые фотографии в кабинете на диване, затем конфирмантка с родителями, с крестными, одна. Волосы у нее отросли и мягко загибались кончиками внутрь. Из отороченного рюшем рукава-фонарика деревяшкой торчит рука. Грациозной эта девочка не была. Выражение ее лица — видно ведь, она изо всех сил старается выглядеть «поприветливей» — всегда будило в тебе какое-то неприятное и вместе с тем

[1] Шолль Ханс (1918—1943) и Софи (1921—1943) — мюнхенские студенты-антифашисты, организаторы группы Сопротивления «Белая роза», казнены в 1943 году.

обидное чувство. Глуповатая почти гримаса. Взгляд испуганный и притом враждебный. Руки-ноги нескладные; небрежная поза. А главное — безотчетная грусть во всей фигуре. Четырнадцатилетняя девочка, не ведающая, какими словами и именем каких богов выразить ей свою печаль. И поневоле, именем богов, которым она покорна, карающая себя за тайную эту печаль.

The Persistence of Memori[1]. (—) Знаменитая картина Сальвадора Дали[2], перед которой ты нежданно-негаданно очутилась в Музее современного искусства (11 West 53rd Street New York). Изображенное на холсте кажется просто невероятным: это ландшафт памяти. Чистые и все же нереальные краски. Острова, встающие из моря. Прямой, яркий, но тревожный свет, источник которого скрыт от взора. Неотступная угроза тьмы. Зыбкая, размытая граница между тем и другим. Полнейший покой и недвижность. Спящий глаз в кайме длинных ресниц, принадлежащий существу, с которым ты бы не хотела встретиться взглядом. Нагое, сломанное дерево, растущее из угловатого ящика. И самое главное: четверо карманных часов — одни с захлопнутой крышкой, на которой мерзко копошатся муравьи. Остальные трое, синеватые, уродливо деформированные — будто они из воска, а не из металла, — липнут, льнут, жмутся к ящику, к дереву, к спящему глазу, и три циферблата показывают три отличных друг от друга (хоть и ненамного) времени — секунду, когда они остановились. Иронический комментарий к названию «Постоянство памяти». (Есть ли связь между мертвенным холодом, веющим от картины, и политическим цинизмом, который проявил ее автор?)

Памятливость.

Надежиость памяти.

На широкой, удобной американской кровати, под электроодеялом, ты просыпаешься обычно, не помня сновидения, даже не удивляясь его отсутствию. Кажется вполне естественным, что и сон здесь подвластен иным законам, нежели дома. Только однажды, сегодня утром, ты осознаешь, что сон перенес тебя в родной город, ты шла по Рихтштрассе, а затем вдруг очутилась в чужом доме, лицом к лицу со своей бывшей одноклассницей Кристель Югов, которая ужасно страдала от некоего насекомого, обосновавшегося под веками ее больших, карих, как у теленка, глаз, причем никому и никакими силами не удавалось его оттуда извлечь; тебя призвали на всякий случай, вдруг да присоветуешь что-нибудь. Эта сцена разыгрывалась в комнате, обставленной с традиционной буржуазной роскошью, в окружении самодовольных людей, а через дорогу находилось здание суда с зарешеченными окнами, за которыми — ты все время это сознавала — томились узники. Во сне ты откликалась на страдания ровесников с неожиданной для самой себя горячностью.

Действие сна происходило вне любого из возможных времен, и, чтобы выразить наконец нынешнее угнетенное состояние, он обратился к ландшафту памяти. И веяло от него мертвенным холодом.

(Уже который день в мозгу у тебя занозой торчит надоедливое слово, такое же непереводимое, как «fair», хотя, надо думать, к нему тоже можно и должно подступиться; как правило, оно стоит на упаковке продуктов питания, и это слово — «flavour». Вкус, аромат, букет (вина). «The flavor of this juine makes your life delisious»[3]. (—) А ведь «flavour», вместо того, чтобы сделать жизнь приятной, отнял у сока природный аромат...)

«Ощупывающими движениями глаз при восприятии информации управляет память». Значит, видя привычное, глаза устают не так быстро? Наблюдения, которые были проведены в супермаркетах на основе киносъемок скрытой камерой, дали неожиданный результат: войдя в торговый зал, покупательницы вопреки ожиданиям моргали меньше, а не больше. Неимоверное количество разнообразнейших товаров повергало их в состояние, похожее на гипноз.

Одной из вершин в спектакле господина Андрака — он начал его с безобидных тестов вскоре после кофе — была минута, когда кузина Аст-

[1] Постоянство памяти (англ.).
[2] Дали Сальвадор (1904—1989) — знаменитый испанский живописец-сюреалист.
[3] «Вкус и аромат этого сока сделает вашу жизнь приятной» (англ.).



рид, повинуясь словесным заклинаниям и взгляду фотографа, с явным отвращением отодвинула от себя лимонный крем: ей казалось, что ее потчуют какой-то мерзостью. И тотчас же выпила рюмку обыкновенной воды, причмокивая от удовольствия, — словно яичный ликер. Для пастора Грунау, который в этот день навестил кое-кого из своих конфирмованных питомцев, это был сигнал к поспешному уходу. Дядя Альфонс Радде ухмыльнулся ему вслед. Превращать воду в вино, заметил он, дозволено только пасторскому шефу.

Но и дяде Альфонсу Радде вскоре стало не до смеха.

Кстати, уж не он ли сам, выразив сомнение, затеял всю эту катавасию? Бруно Йордан не иначе как объявил, что его товарищ Андрак — парень бедовый, ему палец в рот не клади, человек глазом моргнуть не успеет, как он его ночью в угольный ларь спать уложит.

Не верю, сказал Альфонс Радде. Меня на мякине не проведешь.

После чего Рихард Андрак, обращаясь прямо к нему, вежливо спросил: Ваша супруга страдает головными болями?

Тетя Лисбет издавна питала слабость к мужчинам вежливым, обходительным. О да. Она страдала головными болями, невралгией. Неизлечимая штука, господин Андрак и сам наверняка знает.

Так-так.

И поверьте, господин Андрак, весьма мучительная. В иные дни у меня буквально все из рук валится. Вы небось даже и представить себе такого не можете.

Напротив, заверил господин Андрак, он вполне способен представить себе и это, и еще многое другое.

Чепуха, буркнул Альфонс Радде.

Мужчины хотели было потихоньку улизнуть в кабинет. Рихард Андрак — он пришел в штатском, в скромном однобортном темно-синем костюме еще довоенных времен, который всегда надевал, фотографируя на свадьбах, конфирмациях, крестинах, — Рихард Андрак вежливо попросил их минуточку повременить. И не в службу, а в дружбу присесть ненадолго возле убранного уже кофейного стола. А теперь исключительно шутки ради — да-да, господин Радде, вы тоже! — будьте добры, положите обе руки на стол так, чтобы кончики ваших больших пальцев касались друг друга, а кончики мизинцев — мизинцев соседей. Совершенно верно, господин Радде, таким образом у нас получается замкнутый контактный круг. Превосходно, господа, благодарю вас. Вы, конечно, догадываетесь, что восприимчивость медиумов не всегда годится для моих экспериментов.

Нелли тогда впервые услышала слово «медиум» и сразу же прониклась к нему недоверием. (Выйдя из ресторана «У Рынка», вы разыскиваете среди новостроек центра остатки прежних улиц, звавшихся некогда Луизен-, Пост-, Волль- и Беккерштрассе. Лутц, на которого Андрак не произвел столь неизгладимого впечатления, как на Нелли, помнит все ж таки, что у него были зачесанные назад жидкие белокурые волосы, слегка отливавшие рыжиной, и круглое, довольно невыразительное, бледное лицо светлого блондина — даже веснушки вполне можно было себе представить. Правда, это вовсе не значит, что у господина Андрака действительно были веснушки, Ленка.)

Нелли сразу понимает: она не хочет в медиумы.

Господин Андрак любезно поясняет, что, как показывает опыт, на два десятка людей — а на Неллиной конфирмации примерно столько народу и собралось — приходится один первоклассный и два-три хороших медиума, и вот это-то он сейчас и определит с их любезного согласия, заручиться которым он, кстати говоря, забыл. Дело в том, продолжает господин Андрак, что сидящим у стола очень скоро будет трудно оторвать руки от столешницы. Они ведь уже чувствуют, их руки наливаются тяжестью, с каждой секундой тяжелеют, становятся как бы свинцовыми. На каждую точно пудовая гиря давит. Точно в жилах у них не легкая кровь, а тяжеленный металл. Ладони точно привинчены к столу. Ну вот, дело сделано: сколько бы ни старались, рук им не поднять.

Что же вы? Пробуйте!

Нелли, которая давно уже украдкой чуточку приподняла руки над столом, вскинула их кверху; остальные последовали ее примеру. Но хайнерсдорфская бабушка, тетя Лисбет, давно разведенная тетя Трудхен,

а главное, кузина Астрид сидели как пригвожденные и, побагровев от натуги, тщетно пытались оторвать ладони от скатерти.

Ну вот видите, с вежливой невозмутимостью сказал господин Андрак, я не ошибся — три хороших медиума и один очень хороший. Он не уточнил, кого считает «очень хорошим» медиумом. А покуда легонько погладил каждую из четырех дам по руке и деликатно, без всякого нажима в голосе, разрешил им оторваться от стола и чувствовать себя совершенно свободно. Надеюсь, проговорил он, мне простят эту маленькую шутку и позволят откланяться.

Что это вы надумали, господин Андрак?! Шарлотта как хозяйка дома высказала единодушное мнение собравшихся. Он непременно должен остаться на ужин, ведь его пригласили и как отличного фотографа, и как друга дома. К тому же...

Господин Андрак, скромно улыбаясь, легонько поклонился на все четыре стороны. Вы очень любезны, господа. Что ж, спасибо, не откажусь.

Рихард, сказал тут Бруно Йордан, ты же и мысли читать умеешь.

Ну, люди несведущие, пожалуй, назовут это именно так. Специалист, однако, скажет иначе: он способен расшифровывать телепатические задания и по мере возможности их выполнять.

И какие же это задания? — с вызовом спросил Альфонс Радде.

Весьма скромные, господин Радде. Отнюдь ничего сверхъестественного. К примеру, если б вы мысленно меня попросили, я мог бы снять с шеи вашей супруги ожерелье и, по вашему желанию, вручить вам.

Ну-ну, поглядим.

Дядю Вальтера, как человека достаточно беспристрастного и хладнокровного, приставляют сторожем к господину Андраку. Он клятвенно заверяет, что в детской не было слышно ни словечка из того, о чем договаривались в столовой. Дядя Вальтер Менцель, ныне управляющий у «Аншюца и Драйсига», считает подобные игры вредными и снимает с себя ответственность за возможные последствия. Да будет тебе, говорит тетя Люция и «кокетливо» (так говорят в семье: тетя Люция не прочь пококетничать) обнимает мужа. Не ломайся!

Рихард Андрак хоть и читает мысли, но страха не внушает. Эпитет «демонический» решительно к нему не подходит. Он, правда, сильно прищурил глаза, а правой рукой легонько сжимает запястье кузины Астрид, которой поручено телепатически передавать господину Андраку пожелания честной компании. Сосредоточьтесь, фройляйн Астрид! — просит он. Напрягите мысль. Сильнее! Еще сильнее! Ага...

Нет, Астрид не «вела» господина Андрака. Ей было приказано умственно напрячься, а физически расслабиться, и Андрак, приступив к выполнению ее мысленных команд, вынужден тащить ее за собой. Скажем заранее: телепат должен был подойти к мягкому креслу, в котором устроилась тетя Лисбет, взять у нее из рук трехцветную тесемочку, затем пройти в кабинет, к книжному шкафу, вложить тесемочку между страницами вполне определенной книги и, наконец, прочесть из этой книги вслух опять-таки вполне определенный отрывок, — спору нет, задание трудное, поэтому Астрид, разумеется, нужно было поделить его на части и передавать фотографу поэтапно. К примеру, сначала она мысленно твердила только: направо, направо, направо! И вот господин Андрак двинулся к тете Лисбет, а потом, все так же прищурясь и точно в трансе, принялся совершать свободной рукой ощупывающие движения, от тетиной головы к плечам и ниже — само собой, ни разу до нее не дотронувшись, — пока Астрид, как она позже сообщила, не подала мысленно команду: стоп! — это произошло, когда ладонь господина Андрака приблизилась к правой руке тети Лисбет. Тогда Астрид стала повторять в уме: тесьма, тесьма, тесьма! — и повторяла до тех пор, пока Рихард Андрак осторожненько не взял эту самую тесемку у тети Лисбет, причем тетя не удержалась от глубокого вздоха.

Астрид потом призналась, что все это стоило ей «больших усилий». Отрывок, который Рихард Андрак в самом деле отыскал и, к безмолвному изумлению присутствующих, прочел вслух, был из романа Мирко Иелузича[1] «Лев» и звучал, кажется, так: «Лев стоит на высоком постаменте и как бы заглядывает прямо в герцогские покои. Он высоко вскинул голову, и каждый мускул его устремленного вперед тела напряжен, будто он сию минуту ринется на врага. Глаза яростно сверкают, и вся поза дышит жаждою схватки и гордым сознанием неодолимой силы».

[1] Иелузич Мирко (1886—1989) — австрийский писатель, автор исторических романов.



Здо́рово! — говорит тетя Люция. Но едва ли не все чувствуют, что это не просто здорово, а ошеломительно и сверх того волнующе. У тети Трудхен, право слово, мороз по коже прошел. С тех пор как она в разводе, у нее в жизни явно маловато неординарных переживаний. Одна только Шарлотта Йордан находит и излияния тети Трудхен, и вообще весь спектакль до крайности неуместными и была бы рада положить этому конец, чем скорее, тем лучше.

Но господин Андрак — он, конечно, немного устал, однако же отнюдь не выдохся, поскольку привык к сосредоточенности, — попросту не может отказать тете Трудхен, которая настойчиво упрашивает его еще раз продемонстрировать свои «поистине невероятные» способности. Только в «поводыри» себе он требует теперь фройляйн Нелли, предполагая в ней дух сильный и нерастраченный. Никакого ущерба — так он с улыбкой говорит Шарлотте — барышня ни в коем случае не понесет.

Лутц, приставленный сторожем к господину Андраку, докладывает, что в детской они все время толковали о различных типах танков.

Теплая рука господина Андрака обхва́тывает Неллино запястье. Ей велено думать. И она думает. Слова, будто живые, так и норовят выскочить из головы. Браво, фройляйн Нелли. Понимаю. Да-да. Отлично понимаю.

Господин Андрак тащит Нелли к буфету у дальней стены столовой. Отрезает кусок не убранного еще торта с кремом, бережно кладет его на тарелочку с золотой каемкой и, отвесив глубокий поклон, подает «усишкиной» бабуле. А пока она ест торт, господин Андрак, по-прежнему следуя Неллиным указаниям, произносит популярный среди солдат и в гитлерюгенде застольный лозунг: Ест человек, а лошадь жрет, /но нынче все наоборот!

Дядя Вальтер и тот вынужден признать: достижение нешуточное. Ей богу, здо́рово. Нелли в ответ на расспросы говорит, что, сдается ей, мысли под конец потеряли четкий словесный облик. Скорее уж, между нею и господином Андраком возникло нечто вроде телепатического моста. Господин Андрак полностью разделяет ее мнение. И не может не поблагодарить фройляйн Нелли. Еще немного, и он бы поцеловал ей руку, но Шарлотта, как никогда бдительная, успевает предотвратить конфуз. Нелли, детка, будь добра, принеси-ка лимонный крем.

Только и знает что запрещать, бормочет Нелли на кухне себе под нос.

(Как и любая покупка здесь, приобретение новой ленты требует особой решительности. Как, например, по-английски «лента для пишущей машинки»? Typewriter ribbon. Владелец большого магазина на Колледж-стрит, индонезиец, после первой же твоей дилетантской попытки сориентироваться в десятках типов лент приходит на выручку, задав традиционный вопрос продавца: Can I help you?[1] «No Purchase Needed!»[2] — гласит табличка на стеклянной двери магазина, но он не успокаивается, пока не найдена подходящая лента и для взятой взаймы портативной «Олимпии».)

Тогда, летом 1971 года (боже мой! почти три года назад!), в тот немилосердно жаркий субботний день, еще и в восемь вечера дышавший зноем, вы не сумели даже приблизительно установить, где во время оно к северу от Рыночной площади пролегали те самые улочки. Ленка, не в пример вам не искушенная в переменах, какие претерпевают города, поднявшись из руин, решительно заявила, что никаких улочек тут в помине никогда не было. Но в подтверждение ты показала ей реликты разрушенного городского центра: начало Постштрассе, например, со старым зданием почты, где и сейчас размещен главный почтамт. На Пристерштрассе — она исчезла почти целиком — ты украдкой высматривала допотопную лавчонку, у витрин которой Нелли подолгу стояла каждую среду, возвраща-

[1] «Могу ли я вам помочь?» (англ.)
[2] «В покупках не нуждаемся!» (англ.)

ясь с уроков пастора Грунау, и искала предлога, чтобы войти. Чего там только не было! Канцелярские принадлежности, которые всегда словно магнитом притягивали Нелли, а еще тоненькие, прозрачные картинки, цветная бумага, ластики и вообще великое множество разнообразнейших пустяков, в феврале — карнавальный ассортимент, после рождества — новогодние забавы. Мелкие игрушки и даже недорогая посуда и хозяйственные товары. Каменная лестничка рядом с витриной, ведшая к утопленной в стене двери, была декорирована шваброй, веником и бахромчатой метелкой. Колокольчик вызванивал короткое трезвучие. Появлялась маленькая уныло-серая женщина, при звуках колокольчика она словно возникала из пыли в мрачной глубине магазина, готовая служить всем и каждому. Она и впрямь говорила: Чем могу служить? У этой маленькой уныло-серой особы Нелли купила свой первый дневник, впоследствии сожженный. Порой ее так и подмывало высказать какое-нибудь неслыханное желание и тем поразить эту невозмутимую женщину. Впрочем, очень может быть, что, потребуй кто-нибудь, скажем, «лунную пыль», она бы молча выдвинула один из сотен ящичков на стенах, достала оттуда коробочку, поставила ее на прилавок возле старомодных весов и спокойно спросила: Сколько вам?

«При расстройстве памяти новое отмирает прежде старого, сложное прежде элементарного. Первыми забываются отвлеченные идеи, затем чувства и склонности и, наконец, поступки — сперва произвольные, потом рефлекторные». Спозаранку на восьмом канале, станция Кливленд, утренний обзор «Today» [1]. Интервьюер, женщина умная, известная, утверждающая свой авторитет тем, что из года в года она зарабатывает на телевидении ничуть не меньше самого высокооплачиваемого мужчины, беседует с антропологом; он наблюдал за рядом африканских племен, уже многие поколения которых живут в условиях острого недостатка питания, и недавно опубликовал результаты наблюдений: социальная организация этих племен оказалась до основания разрушенной. Полное выпадение — «забвение» — традиции, а значит, утрата истории; распад всех социальных структур за вычетом крохотных групп, возникающих временно с целью добычи еды; называть эти объединения семьями ученый полагает неправомочным. Трехлетние дети, все без исключения, предоставлены сами себе: живи или погибай. Начатков «отвлеченных понятий», религиозных или культовых обрядов или представлений автор также обнаружить не сумел. Ни малейшего следа попыток объяснить себе несъедобную часть мира. «Чувства и склонности» тоже забыты: неистовая зависть к обладателю пищи — между мужчиной и женщиной, матерью и ребенком, пожилыми и молодыми. — Как звери, говорит умница интервьюер. Ученый ходил к голодающим без съестного? — Разумеется. Иначе он бы нарушил чистоту наблюдений. — Интервьюер делает вывод, что люди способны выжить и без социального объединения. А минуту спустя она уже рекламирует к Mother's Day [2] перчатки широко известной фирмы: Gloves that make your mother's hands young [3].

Маленькие люди, говаривала любимая Неллина учительница Юлиана Штраух, маленькие люди и маленькие словечки — хитрецы, себе на уме. Под маленькими людьми она разумела себя, под маленькими словечками — союзы, с помощью которых много чего можно натворить, к примеру, сообщить придаточному предложению прямо противоположный смысл. Нелли была по этой части непревзойденной мастерицей. «Никто его не любил, хотя он очень этого домогался». — «Никто его не любил, ибо он очень этого домогался».

И так далее.

«Новый Майеровский лексикон» 1962 года сообщает в статье «идея»: «Идея не есть самостоятельно существующая суть (как, например, учит идеализм), она живет лишь в сознании человека как абстрактное отражение...» Будем держаться маленьких словечек: «лишь», по Герману Паулю [4], наречие с ограничительным значением, первоначально употребляв-

[1] «Сегодня» (англ.).

[2] День матери (англ.) — праздник в Аиглии, США и ФРГ, отмечаемый во второе воскресенье мая.

[3] Перчатки, которые омолодят руки вашей матери (англ.).

[4] Пауль Герман (1846—1921) — немецкий лингвист, исследователь истории германских языков, автор словаря и грамматики иемецкого языка.



шееся в смысле «разве что». «Идеи не существуют, разве что в сознании человека». Можно помыслить, что времена менее надежные, менее бесчувственные и вульгарные, чем наши, зато более почтительные запишут в свои словари: Удивительно и замечательно, что в сознании людей существуют отвлеченные идеи. Они умозрительно отражают реальность, но способны так же, как частичные результаты истинного поступательного процесса познания или, в худшем случае, как ложные проекции реальности, даже как химеры, определять действия индивидов и больших масс людей.

Одно из неоспоримых повествовательных предложений Юлии, не подвергавшееся экспериментам, гласило: Германские племена одержали победу над Римской империей, ибо германцы привыкли сражаться и закалились в боях, тогда как римляне были изнежены разгульной жизнью и чревоугодием. И только в наши дни лично президент Соединенных Штатов, видимо остерегаясь критиковать соотечественников за поклонение преуспеянию и тем ставить под удар себя как президента, перевернул эту фразу: Хотя римляне были богаты, их страна стала легкой добычей варваров; Риму недоставало великой идеи. Он, президент, явился, чтобы вернуть Америке ее идею. Похоже, он в это верит, несмотря на Уотергейт.

Остаток старинной городской стены Г. — в прошлом Л. — заботливо сохранен. Его фотографии включены в буклет, продающийся во всех киосках. В глубине на снимке — бывший городской бассейн. Там не плавали и не купались, там через учителей физкультуры насаждали отвлеченную идею закалки тела и духа. О Нелли здесь говорить нечего, вода была ее стихией, на соревнованиях по плаванию она выкладывалась полностью, даже если потом не могла выбраться из бассейна без посторонней помощи. Здесь речь пойдет об Эрне и Луизе, эти остроносые, худущие и страшно неуклюжие девчонки непригодны ни к каким физическим упражнениям, а уж уроков плавания вообще как огня боятся. Ведь в свои тринадцать-четырнадцать лет они так и не научились толком плавать, многолетние старания фройляйн Кан оставались бесплодными, но в конце концов ей надоело с ними валандаться, и она сказала: Букки, займись-ка этими ходячими мощами. Букки плавала лучше всех в классе. И в гитлерюгенде была чемпионкой по плаванию брассом на 100 м; она одна была крепче и массивней Эрны и Луизы, вместе взятых, а в этот класс угодила в тринадцать лет, как второгодница. Букки подошла к горемыкам и по обыкновению грубовато объявила: Ну что, приступим! Букки работала спасателем, поочередно вытаскивая из бассейна то Эрну, то Луизу, когда они уже готовы были захлебнуться. Считалось, что, если бросить человека в воду, он наверняка выучится плавать, и вообще, умение плавать безусловно пойдет Эрне и Луизе только на пользу. Все бы ладно, говорила фройляйн Кан, но настоящий человек обязан уметь плавать.

Фройляйн Кан любили за справедливость. Она сооружала из своих темных волос высокую прическу под названием «все наверх», или «отбой воздушной тревоги», и в учительской неизменно появлялась в тренировочном костюме. В здоровом теле здоровый дух, говорила она, что, не слыхали про такое? Ну-ка, але-гоп! А чаще всего от нее слышали: В конце концов я же не изверг! Звали ее Розой. Все упражнения, которые должны были выполнять ученицы, она сама делала безукоризненно. Во время велопробега — в нем участвовал весь класс — она целых двадцать километров, до самого дома, везла на багажнике Дорле, у той сломался велосипед. Вторая любимая ее присказка звучала так: Меня не запугаешь! Несколько реже она говорила: Уж это дельце мы провернем! — а иногда: Роза все устроит. Она возглавляла организацию «Вера и красота».

Превыше всего она ставила товарищество. А вот чего до смерти не любила, так это вранья. Как-то среди ночи она зашла в спальню молодежной турбазы, в ту самую минуту, когда две девчонки из Неллина класса вылезали в окно. Ночные рандеву! — ехидно сказала Роза Кан. А еще клялись, что не обманут ее доверие. Ну что ж, дамы, как видно, не устали — в таком случае извольте через три минуты построиться для ночного марш-броска! — Несколько недель она с классом не разговаривала.

И вот вам итог: аллергия на массовые упражнения, бурлящие стадионы, гремящие овациями залы. Безлюдные улицы, пустые кинотеатры, когда по телевидению показывают футбольный чемпионат мира. Какая

идея, завладев массами, стала здесь материальной силой? Идея — обходиться вообще без идеи. («The new idea for a new car!» [1])

«I don't see me in your eyes any more...» [2]

В ваших глазах, фройляйн Астрид, я читаю как в открытой книге. — После нескольких предварительных опытов с магнетизмом (мои руки — магниты; проводя рукой по вашей голове, я тяну вас за волосы назад) Рихард Андрак сосредоточился на Астрид. На идеальном медиуме.

Маленькая шутка с лимонным кремом, которую, как он надеется, хозяйка дома ему простит, это, мол, проба из числа безобидных, хотя, конечно, жаль, что фройляйн Астрид не довелось полакомиться десертом. Зато воду она выпила как яичный ликер: господин Андрак возместил ей ущерб, надо отдать ему должное.

Между прочим, он ведь прекрасно понимает, что его требования к юной даме носят слегка щекотливый характер. Господин Андрак совершенно откровенно в этом признался, когда двумя-тремя словесными заклинаниями, подкрепившими необычайно напряженный взгляд его бледно-голубых глаз, погрузил Неллину кузину в глубокий сон. Она, стало быть, сидя на стуле, явно спала и не помнила себя, а он тем временем обратился к публике с краткой речью — особенно к дяде Вальтеру Менцелю, потому что дядя Вальтер, нахмурившись, несколько раз пытался отвлечь от гипнотизера взгляд сироты-племянницы, за которую, видимо, считал себя в ответе, и в целях закалки воли переключить его на свою персону. Господин Андрак на это ничуть не обиделся. Ему вполне понятно, что человек несведущий относится к его предмету с предубеждением. Ни для кого, сказал он, не позор счесть искусство такого рода, встретившись с ним впервые, слегка щекотливым, несколько предосудительным и даже разнузданным. Он откровенно высказал то, что думал дядя Вальтер. Однако же он уверен, что со временем даже скептики признают благодатное воздействие гипноза.

И он рассказал о почти невероятных исцелениях, которых добился сам, лично, посредством гипноза, — рассказал не похвальбы ради, а просто желая воздать справедливость дару, полученному свыше, и заверить всех и каждого в чистоте своих намерений касательно фройляйн Астрид.

Для начала, правда, он уколол Астрид в плечо продезинфицированной швейной иголкой — эксперимент, во время которого громко вскрикнули ее тетки, а не она. Андрак уверял, что Астрид боли не чувствует. Затем — главное, чтоб всего в меру, — он вызвал на тыльной стороне ее руки легкую ожоговую красноту, хотя водил по коже холодной тупой спицей, только на словах объявил, что она-де «раскаленная». Наверное, стоило бы спросить себя, уж не приготовился ли медиум стать жертвой. Но никто — кроме Шарлотты, ее брата Вальтера и дочери Нелли — не был покуда ни в настроении, ни в состоянии задаваться подобными вопросами. Им на долю выпало удивляться и восхищаться. На долю Нелли — испытывать сразу и жутковатое влечение, и жутковатую гадливость. И презирать необузданных почитателей.

Астрид — во сне — спела: «На Люнебургской пустоши, в прекраснейшем краю!». Потом она ушла в кабинет и в одиночку станцевала там трогательный вальс. А еще без ошибок продекламировала рождественский стишок: «Я к вам из леса зимнего пришел» — все это, как усиленно подчеркивал господин Андрак, были номера из собственного репертуара фройляйн Астрид, правда, не будь его, она бы, пожалуй, едва ли вздумала исполнять их здесь и сейчас. И если обществу угодно, то он, мол, готов подвигнуть своего медиума на свершения совсем иного порядка.

Ну разумеется! — поспешно сказала тетя Трудхен.

После чего Астрид подошла и влепила ей пощечину.

Да, это уж чересчур, единодушно признали все. Только вот оказалось затруднительно подобающим образом отреагировать на сей пассаж. Ведь «автор» куда как неприличного поступка — Астрид — в некоем более высоком смысле явно находился в отсутствии и не мог нести ответственность; подстрекатель же, господин Рихард Андрак, улыбался, словно прося извинения за детскую шалость: Ручаюсь, проснувшись, она ничего не

---

[1] «Новая идея для нового автомобиля!» **(англ.)**

[2] «Я больше не вижу себя в твоих глазах...» **(англ.)**



вспомнит! Вдобавок он был гостем. Так что, судя по всему, стоило принять его точку зрения и посмеяться над этим инцидентом.

Потом кузина Астрид взобралась на стол.

Еще немного — лишь быстрое вмешательство окружающих предотвратило катастрофу — и одним движением ноги она бы смела со стола все рюмки сразу. Тут уместно воспользоваться выражением, которого никто еще пока не употреблял: удержу нет. Когда девчонка на стол лазает, от нее всего можно ожидать — так полагала Шарлотта. Астрид, как рекрут на плацу, по команде унтер-офицера Андрака выполняла на столе строевые приемы. Повороты направо, налево и кругом, казалось, были у нее в крови, равно как и отдание чести в головном уборе и без оного, церемониальный шаг на месте (мой стол! — укоризненно, однако не очень громко сказала Шарлотта) и взятие винтовки «на караул», о котором она раньше явно понятия не имела.

Нелли видела, что ее кузина может и делает все. Видела, что человек вполне способен принародно залезть на стол и, по знаку господина Андрака, исполнить танец живота. Кузина Астрид всегда была не такая, как она. Нелли же храбро и сознательно противилась неустанным попыткам господина Андрака подчинить ее своей власти. Безропотную покорность соблазну она воспринимала как слабину.

И все же она невольно спрашивала себя — не то чтобы в четко словесном выражении, но в безмолвном диалоге с собою, — стоит ли, собственно, противиться любому соблазну. А вдруг очень даже забавно — о, больше чем забавно: бесподобно, пленительно — попросту падать назад, повинуясь магнетическим пассам господина Андрака, — все равно же поймает. Или на глазах у всех влезть на стол и покачиваться, как покачивается сейчас кузина.

Вместе с тем она понимала: не ее это дело. Ее дело — наблюдать за кузиной и слегка ей завидовать, а гипнотизера видеть насквозь. И скрыть все это от окружающих — и потаенную свою мечту, и зависть, и чувство превосходства.

Теперь кузина Астрид по приказу господина Андрака целилась в толпу родственников черенком от метлы, которым орудовала как винтовкой. Случись выстрел, пуля попала бы прямо в сердце дяде Вальтеру.

## 13. СТРУКТУРЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ — СТРУКТУРЫ ПОВЕСТВОВАНИЯ. БЕГСТВО ПРОТИВ ВОЛИ

Тринадцать — число несчастливое.

Бегство против воли — этими тремя словами тоже можно определить жизнь. («Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен его повторять».)

В идеале структуры переживания и структуры повествования должны были бы совпасть. А это обеспечило бы искомую всеми фантастическую точность. Но нет, нет способа перевести невероятно запутанный жгут, нити которого сплетены друг с другом по строжайшим законам, на линейный язык и притом серьезно не испортить. Рассуждать о пластах, наслаивающихся один на другой, — о «повествовательных уровнях» — значит прибегать к неточным наименованиям и фальсифицировать реальный процесс. Ведь реальный процесс, «жизнь», никогда не останавливается; застать его на самом что ни на есть последнем рубеже — желание по-прежнему неутолимое, может быть, даже недозволенное.

Напоследок, поздно вечером, когда кузина Астрид решила наконец сбежать от господина Андрака, он одной-единственной любезной фразой (Что такое, фройляйн Астрид? Уж не хотите ли вы всерьез нас покинуть?) заблокировал для нее незапертую дверь в коридор, так что ей пришлось упрашивать Нелли открыть. Около полуночи, когда почти все гости — в

том числе Андрак — ушли, Нелли взгромоздилась на колени к дяде Вальтеру, за что мама незамедлительно ее одернула: пора, мол, привыкать к мысли, что она больше не ребенок. У Нелли мелькнула смутная догадка, что́ это может означать, и она огорчилась.

В Г., вечером той непомерно жаркой субботы, когда вы по Рихтштрассе возвращались к гостинице, окунаясь в красные, лиловые, зеленые озерца световой рекламы, Ленка прямо посреди улицы затеяла потасовку со своим дядей Лутцем. Ты сказала: Не валяйте дурака! — и Лутц замер: Ведь так говорила «усишкина» бабуля?! А у тебя даже мысли об этом не мелькнуло.

Ленка — высокая, Нелли такой никогда не будет — украдкой сравнивала по росту себя и неспешно проходивших мимо парней, которые, худо-бедно соблюдая приличия, откровенно оглядывались на нее, а она, разумеется, как бы и не замечала. Игра началась. Лутц взглядом обратил на это твое внимание, ты скривила губы — одобрительно и смиренно, — а Х. сказал: Вот и начинается опять все сначала! Немножко посмеялись. Ленка уже тогда — а может, и от природы — владела искусством «пропускания мимо ушей». Ее лицо приняло знаменитое непроницаемое выражение.

(Теперь, спустя три года, капризным летом семьдесят четвертого, Ленка приходит ночью с поздней смены, полумертвая от усталости. Минут десять — пятнадцать она сидит молча, не в силах вымолвить ни слова, а тем временем на лицо ее возвращаются краски и жизнь. Потом, неторопливо проглотив несколько земляничек, она начинает говорить, отрывисто, с долгими паузами. Спрашивает себя, уж не слишком ли много требуют некоторые люди — я, например, говорит она, — настаивая на поисках работы по сердцу. Ведь у трех четвертей человечества такой возможности нет, говорит она, я имею в виду тех, кто работает на заводах и фабриках.

Она изображает, как страх и ярость закипают в ней, когда автомат, за смену кодирующий десять тысяч сопротивлений, с монотонным, противным щелканьем выдает брак, неправильно закодированные корпуса сопротивлений — тоже мне «корпуса», фитюльки эти! — на которых цветные кольца нанесены не в том порядке или безнадежно смазаны. Иногда, говорит она, так и хочется взять здоровенную кувалду и разнести вдребезги этот автомат. Интересно, куда девают свою ярость другие, спрашивает себя она, к примеру, смышленый молодой человек, ее сменщик, работающий на этом автомате уже десять лет. Кто-то должен и такую работу делать, твердит он. Кстати, за нее хорошо платят. Сменные рабочие получают обед за пятнадцать пфеннигов — вот это социализм, говорит Ленка.

Другие, рассказывает она, сидят украдкой в подсобке у телевизора и смотрят чемпионат мира по футболу, неисправные автоматы могут трезвонить сколько угодно — им хоть бы что. Один Либшер — он плохо видит, и скоро эта работа станет ему не по силам — носится как угорелый от автомата к автомату, исправляет поломки. Сам себе доказывает, что его никем не заменишь. За это они спихивают на него весь брак; как завернут партию, так сразу: Это Либшер виноват, он же ничего толком не видит.

Сволочизм, говорит Ленка. Разве можно так с людьми обращаться, как по-твоему?

С этим Либшером попрощаешься за руку, так он трое суток именинником ходит. И он всегда оставляет мне полбутылки молока, которое нам на заводе выдают бесплатно, потому что мы работаем с вредным раствором, а у меня от этого вечно голова болит. Хотя, может, и не от этого, а от жары: градусов тридцать девять, не меньше, из-за сушильных печей. К концу смены ты как выжатый лимон. Вентиляторы давно сломаны, но, поскольку работницам за вредность приплачивают, они на ремонте не настаивают.

Как по-твоему, людям можно так с собой обращаться? Всю жизнь! Изо дня в день, по восемь часов!

Притом ведь, говорит она, было бы нелепо только потому, что совесть нечиста, поступать так же, как они. А просто взять и уйти — все же хамство. Да она и сейчас уже знает: через неделю-другую это хоть и не забудется, но перестанет казаться столь ужасным. Все поблекнет, говорит она. Ну почему, почему так получается?

Бывают вопросы неразрешимые. И отнюдь не всегда ты сам в этом виноват, правда?



Правда, киваешь ты. Антагонистические противоречия.

Перестань, говорит она.)

В тот вечер в Г., бывшем Л., вы очень устали и в половине десятого — еще и не стемнело как следует — легли спать. Ленка сразу же, не притронувшись к «Иову» Йозефа Рота, повернулась на бок, лицом к стене. Кровати стояли одна против другой у стен маленькой комнаты. Между ними как раз умещались две тумбочки. Перед каждой кроватью — коврик из букле с серым узором. В изножье — столик на растопыренных ножках и два неудобных жестких кресла, из тех, что мы в пятидесятые годы поставляли своим восточным соседям. Справа у двери шкаф. Ночник, как всегда в гостиницах: маленький, непрактичный, тусклый.

Стараясь как можно тише шуршать страницами, ты еще несколько минут читала газету, привезенную из дома. Заголовки, которые ты позднее выписала в Потсдамской библиотеке из этого номера, гласили: Повысить требования к работе профсоюзов. — Неделя Балтийского моря — под знаком мира. — Добрым примерам — широкое распространение. — Станет ли высшая школа источником рабочих кадров? — Каждодневно бороться за мировой уровень продукции. — Болезни на почве страха: 30% всех пациентов страдают от невротических самовнушений. — Динозавры вымерли после перемены полюсов?

(Сегодняшнее сообщение, от 26 июня 1974 года: Шведский институт мира в одном из исследований констатирует, что Договор о нераспространении ядерного оружия свою задачу не выполнил. Удержать другие страны от обладания ядерным оружием не удалось. Преступные группировки тоже могут завладеть расщепляющимся материалом.)

Ты закрыла глаза и ясно, во всех подробностях увидела Рыночную площадь Л., какой ее знала Нелли, а вот вызвать в памяти нынешнюю площадь, виденную совсем недавно, оказалось очень трудно. Ленка — ты-то думала, она спит, — спросила вдруг, как у тебя «насчет чувства родины». А ты растроганная ее беспокойством о твоем настроении, убедительно заверила: Да никак. — Еще тебе подумалось, что в Ленкином вопросе был заключен и деликатный приговор той родине, которую ей показывали. Пожалуй, она едва ли нашла ее очень привлекательной.

Сон все не шел, хотя устала ты сверх всякой меры. Окно было распахнуто настежь. Крыша невысокого флигеля отчеркивала границу неба, до сих пор светлого, на котором вправду, хоть и незримо для тебя, взошла луна. Это я запомню. Такое вот можно запомнить. Остальное изчезнет.

Тоска по родине? Нет! — звучит хорошо. Только ведь эта фраза была готова задолго до того, как Ленка поставила свой вопрос. Так что не понять, правда это или ложь. Иных-то фраз, отличных от этой, уже много лет даже в мыслях не было.

Бессонной ночью в чужом городе с его иноязычными шумами и шорохами ты осознаешь, что чувства, которые человек сам себе запрещает, берут реванш, и до тонкости уясняешь их стратегию: как бы отступая, ретируясь на задний план, они прихватывают с собою смежные ощущения. И вот под запретом уже не только печаль, не только скорбь — недопустимо и сожаление, а главное, запретным становится воспоминание. Воспоминание о тоске по родине, о печали, о скорби, о сожалении. Топором под корень. Там, где ощущения возникают, в той зоне, где они еще остаются самими собой, еще не слились со словами, — там властвует впредь не спонтанная непосредственность, а — скажем без робости — расчет.

Таким образом, когда приходит черед слов, безобидных, непринужденных, все уже кончено, невинность потеряна. Боль — она, чего доброго, теперь забудется, — ее можно пока назвать, но уже не почувствуешь. Зато ночами вроде вот этих, боль из-за утраченной боли... Жить между отзвуками, между отзвуками отзвуков...

Линии — линии жизни, линии работы — не пересекутся в точке, которая по-старомодному зовется «истиной». Ты слишком хорошо знаешь, что́ вправе даваться тебе с трудом, что́ — нет. Что́ ты вправе знать, что́ — нет. О чем надо говорить, и в каком тоне. А о чем навеки молчать.

Ты встаешь, не зажигая света, — тихонько, чтобы не разбудить Ленку, — и принимаешь снотворное.

Ночью я, как человек, намного лучше (цитата). «Лучше» значит в эту пору «рассудительнее», «смелее» — сочетание, днем ставшее редко-

стью. Рассудительная и осторожная — да. Смелая и безрассудная — да. Той ночью, пока не подействовала таблетка, ты была рассудительная и несмелая — это не вполне то же, что «трусливая», — на краткий срок получила способность видеть себя насквозь и выдерживать это зрелище.

Эту книгу тебе написать не удастся, и ты знала почему.

До сих пор ты помнишь контраргументы, они не беспредметны. Необъяснимый перелом наступил утром. Жара, хотя только семь. Бодрое пробуждение после недолгого сна. Все выглядело иначе. Роскошь полнейшей искренности — почему она должна быть уготована именно тебе? Это несвоевременное, обособляющее счастье — единственно заслуживающее такого названия? Тебе было легко, ты словно сбросила бремя совести чересчур счастливых.

Не все ли мы делаем то, чего, собственно, не умеем, и, зная об этом, молчим, ибо это единственная наша надежда?

Сон той ночи как будто бы не имел ничего общего с фантазиями на грани забытья; лишь позднее, сейчас, проступили четкие взаимосвязи. Ты видела себя мужчиной, наделенным качествами и способностями, которых тебе недостает в реальном твоем обличье. Казалось, ты сможешь все, что только захочешь. Три женщины разного возраста присутствовали там, некогда ты была с ними дружна, но все они умерли от рака. Они вроде и не обращали на тебя внимания. Однако же ты чувствовала, что они завидуют тебе, беззлобно, но очень-очень остро, и вдруг тебя резануло ощущение вины: ты поняла, что и вправду достойна сильнейшей зависти.

Понедельник, 1 июля 1974 года. Некий генерал Пиночет сам себя назначает верховным вождем нации. Имена четырех недавно убитых чилийцев, напечатанные во вчерашней газете: Хосе, Антонио Рус, Фредди Таберна, Умберто Лисанди. Почти ровно сорок лет назад «Генераль-анцайгер» сообщил, что имперский верховный суд вынес обвинительный приговор за подрывную деятельность четырем коммунистам из Л. Почти ровно тридцать девять лет назад в «Генераль-анцайгере» стояли имена людей, которых сочли недостойными германского гражданства: Бертольт Брехт, Герман Будзиславский, Эрика Манн, Вальтер Меринг, Фридрих Вольф, Эрих Олленхауэр, Кресценция Мюзам[1] (не будем умалчивать, что, бежав в Советский Союз, она позднее попала в лагерь и лишь в последние годы жизни вновь смогла взять в свои руки управление литературным наследством мужа). Сорок лет назад в других странах и на других континентах люди складывали газеты, в которых напечатаны были немецкие имена, и клали их на стол рядом с утренней чашкой кофе. Этот многажды повторенный жест стоит у тебя перед глазами, пока ты складываешь вчерашнюю газету и суешь ее в газетницу. Итак, вчера в церкви была убита семидесятилетняя мать Мартина Лютера Кинга.

На старой, в легких пятнах плесени, карте «провинции Бранденбург», включающей административные округа Потсдам и Франкфурт (Одер) — год выпуска на ней не обозначен, но расстояния измеряются еще в немецких и прусских милях, а издана она у К. Флеминга в Глогау[2], — на этой карте юго-восточнее Зайдлица и Декселя расположено местечко Биркенвердер, чье название ближе всего к тому, которое смутно тебе помнится, и, стало быть, заменит здесь забытое. Не исключено, что карта выпущена до введения северогерманской мили в 1868 году. Итак, Биркенвердер под Шверином. О самом городке мы говорить не будем. Ну разве что два слова: он утопал в сосновых лесах (условие, которому Биркенвердер определенно удовлетворяет). Семья дяди Альфонса Радде, а с ними вместе Нелли, целую неделю проводит в охотничьем домике, принадлежащем хозяину Альфонса Радде, Отто Бонзаку. Лисичек в лесу видимо-невидимо. Одна только Нелли не рвется собирать грибы. Но лес, деточка, лес! Тетя Лисбет без стеснения затягивает «О лес прекрасный, кто тебя взрастил...». Нелли конфузится, ее теперь уже девятилетний двоюродный братишка Манфред тоже. Нелли обнаруживает, что ей более незачем разыг-

[1] Будзиславский Германи (род. в 1901 г.) — прогрессивиый немецкий публицист, с 1934 года редактор журнала «Ди нойе вельтбюне»; Мани Эрика (1905—1969) — немецкая актриса и литератор, старшая дочь Томаса Маниа; Олленхауэр Эрих (1901—1963) — немецкий политик, социал-демократ. Мюзам Кресценция — жена писателя Э. Мюзама. (1878—1934), погибшего в концлагере.

[2] Ныне г. Глобув (ПНР).



рывать притворную симпатию к Манни, он на самом деле хороший мальчишка; шушукаясь и хихикая, они удирают от взрослых.

Лес крепко благоухает. Утром, наверно, прошел дождь, а в остальном день 20 июля 1944 года был таким, каким и положено быть летнему дню. Кажется, простой, темный от морилки деревянный дом окружало подобие березовой ограды? Впрочем, главное в другом: когда они ели грибы, им уже было все известно, дядя Альфонс принес новость из деревни, видимо расположенной неподалеку. Утром они, разумеется, поедут домой. На фюрера было совершено покушение.

Обрывки фраз, которые не могут при Нелли стать целыми фразами. В ее присутствии наверняка говорили не всё. Осторожность никогда не вредит. Вероятно, были взгляды, означавшие: это — начало конца. Или вопросы: Это что, начало конца? Взглядов Нелли не приметила, вопросов не слышала.

Два дня спустя она стоит в строю на Рыночной площади. Тем более теперь! — выкрикивает вожак городского гитлерюгенда. Как видите, фюрер неуязвим! Нелли, между прочим, тоже так кажется. Несколько недель кряду вся школа ходит в форме гитлерюгенда; нашли время, ворчит Шарлотта, ведь карточек на блузки Союза немецких девушек не выдают, а постоянно держать наготове одну из двух Неллиных белых блузок совершенно невозможно. Нелли считает, что отнюдь нелишне продемонстрировать верность фюреру и чисто внешними атрибутами. А по мнению Шарлотты, доказывать верность надо не блузками. Нелли обидно, что мама судит о священных принадлежностях с точки зрения стирки.

Отмечались ли — помимо пессимистического возгласа мамы, который тщетно расследовало гестапо и о котором Нелли даже не подозревала, — в ее окружении хотя бы малейшие признаки того, что кое-кто считает войну проигранной? Ответ на этот вопрос будет отрицательным. Стало быть, у Нелли впервые есть шанс почувствовать на собственном опыте, как же долго человек настраивается на то, чтобы принять возможность немыслимого. Раз и навсегда этому не научишься. Те времена, когда она не решалась делать соответствующие выводы из увиденного своими глазами, ты распознаешь по особому признаку — по дефициту внутренней памяти. Внешние события — да, вот они: первые обозы беженцев, прибывающие в город. Однако Нелли весьма далека от того, чтобы прочесть во взгляде беженцев — а он у них какой-то странный — не одно только изнеможение после долгого тяжкого пути. Между ее наблюдениями и попыткой их истолковать словно бы вырастает стена.

Усталость — тут, пожалуй, и сомневаться нечего — в эти месяцы настолько велика, что ее уже не объяснишь лишь ночными пролетами вражеской авиации, которых все и бояться-то перестали. Эскадры, бомбящие Берлин, выполнив над Л. разворот, неизменно уходят курсом на запад. Тем не менее Шарлотта каждую ночь исправно будит детей, заставляет одеться и ведет в подвал, хотя бомбоубежище из него — курам на смех. Нельзя искушать судьбу.

Еще одна сцена: отец в рубашке сидит за обеденным столом, ест суп и разговаривает с мамой о пленных французах: их разместили в старых фабричных цехах, и с недавних пор он отвечает там за охрану. Пустили козла в огород, замечает он. Кто сам был в плену, над пленными куражиться не в состоянии, говорит он. Не может он запретить французам печурки, на которых они по вечерам украдкой что-то жарят. И по всей строгости обыскивать их, когда они после работы возвращаются в лагерь, у него тоже рука не подымается. Хотя он назубок знает все их тайники. Но он знает и другое: что значит для пленного краюха хлеба, а тем более шматок мяса. Не может он наказывать людей за воровство. Ведь когда-то — и об этом он волей-неволей всегда вспоминает — во Франции сам отвлекал хозяйку карточной игрой, пока приятели обчищали ее кладовку: Oh, Monsieur Bruno, un filou!

Да знаем мы эту историю, знаем, устало проговорила Шарлотта Йордан.

Понятное дело. Просто теперь он волей-неволей вспоминает ее снова и снова.

Внешняя Неллина память сохранила эту сцену, как янтарь сохраняет мошек, — мертвой, безжизненной. Внутренняя ее память, задача кото-

рой беречь оценки событий, уже и пошевелиться не могла. Онемела. Механические зарисовки, и больше ничего.

Вот что Ленке не мешало бы понять, тогда она поверит, что Нелли никогда всерьез не желала восстановить эту потерю. Ведь, как выяснилось, в глубине души — сама о том не подозревая — она таки была ко всему готова. Сигналы, которые не были словами, до нее дошли. Одним из последних был вгляд маленького мальчика. Вместе с беременной матерью он добрался сюда из Позена — нынешней Познани, — и Нелли (как все девочки из ее класса, в школу она теперь не ходила, а «опекала» беженцев) особенно хлопотала вокруг этих двоих; она ужасно волновалась: ну как же, вдруг женщина-беженка в чужом городе да еще, чего доброго, безо всякой помощи вздумает родить, — и притом все время нянчилась с вторым ее ребенком, тем самым мальчуганом. В конце концов она сходила за акушеркой. Та быстро, но тщательно осмотрела женщину, затем пощупала ей ноги и сказала: Пока они такие холоднющие, роды не начнутся. Так что паниковать незачем. Нелли изо всех сил уговаривала маму взять мальчика к себе, чтобы женщина пошла в больницу и спокойно там родила. Шарлотта, разумеется, не без сочувствия, уклончиво отказала. Мягко и осторожно она выложила свой последний довод: что, если им самим очень скоро придется уходить? Как же тогда мать отыщет сыночка?

В ответ Нелли только рассмеялась, громко и презрительно: громко — потому что допускать такую возможность просто абсурд, презрительно — потому что, оказывается, и мама, как все взрослые, прибегает к глупейшим отговоркам, лишь бы не рисковать, именно тогда, когда людям вправду нужно помочь. Нелли долго не могла забыть про эту не оказанную помощь. Об этих двух чужих людях думала она две недели спустя, когда сама стала беженкой, думала чаще, чем обо всех своих друзьях, внезапно и, по ее глубокому убеждению, большей частью навсегда отнятых у нее или, точнее говоря, исчезнувших. Узнав от запоздалых беглецов, что в районе больницы, где окопалось подразделение СС, шли бои, она подумала о той женщине, которая, наверно, лежала в одной из палат (выбоины от снарядов и пуль до сих пор заметны на фасаде здания; мимоходом ты показала их Ленке). А мальчика вместе с другими детьми, вероятно, увезли бог знает куда, и сумеет ли мама вообще найти его, сказать трудно. Еще и теперь, когда западные радиостанции передают розыскные объявления Немецкого Красного Креста, ты спрашиваешь себя о судьбе мальчика и его матери, но после стольких лет совесть тебя уже не мучает.

Последний сигнал о том, что хоть ей ничего и не говорили, но, в сущности, она все знала, Нелли получила от собственного организма, который, поскольку другой язык был под запретом, высказался на свой лад. Шарлотта Йордан, склонная в иные минуты употреблять необычные слова, сказала, что у дочери «поражена нервная система». И тем выдала, что не слишком уповает на настой ромашки с медом, которым пользовала Нелли.

Вначале Нелли только плакала, потом у нее поднялась температура. «Нервная лихорадка», объявила Шарлотта. Многовато всего на девочку свалилось. А, собственно, что свалилось-то? Работа в лагерях беженцев? Конечно, тут она малость переусердствовала, но, с другой стороны, она ведь не цаца какая-нибудь, может и потерпеть. Вот и в тот день, перемыв посуду, она собрала в «Вертограде» беженских ребятишек, рассказала им сказку про найденыша, поиграла с ними, попела песни. Юлия, д-р Юлиана Штраух, которая и тут успевала держать все под контролем, подходила со своей большой санитарной сумкой то к одной, то к другой семье беженцев, садилась рядом с ними на солому, раздавала лекарства и добрые советы. Она явно показывала пример, и Нелли не замедлила ему последовать.

В качестве награды ей было вполне достаточно кивка Юлии, которым та удостоила ее, когда объявили о прибытии нового обоза и они обе встретились у выхода. Стемнело. Разгрузка шла по-деловому, как всегда, но особого отчаяния не чувствовалось, до тех пор пока не случился непредвиденный инцидент, резко изменивший общий настрой и потрясший Нелли до глубины души. Закутанный в одеяла младенец — ей передали его из фургона, а она в свою очередь передала его матери — был мертв: замерз. Молодая женщина поняла это сразу, даже не распеленав малыша, по каким-то неуловимым признакам. Она закричала, заплакала; боже, что это были за вопли! — такое не часто услышишь, в подобные минуты убеждаешься в истинности иных образных выражений — «кровь стынет в жилах». В жизни не слыхала, чтоб люди так кричали, мелькнуло в голове у Нелли, а после она уже ничего не думала.



Позднее такого рода состояния вполне удачно назвали «black box» [1]. Мозг — черный ящик, не способный воспринимать образы, а тем паче порождать слова. Скорее всего — наверняка так оно и было — она выронила то, что держала в руке, на негнущихся ногах доковыляла до садовых ворот ресторана «Вертоград», круто повернулась и кинулась прочь. Домой, где она долго не могла вымолвить ни слова, только все плакала. Следующая картина после провала в памяти: она лежит в столовой на старом диване, перед нею — мама с большой чайной чашкой.

На другой день сложилась формула, удовлетворяющая всех, применимая как оправдание и в конечном итоге не совсем уж фальшивая: Нелли простыла и слегла в постель. Насморк, головные боли, температура, которую никто уже не зовет «нервной лихорадкой»; эксцентричная фраза насчет «поражения нервной системы» отправляется куда положено: в кладовую непроизносимых слов. А всего через месяц-другой слово «поражение» извлекают оттуда на свет божий, оно вдруг приобретает популярность и, оказывается, как нельзя лучше подходит, чтобы провести грань между эпохами: до поражения, после поражения. Где уж тут думать о поражениях личного порядка.

К Нелли приходят посетители. Больная Нелли «в кругу» подружек — одна из последних картин, связанных с домом на Зольдинерштрассе, который нам (наверняка уже через считанные дни) придется спешно оставить, и оставить навсегда. Последняя встреча с Юлией Штраух — Нелли еще не подозревает об этом — уже состоялась. Настал черед неотвратимого расставания пятнадцатилетних. В этот последний вечер им очень весело. Они хихикают и кудахчут, просто так, без всякого повода. Только когда Дора рассказывает про слухи, которые ходят у них в «мостовом» предместье: Передовые танковые части русских захватили Позен и южнее Франкфурта вышли к Одеру, — только тогда появляется повод для смеха. Русские танки на Одере!

Разговор подружек состоялся примерно 25 января, дня через два после того, как армия маршала Конева вышла к Одеру между Оппельном и Олау (ныне Ополе и Олава), а войска под командованием маршала Жукова, имеющие прямое отношение к Нелли и ее подругам, двинулись на Кюстрин (ныне Костшин) — пока что в обход Л., клещами обхватывая город с севера и юга. В тот же день фюрер назначил лично рейхсфюрера СС Гиммлера главнокомандующим группой армий «Висла», созданной для обороны интересующих нас районов; генерал-полковник Гудериан, начальник генерального штаба сухопутных войск, наносит в этот день визит министру иностранных дел Риббентропу, чтобы — разумеется, безуспешно — «открыть ему глаза на угрожающее положение на фронтах» (послевоенные публикации Гудериана: «Воспоминания старого солдата», 1951; «Можно ли защитить Западную Европу?», 1951); пятью днями позже министр вооружений Шпеер в докладной записке фюреру — разумеется, тщетно — констатирует грядущий полный крах германской военной экономики; неделей позже советские войска форсируют Одер севернее и южнее Кюстрина и создадут плацдармы на западном берегу реки. Пятью днями позже в деревне Либенов Бруно Йордан, выступивший вместе с пленными французами на Зольдин — Штеттин [2], будет взят в плен северной группой советских войск; четырьмя днями позже Нелли и ее подруги — хотя и расставшиеся навсегда — в последнюю минуту, пока не сомкнулись клещи, успеют перебраться в Кюстрине через Одер. Через пять с лишним дней Шарлотта Йордан, пассажирка фургона, направлявшегося из Л. на запад, тоже переедет по мосту через Одер и увидит еще те кварталы Кюстрина, которые немногим позже, во время боев за город, будут полностью унич-

[1] Черный ящик (англ.).
[2] Ныне гг. Мыслибуж и Щецин (ПНР).

тожены. (Какое наслаждение — наконец-то задействовать язык так, как маршал задействует свои войска: четко, последовательно, оперативно. Наносить удар за ударом.)

То, что Шарлотта Йордан, обычно сверх меры опекавшая своих детей, отправила их одних, хоть и в сопровождении родственников, так сказать, в неизвестность, почти не нашло отражения в семейной истории, которую годами вертели так и этак и давно превратили в легенду. И однако — будь тогда все в порядке и с людьми и с обстоятельствами, но, увы, чего не было, того не было — стоило бы куда больше удивиться этому кардинальному решению мамы, нежели тому факту, что населению было по радиотрансляции предложено оставить город. Ехать, конечно, оказалось не на чем. Сцены, которые разыгрывались на вокзале, пусть описывают их очевидцы и участники. Вечером того же дня, 29 января 1945 года, последний переполненный эшелон с беженцами возле Фитца обстреляли передовые танковые части советских войск, обошедшие город с юга; состав загорелся.

Вся родня, развеянная меж тем ветрами, поредевшая и перессорившаяся по причинам личного и политического характера, единодушна в одном: вовремя уехать они сумели исключительно благодаря присутствию духа и расторопности зятя, Альфонса Радде. После телефонных разговоров, состоявшихся еще затемно, на рассвете, он около девяти подогнал к йордановскому дому крытый грузовик фирмы «Отто Бонзак. Зерно en gros[1]», чтобы, как говорят профессионалы, «загрузить» своего тестя Германа Менцеля, тещу Августу, свояченицу Шарлотту Йордан и двух ее детей — Нелли и Лутца.

Это был его звездный час. Альфонс Радде, который всю жизнь домогался от жениной родни уважительного отношения, стал теперь опорой и надежей беззащитных женщин и детей. Все шло по плану. Вещи Йорданов погрузили в машину: чемоданы, ящики, тугие мешки с постелями, картонные коробки с консервами из йордановских запасов и даже кадочку масла; по истечении суровой зимы оно, конечно, не сумело противостоять порче, но, даже прогорклое или перетопленное, питало семью и являло собою желанный предмет обмена.

С родным краем без слез не расстаются. Шарлотта держала себя в кулаке. Вероятно, ее душевные силы целиком сосредоточились на решении, которое начало зреть в ней, когда она укладывала пожитки. Плакать ей было недосуг. А Нелли и вовсе не думала реветь «при всем честном народе».

А вот «усишкина» бабуля плакала. Робко плакала, украдкой. Не то что тетушки: разведенная Трудхен Фенске, Ольга Дунст, муж которой «дал тягу» с госпожой Люде, Лисбет Радде — все они сидят в полутемном фургоне (не хватает лишь тети Люции, она слезла с машины и помогает грузить вещи), поливая легкими обильными слезами каждую новую остановку, каждое новое прощание.

Сегодня — у нас 31 августа 1974 года, — в тридцать пятую годовщину гитлеровского приказа, которым была развязана вторая мировая война, газеты опубликовали приличествующие этой дате комментарии. Никакой новой войны нигде в мире, кажется, не началось.

Хотя враждующие стороны на Ближнем Востоке продолжают вооружаться; хотя десятки тысяч киприотов страдают от последствий одной из тех «ограниченных войн», что нынче вошли в моду (среди них старуха гречанка, она плакала на экране, и ее слезы напомнили тебе слезы твоей бабушки); хотя во Вьетнаме воюют, а в Чили пытают, — самые большие несчастья этого дня суть железнодорожная авария на вокзале югославского города Загреба и катастрофическое наводнение в Бангладеш.

Нынешний день, как и всякий, образует вершину временно́го треугольника, две стороны которого ведут к двум другим вершинам — к великому множеству других дат. 31 августа 1939 года: с раннего утра ведется ответный огонь. 29 января 1945 года: девочку по имени Нелли, неповоротливую и неуклюжую в платьях и пальто, надетых одно поверх другого, в два-три слоя (исторически-неповоротливую, если это хоть что-нибудь говорит), подсаживают на грузовик, чтобы увезти прочь от родных

[1] Оптом (франц.).



пенатов, так глубоко связанных с немецкой литературой и немецким духом.

Сегодня, этим жарким днем, когда сквозь открытую дверь балкона доносится шелест тополевых листьев, далекий лай собак и шум мотоциклетного мотора. Сегодня, когда — редкая удача — даже самые незначительные мелочи только усиливают ощущение жизни: еда, вино к обеду, несколько страниц книги, кошка, бой часов в комнате, где Х. сидит над своими картинами, солнечные блики на письменном столе. Послеобеденный сон и смутные грезы. Прочитанное стихотворение, гласящее: «Простосердечья спутников страшись». А главное — пять часов над этими страницами, прочная первооснова каждого дня, жизнь, реальнейшая из реальных. Без них всё: еда, питье, любовь, сон и грезы — с безумной, устрашающей поспешностью потеряет реальность. Правильно, так и должно быть. Сегодня тебе ничего не стоит вызвать в памяти тот студеный январский день.

Итак, машина вот-вот отъедет — быстрей, быстрей, шевелитесь, поздно уже. Нелли из кузова протягивает руку маме: мол, давай помогу. Но та вдруг отступает назад, качает головой: Я не могу. Я остаюсь. Нельзя же все бросить на произвол судьбы.

В машине зашумели, загалдели, принялись увещевать, даже заплакали — бабушка, тетки! — Нелли в этом гвалте не участвовала. Ведь происходило нечто невероятное. Затем последовал короткий диалог между Шарлоттой и тетей Люцией, в результате чего дети были переданы под особое покровительство тети Люции — разумный выбор! — в свою очередь, Шарлотта обещала позаботиться о своем брате, муже тети Люции, дяде Вальтере, который «держал позицию» у себя на предприятии, на машиностроительном заводе «Аншюц и Драйсиг». И вот грузовик тронулся: Альфонс Радде, справедливо негодуя, решил не ждать больше ни минуты. Кто не хочет ехать, пусть остается. Из кузова грянул истошный рев и мало-помалу затих, поскольку Шарлотта скоро пропала из поля зрения отъезжающих. Дом Нелли пока еще видела, знакомые окна родных комнат, красные буквы над витринами: Бруно Йордан — Продукты — Деликатесы. Последним скрылся из виду тополь.

Спустя годы, когда одурь начала развеиваться, Нелли попыталась минута за минутой представить себе весь этот последний день, проведенный матерью в родном городе. Мгновение, когда грузовик исчез у нее из глаз, когда она стоит точно пригвожденная к месту.

Теперь уже поздно. Запретить себе думать, что дети потеряны для нее. Она торопливо взбегает по лестнице, назад в разоренную квартиру. Навести порядок, перво-наперво на всякий случай навести порядок. Прибрать, поставить, сложить стопками в шкафы и ящики то, что было оставлено здесь и валялось сейчас вокруг. Снять со стены портрет фюрера (надо влезть на письменный стол, иначе не достанешь), молча разбить его в подвале топором и спалить в печке. Вернуться в квартиру и вдруг замереть как громом пораженная: ей же нечего больше тут делать. Остаться здесь — у нее же просто ум за разум зашел. Она же понятия не имела, куда уехали ее дети и как их теперь искать. В один миг рассыпались прахом доводы, которыми она себя убеждала: что она-де хранительница домашнего очага, отвечает перед мужем за все их достояние, сбережет его детям. Но это же безумие, сказала она себе, наверно. Чистейшее безумие.

Надо выяснить, что к чему, сообразила она. Телефон не работал, положение было, вероятно, серьезное. Идея! — Лео Зигман, книготорговец, друг Бруно Йордана, заведует матчастью в казармах имени генерала фон Штранца. Уж он-то скажет ей, как обстоит дело. Исполненная решимости, она добивается, чтобы ее пропустили к нему. Зигман, бледный, жжет остатки важных бумаг, после чего намерен незамедлительно исчезнуть отсюда, хотя бы и пришлось взять ноги в руки. Гарнизон получил приказ к отступлению. Взгляд во двор казармы убеждает Шарлотту. Все пропало. Она теперь знает, что к чему. Надежды нет, говорит она Лео Зигману. Где же ваша полная победа?

Она тоже бежит из города.

Входит Ленка. Она непременно должна еще кое-что рассказать. Вчера вечером, вернувшись из туристической поездки в Живохошть под Пра-

гой, она забыла одну важную вещь, а именно: какие песни распевают наши туристы за рубежом, в социалистических странах. Ты как, догадываешься, что́ они поют, накачиваясь чешским пивом?

«Почему на Рейне так чудесно» — первое, что приходит тебе в голову.

Нет, не угадала. На сей раз песен было две, и совсем другие. Первая: «Пива нету на Гаваях, нет как нет».

Эту я знаю, говоришь ты. А вторая?

Ленка отвечает: «Ах, в Польше за границей...» Знаешь ее?

Нет.

Зато я знаю. «Ах, в Польше за границей /Жила одна девица, /Она была мила, ну, как мила! /Милей не видел белый свет, /Но все твердила: «Нет-нет-нет!» /И поцелуя волей не дала». — А дальше как? — спрашиваешь ты. Злость и нестерпимое желание треснуть кулаком по распевающим физиономиям — тебе и это знакомо.

В песне три куплета. Из двух последних Ленка запомнила только обрывки. Во втором куплете — тут она в своей памяти уверена, случилось «это самое». И в результате «повесилась полячка», а на шее у нее обнаружили записку: «Записка мрачная была: /«Со мной все было лишь разок,/ Снести удар мне не дал бог, /Я померла».

Неужто вправду наши распевали, а, Ленка?

В том-то и дело.

Какого же они возраста?

От двадцати до тридцати. Но это еще цветочки. Знаешь, как кончается третий куплет?

Как?

«Бери же немку, молодец, /Ее не так создал творец: /Не будет первый тот разок /Ее конец».

Ранняя осень, а вечерами холодает очень быстро. Сегодня кончается астрономическое лето. Ты знаешь, что желать себе скорой старости непозволительно. Жить вместе со временем! Нужно предоставить времени возможность проявить себя. Ровно тридцать пять лет назад захватом польских городков немецкими солдатами началась большая война. Неожиданно у тебя начисто пропала охота описывать, как некоторые люди — немцы — пережили конец войны. Нет тебе дела до этих людей! Песня, которую летом нынешнего семьдесят четвертого года пели немцы, убила в тебе всякое к ним сочувствие.

А как отнеслись к этому чехи, Ленка? — Смотрели удивленно и только ухмылялись.

Эти певцы не прочтут ни строчки здесь, в твоей книге. Они не смотрели на экран, когда, вот уж два года назад, три польские женщины, подвергнутые в фашистском концлагере Равенсбрюк «медицинским экспериментам», давали перед телекамерой свидетельские показания. Одну из них против ее воли и без всякой необходимости оперировали. Другой впрыснули что-то в грудь, которая от этого стала твердой, почернела и в конце концов была удалена. («Невольно я все время думала о том, что у меня никогда не будет ни мужа, ни детей, ни дома. Ничего не будет».) У третьей после насильственных инъекций все тело годами вновь и вновь покрывалось язвами. В 1950 году она родила дочку, Ядвигу. Чудовищно обезображенное лицо этой девушки вдруг заполнило весь экран.

— Зачем вы надумали завести ребенка! — сказала отцу Ядвиги профессорша-акушерка, принимавшая роды. — Ведь совершенно ясно, что это уродство — результат пребывания вашей жены в концлагере...

Ядвига тоже говорила. И плакала. Двадцать два года прожила она на свете, и все они были для нее сплошным кошмаром. Только и утешения, что можно учиться. Она изучает математику в Варшавском университете, но на общие лекции не ходит, слишком это тягостно. Мне хочется жить, как все люди, сказала она, хочется сделать для людей что-нибудь хорошее, полезное.

Ни строчки больше. Вечер. По телевизору хор стариков негров поет: «Oh when the Saints go marchin' in...» [1]

Музыка Баха.

[1] «Когда святых приходит рать...» (англ.) — один из популярных гимнов Армии спасения.



Железнодорожная катастрофа в Загребе произошла из-за людской халатности.

В Г. (бывшем Л.), польском городке, воскресным днем 11 июля 1971 года около девяти утра вы завтракали в молочном баре на Рыночной площади.

«Я много записывал, чтобы дать опору памяти». Иоганн Вольфганг Гёте.

## *VERFALLEN* — СЛОВО НЕМЕЦКОЕ. СЕМЕЙНЫЙ ОБОЗ

Verfallen — чисто немецкое слово.

Заглянем в иноязычные словари: нигде больше не сходятся в одном слове эти четыре-пять разных значений. Немецкая молодежь полностью **подпала** под влияние фюрера. Verfallen. Срок векселя **истек.** Опять verfallen. Крыши у них **обветшали.** И здесь verfallen. Но она ведь и так **зачахла,** разве вы не знали? И тут то же слово.

Ни в каком другом языке нет слова, которое, как verfallen, означало бы «конченый, пропащий, ибо стал подневольным с собственного полного согласия».

Прошлой ночью — ты неправильно поставила будильник, он прозвонил в пять, и, усталая, но не злая, ты лежала без сна — тебе почему-то пришло на ум (вновь это verfallen!) стихотворение веймарца, о котором ты не вспоминала уже лет двадцать: «Скорбь, радость купно / Тонут в грядущем, / Темно идущим, / Но неотступно / Стремимся дале...» [1]

Возможно, ты вспомнила его по ассоциации с гётевскими торжествами нынешнего года. Но как раз это стихотворение ни разу нигде не фигурировало. Просто удовольствие было — следить, как оно почти без пробелов, строчка за строчкой всплывало в памяти, самой воссоздавать строфы и слышать их точно впервые: «И все тяжеле / Виснут покровы / Страха. / Сурово / Горе́ стынут звезды / И долу могилы».

Скорей всего стихи были в том маленьком синем томике. А этот томик, сообразила ты, покуда на другом уровне твоего полуспящего-полубодрствующего сознания продолжалось стихотворение, был одной из двух вещиц, которые ты спасла из далеких времен, затронутых теперь воспоминанием, и взяла с собою. Вторая вещица — большой широкий нож, незаменимый для переворачивания омлетов; «усишкина» бабуля ненароком утащила его у одной крестьянки, когда вы, беженцы, ночевали у нее в сарае. «Усишкин» дед, обнаружив «краденое», просто рвал и метал: Мы ж не воры какие-нибудь! — Он на полном серьезе требовал вернуться и отдать нож хозяйке.

Ладно, ладно. Как встанешь, так сразу и поищешь в синем томике это стихотворение.

«Здесь в вечном молчанье / Венки соплетают. / Они увенчают / Творящих дерзанье».

В полудреме ты начала расставлять после некоторых строчек вопросительные знаки. «Неотступно»? — подумалось тебе. И что значит «дале»? А «покуда не сбудется благо»?

Лишь когда, проснувшись во второй раз, ты быстро записала эти четыре строфы, тебе бросился в глаза зрительный пробел в конце последней. Там не хватало строчки. Только час-два спустя, когда тщательные поиски были приостановлены будничными делами, она внезапно вспыхнула перед глазами, ошеломив тебя: «Зовем вас к надежде».

Как же вышло или, вернее, что же это означает, если человек, сохранив в памяти все стихотворение, «забыл» как раз такую строчку?

Кстати, в синем томике этого стихотворения не было. Томик лежит сейчас рядом, ты можешь взять его в руки, полистать. Четыреста шест-

[1] Гёте. Символ. Здесь и далее стихотворение цитируется в переводе А. Кочеткова.

надцать тонких, побуревших от времени страничек — «Стихи Гёте», выпущенные в 1868 году издательством Г. Гроте, Берлин. Буровато-пятнистый форзац, справа вверху размашистым, энергичным почерком Марии Кранхольд, от которой Нелли получила в подарок эту книжицу, написана твоя девичья фамилия. А посредине в старомодной витиеватой манере прошлого века тончайшее перо вывело коричневыми чернилами: От моего брата Теодора. И тою же дрожащей рукой в правом углу проставлена дата: 1870 год.

На поиски стихов ушло все утро. Некий просвещенный друг, которому ты в конце концов позвонила, дал ему название «Песнь каменщиков», хоть и неверное, но все ж таки придавшее твоим изысканиям нужное направление: под заголовком «Символ» оно открывает цикл «Ложа» и, таким образом, действительно представляет собой песню «вольных каменщиков», масонов, а вдобавок — это был самый большой сюрприз — в нем есть еще две строфы, тебе как бы и неизвестные: «Путь к посвященью / Равен земному...» И так далее. (Вот почему ты не смогла найти его по первой строчке!)

Всему свой черед, как сказала бы Шарлотта Йордан. Тише едешь — дальше будешь. О чем же повести речь — о синем томике или сначала о ноже? Сначала отправимся по следу ножа, вместе с обозом, по деревням. На свете куда больше деревень, чем городов, но раньше Нелли об этом как-то не задумывалась. Если быть точным, то фирма «Отто Бонзак. Зерно en gros» в феврале сорок пятого, вероятно, уже не существует. Однако ее название крупными буквами написано на борту серого грузовика с прицепом, за баранкой которого по очереди сидят дядя Альфонс Радде и негодный к военной службе шофер; грузовик добирается сперва до Зелова, а потом через Прицен, Финов, Нойруппин, Кириц, Перлеберг — до Виттенберге-на-Эльбе. На это уходит добрых две недели, и когда — в самую суровую зиму за бог весть сколько лет. На пути нет-нет да и попадаются люди, чье внимание привлекает надпись на грузовике, и Шарлотте Йордан, которая очень скоро начнет разыскивать своих детей, будет кого расспросить.

Нелли обосновалась поблизости от заднего борта на одном из мешков с йордановскими постелями, который со временем стал твердым как камень. С этого места можно было смотреть наружу в целлофановое окошко, вставленное в откидной брезентовый борт. Серые снеговые тучи, голые ветви вишен и яблонь на обочинах и лишь изредка кусочек самой дороги. Одер остался позади, и все облегченно вздохнули: между ними и предположительно наступающим врагом пролегла широкая река, уж ее-то русским явно нипочем не одолеть.

На исходе первого дня у Зеловских высот всем велено вылезти — для облегчения кузова — и помочь толкать машину. Мерзлый снег под ногами, дорога скользкая, как каток, забитая обозами беженцев. Треклятая машина, для которой этот подъем при нормальных погодных условиях вообще не составил бы проблемы, упорно не трогается с места. Нелли ненадолго стряхнула одурь и увидела, что творится на дороге. Увидела нелепую сутолоку, которая только пуще стопорила движение. Груды нелепого домашнего скарба в крестьянских телегах — верный признак, что все были на грани смятения, чтобы не сказать, безумия. К тому же навстречу, внося неразбериху в поток беженцев, шли мелкие подразделения вермахта: а что, собственно, солдаты думали предпринять там, на Одере?

В конце концов какой-то вермахтовский грузовик помог им одолеть Зеловские высоты, затем была дана команда «по местам!», и Нелли опять взгромоздилась на мешок с постелью. Вот так бы и ехать, дальше, дальше, все равно куда. И чтобы не останавливаться и ничего больше не видеть. Впоследствии, когда пути Шарлотты Йордан и отто-бонзаковского грузовика сопоставили по времени, оказалось, что они уже в Зелове разминулись буквально на несколько часов: вернувшись из казарм, Шарлотта еще раз варит дома на плите кофе — у нее было припрятано немного натуральных зерен, — потом, как и договаривались, приходит ее брат Вальтер. Последняя трапеза вдвоем на кухне, бутерброды. Для каждого по нескольку бутербродов в портфель — это единственный багаж, который они берут с собой.

Ибо пора уходить. Сигареты — они оба не курят — сослужили свою службу, водитель последнего почтового фургона, спешащий в Кюстрин, соглашается их подвезти. Сажает в машину. Это уже за Фитцем. Шарлотта уже все ноги стерла. В глубине души каждый думал о том, что за Одер им, скорей всего, не уйти, что они будут отрезаны от своих семей. Позднее оба признаются себе, что оценивали ситуацию совершенно трезво.



Почтовый фургон довозит их только до Кюстрина. Глубокая ночь, а на улицах довольно много людей. Шарлотта принимается задавать свои два вопроса: не появлялся ли здесь эшелон с пленными французами и не проезжал ли грузовик фирмы «Отто Бонзак и К°». На первый вопрос ответы были сплошь отрицательные (Брунс Йордан уже второй день находился в плену), а на второй вопрос, наконец-то: Да, проезжал, в сторону Зелова.

Шарлотта с Вальтером добрались до этого городка утром, а грузовик, который они искали, всего часом раньше выехал оттуда. Они видели, где ночевали их родные: в налоговой конторе, под столами и просто на полу. Теперь-то найти их будет проще простого, думала Шарлотта, но она заблуждалась.

Ночью, кстати, толком поспать не удалось. Солома на полу — это еще полбеды. Куда хуже было стремительное падение нравов, заявившее о себе громкими сварами. Нелли и ее родичи были беженцами-новичками; они еще не усвоили высший закон беженской жизни: заняв сухое и теплое место, ни под каким видом не позволяй себя оттуда согнать. «Усишкину» деду, у которого вечно капризничало пищеварение, и вся родня об этом прекрасно знала, не мешало бы, конечно, устроиться поближе к двери, чтобы в случае чего быстро добежать до уборной. Но возле двери разместились товарищи по несчастью из восточных областей рейха, и переговоры с ними оказались безрезультатными; вот дедуня и перешагивал всю ночь через эту компанию, пока они не начали браниться на своем тягучем западнопрусском диалекте. Тетя Лисбет вознегодовала, что какие-то пришлые смеют костерить ее отца, и принялась отругиваться. А тут еще «усишкин» дед подлил масла в огонь, довольно резко одернул родную дочь и тем возбудил первый из великого множества скандалов, которые мало-помалу обнажили всю семейную подноготную и не раз заставляли Нелли, с тяжелым сердцем, но внимательно все это слушавшую, думать: вот оно, значит, как.

Вот, значит, как оно было. Хватит затыкать мне рот! — крикнула тетя Лисбет отцу. Это я в детстве тряслась, когда ты пьяный (Лисбет! — увещевала золовку тетя Люция Менцель. Опомнись!), да-да, пьяный являлся домой. И невесть что вытворял! — Лисбет, дочка! — это уже «усишкина» бабуля, привстав на соломе. — А ты вообще помалкивай, откуда у тебя шрамик на лбу, ну-ка, скажи! Вот именно, от осколка керосиновой лампы, которой в тебя собственный муж запустил! — О господи, ну что ты такое городишь.

Этот шрам Нелли прекрасно знала, частенько водила по нему пальцем: Откуда он у тебя? — Ах, детка, да мало ли что случается! — Вот, значит, как оно было.

Из Зелова выехали на Врицен. Мама же с дядей Вальтером, то ли неправильно рассчитав, то ли соблазнившись попутным транспортом, очутились на развалинах Берлина, а бонзаковский грузовик выбрал путь севернее, в объезд.

Если поднять голову, твой взгляд падает на старинную гравюру с видом города Л., недавний подарок одного из друзей. Изображает она силуэт города с того места, откуда открывается самая красивая панорама, — из заречья. Важные постройки, чьи контуры видны на гравюре, обозначены буквами от А до L. А — это «Трактир»; В — «Мельничные ворота»; D — «Красильня». Буквой С обозначена синагога. Высокая, без звонницы, крыша синагоги выступала, оказывается, из общего рисунка городских кровель между Мельничными воротами и Е, то бишь церковью девы Марии. Таким образом, тебе удается определить приблизительное расположение этой постройки, и задним числом ты вынуждена сказать себе, что во время той поездки, в июле 1971 года, искала ее остатки, вернее место, где она когда-то стояла, совсем в другом районе. Воскресным утром — уже расплатившись в гостинице — вы тогда еще раз медлен-

но-медленно объехали улочки между вокзалом и Рыночной площадью, те улочки, где ты думала найти синагогу и не нашла.

В конце концов вы зашли в эспрессо на Рыночной площади. Постояв несколько минут в очереди, можно было получить стакан хорошего кофе, яйца, бутерброды. Ленка взяла большую кружку какао. Прямо-таки закон: едва ты усаживалась тут поесть, и на душе сразу становилось хорошо. Ты похвалила цвет стен — светло-зеленый, — практичные, чистенькие пластиковые столы, легкие стулья. Х. заметил, что с похвалой ты хватила через край; но ты ведь ее не вымучивала. Ты вообще ничего не вымучивала. Напоследок ты похвалила солнце, светившее в зал. — Опять жарища будет, сказал Лутц. — Здесь, у подножия церкви девы Марии, ты чувствовала себя чужой, посторонней, и была в этом какая-то умиротворенность. Раньше, сказала ты, этого дома, в котором мы сидим, вообще не было. Тут, конечно, зазвонили колокола, верующие повалили в церковь, и войти туда стало невозможно.

Ленка открыла атлас автомобильных дорог и попросила показать ей маршрут вашего бегства. У вас с Лутцем вышел по этому поводу спор. С чего ты взяла, что Берлин мы обогнули с юга? Неужто Нелли до такой степени забыла обо всем? Лутц, младший, с его вполне надежной памятью на факты. Говорит с усмешкой: Я меньше увлекался душевными переживаниями. Тоже иной раз не без пользы, верно? — Ну конечно. Всегда.

В Виттенберге Неллино семейство — двенадцать душ — оккупировало целую классную комнату. Это вам обоим запомнилось.

А ты? — спрашивает Ленка у отца. Его палец движется по другому маршруту, с юга на север. От плотины на Зале, которую он охранял как рядовой вспомогательной службы «люфтваффе», к Берлину. Точнее: в Берлин-Лихтенберг. По железной дороге. Потому что зенитки вместе с расчетами перебрасывали в товарных вагонах на Одер, чтобы задействовать там в решающих боях. Тут-то мы и смекнули, что все пропало, конец. Вот здесь, говорит Х., Бад-Фрайенвальде. Мы долго стояли в Альтранфте.

Как это — «стояли»? — говорит Ленка. Как это — «перебрасывали»? «Перебрасывали»? Очень просто: опять товарняком через Вернойхен, Тифензе, Шульцендорф — словом, по забитой составами узкоколейке. Для одних это означало: выгрузить орудия, и дальше — на лафетах к так называемой передовой. Она проходила, стало быть, уже по ту сторону Одера, в районе Ной-Левина и Альт-Левина. Для нас, телефонистов, это означало — шагать с тяжеленной катушкой провода по бездорожью, через вымерший город Врицен, через вымершие деревни, обеспечивая связь с батареями переднего края. (Врицен! — с жаром воскликнула Ленка, но ее угомонили: Твоя мама проехала через Врицен неделей раньше, тогда он еще не обезлюдел. Да и вообще: встречи так и так не состоялись бы. — Ленка выискивает в случайном закономерность.) «Стояли» значит вот что: сутками сидеть за коммутатором, перебрасывать штекеры, регулярно проверять линию — есть ли связь. Если нет, идти на поиски обрыва, латать. Раз в день — в одно и то же время, хоть часы проверяй! — слышать гром 102-миллиметрового орудия, оно обстреливало деревянный мост в Ной-Левине, где у русских был плацдарм, и каждый раз наносило ему серьезные повреждения, а советские саперы вслед за тем спешно чинили его подручным материалом. (Ленка вставляет: Может, я совсем дура, но объясните же мне, что такое «плацдарм».) Однажды звоним из брошенной деревни, с почты, в соседний городишко, а на том конце линии вдруг отвечают по-русски. Мы так и шмякнули трубку на рычаг, как кипятком ошпаренные. Ночевали в оставленных домах, в спальнях, на застеленных супружеских кроватях удравших жильцов.

Вот все это вместе, Ленка, и означает «перебрасывали» и «стояли».

Ленка не слушает, она опять за свое: Ну правда же, не будь всего этого, вы бы никогда не повстречались. Может, у вас — у каждого — с другим мужем, с другой женой и была бы дочка моих лет, но — не я? Обалдеть, а?

Я молчу, сказал Х.

Зато Лутц, не кто-нибудь, а твой брат Лутц, призвав на помощь логику и теорию вероятности, попытался оттащить племянницу подальше от опасного края нигилистической бездны: он убежден, что совершенно неза-



чем раньше времени забивать себе голову нелепыми раздумьями; и вообще он не приветствует, когда молодые люди сводят тайну собственного появления на свет к глупой случайности.

Все это он сказал тебе, когда вы шли по Рыночной площади Г., возвращаясь к машине. — И что же ты предлагаешь? — спросила ты. Провидéние? Снова-здорово высшую силу? — А чем плохо, отозвался Лутц, только ведь не пройдет. Время не то. — И ты расставляешь сети из математических формул, чтобы остановить падение в огромную черную дыру. — Тебе доводилось слышать о «белых карликах»? — спросил Лутц. — Сказками интересуешься? — Да нет же. Белый карлик — это высокотемпературная звезда небольшого диаметра и низкой светимости. — Да? — Белые карлики представляют собой позднюю стадию звездной эволюции. Не так давно было установлено, что, когда в силу отсутствия водорода ядро вырождается, звезда может претерпеть гравитационный коллапс. Тогда в космическом пространстве возникает так называемая «черная дыра». Что касается тебя, ты могла бы говорить о коллапсе событийного горизонта.

И это означает?..

Ничто более не может покинуть такую черную дыру, даже свет. В центре черной дыры нет ни пространства, ни времени, там не действуют никакие законы физики. Например, космонавт, соприкоснувшись с черной дырой, будет вытеснен из времени, станет точкой. Ну как?

Здóрово, сказала ты.

То-то же, сказал Лутц. Вот теперь я вижу: мозговые токи моей сестрицы пошли работать вовсю.

Во-первых, я испугалась. Не до ужаса. Скорее так пугаются, увидев знакомое там, где ни сном ни духом ничего подобного не предполагалось. А это сверхтяжелое ничто, случайно не засасывает, как по-твоему?

Опережая твои домыслы, скажу: физического доказательства, что черные дыры существуют, покуда нет, добавил Лутц. Добрая половина астрофизиков считает это ложным выводом, обусловленным нечеткостью теории. Ошибкой в расчетах, если угодно.

Будь ты астрофизиком, ты бы примкнул к этой половине.

Совершенно верно. А ты бы прибилась ко второй.

Скажи, спросила ты у Лутца, неужели ты без малейших колебаний стал бы опровергать существование черных дыр?

Да, сказал Лутц. Без колебаний. Видишь ли, ты весьма переоцениваешь число людей, готовых и способных жить с мыслью, что черные дыры существуют. По-моему, вполне достойная задача — поддержать бодрость в тех многих, которые к этому не способны и не готовы.

А как насчет того, чтоб подставить другое слово — надежда?

Как угодно, сказал Лутц.

Ты спросила: Однако, быть может, заблуждение — в том числе и самообман — позволительно лишь в самом конце серии опытов? Гораздо позже утраты веры.

Это ты так считаешь, сестрица. Но откуда тебе знать, что мы уже не в самом конце серии опытов?

Слушай, сказала ты, смена позиции — это против правил.

В машине вы быстро сошлись на том, что сегодняшний день при немыслимой жарище, которая уже давала себя знать, будет посвящен восточной части города (церковь Согласия, больница) и районам чуть к северу от нее, возле тогдашних Фридебергер- и Лоренцдорферштрассе.

«Коллапс событийного горизонта» — эти слова застряли в мозгу. Едва ли удастся более метко обозначить состояние, в котором Нелли находилась в те месяцы. Она была твердо убеждена, что никогда больше не вернется домой, но вместе с тем по-прежнему верила в возможность полной победы. Лучше уж докатиться до абсурдных мыслей, чем допустить немыслимое. Она так и напустилась на деда, когда он прошамкал беззубым ртом, что война, мол, «проиграна».

Все, что видела, обоняла, пробовала на вкус, щупала, слышала: искаженные лица; фигуры, едва волочащие ноги; вонь ночлегов; тепловатая кофейная бурда из жестяных кофейников Красного Креста; мешок с постелью, который она усидела в камень; ругань при распределении спальных мест, — все это она фиксировала, но ей отнюдь не дозволялось формировать из этого такие чувства, как отчаяние, уныние. С тех пор она

усвоила — и не забывала, — что бесчувственность может выглядеть храбростью, ведь храбрость-то в ней теперь и превозносили: Она и впрямь храбрая для своих лет.

Спустя несколько месяцев, в мае, Нелли прочла в глазах офицера-американца, что он всерьез считает ее душевнобольной; но что его едва ли не испуганный взгляд означал именно это, она поняла опять-таки лишь через много лет.

Мытарства людей старшего возраста резко отличны от страданий юных — тогда это можно было бы усвоить. Только вот таких, кто бы сам не страдал, не было, потому-то и нет сейчас надежных свидетелей. Старикам — тем, что годами бубнили о смерти, лишь бы услыхать протесты молодых, — пришло время молчать, ибо свершившееся как раз и было их смертью, и они незамедлительно это поняли, за немногие недели они старели на годы, потом умирали, не по очереди и не по разным причинам, а все сразу и по одной причине, как бы она ни звалась — тиф ли, голод или просто тоска по родине, ведь и это вполне достойный предлог, чтобы умереть. Истинной же причиной было вот что: они стали совершенно лишними, обузой для других, тяжкой и вполне достаточной, чтобы отправить их из жизни в смерть, особенно если они — по примеру Неллина прадеда Готлоба Майера — набрасывали этой тяжкой обузе петлю на шею да подвешивали ее к прочному крюку на стене. Он не захотел уйти с дочерью и зятем — хайнерсдорфскими дедом и бабкой, — когда в мае сорок пятого им пришлось сняться с места. Соседи нашли его и сообщили дочери о его смерти. Слава богу, сказала якобы хайнерсдорфская бабушка.

Прадедовы часы, сказала ты Лутцу по дороге к Лоренцдорферштрассе, ты ведь не получил их в наследство. — Верно, не получил, сказал Лутц. Знаешь, я долго жалел об этом. Все представлял себе, как нес бы их за гробом на похоронах, орденов-то у него не было. Как повесил бы их на стену, на самое почетное место. До сих пор помню, какие они были с виду и с каким звуком отскакивала крышка. — Я тоже помню, сказала ты.

Не к добру это, якобы сказал прадед хайнерсдорфской бабушке, когда она, сама давно перевалившая за шестьдесят, оставила свой дом. Он оказался прав. Мария Йордан, вторая Неллина бабушка, скончалась в июне 1945 года под Бернау — от истощения, так гласило свидетельство о смерти, и это означало, что она умерла с голоду. Впрочем, у нее хотя бы есть могила, за которой ухаживают и на которую в поминальное воскресенье кладут венок.

Иначе обстоит дело с разбросанными могилами другой бабушки и двух дедов. «Усишкин» дед — следующим умер он, от тифа, — похоронен у кладбищенской стены, в мекленбургской деревне Бардиков. Могила его не обозначена. Лутц недавно, как он говорит, по верным приметам отыскал ее на бардиковском погосте. В Магдебурге дичает могила Августы Менцель, «усишкиной» бабули, у которой Нелли училась самоотверженности и доброте. Ей оказалось достаточно простого гриппа. Шарлотта Йордан отстригла седую прядку от тоненькой косицы, лежавшей на правом плече маленькой, сморщенной покойницы, и где-то ее хранила.

Хайнерсдорфский дед, Готлиб Йордан, единственный из всех поставил перед собою цель, и цель эта поддерживала в нем жизненные силы: он решил дожить до восьмидесяти. И действительно дожил, хоть и в жутких условиях — в деревенской клетушке, в Альтмарке. А потом сказал: Ну вот, теперь хватит, — и умер. О нынешнем состоянии его могилы ничего не известно. Есть, правда, цветная фотография, сделанная его дочерью, тетей Трудхен; на ней могила хайнерсдорфского деда украшена цветами, обрамлена белыми гравийными дорожками. На надгробии выбита эпитафия, текст он выбрал сам: Мне отмщение, говорит Господь.

Единственный предмет, сохранившийся в семье как память о поколении дедов, — это шерстяное одеяло, которое «усишкина» бабуля собственноручно связала крючком. Иногда вам с Лутцем приходят на ум те две истории, что любил рассказывать внукам «усишкин» дед: про змею и про медведя. Иногда вкус манной каши напоминает тебе пудинг с малиновым соком, каким Нелли лакомилась за кухонным столом у хайнерсдорфской бабушки. Иногда кто-нибудь скажет: Лутц-то вон какой рослый, это он в деда. Иногда — всего лишь на секунду-другую — мелькнет в одном из потомков образ Августы Менцель.



Тогдашние старики, зная, что очень скоро они уснут вечным сном, ребячились или вовсе затихали. Их сыновья и дочери именно себя считали обманутыми и проигравшими, а потому воображали, что им дано право помыкать всеми и каждым, особенно стариками, которые отжили свое, и молодыми, у которых жизнь еще впереди. Сами же они потом-кровью добились достатка, построили жизнь, а теперь вот их гонят из этой жизни прочь. Тетя Лисбет, не чуждая театральности, выкрикнула, заломив руки: Моя жизнь загублена! Дядя Альфонс Радде, ее муж, страдал меньше, ибо не утратил главной предпосылки существования: он по-прежнему служил Отто Бонзаку, хоть и безвозмездно. Жену свою он призвал к порядку. Никто ее не понимает! — заныла тетка. Тетя Люция намекнула ей, что тем, у кого муж рядом, нечего бога гневить. Да ну тебя! — презрительно фыркнула тетя Лисбет. Другие тетки — Трудхен Фенске и Ольга Дунст — сидели на соломе виттенбергской школы и молча слушали перепалку. Вот и мы, сказали они друг дружке, мы тоже все потеряли, много ли, мало ли, а потеряли.

Нелли внезапно одним махом отрезало от взрослых. Она увидела, что имущество и жизнь для них одно и то же. И стала стыдиться комедии, которую они разыгрывали прежде всего перед другими, но в конечном счете перед самими собой.

Однажды — темным пасмурным утром в середине февраля — со школьного двора громко спрашивают, не квартируют ли здесь люди по фамилии Йордан. Тут Нелли, поняв, что это мама нашла их, бросается в солому и плачет навзрыд.

В первый же час воссоединения, которое иные откровенно называли чудом (в нынешних-то обстоятельствах!), после первых же, обильно политых слезами объятий, первых коротких и сбивчивых рассказов началась великая распря между родными сестрами — Шарлоттой Йордан и Лисбет Радде. Распря, с этой минуты день ото дня разгоравшаяся, дошедшая от мелких колкостей и словесных придирок до громких скандалов и отравившая те два с половиной года, что им поневоле пришлось прожить бок о бок. Десятки вспышек ненависти, оскорбительные тирады, истерики, безмолвные, вымученные завтраки, обеды и ужины. Две сестры, два непримиримых врага.

Откуда Нелли могла тогда знать, что им не дано было спокойных, учтивых взаимоотношений. Что всякий новый день, отпущенный господом — так говорила Шарлотта, — вновь призывал их на поле битвы, ибо в незапамятные времена их детства вопрос вопросов: Чего ты сто́ишь? — был поставлен неправильно: Кто из двоих стоит больше? Так, с переменным успехом, и шла между ними с тех пор эта борьба, не столь острая и заметная прежде, когда они жили врозь да и прочих смягчающих обстоятельств тоже хватало. (Лишь перед смертью Шарлотты у Лисбет Радде вырвался на волю поток отчаянной сестринской любви, в которую поверила только ты: смерть одной из сестер несла другой победу, и она могла наконец любить.) Временами, когда возникала ссора, казалось, будто они начинают им же самим постылую, даже ненавистную работу, а делать ее тем не менее надо, и кто за нее возьмется, как не они.

Вот вам яркий пример: достаточно было Шарлотте проявить неосторожность — что и случилось в первый же час после встречи в виттенбергской школе — и заикнуться о выпавших на ее долю невзгодах (Эти пешие переходы по разрушенному Берлину, бомбежки, блуждания!), как Лисбет тотчас раздраженным тоном принялась расписывать собственные горести, стараясь перещеголять сестру. Затем обе стороны двинули в бой упрек, начинавшийся словами «ну всегда»: Ну всегда Шарлотте все плохо да мало, что младшая сестра ни сделай. Ну всегда эта Лисбет норовила за счет старшей сестры подольститься к матери. (Вальтер, их брат, был изначально вне конкуренции; вот и теперь он молча и бесстрастно наблюдал выпады сестер.) Дальше — больше: одна из них, разумеется безуспешно, попыталась заткнуть другой рот. В конце концов они, злющие, разошлись, упрямо вскинув голову, стуча каблуками, хлопая дверьми.

Бывало, «усишкина» бабуля, тихонько сидевшая в уголке и украдкой вытиравшая слезы, говорила в тишину: «Вот все леса уснули». И тогда

дочери дружно набрасывались на нее. После ее смерти каждая из них твердила, что уделяла матери недостаточно внимания. А дядя Вальтер, который жил в Западном Берлине и наотрез отказывался ступить «за железный занавес», прислал венок. На ленте золотом было написано: «Любимой маме — последнее прости». Лисбет позволила себе осудить поступок брата. Наследства никакого не осталось. Плохонькая одежонка Августы Менцель частью отправилась в утиль, частью в Народную солидарность.

Вот и опять лето миновало. Шелест увядших тополевых листьев на балконе, щемящий звук, при всей любви к осени. Итак, этой осенью — думаешь ты и тотчас добавляешь, как Шарлотта: тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! — твоя повесть подойдет к концу. Заблуждение, как выяснится. Шарлотта постучала бы по дереву или себе по лбу. 1974 год. Шестая осень с ее смерти. А смерть эта была решенным делом, когда она отдала тебе книги и маленький транзистор, принесенный тобою в больницу, и сказала не терпящим возражений тоном: Есть вещи поважнее. Отныне она занималась лишь собой.

Осень — она одну за другой показывает все наши слабости и неумолимей иных времен года предъявляет нам сеть опутавших нас привычек. Вы начинаете задаваться вопросом, сколько же всякого-разного вам никогда не узнать, ибо вы к этому не расположены. Едва возникают такие разговоры, Ленка отодвигает стул и уходит из-за стола. Она не выносит родительских рассуждений о старости, а тем самым выдает, что и ей тоже в старении видится ущербность. Только она не желает понять, что ущербность прогрессирует и тогда, когда ее не принимают к сведению. Неужели вы вправду умудряетесь до тонкости обдумать все на свете? — спрашивает она. А не лучше ли живется таким, кто «не берут этого в голову», то есть большинству. И стоит ли их вообще трогать.

Шарлотте Йордан было столько же лет, сколько тебе сейчас, когда она вместе с детьми и родителями въехала в одну из комнат трактира в Грюнхайде, что под Науэном. Она безусловно вполне отдавала себе отчет, что в ближайшие месяцы смерть будет косить людей направо и налево. И твердо решила: Моих детей я уберегу. Выращу, поставлю на ноги. Так она и сделала, всю жизнь этому посвятила.

О чем ты плачешь? Наверное, это осень, немощная осень виновата, если одна-единственная стихотворная строчка, которую ты читаешь, стоя у окна, доводит тебя до слез: «О братья-герои, в изгнанье!» Затуманенным взором глядишь ты на желтые листья тополя; береза еще держится, еще зеленеет. «Нет ни чистого света, / ни тени в воспоминаньях». Неруда, поэт, которого нет в живых одну осень, одну зиму, одну весну и одно лето. «До полок пустых /сквозь разбитые двери ветер добрался/ и вихрем вскружил забвения очи».

Но плачешь ты не о нем. Ты плачешь обо всем, что однажды будет забыто — не после тебя и не вместе с тобою, а при тебе, тобою же самой. О том, что блекнут, рушатся большие надежды. И мало-помалу, но неудержимо меркнет очарование, возвышавшее до сих пор предметы и людей и отнимаемое у них старением. Плачешь о спаде увлеченности, рожденной азартом и дарящей нам правду, реальность, полноту жизни. О том, что слабеет любопытство. И убывает способность к любви. И портится зрение. И подавляются самые пылкие мечты. И задыхаются неистовые чаяния. Плачешь, ибо отрекаешься от отчаяния и непокорства. Ибо тускнеет радость. Пропадает способность удивляться. Скудеют вкус и обоняние, а еще — как ни фантастично это звучит — неизбежно гаснет вожделение. И в конце концов — признание через силу — ты плачешь о том, что пропадает желанье работать. Бабье лето.

Однажды, как теперь говорят, «в ходе» разведки кой-каких населенных пунктов прошлого, о котором здесь идет речь, ты побывала в Грюнхайде, в Грюнхайде под Науэном, куда прямиком двинул из Виттенберге-на-Эльбе бонзаковский грузовик. С магистрали Ф-5 нужно свернуть, отъехав от Науэна всего лишь на километр-другой. Поворот четко обозначен указателем. Скверная песчаная дорога. Тебе все меньше и меньше верилось, что ты вот-вот попадешь в места, принадлежащие «тем временам»: те давние края остались для тебя не только в другом времени, но и в другой стране. Вообще-то ты всегда мечтала — просто давненько не



думала об этом — бродить после войны лишь по городам, чьи проспекты Ленина и Сталина не были раньше знакомы тебе как улицы Адольфа Гитлера и Германа Геринга. Ты отнюдь не жаждала столкнуться на прогулке с учителем, которого Нелли из года в год встречала германским приветствием и которому тебе пришлось бы сказать «добрый день». А когда в городах, куда ты раз в несколько лет приезжала как новичок, местные жители показывали тебе кооперативный универмаг и говорили: Бывший магазин «Вертхайм», — в глубине души ты испытывала совершенно необоснованное чувство превосходства.

Грюнхайде — местечко запущенное. Взять хотя бы облезлый трактир «Зеленая липа», который нынче почти всегда на замке. Яблочного соку и то негде выпить. Липы возле дома, как и раньше, обчекрыжены в форме шара, иначе бы они уже тогда не пускали свет в комнату на втором этаже, где «устроилась» Нелли с мамой, братом, дедом и бабкой. Как ни странно, Лисбет и Альфонс Радде с кузеном Манфредом поселились в том же доме; видимо, каждая из сестер втайне считала, что в такие времена другая без нее не обойдется. А при случае можно было опять-таки поставить это друг дружке в упрек.

Комната, вероятно, была просторная. Пол, который Нелли весьма часто приходилось мыть — бедность бедностью, говорила Шарлотта, но это не причина, чтобы сидеть в грязи, — пол сколочен был из неструганых досок, впитывавших воду и по краям занозистых. Все пять коек стояли вдоль стен. Середину занимал большой неструганый стол, за которым к завтраку, обеду и ужину собирались также и тетя Лисбет с дядей Альфонсом и кузеном Манфредом, устроившиеся рядом, в комнате поменьше. В углу у окна нашлось место для ящика сгущенки и кадочки масла; этим маслом питалась вся родня, да и чужим перепадало, если они предлагали стоящий обмен.

Ситуация казалась Нелли до странности знакомой. Она давным-давно знала, что человека можно опутать чарами, лишь чуточку удивлялась — как на первых порах удивляется всякий, — что это не миновало и ее. Тогда она еще всем сердцем верила, что ей суждено счастье и что в конце концов она его обретет. Без всякого душевного волнения отнеслась она к вести, что школа в Науэне, куда Шарлотта живенько определила своих детей, в знак того, что жизнь опять вошла в колею, — эта школа была разбомблена как раз в тот день, когда из-за нарушений железнодорожного сообщения им с братом пришлось остаться дома. Нет, быть погребенной под развалинами школы — не ее удел.

В эту минуту где-то поблизости слышится вой пожарных сирен, а немного погодя с магистрального шоссе доносятся сигнальные гудки пожарных машин. Стоит ли говорить, что вы — люди твоего поколения — по сей день пугаетесь любой сирены. Снова — не так явственно, разумеется, как в первые годы после войны — возникает в полусне картина: спуск в подвал, снова теснит грудь затхлый холод бомбоубежища, бывшего пивного погребка. Снова отвратительный рев бомбардировщиков и — дядя Альфонс Радде засекал время секундомером: Вот сейчас! — грохот разрывов в недалеком Берлине, где, по словам Шарлотты, огненный смерч кружил уже одни только трупы да обломки зданий. (Ленка говорит, что она просто не в силах вообразить такое: каждую ночь ждать собственной гибели. Рубеж между поколениями, пожалуй, — и не исключено, что это главное, — проходит по ту и по эту сторону понимания, что можно находиться под угрозой смерти и все же не умереть, не стать преступником или сумасшедшим.)

Нелли — ей только что сравнялось шестнадцать — отпущено прожить с ощущением собственной неуязвимости еще около двух месяцев. А потом будет самое время, чтобы американский штурмовик прицельным — но опять-таки не слишком прицельным — огнем из бортового пулемета раз навсегда положил конец этому полузабытью. Пока же Нелли сидит вечерами над дневником и — вне всякого сомнения, хотя дневник как таковой не уцелел, — записывает туда свое решение хранить нерушимую верность фюреру даже и в тяжелые времена. Они с Евой, ровесницей, эвакуированной из Берлина и уже довольно давно проживающей в «Зеленой липе», сидят по ночам в углу бомбоубежища и заносят в зеленую клеенчатую книжицу первые строчки любимых песен, которые им не хочется забывать, пусть даже петь их покуда нет возможности: песни военные, народные,

гитлерюгендовские. На два голоса они тихонько поют: «Луна взошла на небеса».

Западные союзники форсировали Рейн («Рейн — германская река, но не германская граница!»). Фюрер — Нелли об этом знать не знала — издал приказ, впоследствии известный под названием «нероновского»; все транспортные магистрали, линии связи, промышленные предприятия и склады при отступлении уничтожить. Жестокий удар нанесло бы Нелли то заявление фюрера, где ставился знак равенства между поражением в войне и гибелью народа: «Поскольку лучшие пали в бою, неполноценных, что остались в живых, незачем более принимать в расчет». Нелли же покуда обдумывала, как бы ей примкнуть к «вервольфам», о которых в окрýге ходили разные слухи, — верный признак, что она пасовала перед реальной ситуацией и стремилась затушевать это актами отчаяния.

Приблизительно тогда Шарлотта Йордан, взяв с собой дочку Нелли в качестве помощницы и компаньонки, отправилась в не вполне безопасную поездку, на поиски Бруно Йордана — мужа и отца.

Необходимость ежедневно писать по нескольку страниц способна омрачить дни и отравить жизнь. Постоянное чувство перенапряжения — без всякой разумной причины. Однажды утром, после скверной ночи, ты видела сон об опасности своей профессии. К тебе в дом явилась группа одетых в серое, внешне совершенно одинаковых мужчин, вожак которых — безликий, как все они, — отличался от других лишь характерной тоненькой полоской усов. Пришли они по заданию некоего ведомства: хотели уговорить тебя составить текст, где бы твоими словами было выражено их «обобщенное мнение» о «событиях жизни». Ты растерялась, и тогда они выложили «козырь»: пообещали, что разошлют эту бумагу во все семьи. Уж, кажется, лучше и пожелать ничего нельзя такому человеку, как ты, сказал усатый, серьезно, но спесиво. Или, может, он должен взять телефонную книгу и наглядно показать тебе, скольких читателей ты лишишься в случае отказа?

Ясность и спокойствие после пробуждения (даже веселье: до чего же хитер механизм сна!) еще увеличились, когда ты сообразила, что покуда не можешь продолжать работу. Страница осталась в машинке, и девять дней кряду никто к машинке не прикасался — редкостный случай. Облегчение, испытанное в тот первый день самовольного отпуска, было мерилом нажима, властвовавшего до сих пор.

Ты бродишь по окрестностям. Между четырьмя и половиной пятого, когда на крупных заводах кончается рабочий день, стоишь на главной улице, на перекрестке, и глядишь в измученные лица людей, спешащих к автобусам. Завидуешь им, а они, наверно, завидуют тебе. Медленно идешь домой и вдруг видишь — впервые за бог весть сколько дней — уличный свет, осенний свет, пропитанный солнцем, быстро тускнеющий до сумерек. На остановке молоденький муж заботливо помогает выйти из автобуса своей молоденькой беременной жене, и она улыбается, чуть растроганно, чуть смущенно. А вон девочка в брюках — широкая штанина застряла в велосипедной цепи, и несколько мальчишек-подростков стараются освободить бедняжку. Радостно чувствовать, что способность видеть опять вернулась, но к радости примешивается печаль, ведь твоя профессия безнравственна: описываешь жизнь, а сама при этом не живешь. Но не живя, жизнь описать невозможно.

Этот разлад достаточно объясняется перенапряжением.

Сколько и что именно из переживаемого тобою сейчас окажется в свое время — через два десятка лет — достойным воспоминания? Какая картина сегодняшнего дня запечатлеется неизгладимо, как та шеренга вермахтовских бараков под бранденбургскими соснами, где Нелли узнала, что даже самое обыкновенное, самое будничное может таить в себе угрозу и как от этой угрозы занимается дух?

«Сталаг» значит «стационарный лагерь». Фамилия обер-фельдфебеля, от которого Шарлотта Йордан надеялась услышать о судьбе мужа, была ей известна. Они спросили о нем и быстро его нашли. Неловко — уже хотя бы от суетливой доброжелательности, выказанной всеми, от капитана и ниже, кому Шарлотта, намекая на цель своего приезда, называла свое имя. Поспешно и чрезвычайно предупредительно их передавали из рук в руки, и они путешествовали от одного некомпетентного лица к другому, пока наконец не очутились в канцелярии; седой, сильно прихрамывающий ефрейтор усадил их на жесткие деревянные стулья, а сам предупредительно поспешил за обер-фельдфебелем. Да что же это — почему все бегут от них прочь?



Едва ли какое-либо из теперешних помещений сможет вызвать такую неловкость, как та голая казарменная канцелярия, где Нелли с мамой минуту-другую сидели в молчании, а потом Шарлотта, которая отродясь не умела держать свои дурные предчувствия при себе, высказала вслух то, о чем думала и Нелли: Твоего отца нет в живых.

Так полагал — это было более чем ясно — и жизнерадостный толстяк обер-фельдфебель. Однако, что в таких обстоятельствах вполне естественно, у него не было официальной похоронки, не говоря уже о личном знаке, солдатской книжке и часах покойного. У него же были часы? — спросил обер-фельдфебель, и Шарлотта Йордан, словно это необычайно важно, честно подтвердила: Да. Более чем понятно, что обер-фельдфебель предпочитал общаться с солдатскими вдовами письменно, а не вести устные переговоры с женой камрада (так он несколько раз назвал Шарлотту), положение которой — вдова не вдова — было пока совершенно неопределенным и которая, того и гляди, осознав ситуацию, ударится в слезы.

Он мог сделать для нее только одно: представить свидетеля. Писарь-ефрейтор как раз его привел. Это был рядовой из команды, охранявшей пленных французов и состоявшей под началом унтер-офицера Бруно Йордана. Он оказался единственным, кому удалось бежать, когда ранним утром вдоль либеновской улицы ударили пулеметы и загнали всех — пленных и конвоиров, которые немногим позже сами станут пленными, — в ближайшие деревенские дома. Быстрый прорыв русских на севере, вы ведь знаете. Мужа Шарлотты, унтер-офицера Бруно Йордана, солдат назвал «отличным корешем», а видел он только, как тот вбежал в какой-то дом, и больше ничего. Вбежал согнувшись, вот этак примерно (солдат показал), прижимая руки к животу.

То есть как при ранении в живот, сказала Шарлотта.

Солдат кивнул: Ну да, вроде бы.

С этого часа муж для Шарлотты был мертв, по крайней мере так она твердила; даже молоденькой невестке хозяина «Зеленой липы», которая поздно ночью отворила им дверь, она, рыдая, сказала: Госпожа Крюгер, мой муж погиб! — Ах, боже мой, госпожа Йордан... входите же скорее...

Нелли смотрела, как женщины обнялись, как старшая, ее мама, положила голову на плечо младшей, а сама она — так уж всегда бывало в несчастьях, — сама Нелли стояла молча, не способная к выражению чувств. Она знала: если говорить честно, то мама не считала отца погибшим. А вот она, Нелли, считала. И это было скверно. Ведь и обер-фельдфебель сказал, что он, может, еще жив, тут шансы поровну, пятьдесят на пятьдесят, об этом-де надо все время помнить. Поровну-то поровну, однако же Нелли склонялась к черной половине. Если отец первым делом скинул портупею, потом — тот солдатик успел еще заметить на бегу — кто-то из пленных французов в мгновенье ока сорвал с него унтер-офицерские погоны (это сделал Жан, учитель, небось спасти хотел вашего мужа, госпожа Йордан!), а он поднял руки вверх и лишь тогда, вдруг скорчившись, прижав ладони к животу, кинулся в ближайший крестьянский дом, — такому отцу лучше погибнуть. На некоем уровне, куда не достает мысль, зато дотягивается самоподозрение, Нелли отлично понимала, что он должен был умереть и почему должен. Она спала крепко и долго. Мама проплакала ночь и следующий день, а она, Нелли, села с книжкой у окна и принялась читать, заедая чтение сладкой сгущенкой. Ей самой было противно, но в душе царило полнейшее спокойствие, так бывает, когда человек в своих злодеяниях дошел до предела и дальше, что называется, ехать некуда. Она узнала, что быть зрителем грешно, а притом сладостно, да как! Навсегда остались у нее в памяти и этот урок, и эта заманчивая притягательность.

Только через год, когда совсем в другом месте их чудом разыскала первая открытка военнопленного Бруно Йордана, отправленная из лагеря, из лесов под Минском, она разражается рыданиями и понимает, что горевала, да еще как сильно. И что, наверное, можно себя простить.

Кстати, погоны с Бруно Йордана в самом деле сорвал учитель Жан; когда после огневого удара с деревенской окраины послышались первые русские команды, Жан якобы крикнул: Унтер-офицер, долой! — а потом, в подвале дома, куда они вбежали согнувшись в три погибели, но живые-здоровые, этот учитель из деревушки под Парижем вступился за немца, за бывшего унтер-офицера, который командовал охраной пленных и которого русские за это немедля бы расстреляли. Нет! — сказал Жан, он немножко знал по-немецки, а по-русски совершенно не кумекал. Хороший человек! — сказал он. Из всех этих немецких слов русский понял как раз слово «хороший» и опустил автомат. А может быть, сумел прочесть это на лице француза.

Жизнь Бруно Йордану спасла удивительная цепочка обстоятельств, и в первую очередь тот факт, что в молодости он сам хлебнул горюшка в плену и потому был не способен измываться над пленными.

Для полноты картины остается рассказать, как Бруно Йордану — вероятно, первый и единственный раз в жизни — выпал случай в какой-то мере почувствовать, чтó есть трагедия. Сам он никогда бы так не выразился, в его лексиконе этого слова нет. Он говорил: Только представьте себе — везут тебя, пленного, на грузовике мимо твоего родного дома. Ты все глаза проглядел, высматривая своих, а никого не видать, и ближайшие два года семь месяцев ты понятия не имеешь, где твоя семья. Жива ли она вообще. А потом сидишь, пленный, в тех же фабричных цехах, где раньше сам караулил пленных. Представьте-ка себе такое.

Напоследок, перед отправкой на восток, пленных разместили в бараках «И. Г. Фарбен», где прежде жили волынские немцы. Давай съездим, поглядим, что там, сказал Лутц в то воскресное утро 1971 года. Вы показали Ленке церковь Согласия, больницу, которая запомнилась Нелли большой, белой, грозной, а в действительности была невзрачным серым зданием, по сей день испещренным выбоинами от пуль и осколков.

«И. Г. Фарбен» — а стало быть, вверх по бывшему Фридебергершоссе, к Старому кладбищу, к лечебнице для душевнобольных. В нескольких словах, не вдаваясь в подробности, ты рассказала историю сумасшедшей тети Йетты. Лутц, как выяснилось, не знал, каким образом она погибла. Да и что такое была для него тетя Йетта? Слушок, туманный слушок, пущенный среди взрослых. И только теперь, спустя тридцать лет, она стала для всех вас несчастной жертвой приговора, от которого не было спасенья.

Вот дикость, сказала Ленка, правда?

Перевела с немецкого Н. Федорова

Окончание следует

---

Евгений Лебедев

# СЕСТРА

## РАССКАЗ

*Евгения Лебедева знают даже те зрители, которые в театр ходят нечасто. Слышали, видели по телевизору. Более тридцати лет играет он на сцене Ленинградского Большого драматического театра — «Товстоноговского». Многие спектакли выдающегося режиссера, вошедшие в историю нашего сценического искусства, имеют в своем эпицентре образ, созданный Лебедевым. Артисту свойственны философская мысль, стремление к социальному обобщению, при этом его создания необычны по форме, а мастерство — виртуозно.*

*Монахов в «Варварах», Загорецкий в «Горе от ума», Уи в брехтовской «Карьере Артуро Уи» и, конечно же, знаменитый его Бессеменов в классическом горьковском спектакле Товстоногова «Мещане». Можно и дальше перечислять не просто удачные, но замечательные роли артиста, напомню лишь две: Холстомер в «Истории лошади», образ неотразимый по своему воздействию на зрителя, в котором и толстовская проповедь и толстовская исповедь даны в жанре трагического мюзикла, и профессор Серебряков в «Дяде Ване» — смелая, ни на кого не похожая трактовка роли.*

*Он окружен всеобщим вниманием — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда... Но мало кто знает о его второй художнической профессии. Евгений Лебедев — прирожденный литератор, он поистине не может не писать. В 1973 году вышла его книга «Мой Бессеменов» — единственная в мировой театральной практике успешная попытка зафиксировать «внутренний монолог» роли, как бы овеществление одного из принципов Станиславского.*

*Лебедев пишет рассказы, повести, пишет, конечно, очерки о своих ролях, пишет непрерывно, ежедневно. Один из рассказов мы предлагаем вниманию читателя, который, я уверен, оценит и темперамент автора, и его «скорбь души», и проницательный взгляд, и характерную особенность слога.*

А. СВОБОДИН

Я увидел тебя издали, когда еще не успел пришвартоваться пароход. Ты стояла среди ватников, телогреек, в синем пиджачке, платье в горошек. Я узнал тебя сразу по лицу, оно такое же, как у матери, большие карие глаза и нос точно такой. Наверное, наша мать в твоем возрасте была такая, как ты. Только волосы у нее были длинные, а у тебя короткие. Мы встретились, и ты разревелась.

...Я сдал тебя в детский дом тринадцать лет назад и теперь, после войны, всматривался в новую сестру, не похожую ни на ту маленькую Юльку, ни на других сестер, ни на брата.

Мы не знали, с чего начинать наше новое родство. Какими должны быть брат и сестра? Сознанием знали, умом, а не чувством. Чувство отставало, стеснялось... Когда тебя не было рядом, оно тосковало, а при встрече, как улитка, спряталось в свою скорлупу. Снова нужно было привыкать к тебе, дать чувству освоиться, настроиться на родственную волну. И мы начали.

Мы понимали, что мы самые близкие, роднее нас друг для друга никого нет, а жизнь сделала нас такими далекими!

Жизнь — это люди. Они дали нам жизнь, а новые люди, установившие новую жизнь, в наказание за то, что мы родились в других условиях,

тоже созданных людьми, сделали нас такими, какими мы встретились. Но как бы люди ни старались убить в нас прошлое, кровь наша осталась той кровью, с которой мы родились, а вместе с нею осталось в нас и то кровное, что заложено было отцом и матерью. В нашей встрече медленно, но естественно воскресало наше родство, словно с нами вместе находились невидимые отец и мать. Слезы расплавили, размягчили жестокость людей, со слезами выплакалась обида, боль. Слезы наши благодарили кого-то за радостную встречу, посланную нам через много лет.

Эта мысль родилась сейчас, когда я пытаюсь проанализировать нашу встречу. А тогда... Мы плакали, смеялись, удивлялись. Не помню первых слов, главное, я увидел лицо матери, когда она вместе с отцом провожала в последний раз меня в Москву. Лицо несчастное, радостное и скорбное вместе — вот что я увидел в лице моей сестры.

Вспоминая ее, я задаю себе вопросы и плачу, отвечая на них. Нас было пятеро, я — старший. Самая младшая умерла первой.

Я привез сестру на площадь Дзержинского в Москве и сказал: «Вот девочка, ее нужно устроить в детский дом, у нее родители репрессированы». Я делал вид, что она мне чужая. «Нашел на улице!» Это я про родную сестру сказал. Теперь, когда ее нет, я вспоминаю себя и поражаюсь тому, что тогда говорил. Я вижу парня, стоящего у окошечка бюро пропусков в тысяча девятьсот тридцать восьмом...

Я знал, что такое детский дом, и все-таки сбывал, пристраивал ее. До Лубянки были в Наркомпросе. Наркомпрос ответил: «Врагов не устраиваем, кому нужно, тот о них позаботится. Уходите!» И мы ушли. Пришли в женотдел. Вошли в комнату, где вдоль стен сидели женщины, между окон стол, за столом — главная, председатель. После моего объяснения председатель закричала: «А, поповские выродки! К нам пришли? Деться некуда? Поездили, покатались на нашей шее... Хватит! Мы теперь прозрелые!» Мы стояли и слушали, как над нами издеваются взрослые. А мы-то надеялись! Мы-то радовались!..

Мы теперь равные, говорил я, такие же, как все. Мы теперь не отвечаем за поступки наших родителей, мы им не выбирали профессий — нас тогда совсем еще не было. В статье нового закона написано, что мы теперь не лишенцы, и не только мы, но и наши родители — полноправные, с правом голоса! Мы равные!.. Председатель комиссии и все, кто здесь заседает, не читали этого закона? Или у них своя Конституция?

Никто нас не защитил, все молчали. Я помню. Я все помню. Я не стану рассказывать подробно всей этой несправедливой истории. Помню только, что я сам орал на них:

— Я с двенадцати лет сам добываю себе на хлеб, я беспризорник... Я пионером был, комсомольцем... Я привел вам девочку... ей десять лет... девчонку! Девчонку, а не мальчишку! Куда ее? На улицу?

Помню, как наступила тишина, и в тишине вдруг — голос, спокойный, уверенный, стальной:

— На Лубянку! Там ваше место!

Лубянка... Как говорили в те годы в Москве, самое высокое место — Колыму видно! Тогда такое не то что вслух, про себя подумать страшно было, а говорили все-таки. Анекдот был единственной формой общественного мнения. И то: один на один! Ни-ни, а то швырнет тебя Москва на эту самую Колыму. Бдительность, бдительность! — никто против нее не мог устоять.

«Враг — он хитер, он во всех сферах сидит... Ты посмотри на рисунки, на карикатуру — и туда пролезли... В них обязательно найдешь или усы, или трубку, а то и целый профиль...»

В бане бы им хорошенько помыться, а они бдят, газету вращают перед собою, всматриваются, то вверх ногами, то сбоку, а то и на просвет, и находят такое!.. Ух ты!

— Вот видишь — черненькое...

— Где?.. Это беленькое...

— Ты какими глазами смотришь? Смотри, трубка!

— Да нет, это ухо.

Сложили газетку аккуратненько и пошли.

Кто тебя поймет? Кто поможет? Старуха, у которой снимал комнату? Там нас уже двое — брат и сестра. Самую младшую куда? Она молчаливая. Из деревни, и сразу — Москва. У нее один вопрос: где страшнее? Там, откуда приехала, или здесь? Кругом одна! Никому не нужная. Брат боится, как бы чего не вышло: что скажут, что подумают... Никто не должен знать, что сестры приехали, их нужно запрятать куда-нибудь подальше, чтобы никто не знал, что у нас отец и мать арестованы и что мы теперь в Москве, а двое из нас тайно приехали и тайно проживают без прописки и безо всяких прав.



Год назад никто не знал, что у меня отец и мать есть, все знали, что они давным-давно умерли, в голодном двадцать первом году, на Волге, а тут вдруг брат и сестры объявились. Год назад по объявленной новой Конституции я получил право всем открыть, что у меня тоже есть отец и мать, что они никогда не умирали и что я теперь равный среди равных. И вдруг такое... Отца, а потом мать. Как теперь вести себя? Что делать?

И вдруг сказано: сын за отца не отвечает. Я помню, как меня стыдили за то, что говорил, что похоронил родителей: «Кого похоронил? Отца и мать! Где у тебя совесть?! Ты должен их навестить!» И опять я стал виноват. Я навестил их, я всегда навещал их, только тайно, чтобы никто не знал. Меня этому научили.

Сегодняшняя молодежь и представить себе не может, что все это было с нами, с их дедами и прадедами. Открыл, объявил: «Еду к отцу!» А вернулся — телеграмма: папа арестован. Новое ко мне отношение, новый ярлык, опять позорное клеймо. Присматриваются, что я буду делать, как поведу себя в новых «предлагаемых обстоятельствах».

«Дорогая Ольга Яковлевна! Вас уже давным-давно нет в живых. Но память моя хранит о вас самые добрые воспоминания. Вы, единственный человек, отнеслись ко мне тогда, как может отнестись только хорошая мать. Я не говорю, что вы лучше моей матери, нет! Моя мать очень хорошая, она много слез пролила за все мои тайные посещения. Я много слышал от нее утешений за все, что мне приходилось испытать. Нужно было учиться, выходить в люди. Я вышел в люди. И теперь, работая в театре и играя роли, я вкладываю в них и мое прошлое и оживляю мертвые слова, наполняя их своим содержанием. Ваше, Ольга Яковлевна, доброе сердце принадлежало не только вам, но и всем нам, от него, от вашего сердца, я тоже согревался. Только я, может быть, не такой теперь добрый, как вы. Теперь нас много таких, у которых сердце только для себя. Мы не даем ему расслабиться. А вы расслабляли свое сердце, вы принесли его из прошлого века и сохранили его чистым, дающим. Я помню, как вы утешали меня, когда я с телеграммой в руках бился в истерике, проклиная все и копя злобу против тех, кто отнял у меня отца! Вы это поняли и в утешениях укрощали мою злобу, чтобы зло вышло из меня. Смягчился ли я тогда до такой степени, как вам того хотелось, я не помню, слишком много причин было для озлобления. Но теперь мне хочется рассказать вам, именно вам, что со мной было потом, после этой злополучной телеграммы и как это случилось, что этими вот руками сдал я сестру свою в детский дом.

Понимаете, Ольга Яковлевна, в те годы, когда я врал, то есть скрывал свое происхождение, я жил относительно спокойно. Я привык к тому, что похоронил живых родителей, что у меня их нет, это убеждало других, и никому не было дела, что происходило в моем детском и юношеском сердце, не было дела до моего страха.

А страх мой был перед богом. Перед тем, что я буду когда-нибудь отвечать за то, что живых отца и мать сделал мертвыми. Вы меня поймете, должны понять. Мой отец — священник.

Теперь, когда мне уже много лет и я играю толстовского Холстомера, я всякий раз вспоминаю свое детство и говорю словами моего героя про самого себя: «Когда я родился, я не знал, что такое значит **пегий**, я думал, что я лошадь... Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комягу»... «Я родился, должно быть, ночью...»

А я действительно родился ночью. С первым словом «мама» во рту у меня был крест, я сосал его вместо соски. С крестом были связаны мои первые слова, их меня научили произносить. Первое, что увидел,

кроме лиц отца и матери, — ее крестное благословение. Первое, что запомнил: «Бог накажет».

До двенадцати лет я узнал все грехи, за которые он может наказать меня, и я молился. И вот одну из самых страшных заповедей — «Чти отца и матерь свою» — я преступил. Я сказал о них: «Они у меня мертвые, умерли!» С тех пор как я стал врать, ко мне стали хорошо относиться, меня перестали называть «попенком», «кутейником». Я надел красный галстук, дал торжественное обещание и стал убеждать других, что бога нет. Но страх перед богом все время ходил за мною и напоминал о моих грехах до тех пор, пока я не привык к нему, потому что другой страх сделался страшнее. Бог неизвестно еще когда накажет, а люди наказывали быстро. За что? За то, что мой отец — поп, не я, а мой отец! Моего брата избили палками, били по голове; ему тогда было десять лет, удар палкой оставил след на всю жизнь, он стал эпилептиком. «Эй, ты, поп, попенок, кутейник!» Нам, кутейникам, учиться можно было только до четвертого класса, и эти четыре класса год за годом становились все труднее и невыносимее. Приходишь домой — и с жалобой к отцу и матери: «Не пойду!» или «Не пойдем мы больше в школу! В школе дерутся». Учительница говорит, чтобы мы не ходили больше в церковь, там обман, опиум. А мы даже и не знали, что такое опиум. Вы, говорит, лишенцы, ваш отец — длинноволосый дурак и других дурачит, пойдите и скажите ему, что он дурак!

Мы ходили с братом в школу вместе, сидели в разных классах, а жалобы приносили одни. Защищать нас было некому. В церкви не трогали, в церкви утешали, там были ласковы даже те, которые избивали нас и дразнили. Тут они пугались боженьки, боялись, а вдруг и вправду накажет. Как ни старалась школа, а дома родители, бабушки, дедушки драли своих сыновей и внуков за уши и тащили в церковь. Там они стояли смирные. А на другой день школа расправлялась с непослушными, учителя выставляли виновников перед классом и требовали, чтобы они исправлялись. И они исправлялись: избивали нас. А в церкви разбивали стекла, разбегались и прятались.

Я тоже однажды разбил стекло. Были похороны, возвращались с кладбища, сторож церкви нес икону божьей матери и крест. Мне очень хотелось нести крест, я выпросил и понес, но крест оказался тяжелым. Я свалил его на плечи и дотащил кое-как до церковных дверей. Они были стеклянные, на пружинах. Сторож прошел, а я не успел — дверь захлопнулась и разбилась о мой крест. «Что теперь будет? Что тебе теперь будет?!» — сказал сторож. Домой я пришел поздно, просидел на спектакле детского дома. Мне попало не за то, что я дверь разбил, а за то, что вечером просидел на спектакле, а должен был стоять в церкви на всенощной — завтра праздник. Дорогая Ольга Яковлевна! Почему я теперь обращаюсь к вам словно к живой и рассказываю все это? Разговаривать не с кем! Теперь каждый сам о себе рассказывать хочет, чтобы только его слушали. Я теперь часто сам с собой разговариваю, вспоминая прошлое, обсуждаю его, анализирую. Самому себе все рассказать можно, сам себя всегда выслушаешь, а захочется, и перебьешь. И умное, и глупое — все смешается... Удивляешься, какая огромная библиотека памяти разместилась в коробке, которая помещается в двух ладонях. Если все записать — в квартире не поместится.

Вот так бы записать, как в голове читается! Одно слово — и целая картина, один звук — и целое понятие. Столько лет пролетит, подробностей, а все помнится, ничего не забывается, как родник бьет. Проходит перед тобою кинематографическая лента, заснятая скрытой камерой прожитого времени, смотришь картины про свою жизнь и думаешь: неужели это было, неужели все это правда?! Такое, что и матери не расскажешь и в письме не напишешь, а вам могу...

Ко мне в Москву приехала мать, я не виделся с ней год. Она с трудом выбралась, денег в доме лишних нет, их никогда у нас не было. В церковь приносили по пятаку или по три копейки, как в старину, а жизнь в рублях пошла. По пятаку да по три копейки рубль нескоро наберешь, а в Москву ехать — много их нужно.

Едет к сыну... сын у нее в Москве, соскучилась: что он там? как он там? Теперь сам знаю, у меня у самого сын, уедешь не дождешься, когда приедет, я встречаюсь с ним не через год, в неделю раз, а то и чаще, и то скучаешь, тоскуешь, те же самые вопросы задаешь: как он там? что он там? А мать целый год сына не видала. Какие только мысли не приходили ей в голову, в каких только кошмарных снах не являлся я ей по ночам, а сколько бессонных ночей в думах обо мне...

Писем-то от меня нет. Писем мне писать нельзя: а вдруг узнают? Вдруг откроется, что родители живы? Что мне тогда? Куда мне тогда? Один раз уже было такое...

Самара, ТРАМ — Театр рабочей молодежи. Я тогда убежал, скрылся. Москва большая, какого народа в ней только нет! Можно спрятаться, затеряться. Говорят, иголку в сене не найдешь. Иголку, может быть, найти трудно, а человек — он не иголка. Земля большая, а мир тесен.

В ГИТИСе это было, он тогда ЦЕТЭТИС назывался, учился я на первом курсе. Идет урок по мастерству, этюды делаем. Выхожу из класса и вижу — вдали по коридору направляется в мою сторону группа людей, и я узнаю в них артистов самарского ТРАМа, тех, от которых я убежал. Куда деваться? Куда они пойдут? А вдруг в наш класс, на мастерство актера? Я забрался в туалет и просидел до конца занятий.

Вот так и жил все время под страхом. Здесь еще общежитие есть, а когда я учился в другой театральной школе, при Театре Красной Армии, я жил на улице.

Зима, мороз, а на мне физкультурные тапочки, калоши, короткий полупердончик, фуражечка, а вместо шарфа — вафельное полотенце, оно вроде платка у меня было, голову им повязывал. Придешь рано утром в театр — он в семь часов открывался, сядешь в белое кресло, отогреешься и сразу заснешь, потом кто-нибудь разбудит. Вот так и учился, пока не заметили, что... вши по мне ползали. Белые, чистенькие, с черным пятнышком на спине, на черной рубашке их хорошо видно. «Посмотрите, у него вши! Заразу занесет!» А я с этой заразой месяц жил и не заразился, наверное, полюбили меня насекомые, отстать не могли, нравился я им... А тут еще жалоба на меня: естествознание не изучает, отстает, на «вакуолях» застрял. Меня в учебную часть к Шапсу. Шапс на меня кричит, я кричу на Шапса, нервы не выдерживают, общежития нет, лучше совсем уйти...

Все знали, что живу на улице. Все жалели, а помочь было некому, а я и не настаивал, происхождение мешало... вдруг узнают?! Вот тут-то я и захотел повеситься, и крюк, и веревку приготовил... Видно, не судьба, мне на роду другое написано, так тому и быть.

Приехал я тогда к матери в Репное, семь километров от Балашова, открыл дверь, да так в дверях и остался. Вид, должно быть, у меня был такой, что за порог не пустили. Ахнули, разревелись все: больше на беспризорника похож, чем на артиста.

Меня в баню — отмывать, одежду мою в печку — прожаривать, простирывать, а кое-что и сжигать. Вот так-то, Ольга Яковлевна!..

А помните, как вы учили меня даме ручку целовать? При встрече с Алисой Георгиевной Коонен обязательно надо ручку ей поцеловать. Полагается. Если она одна встретится, то нужно проводить ее под руку, помочь подняться или спуститься по лестнице. Я как-то встретил ее одну на лестнице, а у меня в руках астраханская селедка, залом, и руки мои в селедке. Ничего другого я ей предложить не мог. «Алиса Георгиевна! Хотите селедку — волжская, астраханская!» В ответ она так хорошо улыбнулась, как Настасья Филипповна Рогожину. Так я бочком с селедкой и прошел с ней до самого верха. Положение глупейшее, из него никак не выбраться, потому, наверное, и смеялась Алиса Георгиевна.

Вот слово — глупость! Сколько ее у меня было!

Приехала ко мне мать, я тогда на кондитерской фабрике «Красный Октябрь» работал. Жил под Москвой, на станции Правда. Мать приехала, а я уехал на свидание. Влюблен был в весовщицу в шоколадном цехе...

Она замужняя была. Почему я всегда влюблялся в замужних? Может быть, они доступнее были. А нам, холостякам юным, только того и надо было — любить. Этому искусству замужние и обучали. У нее отпуск, жила с ребенком под Можайском на даче, сто с лишним километров от Москвы. Да от меня до Москвы — сорок, вот и все полтораста.

Адреса у меня не было, только место мне назвала. Смотрю — в реке

полощет белье. Она меня не видит, кругом никого, я подкрался сзади, обнял. Взвизгнула, обернулась, вижу — не она, чужая. Обознался.

Потом-то я нашел свою. В лесу всю ночь пробыли, на рассвете расстались. Она дома, ей что, а мне сто пятьдесят км отмахать нужно. Ноги нейдут после уроков-то, еле волочу, а до станции километров пять.

Лес кончился, широкое поле открылось, пахнет костром, и дымок голубой по земле стелется, солнце еще не взошло, вижу — цыгане, табор цыганский. Обходить его — лишний крюк давать, да и глаза слипаются, спать хотят, дай, думаю, прилягу. Лег на траву и провалился. Слышу, лошади скачут, топот по земле: так-так-так-так... Все ближе, ближе, а в ушах копыта стучат, все громче, громче. Вскакиваю, просыпаюсь. Никого нет, пустое поле, передо мною огромное вишневое солнце. Страх не прошел, я бросился бежать. Дома матери сказал: «Ночная смена у меня была!» Она поверила, пожалела, уложила спать. Мать есть мать. Многострадальная, долготерпеливая... Прости меня!

Когда ее увезли, остались две девчонки — Юлька и Алька, сестры мои. Кому они нужны? Кто их возьмет? На какие деньги жить, где их достать? Все, что было в доме, продано, прожито. Жили на то, кто что принесет, или сами по дворам ходили, милостыню собирали, кусочек хлебца выпрашивали у добрых людей. А добрые люди были, мир не без добрых людей.

А как же партийная организация? Профсоюзная? Советская власть? Какая организация! Председатель правления колхоза. Он и партийная, и профсоюзная, и советская власть. А новых бюрократов уже много было, им бумажки, справочки требовались.

— А ты мне ее напиши! Дай мне такую справку, чтобы я мог с ней уехать и чтобы по этой справке всюду принимали, не задавали лишних вопросов!

— А сознание классовое? Как с ним быть? Справку дам, а сознание при тебе останется? Ты есть враг... классовый... она еще не кончена... наша борьба! Впереди мировая революция!

— У меня кадушка, дубовая, на пятнадцать ведер, от отца с матерью осталась. Возьми ее, больше ничего нет. Все мое богатство классовое, возьми.

Отпустили. В Москву приехали. 1938 год.

«...Над Москвой великой златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной, по кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая поднималася, на какую радость разыгралася?»

Лубянка! Все дороги ведут сюда, к ней, голубушке. Дороги идут, а народа нет. Пусто. Должно быть, стороной обходят. Лучше подальше от нее. Сколько через нее прошло, и где они, куда делись?..

Бюро пропусков. Окошечки. В каждом окошечке — военный. Комната метров в двадцать. Ни скамеек, ни стульев, ни столов. Два-три человека в штатском, такие же, как я, немного постарше.

Стою с сестрой у окошечка, жена прогуливается на улице. (Я тогда уже женат был. На однокурснице. Только не расписан.)

— Ну, что там у тебя?.. Арестовали, говоришь? — Этот вопрос мне задал человек не из окошечка, а штатский, по комнатке ходил. — А ну, подожди.

Он снял телефонную трубку, набрал короткий номер и:

— Тут к тебе... по твоему профилю. Спустись. Да! Сейчас спустится мой хозяин, он с тобой разберется. Уладим!

И не успел я как следует осознать, кто этот человек, как появился другой. Тоже в штатском.

— Ну, что тут у вас? Какие будут вопросы?

Пытаюсь объяснить:

— Девочку привел... у нее родители арестованы...

— Арестованы? — многозначительно спросил спустившийся и, взглянув на меня и на сестру, сказал: — Пошли за мной!

Мы вышли на улицу, у входа стояла черная легковая машина. Раскрыли дверцы, и тот, кто спустился сверху, приказал: «Садитесь!» В это время, совсем некстати, подошла моя жена.



— Кто такая? Кто она вам?

— Она не наша, посторонняя, на одном курсе учимся.

— Да? Садитесь.

У меня был такой растерянный, опущенный вид, что штатскому пришлось повторить:

— Садитесь, садитесь!

Сели, я так понял, что нас троих арестовали: меня, жену и сестру. Сейчас объедут дом с другой стороны, въедут в железные ворота. Машина тронулась, и мы поехали. Вот и все! Интересно, на сколько лет? Какую статью дадут? За что? При чем жена? Ее, наверное, освободят, у нее биография хорошая. Да? А за связь с врагом народа!..

Машина мчится мимо Политехнического музея, на перекрестках не останавливается, гудит, всюду пропускают.

Допрос начался в машине, скрывать, что она мне сестра, бесполезно, все равно узнают. На вопрос, кто я такой, я ответил:

— Брат. Родной брат.

Водитель и допрашивающий оглянулись и посмотрели на меня.

— А ваша подруга кто?

— Студентка театрального института.

— Вы тоже из театрального?

— Да. На втором курсе.

Когда я сказал, что она моя сестра, я словно бы защитил ее, но вместе с защитой потерял опору. Мне тогда казалось, что я все потерял, всего, что таким трудом достигнуто, сразу лишился. Теперь не помню, какие еще вопросы задавали и что я на них отвечал: самым главным было запомнить улицы, по которым нас везли. Вся Москва исхожена вдоль и поперек, всю ее изучил, а тут вдруг не узнаю. Сидим, украдкой взглядываем друг на друга, а сказать о чем-то важном не можем...

Жена! Мы не расписаны, может быть, это ее выручит? Зачем она подошла тогда? Ей нужно говорить, что случайно встретились, нет доказательств, что мы муж и жена, брак-то не оформлен! И живем в разных комнатах, хотя и в одном общежитии. Правда, Камерный театр на подозрении — последнюю премьеру, спектакль «Богатыри» Демьяна Бедного, запретили. «Буржуазная эстетика, искажение исторической правды». Говорят, автора посадили, а театр закроют. Таиров ужасно нервничает! Не спит, говорят...

Машина мчится, и мысли мои мчатся.

...Я с двенадцати лет у бабушки с дедушкой находился. Они, родители моей матери, — самая что ни на есть пролетарская семья, члены партии, иные родственники Институт Красной профессуры закончили... Нет! Про родственников не нужно говорить! Никого не знаю.

Брат? Он на кондитерской фабрике работает, грузчиком. Он эпилептик!.. А хорошо, что жена с нами, значит, любит, другая бы на ее месте давным-давно от меня сбежала.

Всех вспомнил и всю жизнь прожитую словно через решето просеял — о чем можно рассказать и о чем нельзя, все отсортировал. Куда везут, в какую тюрьму? Одну тюрьму видел — проходил мимо, а нас везут в другую сторону. Через несколько минут все узнаем... Вместе не пошлют, рассказывают — всегда врозь, в разные стороны ссылают.

Машина подъехала к кремлевской стене, только ворота другие. Стена каменная, красного кирпича, стены толстые, полукруглая глубокая арка с глухими воротами, сторожевая будка с черными косыми полосами и часовой с винтовкой.

— Вам, девушка, придется выйти. Вон там, на скамеечке, посидите! — обратился к моей жене тот, кто бумагу составлял.

Машина остановилась. Жена вышла и прошла к одинокой скамеечке у голого тополя. Мы одними глазами попрощались, как бы запоминая, какими мы расстаемся.

Вдруг ворота раскрылись, и я увидел во дворе много-много детей, они играли в какие-то игры. Со мной случилось то же, что случается с надутой камерой, когда ее прокалывают иглой: воздух из меня вышел. У-ффff! Мы въехали в ворота и потом проехали по аллее к двухэтажному дому, поднялись наверх, там были штатские и военные, меня пригласили написать заявление, чтобы сестру приняли в детский дом.

— Прощайтесь, она пробудет здесь несколько дней, и ее отправят. Здесь только приемник-распределитель.

Все так быстро произошло, словно остановился поезд на одну минуту, нужно успеть все сказать, а сказать нечего. Мы поцеловались и разошлись.

Бывают такие сны, в которых наседают на тебя разные страхи, сознание отстает, долго не понимаешь, что происходит вокруг, и только проснувшись совсем, очнувшись ото сна, понимаешь, что происходило. Так и здесь, когда меня с женой усадили обратно в машину и спросили, куда нас везти. Мы не назвали своего домашнего адреса, попросили высадить у Политехнического музея. Когда нас высадили и мы остались одни, только тогда мы поняли, что произошло. Как я тогда благодарил этих двух незнакомых людей за их внимание и помощь! Не знал их фамилий, адресов, но внутренне пожелал я им всего хорошего. Они меня не обидели, не оскорбили, не унизили, как это сделали в Наркомпросе и в женотделе.

Потом, через несколько месяцев, получил письмо от сестры. Она писала, что живет хорошо, мальчишки ее боятся, учится тоже хорошо, адрес: Калининская область, Красный Холм, детский дом.

Вот что я хотел рассказать вам, дорогая Ольга Яковлевна, вы уж простите меня; никому не рассказывал!»

Редко получал я письма, и никогда на них не отвечал, и теперь ни с кем не переписываюсь, а надо бы... Получать люблю, приятно, что тебя знают, помнят, любят, желают добра, счастья... Как на уроке математики при сложении или вычитании, в уме цифры держат, так и я с письмами — ответ в уме держу. И еще обижаюсь, что редко пишут. Вот так и в тот раз случилось...

Кончил театральное училище. Дочка родилась. В Тбилиси работаю, в Театре юного зрителя. Война. Жена с дочкой к бабушке уехала, остался один. Опять любовь... другая жена появилась уже после войны. Успех в театре. Попадаю в Ленинград. В Ленинграде — лауреат Сталинской премии первой степени, депутат. В газетах мои портреты. Самого Сталина играл!

Война всех разбросала, все потеряли друг друга, а премия всех нашла, все объявились. Письма пришли. Пришло письмо и от младшей, бывшей детдомовки, в гости зовет. Она одна позвала к себе, я и поехал.

Послевоенный пятидесятый год. Сам Ленинград еще стоял избитый: маскировочные «костюмы» на многих домах еще целы, и сами ленинградцы, кто в живых от блокады остался, еще не все свой прежний вес набрали. На лицах, кроме радости, что отстояли, что выжили, война прочитывалась. Она, война, не только в лицах, но и в одежде читалась, а уж про тех, кто в других городах и селах жил, и говорить нечего — там война еще криком о себе кричала.

Еду поездом до Горького, а там на пароход...

У каждого есть своя земля, свой дом. Родина большая, но есть место, что дороже всех мест. У меня это место — Волга. Есть второе — Ленинград. Здесь я прожил бо́льшую половину своих лет, здесь мой сын родился, здесь театр, в котором вся моя жизнь. Все города могут позавидовать моему городу. Нева! Она перед моими окнами. В белые ночи я жду, когда разведут мосты, и смотрю неотрывно, как по ней проплывают большие пароходы, баржи, самоходки, нефтеналивные танкеры. Они плывут на Волгу, а с Волги к нам на Неву, в Финский залив или прямо в Финляндию...

Смотрю на проплывающие корабли и точно читаю письма с Волги. Они соединяют меня с моим детством.

Помню, как привели меня в первый раз на пристань. У пристани стоял маленький пароход, я сначала смотрел на него сверху, с горы. Я тогда и не понял, что это настоящий пароход. Вблизи он показался мне страшным животным. От него шел пар, как от кипящего самовара. Но вдруг он засвистел, из длинного шипящего столба пара вырвался оглушительный звук. Что мне представилось в этом звуке, не помню, помню только, что бежал с пристани по песчаной дороге домой, песок задерживал ноги, они утопали в нем, а мне казалось, что меня хватает сзади это



чудовище с оглушительным гудком. «И явится ангел с иерихонской трубой, и затрубит в нее громким голосом, и возвестит о скончании мира...» Это мне рассказывали божьи старушки у огромной картины «Страшный суд», нарисованной на стене перед той стеклянной дверью, которая разбилась о мой деревянный крест. Отец и мать бежали за мной и почему-то хохотали, мне было обидно, что они смеются, когда мне страшно.

Потом я привык и полюбил пароходные гудки, в них стала слышаться мне жизнь пароходная. Песни распевал человек, распевал песни и гудок, у каждого парохода, как и у человека, свой голос имелся. Раньше по гудкам узнавали название парохода, как по голосу узнают имя человека... Скучно мне теперь без гудков пароходных. Теперь гудят неживым голосом, звук идет не наружу, а вовнутрь. Утробный звук. Войну напоминает, гул самолетов.

...Ты разревелась, и у меня к горлу подкатился ком и долго не давал передохнуть от обиды, а может быть, от моей вины перед тобой. Ведь я старший был, а вынужден был сдать тебя в детский дом. Выхода не было! И вот через тринадцать лет (люблю цифру тринадцать — она для меня счастливая) мы встретились.

Я смотрел на тебя, всматривался в новую, незнакомую, совершенно непохожую на ту тихую, пришибленную, молчаливую маленькую девочку, у которой отобрали все. Передо мною стояла другая, стриженая. Я подумал, что ты стрижешься по детдомовской привычке. Потом-то ты рассказала, почему у тебя волосы не растут. И все-таки сквозь новую проглядывала наша Юлька, доверчивая, простая, открытая, совсем еще девчонка. Словно молодая актриса исполняет взрослую роль.

Мы не знали, с чего начать нашу встречу. Столько всего нужно рассказать, столько концов висит от каждого рассказа, как спутанные нитки! Мы все выдергиваем концы. Начнем о чем-нибудь говорить — рассказ и обрывается.

Брат и сестра. Какими они должны быть? Нас разбросал всех тяжкий довоенный год, но до войны мы еще цеплялись друг за друга, знали, кто где, а в войну растерялись. Каждый сам по себе, не время своих разыскивать.

Первое, что родилось во мне в момент объявления войны — на фронт! И я побежал... Военкомат закрыт — выходной. Какой может быть у военкомата выходной, когда война! На улицах — боевые марши. Народу на улицах как в праздник. У самых молодых самый боевой вид, руки в кулаки сжаты. «Нас не трогай, и мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим...» — пели песни репродукторы, и под эти песни распалялись, разжигались: Родина в опасности, какие там обиды, какой там тридцать седьмой год, какие там поповские дети... Война! На второй день я, поповский сын, пришел в военкомат: возьмите на фронт! Что же, что я необученный? Годен к строевой. Научимся. Я на сцене военных играл... положительных.

— Вот тебе повестки мобилизационные, разнеси.

Вот тут-то я и узнал, что такое настоящая война. Приношу повестку: один берет, расписывается, другой вон гонит: «Скажи, нет дома». Я к нему с патриотическим чувством, про долг напоминаю, а он меня к такой-то матери посылает: уйди, говорит, в морду дам! Плачут, ревут, смотрят на тебя, как на врага. С дурной вестью пришел! А я-то думал, с радостью принимать будут. Нет. Это только в пьесах, на сцене...

Война начинается не там, где убивают, а там, где приносят ее в дом, с повестки. С простой бумажки, но в бумажке — беда. Уйдет и не вернется. Живые пули, живые снаряды убьют, и не встанешь. Это только в театре мертвые встают на поклоны, готовые на бис еще раз умереть. Ро́здал я повестки. Конечно, все взяли, все расписались, с ревом, с криками или с еще более страшным — молчанием. Одни глаза разговаривают!

В военкомате на просьбу отправить меня на фронт ответили: «Иди домой, вызовем!» Ожидая вызова, я многих проводил туда. Прощаясь, чувствовал себя неполноценным, виноватым, а извиняться, оправдываться перед ними стыдно, до боли обидно.

— Ну, как ты? Рассказывай. Ты артист, у тебя жизнь веселая, интересная. Тебя там наши ждут... руководство колхозное, МТС... Вопросов накопилось много... с жалобой...

— А я-то тут при чем?

— Как же ни при чем? Ты самого Сталина играл. Лауреат! Ты, наверное, с ним встречаешься? Ты его видел?

— Нет, не видел. Только на портретах и в кино.

Мы смеялись, мы радовались, удивлялись и снова плакали, а рядом с нами незримо стояли наши сестры, брат, отец и мать. И они слушали наши рассказы.

— У нас в детдоме учительница была, она меня любила... по-настоящему. Я часто бывала у нее дома. Она все жалела меня, а чего меня жалеть, я ведь не одна такая... Я в седьмом классе была и любила петь, вот она и прицепилась: приходи да приходи, будешь у меня пению учиться. Хорошая была.

— Как ты похожа на мать... у матери точно такое лицо было, когда она прощалась со мною в последний раз. Помнишь, приезжал летом в тридцать седьмом?

— Мне бы хоть одним глазком взглянуть на отца и мать. Какие они? Словно в тумане: далеко-далеко, а вблизи никогда не видала. Позабыла...

Запомнились мне обрывки разговоров наших. Запомнилось, как мы на попутном бензовозе пристроились и ехали с пристани к тебе домой семьдесят километров.

— Да... Разбросало нас по стране — я в Ленинграде, ты на Южном Урале, Нинка в Хабаровске, Алька — на Сахалине, а Анатолий в Ульяновске, в госпитале. Представь себе географическую карту, когда-то все были в одной точке, а теперь...

Ты все беспокоилась, удобно ли мне сидеть. Дорога такая, что каждой кочке отвечаешь: «Ух ты!», «Вот это да!», «Ой! Ё моё!» Того и гляди внутри что-нибудь оторвется. Это тебе не на палубе, не в каюте первого класса! Это наша русская дорога. Хорошо, черт возьми! Я такой же, как ты, дорога, — русский. Только наш русский мужик может тебя выдержать!

Может быть, мы асфальт неправильно укладываем, может быть, спешим, торопимся? И какой же русский не любит быстрой езды? Да, торопимся, догонять надо. Хоть мы их и разбили в войне, а вот в мирном труде одолеть не можем. Я у немцев был, у наших, восточных, вскоре после войны... Ехал по нашей территории — все разбито, ни одного вокзала целого не осталось, народ одет в то, в чем в войну ходил: телогреечки, ватнички, гимнастерки, костюм да пальто довоенного времени, а детям — что от взрослых осталось, перекраивали.

А у немца!.. Смотрю, домик целенький, возле дома — цветочки, клумбочки, аллеечки. Сам стоит в белой, как снег, рубашечке. Я за такую рубашку двести рублей платил, чтобы на сцену в ней выйти, а он точно в такой огородик, садик, с толстой сигарой во рту, обрабатывает. И не спешит, не торопится. Мотороллер новенький, прислонясь у забора, отдыхает.

Кто кого победил?

В магазин войдешь — тряпья разного... Нам такое тряпье и во сне не снилось, а здесь все полки завалены. Наши на суточные как куры в навозе копаются, выбирают: что получше, да подешевле, да повыгоднее, а немки в стороне стоят, посматривают, улыбаются...

А дороги? Автобаны железобетонные. Кое-где попадаются, правда, дыры от бомб, но уже гравием засыпаны. Ехали мы ночью в дождь проливной, не по автобану, а по дороге простой, проселочной, вроде как у нас от деревни до села. Видим, красный огонек помахивает, нам сигнал подает. Стоп. Стоит под плащом с капюшоном немец и нам говорит: «Achtung». Это значит: «Внимание», — асфальт разбит. Ямка полметровая! Сломать машину можно. А мы в ответ — пошел ты! Рванули через ямку. Ударились, стукнулись, что-то треснуло, и с хохотом помчались дальше. Знай, дескать, наших! Или дураки мы, или простофили, или уж такие умные, что наш ум глупостью часто оборачивается? Добра в нас, как и глупости, столько же, сколько нас самих.

Мы их с хлебом да с солью. С низкими поклонами, как при боярах



в старину, при крепостном праве, с ручкой до самой земли, с кокошником и в красном сарафане, а на подносе рюмочка да бутылочка: «Пейте на здоровьечко!» И с песнями народными, как в старину. Дорогой гость заморский рюмочку проглатывает, хлебцем закусывает и посмеивается. А мы-то рады! Мы-то счастливы! Ну как же! У нас все есть, а у него, у гостя, кризис! А мы и понятия не имеем, что такое кризис и как он, этот кризис, вблизи выглядит. «Критическое» — это мы понимаем, или «затруднение», и то «временное», а кризис... Это не у нас!

Марину Влади сейчас вспомнил. Снимался с ней в одном фильме про Чехова, она Лику Мизинову играла, а я отца Антона Павловича. К ней — как к иностранке, как к француженке — из Парижа приехала! У нас такой красавицы не только в России, но во всех других пятнадцати республиках найти, видно, не могли. Так перед ней журналист на коленях интервью брал. Она встанет, на другое место отойдет, а под нее уже мягкое креслице подставляют и опять у ног интервью. А вместо нее на площадке актриса наша русская сидит, мается. На ней свет выверяют. Как будет готово, установят свет и пригласят заморскую кралю. А нашей и спасибо не скажут. А краля наша, русская, из бывшего Петербурга, теперь в Париже проживает. Она все поняла, все увидела и сама вызвалась сидеть. Оператор, как в парикмахерской, вокруг да около: «Вас не беспокоит? Вам не жарко? Может быть, поставить вентилятор? Перерыв! Актриса устала!» А нашу? Без перерыва, без вентилятора, без извинений, до полуобморочного дурмана поджаривают со всех сторон, и ничего! Наша! Привычная!

Для них, для тех, кто **оттуда**, буфет отдельный, закрытый, а для нас — общий, мосфильмовский. «Мы против дискриминации, у нас ее нет». Откуда дискриминация? Какая дискриминация? Проверьте в гостиницах, в отелях, все номера открыты, если вы **оттуда!** А если вы **отсюда** и без звонка или записочки, вон, на диванчик, или в креслице в вестибюле... или город посмотрите. Ночная Москва... Она как Париж — проституток в ней! Особенно в центре, на улице пролетарского писателя Максима Горького. Он про них в своих произведениях много написал, может, потому они на его улицу и тянутся.

Мы ехали долго. Короткие вопросы, такие же короткие ответы. Мы словно чужие, заново знакомимся. Мы так редко жили вместе! Когда уехал первый раз из дому, ты была совсем маленькой, а потом приезжал домой лишь на месяц, на неделю. Где нам было привыкнуть? Мы даже не переписывались, письма могли раскрыть мою тайну. Может быть, оттого я и теперь никогда не пишу писем.

Помнишь, до войны ты мне писала из детского дома совсем детские письма, а я на них не отвечал. И тебе писать боялся. В письмах ты не жаловалась, ты писала, что тебе хорошо: «Таких, как я, здесь много, дружу больше с мальчишками, они меня боятся. Очень хочется конфет, хоть каких-нибудь, нам дают их только по праздникам. Чай с сахаром. Учусь хорошо, перешла, получила премию: книжку "Дед Мазай и зайцы", прочитала, неинтересно. Нам бы про войну!.. Папу с мамой вспоминаю. Почему ты не пишешь? У нас никто не получает писем. Мы живем одни, я тоже тебе писать не буду».

Милая Юлька! Сейчас, когда мне уже за шестьдесят, то далекое прошлое и то страшное и тяжелое, что было в нашей с тобой жизни (да и не только в нашей!), отзывается во мне жестокой несправедливостью. И я не вижу себе оправдания, кроме страха, с которым мы с детства сроднились.

Страх в нашей крови. Чем темнее народ, тем больше в нем страха. Страх был у всех. От одного страха освободили: убили бога, разбили колокола, закрыли храмы, сожгли иконы. В городе, в котором я родился, впрягли вместо лошади отца Аникия в телегу и загнали до смерти. Гоняли вдоль ограды кладбищенской церкви. Сердце его не выдержало. Зато сердце выдержало у тех, кто его впрягал и гнал, и у тех, кто видел все это и не защитил, не остановил.

Страх перед новым страхом был сильнее страха прошлого. Детский дом — это твое счастье, твое спасение, это был единственный выход, чтобы как-нибудь жить и выжить. Твоего брата Анатолия избили палками-

ширялками за то, что он поповский сын. Он на всю жизнь остался калекой. Если по голове бить, голова на вид остается такой же головой, только внутри нее происходят изменения. Он стал эпилептиком. Посмотришь на него — здоровый, коренастый, сильный, а как заговорит... Тыркипырки-фай... цмы... ууф!.. Никакой переводчик не переведет, отшатнется.

Жил он в Москве, работал на кондитерской фабрике, потом в ансамбль поступил — Дунаевского, у него голос большой, хороший, лучше, чем у меня. Так он там в ансамбле такое запел, такие стал рулады выводить — всех перепугал. «Куда тебе с такой болезнью! Тебя в Столбы нужно отправить». Белые Столбы — место под Москвой, там сумасшедший дом помещается. Но в тот раз в Столбы он не попал, устроился на другую работу. Встретил девушку, полюбил, решил жениться, договорились о свадьбе. Он в те дни разгрузил целый вагон картона, чтобы денег на свадьбу заработать, да, видно, надорвался. Получил я от него письмо, и не из Москвы, а из Куйбышева! Почему из Куйбышева? Читаю: «Я скрыл от нее, что у меня бывают припадки, свадьба была назначена, и стол был накрыт, и гости названы, костюм себе купил, рубашку, галстук, я уже и оделся. И вдруг мне представилось, что в первую ночь со мной тырки-пырки случатся. Пришел на Казанский вокзал, билет купил до Куйбышева, сел в поезд и уехал».

А в Столбах он побывал раньше, это я его туда отправил. Выпил он йод, весь рот обжег, слюна пошла густая, тягучая — то ли йод, то ли кровь изо рта тянулась... Мне посоветовали сдать его в приемник для психических больных. Я и сдал. Когда я вышел, то подумал: «Оттуда, куда я его поместил, обратно не возвращаются». Там я такое увидел, таких психически больных, что мой брат по сравнению с ними показался мне нормальным. Потом я долго себя ругал: «Зачем я это сделал?»

...Эх, Юлька, Юлька! Сколько нам нужно друг другу рассказать. Так до конца и не договорили. Все врозь. Все время в разных концах. А время не стоит, оно бежит, спохватишься, растормошишь себя, вспомнишь старое, а оно давным-давно прошло, это старое, копаешься в нем и случайно и не случайно вытаскиваешь свою и чужую вину, обсасываешь ее со всех сторон...

Я долго всматривался в движения твоей головы, рук, в твое лицо, в твои глаза; вслушивался в твою речь. Я искал в тебе прошлое нашего дома, ты мне собой напоминала его, и я снова терял его, слушая твои рассказы, такие далекие и непонятные нашему прошлому дому. Ты родилась в то время, когда наш дом начал разрушаться. Нависла над домом опасность... Как ты похожа на мать! Это я говорю сейчас, когда тебя нет в живых. Я так тебе и не рассказал, какая была наша мать. Мама! Ей было всего тридцать семь лет, когда ее увезли от нас, а на вид она была старухой. Я запомнил, когда они — отец и мать — меня провожали, кто-то сказал: «Смотри, старики плачут!»

Знаешь ты или нет, что родилась в Кузнецке, в Среднем Поволжье, сейчас это Пензенская область. Город, в котором хлеб пропах варом. Кроме сапожников, кожевников, кондитеров и пекарей, других профессий тут не было. Запах дубленой кожи, сливочной тянучки, горячих кренделей и поздней осенью — антоновских яблок. Нигде я потом не встречал такого запаха антоновских яблок, как в Кузнецке! А какие шились сапоги! Женские, мужские, детские... Ни в одной другой стране я не встречал таких сапог, как кузнецкие! А какие лапти плелись! Если бы американцы увидели теперь такие лапти, они щеголяли бы в них по Бродвею, а потом эта мода пришла бы к нам. Ходят же теперь и у нас в деревянных башмаках, оттого что лаптей хороших не видали... Кулачные бои, ярмарки — ярмарки! — все было в этом городе. А какие пекли калачи! Высокие, с глазированным верхом, надавишь сверху до самой нижней корочки, отпустишь палец, и калач сам вздуется обратно и снова станет таким, как будто его и не трогали! Где они теперь, такие калачи? Куда делись, в какую вечность канули сапожники, кожевники, пекари-крендельщики? Где те художники-лапотники?.. А какие саночки для зимы делали! Маленькие и большие, резные, разрисованные. Где все это теперь? В музеях, в домах, в квартирах?



Жили мы бедно, хуже, чем в Балакове. В Балакове была корова. Она, буренушка, кормила нас, а здесь?

Помню, мы приехали в этот город осенью. Прощались с Волгой. Ух, какая она в октябре неприветливая, холодная, в гребешках раскосматилась, ни одной живой души. Мы на пристани, в ожидании парохода. Когда придет, неведомо. Придет, говорят, а когда? Бог его знает, не сегодня, так завтра. А куда вам? Нам-то? Нам-то до Сызрани, а там на железную дорогу. Все мы продали — все, что с нами, только и осталось...

Сколько я тогда варенья съел малинового, ежевичного, после того раза никогда столько не съедал, а какое оно вкусное, когда его ешь не дома за столом, а на пристани! Разрешили нам его есть вместо обеда, и на первое, и на второе — одно варенье с хлебом. Хлеб не запомнил, запомнил варенье. Потом запомнил поезд, назывался он «Максим Горький», самый дешевый, маленькие вагончики, железные печки, фонарики, а в них стеариновые толстые свечи горят, наши лица высвечивают. За окном темно, в темноте разглядеть можно снег, островками белеет. Наверное, там, куда едем, будет зима. Чужой город и чужая зима. Какие там мальчишки? Дерутся или нет? Первый раз узнал я там про лыжи и в первый раз встал на них. Потом сделал себе собственные.

Балаково, где мы раньше жили, город деревенский, хотя имел судоремонтный завод. Железной дороги не было, и когда наступала зима, Волга замерзала и жизнь останавливалась. Длиннее и страшнее балаковских ночей я не помню в своей жизни. Может быть, оттого, что много сказок про бандитов, про разбойников рассказывалось.

Но разбойников и бандитов я в Кузнецке увидел. Бегали мы, мальчишки, смотреть, как вели разбойников, пойманных в лесах; их вели под конвоем через площадь, в тюрьму, недалеко от вокзала. Они совсем не были похожи на тех балаковских разбойников из сказок. Шли простые мужики в сапогах и лаптях, руки перевязаны веревками, без ремней, и лица у них не страшные, а такие, как у всех. И даже жалко было их, они окружены солдатами, сидящими на лошадях, и пешими с винтовками, направленными в их сторону. Им не убежать. Нас, мальчишек, отгонял милиционер, запугивал. В Кузнецке были деревянные тротуары, по этим деревянным мосткам мы бежали домой, и вдруг мне в пятку втыкается огромная заноза в палец толщиной. Когда ее дома увидели, перепугались больше, чем бандитов. Заноза не вытаскивалась. Меня мальчишки притащили домой, и мой отец клещами зацепил и вытащил. Не заноза, а целое бревно!

...Школа, где я учился, находилась на той же площади, где стояла церковь, в ней служил наш отец, в этой церкви тебя крестили. Незадолго до твоей смерти ты просила меня, чтобы я сходил и помолился за тебя, а я тебе сказал: «Сама сделай, сходи и помолись». «Я не умею, — ответила ты. — Я ни одной молитвы не знаю». «Без молитвы молись... своими словами... так тебе понятней будет. Ты говори, как ты мне говоришь, так и ему рассказывай». «Сравнил! Тебе-то я все расскажу, а ему стыдно, а потом я не о себе, я о Таньке... Она у меня какая-то дурная... и в школе учится лесной, там все такие, как она, ей бы в седьмом классе быть, а она все во втором сидит, у нее уже грудь видна, а в глазах пусто. Добрая такая, смирная...»

— Работа у меня... без водки ни одного дня не бывает, то одна комиссия, то другая, контролеры разные, начальство, и каждому поставь, каждого угощай и сама с ними выпивай. Раньше под Хабаровском жила, в воинской части работала. Согласно калькуляции все продукты в борщ, или в суп, или в рассольник полностью закладывала, а сюда приехала... Господи, как вы тут живете? Какие обеды едите? Ну, думаю, налажу производство. Месяца одного не проработала, все поняла. Переучиваться стала. На свою зарплату не наугощаешься — ее на два угощения хватит. Вон какая толстая — это не от здоровья, диабет во мне сидит, большой процент сахара. Врачи на диету сажают, а какая при моей работе может быть диета! Врачи говорят одно, а начальство — другое. Пей, говорят, кроме пользы ничего не будет, ты с нами — мы с тобой, а все мы — одна семья. А я как выпью, так песни пою... Я тебе рассказывала, в детском доме из меня артистку сделать хотели. Я и стихи сочинять умею... Пою им, читаю. Я хоть и толстая, а сплясать живее тощей могу. Я тебе

икону пришлю или сама привезу, у меня свекровь, а у нее икона, икона старая, старее старухи, я у нее выпрошу, ты иконы собираешь, а ей она ненужная, не молится, не крестится. Муж у меня совсем никудышный, алкоголик настоящий, он из-за этой водки в растрату попал, мы потому из Хабаровска и уехали. Я за него все долги выплатила, а то был бы в тюрьме. Везет мне на кладовщиков: первый муж кладовщик был и второй. Тот-то хоть не пил, а тоже воровал, потому и ушла от него. А ну их... Первого не любила, а с этим живу, жалкий такой, бросишь его — пропадет. Единственное мое утешение — это сын. От первого брака, летчик он у меня, военный, любит меня. Ты бы приехал к нам во Ржев, вместе с Натальей, как бы ты мне помог своим приездом! Отдохнул бы... У нас твоя любимая Волга... Вот в отпуск и приезжай, а за Волгой какие места! У нас ее начало. А потом — никакой заботы, все беру на себя...

Что такое счастье? Когда оно приходит и какими измерениями определяется? Не слишком ли часто мы говорим о своем счастье и превращаем это понятие в пустое слово. Навязываем это слово другим, даже самым маленьким, влезаем в детскую головку и засоряем ее словами, смысл которых мы, взрослые, до конца не разумеем. Время определяет это понятие для каждого из нас, прожитая жизнь... Помню, как ты рассказывала мне о том, что ты счастливая. Я слушал и ушам своим не верил. Помню твои рассказы о том, что тебе пришлось испытать, что ты пережила, когда немцы бомбили Красный Холм, как твою детдомовскую подружку, с которой ты бежала, уцепившись за ее руку, убило бомбой, а у тебя в руке осталась ее рука, и тебя эта бомба ни чуточки не тронула... «Раз! Взрыв! Ее нет, а я жива! Только рука ее осталась...»

— Дали нам по три рубля, посадили в поезд и отправили на восток. Поезд до того востока не дошел, по дороге нас все время бомбили. Мы бежали, пешком шли, спали на улице, в лесу, в поле. Нас было много, не я одна, детдомовские наши и воспитатели. Всех растеряла, одна осталась. Все с себя продала, в одной рубашке осталась, жрать-то что-нибудь нужно!

Ты рассказала о своем пути до Урала. Я этот рассказ пересказать не берусь — воображения не хватит. Отношение мое к тем событиям, к тем фактам, о которых ты с юмором и смехом рассказывала, было совсем обратное твоему. Мне было совсем не смешно, а страшно. Я сам испытал и повидал многое, особенно до войны, когда пережил голод в тысяча девятьсот тридцать третьем году в Нижнем Поволжье. Но я мужчина, а ты девчонка... И только в конце рассказа ты вдруг заплакала и, поглаживая свою голову, сказала: «Вот только волосы теперь не растут!»

Я, наверное, эгоист, я тогда подумал, как мы неправильно играем на сцене, когда изображаем горе, то есть рассказываем про пережитое всегда в трагических тонах. Мы усиливаем переживание всеми сценическими средствами, впадаем в извечное актерское удовольствие пострадать, поплакать, самоуверенно доказывая зрителю, что герой точно так же переживал и точно так же лил слезы, когда рассказывал о своих страданиях. Мы впадаем в мелодраму и далеки от подлинной драмы, от трагедии.

Эгоист я потому, что, переживая рассказ сестры, думал о своей профессии. И так со мной случалось всегда. Никогда целиком не отдавал я себя чувству другого, всегда оставлял место в душе для своих собственных актерских дел. Какая-то раздвоенность во мне, словно во мне два человека. Один — это я, а другой — тот, что следит, что и как происходит с моим первым «я», и фиксирует, откладывает в своей памяти происходящее, оставаясь холодным, отстраненным наблюдателем. Оттого, наверное, про меня некоторые мои родные говорят, что я черствый человек. Откуда у меня такая раздвоенность? Родился я таким? Или приобрел это качество по дороге жизни, может быть, кто-нибудь подсказал?..

Вспомнил! Педагог по мастерству актера, Алексей Митрофанович Петров, великолепный артист Театра Красной Армии в Москве. Он нам, студентам первого курса, говорил:

— Наблюдайте в жизни за всем, что будет происходить с вами и с другими, научитесь останавливать свои чувства и запоминать, что и как происходило с вами в данный момент, даже в моменты самого большого горя, когда теряете близкого человека. Заставьте себя и в этом случае остановиться и запомнить, что происходило с вами, что вы делали, точнее — как. У вас накопится столько выразительных средств, своих собственных, что вам не придется заимствовать их у других, а точнее, воровать у других и выдавать за свои собственные находки.



...Мы стояли у плетня твоего дома. Недалеко от него был клуб, там собиралась молодежь — смотреть кино. Девчонки все были с длинными волосами, может быть, ты потому и заплакала и показала мне свою стриженую голову, тебе стало обидно и больно за твою неполноценность в сравнении с другими, у которых растут нормально волосы — их можно причесывать, укладывать, завивать или длинную косу вырастить, а ты этого сделать не можешь, вот они и торчат у тебя ежиком.

— Да ты не плачь!

— Не плачь! Легко сказать. Совсем не растут!

В клубе шла картина «Кубанские казаки», после каждой части — маленький перерыв, перезарядка аппарата. На улице стоял движок, и слышно, как глухо хлопал мотор. В зрительном зале жарко, потные тела, потные лица. Я вспомнил Самару, детство, немое кино, билеты ненумерованные: садись, куда успел. В зрительный зал не входили, плотной толпой туда втискивались, в дверях всегда пробки. Здесь, в твоем клубе, этого не было, но мальчишки, так же как и мы когда-то, сидели на полу и в перерывах между частями перед пустым экраном говорили при зажженной электрической лампочке о том, что жизнь на экране продолжается и в перерывах.

В первый вечер моего приезда собрались в доме гости, были устроены смотрины. Артист приехал, родной брат жены кладовщика, Юлькин брат! Лауреат Сталинской премии! Первой степени! Его портреты в газетах печатали! Похож, похож... На кого похож — на Сталина или на Юльку?.. Не расслышал. За столом вся сельская знать, ниже бухгалтера никого не позвали. Председатель и секретарь сельсовета, бухгалтер, бригадиры местного колхоза, директор и секретарь парткома МТС, свекор, свекровь и муж — плотный, маленький, круглолицый, с маленькими серыми глазками, носик пупочкой, рот расплылся в улыбке, весь вечер рядом со мной, смотрите, завидуйте, вот какой у меня родственник! Первый тост за Сталина! Уррр-аа! Все крикнули «ура» и по граненому стаканчику до дна проглотили. Потом за меня, за лауреата, опять за Сталина. Вдруг председатель колхоза обращается ко мне с просьбой:

— Вот вы встречаетесь со Сталиным. Я это знаю. Мне зять говорил!

— Я с ним никогда не встречался, — отвечаю я ему.

— Ну как же! Вы его показываете, мы ведь газеты читаем. Мы ведь все понимаем!

— Честное слово, — говорю, — кроме как на демонстрации на Мавзолее и один раз на похоронах Сэн Катаямы, он гроб нес... В кино видел, а так никогда не встречался.

— Ну, может быть, это ваш секрет?.. Вы живете там, близко, как-нибудь сказали бы ему... В колхозе задолженность по трудодням, еще с довоенных лет. Колхознику не на что жить. Все его богатство — маленький огородишко. Картошка, только картошка, а хлеба нет. Хлеб мы колхознику должны на его трудодни. А мы весь хлеб сдаем государству. Мы не жалуемся, нет, мы понимаем, война. Но...

Что я мог ему ответить тогда? Какой простой, какой наивный наш народ, думал я...

Эх, война, война, что ты наделала... Сколько бед принесла и чего только русский народ на своих плечах не таскал, не вытаскивал. Другой бы давно надорвался, а он смеется и песни поет. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...»

Так я и не приехал к тебе больше, а ведь мог бы! Что стоило — поездом одну ночь, пять — десять дней мог вырвать, да хотя бы на один или на два дня, праздник устроил бы для сестры, помог бы ей — ведь так меня просила! А теперь уж и ехать не к кому...

А. Твардовский

# ИЗ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ (1953—1960)

## 1957

**9.II**

Остановка, невыход в город, мука мученическая первого дня, но на второй уже чтение газет, за газетами — книга, — очень важно напасть на хорошую книгу, — после уже разбор почты — уже вроде работа, потом дневник, а потом уже и настоящая работа. Вот я уже дошел до этой тетради, но до настоящей работы еще как-то не близко. Возраст. [...] И кроме того, я весь в напряжении, в каком-то немом борении с внешними факторами непокоя и беспокойства. [...]

**10.II.**

1) Переделить в новую тетрадь новое начало «Теркина на том свете». Подложить к ней гранки с остальным, и пусть лежит до поры.

**14.II.**

В воспоминаниях о Ленине рабочего Емельянова («Знамя», № 2) такой эпизод. Дети Емельянова, у которого на сеновале скрывался Ленин, принесли из лесу дубок-однолетку (желудь, лопнувший в земле, держится за корешок) для посадки. А дело в сенокос. Дурачки, говорит отец, кто же в такую пору деревья садит. Погибнет дубок. И почему-то его это очень рассердило. Ленин: не стоит горячиться, раз уж принесли дубок, давайте посадим, польем. Должен, мол, прижиться. Дубок, наверно, первые дни скучал, может, и свои три листочка опустил — обвяли. Но на другой год отец по весне наткнулся на него — жив, распускается. Нынче этому дубку 40 лет. Дубок Ильича. Или: Ленинский дубок.

**17.II.**

Нарочно стал раздувать горн не очередной главы «Далей», чтоб не засесть на тяжкой мели, а с малых опусов свободного выбора. Но и это нелегко, пока не загудело в горне. Знаю и то, что не нужно сидеть на одном, особенно когда заело. Нужно еще что-нибудь и еще начать, может быть, и бросить, но пробовать во все стороны.

---

Парамон Парамонович. Единственный старик, которого я встретил на Падуне в палаточном городке — он налаживал топор. Плотник, из Читинской области. Приехал построить сыну и невестке дом. А там обратно. — А что ж здесь не хотите? — Ну как же можно — родная сторонка. — А та родная сторонка еще дальше тысячи на две верст от его собственно родной по рождению Смоленщины или Тамбовщины. (Для маленького рассказа).

Почему наша литература любит стариков, обойтись без них не может. И в пьесе ли, в романе ли, в поэме и рассказе — без стариков невозможно. Потому что они шире, живописнее, характернее, богаче языком и народной мудростью, словом, интереснее, чем молодые, передовые, ведущие, идейно выдержанные. Старикам много больше позволено в литературе, чем молодым или только зрелым. Старики могут и власть побранить, и старое в чем-то добром помянуть, у них больше воспоминаний, они из более толстого слоя лет, традиций, поэзии. У них в прошлом есть, кроме нужды, мук, безнадежности судеб — еще и пасха, и рождество, и крещенье, и совместный выход на покос, и ярмарка, и красные горки, и посиделки, и сказки, и всякая занятная чертовщина. А тут слой тонкий. И то, что было в юности у нынешних зрелых и пожилых людей, оно далеко не так полно очарования чего-то безусловного, ясного, доброго. Много такого, что неловко вспоминать и немножко в тягость, как носить имя Первомай, Владилен и т. п. теперь, когда все это отошло. (Вчера смотрел картину «Павел Корчагин» — столько фальши, натянутой истерии, фразистости, ненатуральности). Чапаев — это в некотором смысле тоже «старик» из героев нашего искусства. Он не «Фурманов» — ему куда больше позволено быть самим собою в натуре.

**18.II.**

Продолжал двигать и выравнивать. Как будто слаживается, но покамест нет еще особой тяги, хотя все на месте. Но пусть, только бы делать.

---

После длительного и мучительного безделья — мне все дело, чего я тогда не мог, — и заседания, и покупки в магазинах, и почта, и ванны радоновые, и прогулки, и чтение рукописей — все.

---

Расстреливали их во внутреннем дворе этого зловещего здания, ночью. Брали по двое и уводили в неглубокий закоулок вроде заложенных кирпичом ворот — закоулок-тупик. Держались они кто как. Один упал в обмороке — так его и сволокли в тот тупик, освещенный одной лампочкой на шнуре, качавшейся от выстрелов. Один кричал: звери, что вы делаете. Один сказал: умираю за партию Ленина — Сталина. А этот стоял, как все, — с завязанными проводом на спине руками — и как будто не следил за операцией, не выжидал, не крепился. Запрокинув голову, он все глядел на густо-звездное небо в квадрате двора, все глядел, не отрываясь, и эта холодная высь как будто притянула уже его к себе и унесла отсюда, из этой очереди. И то, что происходило и звучало здесь, — команды, шарканье ног по камню, выстрелы — все это уже было где-то внизу, далеко и давно, а, может, и вовсе ничего этого не было, а он только представил себе или вспомнил, как это было с кем-то на земле.

В тайге дорога была уже такая страшная, что если б мы могли развернуть свою М-72, то вернулись бы. Черт знает что нас ожидало — ни одной машины другой на дороге, ни души. Вдруг обгоняет мощная грузовая о двух ведущих и с цепями, и с высоченной посадкой. Она так сяк, но одолевает неуклонно и уверенно разработанные на метр в глубину колеи, полные жидкой, как деготь, черной грязи. Шофер взял нас на буксир, перемазавшись весь при этом. Мы в шутливо-наигранных, заискивающих тонах посулили ему, что он «будет доволен» и т. п. Часов через пять буксирования — просвет, выехали к какому-то поселку уже невдали от Братска. Чайная. Он не скоро вошел, возился с машиной, а мы не начинали без него. Вошел, умыл руки в углу, просто и безотказно присел к столу, выпил и съел два вторых. — Ну, теперь вы сами, а я поспешу. — Погодите, мы, значит, не увидимся больше? — спрашиваем, чтобы тут, на месте, «отблагодарить». — Почему не увидимся? Вы же на сессии, наверное, будете завтра? — На какой сессии? — На сессии горсовета, я депутат как раз. — И быстро попрощался. Мы не решились совать, и было неловко, что тут и вся «благодарность». Смекнул ли он, что мы начальство из области? Или просто так — угостился и довольно? Или еще как?

---

Продолжение. Начало см. «Знамя» № 7 за 1989 год.

22.II.

Что-то вчерне слепилось, но скучновато, длинновато и ничего почти «не задееть».

Но — пусть. Терпение, накопление, пробовать во все концы в поисках «слоя». Потом все это оплатится.

---

Вчера смотрели с Машей «Тугой узел» Тендрякова[1]. Фильм, действительно, хоть не сразу, но потом уже круто берет за самое что ни есть живое. Нет, что-то идет, пробивается — и остановить этого никакими заклинаниями нельзя. «С партбилетом честному человеку жить нелегко, только легче бороться». Народ (правда, в лице предколхоза — коммуниста) заставляет партбюрократию слушать себя. Пусть нигде никогда не было у нас такого собрания, таких колхозников, говорящих решительную правду в глаза райкомовскому (и не только, не только райкомовскому) начальству, — это то, что они хотели бы сказать, что у всех готово вырваться из уст — и потому это правда и художественно, и зритель с готовностью простил бы эту условность. Вряд ли выпустят его на экран [2].

22.II.

Начинает грезиться глава «На Ангаре», где послужит и этот падунский набросок. Сперва — Падун — бешенство и быстрота воды, муравьиное копошенье людей, обычность необычного быта. Потом — Иркутская ГЭС, перекрытие Ангары («И Ангара у наших ног», — слова начальника строительства Бочкина Андрея Ефимовича). Укрощение бешенства стихии и пафос страды — артельной и воинской.

---

Загорье, смоленская деревня, ее природа, климат, цвета ее и запахи, ее незаменимая для художника память — все это мне было дано от рождения — само собой. Даже «Теркин» и «Дом» — связаны ближайшим образом со Смоленщиной. Сибирь же, Урал и т. д., эта «даль», освоение ее поэтическим способом, «утепление» — это уже я сам добываю, расширяя территорию родной земли, осваиваемой поэтически. Это я могу считать новым в свой послевоенный период, хотя новое не в одной территории.

26.II.

Третий день не выхожу — грипп, банки и т. п. Налаживаю начало Падуна — вроде лучше.

Читал ночью брошюру о гидростройках Сибири.

Падун пропустил не «пять-шесть судов», а бог весть сколько — с береговой тягой вверх и каким-то образом при помощи лоцманов (вожак) вниз.

Падун не замерзнет зимой.

«Ангара способна производить больше электроэнергии, чем Волга, Кама, Днепр и Дон — вместе взятые».

Когда-то взял брошюру о бессоннице, а там мне автор подносит цитату из «Теркина» о хорошем сне в условиях фронта:

Спит, хоть голоден, хоть сыт, и т.д.

А тут — цитата из «Далей» —

Край, где несметный клад заложен, и т. д.

Тоже — признак старости.

---

[1] Тендряков Владимир Федорович (1923—1984) был соседом Твардовского по пахринской даче. У них сложились близкие отношения, что, однако, не мешало и разномыслию по многим вопросам современной жизни.

[2] Фильм М. Швейцера «Саша вступает в жизнь» по повести В. Тендрякова «Тугой узел» был выпущен на экран малым тиражом.



Ах, эти дали, дали, дали —
Конца пути мы ждать устали.—
Едва до станции Тайшет
Доехал он за восемь лет.

Я хочу написать как бы историю того, как с самого детства входила писаная поэзия в мою душу, как там вживалась и оставалась надолго или навсегда. Но я не хочу ворошить книжек «Библиотеки поэта», хочу только вспоминать, находить, что было или до сих пор есть во мне из строчек и строф, слышанных или прочитанных мною когда-то. Что из этого богатства сразу было мне по душе и что — до поры или по сю пору — было безразлично. Думается, что о поэзии иначе и нельзя писать, если нет какой-нибудь посторонней задачи, скажем, научного исследования и т. п., где карточки, тексты, варианты, разночтения и т. д. Нет, без этих подсобных средств найди, что в тебе от нее есть, живет, дорого тебе — хоть бы была одна строчка, даже в искажении. Тут кое-что можно будет, пожалуй, самому понять и для других прояснить.

Поэзия пришла ко мне, конечно, поначалу изустно — в чтении отца или кого другого — по памяти или по книге. Трудно сейчас установить (да тут и не может быть точных дат и т. п.), что раньше прозвучало для меня — «Конек-горбунок» или «Камаринский мужик» (в чтении), или «Бородино», или еще что. Могло быть, что услышано позже, а относится к более ранней душевной потребности.

Чтение, как уж повелось, беспорядочное, для упорядоченного все времени нет.

2.III.

Ничего из этого пока что не выпеклось.

Не нравится мне и «скотская метафора» вначале, и «раздумья Падуна», — последнее очень уж привычно: человек и стихия, мнящая себя сильнее. «Человек сказал Днепру: я стеной тебя запру» и т. п. Уже начал местами делать перепады размера, но все нет главного.[1]

Ах, Колыма, ты, Колыма,
Веселая планета:
Двенадцать месяцев зима —
Все остальное — лето.

4.III.

Кроплю, ковыряюсь, будто бы продвигаюсь, будто бы впереди просвет, но все это медленно и без жара.

Удивительно малопродуктивно проходит время — хоть и абсолютно без [...] встреч и даже почти без заседаний. С утра — ничего, а там устаю, даже читать успеваю мало. (Самое большое впечатление из чтения этого года — Н. Кастере «30 лет под землей» и Элленбергер «Трагический конец бушменов», — все время размышляется о глубине человеческого времени, культуры и проч.).

6.III.

Читаю верстку третьего издания двухтомника. Снял открывающий первую книгу «Тракторный выезд» — уж очень слабые стихи, — развернет человек книгу и — увянет. Когда-нибудь, может быть, после моей смерти, можно будет дать «приложением» к I т. «Юношеские произведения» [2], где можно было бы поместить кое-что из печатавшихся стихотворе-

---

[1] Комментируется начало «падунской главы». В конце концов А. Т. сделал из этого вступления стихотворение «Порог Падун». (См. Собр. соч., т. 3, с. 87).

[2] Намерение ознакомить читателя с юношескими стихами Твардовского осуществлено пока лишь в малой степени: частью в однотомнике «Библиотеки поэта» (А. Твардовский. «Стихотворения и поэмы», 1986), частью в последнем, шеститомном Собрании сочинений (т. 1, 1976).

ний, начиная с «Новой избы», и, примерно, до «Яблок», и поэмы «Путь к социализму» и «Вступление». (Еще были «Бизюки», «Мужичок горбатый», не увидевшие света.)

Опущены (самим — в предвидении неизбежной непреоборимой маяты) — стихи о Сталине, Баллада о Москве, глава «Далей», «На мартовской неделе».

Это, может быть, по сегодняшним ветрам, и прошло бы, будь все на месте, а так не воткнуть уже. Можно будет в новом издании поставить на место.

Прочел — без малого — «Сельскую хронику». Даже там есть хорошие стихи (Про Данилу и др.), но, боже мой, какая печать обязательности на всем, какое неизменное усилие — что бы там ни было, а сомкнуть концы «в духе указаний». И все это делалось от чистого сердца, исходя из сознания, что так нужно, что нужно «иметь мужество видеть положительное», — некая такая мудрость, помнится, была в ходу.

Все это есть, конечно, и в «Муравии», но там до смыкания концов — больше правды.

[...]

**8—9.III.**

Знать, очень еще много нужно сделать для тебя, чтобы обжить, обстроить, утеплить и чтоб сошел на нет тот укор извечный. (Здесь жизнь прожить, детей народить.) [1]

**25.IV.**

Она, эта земля, ревнует к тем землям, где люди лепятся густо, где освоена каждая пядь, где понастроено всего — стена к стене, — понасажено садов и т. д. А чем же я нехороша? Пустынна? Населите меня. Неустроенна? — Устройте, обживите. Не уносите обо мне лишь эту тягостную память.

---

Я должен вставать вместе с теми, кто заступает в утреннюю смену, едет с первыми трамваями и утренними ранними поездами на работу, хотя бы я ночь не спал — это уж своя охота. И не только должен, но люблю, даже люблю встать еще раньше — это сообщает мне чувство спокойствия, удовлетворения. А что из этого получится — уж не взыщите, — тут нет гарантий и не может быть обязательств.

**3.V.**

Отдаюсь очередному весеннему запою садовых работ во Внуково, ничего не пишу и не очень об этом беспокоюсь. До чего порой мне бывает немила и постыла эта дача, жаль этих лет и сил, посвященных в значительной степени устройству и переустройству этой обители трудов литературных, каковой она почти не была за все 10 лет, и до чего сладко и необходимо мне это «хозяйство» в период посадок и т. п., т. е. весной и осенью. Чувствую себя как на курорте в лучшем варианте: работа по вкусу, по увлечению, здоровая усталость, хороший сон и аппетит, ровное «травяное» самочувствие.

Каждую зиму в последние годы говорил с Машей об уходе из Внуково, действительно, город подходит вплотную, под крышей уже корпуса больницы — пренеприятнейшее соседство и т. п. На днях ездили смотреть еще один объект — дачу покойного министра Завенягина. Скромный снаружи (умно!), благоустроенный внутри дом, построенный, как строят для себя за казенный счет, хотя бы по видимости за свой, сад, забор типа

[1] Мысль об ответственности человека перед временем, о счастье оставить в жизни след выражена не только в «сибирском цикле», она пронизывает лирику поэта, да и, пожалуй, все его творчество.



НКВД, как выразился рекомендовавший объект директор Литфонда, дорога, все удобства. Сперва я чуть ли не изготовился давать любую цену, а потом — нет. Что я буду делать на этом готовом, оборудованном министерском лоне подмосковной природы. Там уже и пня одного не найти, чтобы выкорчевать, куста, чтобы вырубить, сажать уже некуда, дорожки, клумбы. А тут — нет, не проходит это даром — приложение собственных рук к безнадежному по трудности клочку земли, переплетенному дубовыми, не гниющими кореньями, заросшему обгрызанными кустами лещины и прочим, где столько сделано, планировано и перепланировано, о чем постороннему и невдогад, даже жена не все видит и понимает и замечает, что я здесь делаю из года в год. Нынче уже понял, что я не могу не заниматься этими привычными утехами даже в предположении расстаться с этим местом.

На работу всерьез надежда с отъездом в Коктебель, куда нужно Оле по ее гаймориту, жене просто дух перевести от хозяйственных забот и хлопот, отдохнуть, а мне оторваться от цинциннатства.

**13.V.**

Годовщина смерти Фадеева. Трудный год. Едва ли не единственный за всю мою литературную жизнь, когда ничего не написал. Год-переиздат. Продолжал работу на даче. Физически хорошо и всячески, но понятно, что это то же, что и пьянство, почти то же самое — бегство от самого трудного и необходимого.

Сегодня совещание 70 писателей с членами Президиума, уведомлен я только вчера. Подбивают выступать, а боязно сказать полуправду, боязно подбросить хворосту в костер нечестивых. Посмотрю, может, и выступлю, — нужно оставить за собой эту свободу. Наперед знаю, что будет много желающих покрасоваться перед высшим начальством, образованность показать, и станет невыносимой задача, ибо нет чувства, что что-то можно доказать, объяснить. Кроме того, беседа односторонняя: мы — говори, — они будут сидеть и молчать, как уже было (перед съездом), они все наперед знают, проект резолюции уже на машинке.

**15.V.**

И хорошо сделал, что не выступал, — молчание поистине золото. Речь Хрущева — она многими благоговейно и дословно записана — рассеяние последних иллюзий. Все то же, только хуже, мельче. Рады одни лакировщики, получившие решительную и безоговорочную поддержку. Обо мне: «Я ему звонил, но не застал, или он (я) не мог подойти к телефону»...

Вечером после совещания поехали на могилу Фадеева. С поминок на поминки, как сказал очень удрученный Овечкин. Процентов 70 участников совещания также были удручены, казалось, что сам Сурков... Но наутро в Доме печати, глядим, он уже излагает партгруппе правления все по своей записи и — порядок: огромное значение, принципиальная постановка. Правда, под конец он все же сказал, что хотя «лакировщики — наши люди» (слова Хрущева), но не все лакировщики хороши, не всякий лакировщик нам нужен.

Вечером же он в Доме кино отбрякал вступительную речь на 1,5 часа, и все пошло своим чередом — никому не нужное, слышанное и надоевшее. Сегодня еще покажусь, а там надо будет к своим делам отодвигаться. Судя по Сатюкову, просящему стихов для «Правды», реплика в мою сторону воспринята этими людьми в смысле милостивого внимания.

**3.VI.** <**Коктебель**>

Приехал сюда с семьей 30.V, гонимый «итогами пленума Союза» и иными «итогами» этого года. Был плоховат, чуть достало сил решиться и ехать. Затосковал было и здесь на первых порах. Сегодня первая хорошая ночь — без сновидений, без пробуждений и пререканий с супругой

по вопросам храпа, бормотания и т. п. Может быть, я принял ветер, разбушевавшийся в акациях за открытым окном, за дождь и так хорошо заснул, может, что иное, но встал с ощущением радости, здоровья.

Здесь все изменилось с той поры, как я был здесь в 39 г. накануне «Освободительного похода», Финской войны и всего того, что потом вмещают эти 18 лет. Было очень голо и пустынно, в «волошинском» стиле, теперь вся почти эта долина у залива затенена молодой, но буйной южной зеленью. Отцветают белые и розовые акации. Шумит море, но, пока нет хорошей погоды, оно не «все такое же», как осталось в памяти, вообще ничто не «все такое же». Один я все такой же дурак, только с седыми висками и плешью, просвечивающей на макушке, со взрослыми дочерьми, почти 50-летней женой и пр.

---

Прочесть успел какие-то пустяки про Атлантиду Дж. Вилларда Шульца, но вчера прочел «Чапаева», купленного в киоске возле почты. Как я ухитрился не перечитать эту книгу после первого юношеского чтения, хотя так любил и люблю фильм «Чапаев» (одна из самых могучих вершин нашего искусства), столько размышлял над ним, всегда как бы держал в себе. Должно быть, фильм настолько заслонил книгу, что она как бы растворилась в нем и уже нужды в ней не было. А как это оказалось интересно в сопоставлении. Очерк, гениальный набросок портрета Чапаева при всей своей черновизне, невыносимых порой красотах стиля — фундамент фильма, созданного заново, планово, смело и решительно. Там уже явилось произведение искусства в своей сжатости, блистательной «экономичности», энергии и завершенности. Как и должно быть на свете. Первая вспашка — только начало дел, а потом обычно «двоят» и «троят» — и тогда получается то, что надо. Правда, бывает и по-другому.

---

Хочу потихоньку, помаленьку привести в порядок то, что намечалось, начиналось и не выходило за этот мучительный год-полтора, не обременяя себя задачей сразу исправить положение. Важно, как обычно в таких случаях, не только то, что я что-то делаю, но и то, что я чего-то н е  д е л а ю — [...], не предаюсь праздности унылой и т. п.

---

**4.VI.**

Стал читать в т. 1 Костомарова «Легенду о кровосмесителе» — первые мысли и уподобления о трагической вине у древних, невинной вине и т. п. Текст как будто из хрестоматии по древней русской литературе. Вдруг вижу, что эту легенду, уподобления которой я искал на основе уже читанного и слышанного в студенческие и другие годы, я знаю с раннего детства, только никогда в жизни не вспомнил об этом — на таком глубоком дне памяти это лежало недвижно и неслышно. Этому будет около 40 лет! Я помню, что то ли из уст матери, то ли от каких баб я знал эту историю с младенцем, пущенным на волю речных волн в корытце («ковчежек») с разрезанным пузиком. И как этот младенец выживает, вырастает и, попав в родные места, женится на женщине, которая старше его. И вот ложатся спать (я знал, что муж с женой спят вместе, только не знал, зачем), и она нащупывает у него на животе рубцы зашитого в детстве разреза — и все раскрывается. Зачем это мне рассказывалось, а может быть, не мне, а между бабами, а я подслушал, но историю эту я хорошо знаю, хотя никогда в литературе не сталкивался с ней до нынешнего случая.

**6.VI.**

Вчера утром море вдруг потеплело, но не от одного солнечного дня накануне, а от ветра, пригнавшего с юга теплую воду. Купался уже по-



настоящему. С вечера расшумелось, к утру уже цвет замутился далеко от берега. А купаться было хорошо: на воздухе холод до гусиной кожи, а в воде хорошо, тело горит.

Все не ощущал (правда, были холода) того особенного южного приморского настоя запахов моря и зелени и нагретых дорожек и моря, что помнился с юности — с довоенных лет, когда впервые бывал на юге (Хоста, Ялта). Говорят, это не то время года, в августе, сентябре и октябре будет именно такой настой — ранняя южная осень, запах плодов и всяческой перегретости. А так от моря еще отдает Байкалом.

Сидел над стихотворением «Тайга, река, откосы гор...» — может быть, что получится — для «Далей» или так.

---

Допрос еретиков — М. Башкина, епископа Артемия в Соборе — по Костомарову — чистый 37-й.

**9.VI.**

Страшно жарко. Дальше — пунктир, но есть что делать.[1] Это все, покамест, разгон. И уже грезится вся глава — особая от других, полная своей силы, новая, радующая дух здоровьем, энергией и открытостью речи. — Вчера — Карадаг.

**16.VI.**

Глава, кажется, завязывается. Берусь за нее теперь только до завтрака — сосвежа. Море опять холодное, но порядок не нарушаю, сегодня купался, как обычно. Ветрено и даже при солнце холодновато.

Когда завязывается нечто надежное, — примерный план обрастает множеством забегающих вперед строк, ходов, оборотов, слов и т. п. Правда, они не вдруг и не все встанут в нужный ряд, но должны жужжать над головой роем, умножаться, меняться, сливаться и развиваться. Сейчас похоже, что так. Боюсь радоваться, но рад и чую, что как-никак дело двигается помаленьку.

---

На стройке плакат — транспарант или щит: закончим то-то к такому-то числу. К этому числу не закончили, минула, может быть, неделя и другая, а лозунг висит и взывает закончить цикл работ к тому, прошедшему числу. Снять бы его надо, говорят. Нет, нельзя, это будет демобилизовывать людей. (Это было на Куйбышевской ГЭС.)

---

Апеллировать к учению <марксизма-ленинизма> можно только при благоприятных для него обстоятельствах, а иначе скажут: — Мы не догматики. Решения директивных органов — съездов, пленумов ЦК — тоже не всегда и не во всем опора, ибо указания выше решений. Но и указания это еще не все, помимо них и над ними есть еще д у х незримый, но сущий и непреложный дух. Дух, в духе. Дух или разрез, в разрезе.

**17.VI.**

Река была уже ослаблена отводом воды через плотину (?). Что-то тут мне неясно и не могу ясно и крепко сказать об этом. Знаю, что можно это миновать, как и то, что «перекрытие» — тоже еще времянка, дающая возможность завалить проход в основной плотине. Но — жаль.

---

Встаю рано — с восходом, больше спать не могу, а теперь, после завтрака и когда уже начинает быть жарко, — дремотно.

[1] Имеется в виду начатая глава «На Ангаре».

**19.VI.**

Вчера в третий раз ходил на Карадаг. Принес опять цветов, похожих на наши луговые, но не так ароматных и очень жестких, будто в конце лета.

Записан ли у меня «Поэт-иллюзионист»? (для «Родины и чужбины»).

В ранний час вставать с постели
Я давненько взял в привычку—
В самый ранний вместе с теми,
Что спешат на электричку,—

что заступают в утреннюю смену. К своему иду станку. Но чаще всего не с радостным чувством доброго рабочего дня, а с тоской и горечью прибираюсь в конце работы. Но зато Ольга немного оживает, отходит от своего угрюмства, скрытого (но видного) недовольства собой и неприязни ко всем, ко мне. Вчера задержался на прогулке, а тут этот случай со змеей, укусившей рюриковского мальчика,—подхожу к столовой—выбежала навстречу—я уж думал, что-нибудь случилось, нет, просто выбежала навстречу,— давно этого не было. А помню — маленькой она бросалась мне на шею, вскакивала на грудь—ножонки вилами—и визжала длинно, пронзительно—клич радости. Дети уходят.

**22.VI.**

Вчера день был не в полной дисциплине, пришлось отвечать на мордовские и другие приветствия, отправленные с местной почты.[1] [...] После обеда был «творческий сон». Но все же и утром, и под вечер купанья в Лягушачьей бухте сомкнулись, замыкая эту ерунду,—настроение нормальное,—встал в половине пятого.

Третьего дня ходил с белорусом через горы до биостанции, там купались и обратно другой дорогой—через водопой и на дорожку, по которой ходил к «татарскому святому». Подняли двух змей—я видел одну, когда она бросилась с тропы в заросли—вверх по откосу горы—мгновенно, так, что мог бы себя уверить, что я и не видел ее. Но после этого стал меньше бояться их — дошло, что змея уходит, боится, а кусает, когда на нее наступят, т. е. когда ей угроза, кстати,—не зная, что она ядовита.

---

По утрам раздается звук, до странности похожий на тот натужный скрип, прерывистый, раздельный, когда колодезный вал вращает в немазаных пазах пустую бадейку,—скрежеща и шатая столбики. Отчасти—скрежет немазаных колес. Ревет осел, состоящий на какой-то службе или просто так в этом хозяйстве. Второй серией ранних звуков здесь, должно быть, разносится мой кашель при первой сигарете.

---

Механизация, конечно,
Но больше просто — через пуп.
Потом и заработок — все же,
Как ни хотите,— Ангара!

---

Всего никогда не запишешь, что набегает, застревает или уходит из памяти, и всегда, кроме записанного, есть и должно быть еще больше недописанного.

Прогулки и прочее хороши тем, что там нет-нет и вдруг без понуждения, сама собой вдруг настигает тебя какая-то ясная, безусловная мысль, строка, слово. А то вдруг найдется то, что перед глазами на листе видел и не видел,—что непременно нужно опустить,—и то слава богу. Вычеркнуть иной раз—все равно, что написать, не меньше того. [...]

---

[1] По случаю дня рождения: А. Т. исполнилось 47 лет.



**24.VI.**

Очень жарко, если что получается, то до завтрака—после первого купанья, но и то—кто спит, кто встает,—отвык я творить в однокомнатных условиях!

Сегодня проводил мордву, приближается и наш срок, уже отсроченный до 30.VI. Собираюсь последний день провести здесь без утечки, так, как если бы я имел здесь только один день—целый день с утра до вечера. Но уже видится—Внуково, перестоявшая трава, которую нужно скосить хотя бы для компоста, московская почта, издательские дела и т. п.

**26.VI.**

Вчера ездил с М. Максимовым[1] и другими в Судак и Новый Свет. Все хорошо, но дорога тяжела—жара, виражи, замедляющие езду,—изнурение.

Генуэзская крепость—десятой доли не представлял прежде, что это за памятник.

Бухта Нового Света—немногочисленные домики с заводом шампанских вин, теснота очень близко подвинувшихся к воде и мало освоенных гор, деревья—можжевельники, тропа по краю скалы, к гротам, прозрачность воды под скалой с рыбами, как в аквариуме.

---

Змея метнулась с тропы и исчезла в зарослях вверх по откосу, как будто это был конец веревки, рывком выхваченной вверх.

Горные тропы древни, как реки.

Человек, может быть, потому, между прочим, и человек, что он странным образом, готовый примириться и обвыкнуть в отношении любой неустроенности и тягот жизни, не мирится с тем, что для всех равный закон (никто не обижен—разве только в сроках),—со смертью. Казалось бы, как ты смеешь недоумевать и протестовать против нее, когда она не обошла ни Толстого, ни Пушкина, ни Ленина, ни Маркса с Энгельсом, ничьей силы, величия, власти и страсти!

---

Один человек задумал написать книгу (история «деда» нашей формации, уцелевшего предколхоза).

**27.VI.**

Сегодня переносил на листы набросанное за все это время. Это строк полтораста—меньшая половина. Мешала с утра история колхоза, как можно обозначить нарастающий замысел. Это проза, которая обоймет все, что я знаю «лучше всех на свете» со времен Прасолова[2] до наших дней,—в масштабах нынешнего укрупненного колхоза, бывших нескольких, во главе с председателем—«дедом советской формации». Здесь пригодятся все мои старые записи и прочие, печатавшиеся и не печатавшиеся, а главное—войдет сюда не остывавшая все эти четверть века дума моя о предмете. Будет, может быть, переступать дорогу «Пан», но там иное, и, кроме того, там я еще не пришел к ощущению, предчувствию стиля, а тут это предчувствие ясно: история. В связи с этим нужно будет заняться всеми моими прозаическими опытами и подготовить книжку для издания.

Опять утверждается мысль о доведении основных глав «Далей» (за счет не крупных) до завершенности маленьких поэм, которые так и построятся циклом, оставляя безнадежный и с самого начала неуверенный план «общего сюжета».

---

[1] Максимов Марк Давидович (1918—1986), поэт. Быть может, потому А. Т. выделяет его имя из круга экскурсантов, что ему было известно об участии М. Максимова в боях на Смоленщине в дни Отечественной войны.

[2] Прасолов Дмитрий Филиппович, председатель колхоза «Память Ленина», в 30-х годах лучшего на Смоленщине.

**29.VI. Коктебель. Последний день.**

Мне за верное рассказывали, что при сооружении больших ГЭС и т. п. с самого начала ниже тела плотины, где-то под основанием самой станции закладывается некое помещение — камера, куда есть потайной, известный только кому следует ход — это на случай необходимости взорвать ГЭС, т. е. на случай войны, вернее — занятия противником этой местности. Страшная, едва охватываемая сознанием штука: строить (годами!), делать навечно, учитывать современнейшие достижения этого дела — и — вместе озаботиться наиудобнейшим и вернейшим обеспечением мгновенного разрушения всего этого в прах. Может быть, при этом обеспечивается какая-нибудь возможность наилегчайшего восстановления всего, когда нужно будет? — Это бы еще ничего, но вряд ли! Очень хотелось бы подпустить этот момент в главе — хоть издалека, полусловом, намеком, но это решительно нельзя, — вот уж нельзя, так нельзя. А может быть — можно? Ведь можно же написать (в романе, скажем), что дивизия тщательно подготовилась к предстоящим боям — то-то и то-то было сделано и даже отрыты объемистые ямы — братские могилы, чтобы в ходе боев не отвлекать людей этим делом, да людей-то будет умаление. — Все можно.

---

Сегодня нарушил обычный распорядок дня — пошел в 5 ч. не на пляж, а на прогулку в горы — на Карадаг, пожалуй, из-за того, что вчера была вода 11—14 градусов, думал — нельзя купаться, хотя вчера влазил все три раза в море ненадолго. Вырезал две палки, подобрал прежнюю под кустом, но не нашел их на обратном пути. Принес ясеневую новую — немного жаль деревца, хоть и не жить ему там было.

---

Уже в середине месяца мне казалось здесь, что все московское, предшествовавшее отъезду, где-то далеко — во времени — позади. А что ближе к возвращению, то вроде и ближе все это [...] печальное, что делалось со мной. Но я не хочу потерять — хоть и малопродуктивный практически, но радостный по существу нынешний душевный подъем, рабочее спокойствие, физическую бодрость и т. д. Буду сидеть на даче, дел до черта на месте и в смысле писанья и чтения, и по части сада, участка и прочих объектов.

Перестоявшую — желтую и сивую траву «на территории дома» подкосили какие-то нанятые молодцы — дурными косами (со вставными пупками[1]), небрежно, так-сяк, оставляя закрайки и редины. Потом сгребли ее вилами — грабель или нет или не возьмешь ее граблями на грудь или плечо, как это у нас делалось когда-то, — колючки, жесткость, цепкие семена вроде ковыльных, цепкая поганая ость — злее ячменной от местного низкорослого мелкоколосного костеря (или др. растения). Сено в копешках, но от него пахнет слабо, и запах лишь отдаленно напоминает запах сена.

Вчера пошел с Машей, Олей и Маршаками (Мария Андреевна и сын) к чете Охотников — Осеева[2]. Маша там бывала уже два-три раза, — камушки. Камушки действительно красивые, но не они главное впечатление, а эта чета и их «гнездышко»: стариковское уединение, — не осознающее еще себя стариковским, — никакого «подлеска». Он покинул, говорят, старую жену с детьми, она — вроде старой девы, хоть лицо со следами приятности, — вроде учительницы. Электрификация на курьих ножках, бетонная ванна со ступеньками посреди сада-огорода с застоявшейся темной дрянной водой. Всевозможные электроштучки-дрючки: лампочки, насос, радио, телефон (внутренний — только для двоих!), электрокозлы для распила дров и т. п. Разговор о камнях, цветах и красоте вообще. Она: я в детстве прикладывалась ухом к земле, чтоб услышать, как гномы в красных колпачках маленькими ножичками и ножницами вырезают, выпиливают чашечки и лепесточки и листики цветов, которые появляются на земле и так радуют нас. — Словом, «дама сидела на ветке», разница только в том, что Детгиз издает не это, а «Васька Трубачева» — не читал, но представляю примерно.

Он показал всю свою технику — все для работы, безотрывной, каторжной и бесконечной творческой деятельности, в малиннике — приспособление для машинки, ванна в огороде, чтоб не тратить время на ходьбу к морю, телефон у постели и т. д. Сам мрачный, норвеговидный, безгубый, большелобый и плешивый на макушке, с венчиком от висков к затылку подстригаемых «под чашку» седоватых волос, — не очень вообще толст, но брюхо мешком, и, когда сидит, то оно сваливается вбок как-то, — притом он вышел в трусах, подобных двум сшитым юбкам для девочки-подростка. Показал мне свои книги «на иностранных языках» — польском, румынском и др., а также брошюры популярные с обозначением его звания: «Заслуженный деятель науки», подчеркнув, что существует такое «правительственное» звание. Было грустно и даже жалко их обоих.

Другое дело их сосед через дорогу — Миронов — белорусский русский писатель[1], — сад хороший, главным образом розы, сам бодряк и дурило, играющий то «братишку» (он — «челюскинец» и «испанец» — отсюда литература), то еще что-то. Жесткий, поджарый, икры, выпяченные назад, — морская постановка ног. Знаменитостей заочно зовет Сашками, Сережками и т. п.

И засыпали
Творческим (днем),
Ночью, как все, —
Общепринятым сном,
И о привычках своих и причудах
Распространяться любили.

О раннем подъеме, о море и о чудесной среднероссийской природе, о пресной воде луговых речушек, о кваканье лягушек. О рыбалке, о какой-нибудь палке...

Как бабы, болтали про детали...

И откуда ты — племя, —
Ешь ты, пьешь не со всеми —
Отдельно.
Отпуск тебе — особый. Одежда и обувь.
Будьте вы прокляты — люди-людишки.
Что ваши книжки![2]

**30.VI.**

Купанье в 4.30 — до солнца, пограничники тянули тоню, вытащили зонтик в раскрытом виде. Солдатик, лающий по-собачьи. Русские ребята на этой границе — за морем Турция.

---

К истории колхоза.

---

[1] Пупок — обл. (смоленское) — рукоять на косовище, в данном случае съемная.

[2] Охотников Вадим Дмитриевич (1905—1964), писатель, инженер по образованию, изобретатель. Некоторые из его технических нововведений в принадлежавшем им домике А. Т. осмотрел с интересом (и отчасти с недоумением) — например, телефон («внутренний, конечно»). Произведения Охотникова, работавшего в жанре фантастики, не были известны А. Т. Не заинтересовался он ими и позже.

Осеева (Осеева-Хмелева) Валентина Александровна (1902—1969), детская писательница. Среди созданных ею книг известностью пользовалась трилогия «Васек Трубачев и его товарищи».

[1] То есть русский писатель из Белоруссии.

[2] Под влиянием посещения, казалось бы, несхожих по образу жизни литераторов появился этот стихотворный набросок — об ущербности подобной литературной среды, страдающей узостью понятий, мелочностью интересов, о неверии читателя в «книжки» таких писателей.

1) Вопросы на первом собрании — молебен и арест попа.
2) Расхуторизация — перевозка изб в цельном виде.

---

Сибирские записи. —

1) В иркутской тайге (на буксире).
2) Дед — плотник из-под Читы — в палаточном городке. —

**6.VII.**

Очередное закрытое письмо[1] и предшествовавшие ему изустные новости не особенно задели на этот раз — жить нужно и должно, и можно, могло быть, может быть, хуже. Жаль только, что без лжицы, фальши и актерства у нас ничто такое не обходится: Сурков и другие наготове. Не мне одному показалось на собрании 3.VII., что ораторов не пришлось бы менять в случае другого содержания документов. Но и это все — бог с ним. Это ничего не меняет в самовнутреннейшем чувстве любви и преданности долгу, родине, идеям, оплаченным уже большой и малой кровью и не померкшим.

Пришла бумага насчет расширенной автобиографии, начал уже думать, как можно хорошо все это сделать на основе старой, не теряя тона изложения, но с большим охватом материала, как выяснилось, что это нужно было сдать к 4.V. Но делать буду — для нового издания двух- или четырех-пятитомника. Мысли о таком издании уже приходят в известный порядок, правда, давно не смотрел своей прозы, начиная с «Дневника предколхоза» и каких-то там очерков и рассказцев. Этим займусь после окончания ангарской главы, с которой еду сегодня на дачу, чтобы сидеть до победы. А там — написал уже Кулешову насчет Нарочи — туда и, если там подходяще, то сидеть, сколько возможно, — до хотя бы осенних занятий в саду. А там — можно в Смоленск, где уже есть гостиница, а там в Ялту, где новый творческий дом с зимними удобствами, и т. д. Чем меньше здесь, тем уже лучше.

Вполне законченными можно считать тома 1 и 2, уже третий — не тонковат ли? Четвертый не написан, пожалуй, и наполовину, там еще могут быть главы
1) На Ангаре
2) Может быть, Александровский централ
3) Октябрьская (?)
4) Смоленская
5) Литературная
6) В вагоне-ресторане
7) Дальневосточная
8) Сталинская (дораб.).
Пятый — самый фрагментарный и крохоборческий, но очень мне нужный. За ним уже впереди пойдет в моей жизни больше проза, чем стихи.

**7.VII. Внуково**

По приезде с юга первый раз здесь. Заросло, загустелось все, трава дурная — крапива, иван-чай, рябинник (будыльник), осот и т. п. — забила крыжовник, заглушила землянику — ни выполоть, ни выкосить. Вчера вечером косил, отрываясь от косы для секатора — подрезать то, се. Мария Илларионовна вникла в прополку своих цветов — не дозваться.

Утром, в шестом часу, пошел искать грибов, но ничего не принес — все вытоптано или, вернее, какая-то волна грибная сошла, а для другой

---

[1] Состоявшийся 22—29 июня 1957 г. Пленум ЦК КПСС принял постановление «Об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.».



нет тепла. Правда, и хожено много, шагу не пройти по немятой траве, не свернуть в прогальчик, где бы уже не было хожено — только что или вчера. Но прогулка была хороша: здесь я дома, хоть и рычит аэродром, где кого-то встречают и провожают со всего света и строится больница, где уже возводят небольшой корпус морга (еще никого не лечили, а хоронить уже готовы) — все же здесь свое. Жаль, что холодновато и все посикивает дождик.

После грибов сел за стол, с трудом оторвался от разбора, выбраковки и приведения всяческих бумаг в порядок — обратился к главе.

**23.VII.**

[...] Подступили дела, требования, просьбы и т. п., перед которыми уже кажется — просто не устоять, все равно, мол. — Телеграмма и звонки Поликарпова. Встреча — 20.VII. — Хотел с тобой посоветоваться насчет создания Союза писателей РСФСР. Помнишь, как ты сказал, что, мол, дойдет еще дело и до организации Союза писателей РСФСР — в смысле развития аппаратизма.

Я: дело хорошее, но нужно, чтоб из него возникло что-то продуктивное во всей системе. Нужно, мол, после этого ликвидировать всесоюзное правление и т. д.

— А ты бы все это сказал, где надо, и т. д.

Часа два говорили, больше я, боясь уже, что сильно разволновал его, перенесшего недавно тяжелейший инфаркт.

Словом, все подошло к такой точке, что он снял трубку вертушки:

— Никита Сергеевич, тут вот у меня... Можно сейчас? Хорошо, он сейчас будет.

Он пошел меня провожать, и получилось, что вместе со мной вошел в кабинет Хрущева и был при всей беседе, чему я был очень рад, — это очень важно, что кто-то еще третий слышит, что ты говоришь лицу или лучше сказать — перед лицом... Понес я там все то же, что и Поликарпову, т. е. то же, что говорю обычно о литературе, о ее нуждах и бедах, о ее бюрократизации и т. п. Часа полтора. От него две-три реплики. Потом он сказал, но в очень приемлемой форме, что у него 10 минут на обед осталось, а потом он должен быть там-то. — Хорошо рассказываете, я хотел бы еще вас послушать и ответить вам. Давайте на этой неделе. — Вот и буду ждать звонка от Поликарпова и позванивать ему: — все иное, конечно, отступает, раз у меня выпала возможность высказать все, с чем ходишь, что носишь, заглавному лицу в государстве. А там будь, что будет. А может быть, просто ничего не будет, но я все равно доволен, что пошел на это.

(Перо новое, необписанное, чернила авторучки, писать не хватает терпения.)

Не забыть:

1) О двух языках — языке богослужения[1] и живой речи (к слову «Рычаги» [2]).

2) Об Алигер (опять навести).[3]

---

[1] Под языком «богослужения» А. Т. подразумевал язык, в некотором роде искусственный, отмеченный высокопарностью, излишней приподнятостью, перенасыщенностью клятвами верности, преданности и прочими в этом духе приемами, отличающими такой язык от обычной, повседневной нашей речи. Подобной характерностью (не отголоском ли «рапповщины»?) отмечены, например, выступления А. А. Суркова. Не однажды А. Т. прохаживался относительно «богослужебной» направленности его излияний, чем вызывал нерасположение к себе Алексея Александровича.

[2] «К слову» — как удобному случаю, естественному предлогу привести нужный пример, подтверждение. В данном случае таким доказательным примером А. Т. намеревался сделать рассказ «Рычаги» А. Яшина, убедительно показавшего двуликость и «двуязычие» руководящих кадров современной деревни.

[3] Точно так же, «к слову», удалось вернуться А. Т. к эпизоду с М. И. Алигер, несправедливо, походя задетой Хрущевым в многолюдной аудитории. Никита Сергеевич согласился принять и выслушать Алигер. Встречу (по словам М. И. Алигер) расстроили работники аппарата СП (К. В. Воронков). Под предлогом загруженности телефона («вертушки») ей не дали связаться с ЦК и договориться о времени встречи.

3) О райзо [1], без которых можно жить.

4) О «пужании», «двух центрах» и т. п.

5) О том месте в его выступлении, где он говорил, что партийную книгу нельзя написать по соображению, а можно только по убеждению (иначе я, мол, не могу, так верую и исповедую, и так пишу).

6) О необходимости широты, терпимости, спокойствия в решении литературных дел, вопросов, вещей (колесо из «Мертвых душ» — зачем, мол, оно). А там гигантский образ России — пространственной, медлительной, бездорожной и т. д.

Впрочем, у Чернышевского речь о том (в Очерках), что в художественном произведении нельзя исчислять всякую мелочь и искать в ней прямого обязательного соответствия замыслу и смыслу, — оно складывается из бездны подробностей.

7) О «Войне и мире» (зачем искусство, литература? — запечатлеть, закрепить в преходящести жизни ее главные черты — подтвердить в ней доброе, отринуть дурное).

«Поднятая целина» — до нее коллективизация как бы не... (Дело не в «Поднятой целине», но другой пример ему будет еще непонятнее).

Интересно, что вся эта встреча, моя разгоряченность, сумбурность и существенность слов — все это теперь вспоминается, как вчерашний хмельной день. Я даже не могу вспомнить, какая на нем была рубашка, — настолько мало меня это тогда занимало и настолько опрометью несся я бог весть куда. Помню только, что лицо у него не такое толстое и глупое, как на фотографиях, а более стариковское, пожухлое, но оживленное внутренним соображением, мыслью, хитростью.

При этом впервые мне мелькнуло, что он стар и наивен кое в чем, как дитя. Например, в вопросах собственно литературных. («Лучше нам плохое, лакировочное произведение, но наше — оно хоть небольшую пользу сделает, чем талантливое, но не наше».)

---

С чего бы и почему Поликарпов дважды повторил фразу — до и после беседы с Н. С. — обо мне:

— Неужели ты не понимаешь, что в тебе здесь заинтересованы больше, чем в ком бы то ни было из писателей страны, что ты, мол, первый поэт, и т. п. От себя? Может быть, но и вряд ли.

---

Сижу на городской квартире, расхламленной и развороченной, — делаем квартиру молодым, свалены книги, сдвинуты вещи. Хорошо еще, что есть эта причина сидеть, а то бы сидел, как в 54-м, просто в ожидании звонка, день за днем, безотрывно от внутренней «репетиции» предстоящей встречи.

Теперь мне кажется, что все же все это, сделанное под горячую руку, по наплыву энергии, напрасно — в лучшем случае, а в худшем и не без последствий для меня. Так или иначе — на душе смутно. Безнадежность, непродуктивность речей и слов, к которым готовишься, угнетают. Если бы речь шла о том — строить или не строить клуб и т. п., проводить или не проводить такое-то мероприятие, а то бог весть что!

Но это, должно быть, упадок сил после вчерашнего бессмысленного и неприятного двухчасового разговора с Михайловым [2] (по его инициативе). Будем тверже, наше дело правое.

Статья Лифшица о «Дневнике» Видмара [3] просто восхитила меня Как все-таки он умен и знающ. Но не это главное, а то, что вот, казалось бы, «вольнодумец» и т. п. — как он тверд и строг в незыблемых позициях марксиста-ленинца, как все непросто. Сказать по чести, статья полезна для меня, она этап в моем «хуторском» развитии, — я что-то понял вопреки тому рассыпчатому чувствованию, которое во мне уже возникало подчас и которое, в сущности, близко заблуждениям и наивностям Видмара. Проще сказать, усталость от плохой литературы и пусто-говорения об «идейности» толкает непрочных людей к таким именно заключениям о «неподвластности» художества сознательной мысли, о том, что оно «не может не...» — и баста. Ведь это я говорил: будь Толстой социал-демократом, членом партии, марксистом — лучше ли он был бы, да и нужен ли лучший Толстой?

[1] Райзо — районный земельный отдел.

[2] Михайлов Николай Александрович (1906—1982). В 1955—1960 гг. министр культуры СССР.

[3] Статьи М. Лифшица о работах югославского литературоведа и общественного деятеля И. Видмара печатались в «Новом мире»: «По поводу статьи И. Видмара. Из дневника» (1957, № 9) и «Философия жизни» И. Видмара», (1958, № 12).



## 25.VII. Москва

Сижу. Под окном пыхтят, подвывают и похлопывают машины по укатке последних закрайков (лапиков) асфальта новой нашей набережной. Как-нибудь записать, какая она была, когда мы въехали в эту квартиру [1], — свалочный обрыв к Москве-реке, на противоположном берегу облицованной и опарапеченной (!) хлам стройки, будки, нужник на восемь очков и т. п. Как грустно было, когда под самыми окчами стали строить барак для строителей Н.-Арбатского моста, — мы знаем, как долго стоят эти временные сооружения. Правее торчал лесопильный завод или что-то в этом роде за кривым безобразным забором из горбылей. На тропинки, пробитые среди кое-как сваленного древо-каменно-земляного добра, предназначенного образовать здесь, на низинном берегу Москва-реки, «культурный слой», — редкие и унылые фигуры людей с собаками на прогулке. Годы и еще годы — что-то там тарахтело, однообразно визжало — землечерпалки, потом стали ухать копры, забивавшие бетонные сваи в основание стенки набережной, потом ставились наклонно от воды бетонные плиты, подводились к ним хитроумные и дорогостоящие упоры, а по плитам шла линия облицовочного камня, и постепенно ровная черта стенки отделяла воду от берега, перепуская частью и землю к воде, и воду к земле (потом все это присыпалось, а из воды вычерпывалось, выравнивалось, облагораживалось). Пошли нынче лемеха и отвалы бульдозеров перегонять, передвигать с места на место, к краю, к стенке с выросшим на ней парапетом тяжелые перехламленные массы «культурного слоя».

Вдруг — когда приехали нынче с юга — уже ложился бетон подушек под асфальт, наводились бетонные бортики, отделяющие будущую мостовую от будущего газона. Потом липки — в июле — с землей в ящиках, и вот уже мы подъезжаем к дому с другой стороны, расчищается большой сквер в подкове корпусов, где стоял тот самый домик под тополями, который как-то напомнил Е. Усиевич какое-то минусинское жилье. Липки частью желтеют и осыпаются, их поят непрерывно водой, но особо их, кажется, мучит ветер, вытрепывая из них лесную или парковую, привыкшую к покою и тени душу. Под ними уже зеленеет на выровненной грабелечками земле сеяная травка. Уже очень красиво, но будет еще лучше.

Сижу, жду, что позвонят, и уже не желаю этого, а, наоборот, надеюсь, что так-таки на том все дело и кончится. Дотянуть до субботы. За дело взяться не могу, хотя трезв и ясен. Только что отправили машину с вещами, оказавшимися излишними при совершающемся уплотнении жилья.

## 26.VII.

Сижу. Вчера, вернувшись на дачу, лег рано и заснул крепко, — прохватился от того, как колотили в решетку ворот и кричали: сто-ро-ож!.. Зажег свет, все бьют, выбежал в трусах к воротам, даже не подумал, что это э т о, а что-нибудь куда необычней. — Александр Трифонович, бумага из Союза, распишитесь, пожалуйста. Ночь, человек оставил машину в километре за оврагом, стучится, поднимает меня (хорошо еще, что характер

[1] Речь идет о квартире в доме «Известий» на Бородинской набережной.

у меня добрый!) и: совещание по гимну и о важности участия писателей в фестивале.— Вот куда идут народные деньги, как говорится.

За окном все еще тукают машины, идет последняя чистка и глажка, а по проезжей части набережной несутся взад и вперед машины, как по кольцу или еще где-нибудь, где такая гладь и ширина уже привычное дело, никем не замечаемое. Липки мучатся, но которые ухватились за землю—тем жизнь, поливка, уход и на таком месте, что от одного доброжелательства и любовательства людских глаз можно расти.—Как будто дом повернули на другую сторону, перенесли на другое место, а тот пустырь собачий остался где-то за глухой стеной, в тени, как в моей памяти.

Что же я все-таки ему сказал, о чем вдруг была заведена речь.

1) Союз писателей РСФСР.—С этого был мой зачин. Если создавать еще одно такое построение, то пусть это отразится на всей постройке. Не нужно Всесоюзного правления и секретариата. Пусть республиканские союзы писателей живут, общаются между собой, как им лучше, но не будет этого верховно-бюрократического начала, принижающего самим своим существованием национальные литературы. Что, мол, Рыльскому или Кулешову—Ажаев, а он над ними, он должность.

2) У нас должность вообще выше таланта и ума, а в нашем деле одно превосходство, один авторитет—не власти, а таланта, творчества. Если уж власть, так власть таланта.

3) «А кто будет всеми этими союзами руководить, направлять» и т. п.—это еще поликарповский был вопрос.—Все будет хорошо, говорю, всеми руководит партия, и не нужно этого промежуточного «центра». Между мною, писателем, и читателем не должно быть никого и ничего, кроме разве редактора. Так у нас же их, сколько нужно.

4) Должность и сущность. Птицы певчие и ловчие (охотничьи). Сегодня заглянул в Щедрина—не дай бог им почитать там все подряд. Сказанул-то я так, по памяти. Но ничего особенного.

5) О «лакировщиках—наших людях».

### 29.VII. Внуково

В субботу поздно вечером нарочный привез билет на фестиваль. Но я не поехал, косил весь день, обкашивал смородину и крыжовник, хотя и очень тревожился за погоду: устоит—не устоит без дождя. Устояла. По телевизору мельком видел какие-то кадры празднества—наверно, интересно, но была усталость от города и боязнь сбиться с ног совсем. Еще если бы билет на 2, то поехал бы с Олей. Мы с ней как будто уже примирились. [...]

Сегодня в 10 ч.—ЦК. Вдруг стал думать: а почему бы мне не написать гимн. И написал бы, конечно, если б не конкурс, а заказ, если б не атмосфера вокруг,—где речь не о том, чтобы написать действительно хорошо, а чтобы угадать, уловить вкус и потрафить ему. Как Михалков говорил когда-то в ответ на мое замечание насчет его текста: ничего, когда будешь вставать при исполнении,—хорош будет (текст).

Уже очень хочется взяться вновь за главу от начала и пойти, пойти до конца. За этой главой сейчас очень многое для меня. Если я это еще могу, то и все остальное нипочем. Дело со стороны условий вырисовывается так, чтоб никуда уже не уезжать, а сидеть здесь—чего же больше в смысле помещения, относительного покоя и т. п. Боязно только, что Сурков не дремлет. Начнет привлекать, а нет, так и наябедничает дополнительно. Впрочем, все и это пустяки, если дело пойдет,—это тоже выдумки для того, чтобы не одному самому быть виной.

Советов мать родная,
Страна моя, земля родная,



Народов славная семья (больших и малых).
Ты вся от края и до края
Под звездами Кремля.

---

И умереть в бою готовы
За дело правое твое.
Да будет вовеки
Славен
Твой подвиг
Твой труд (путь)...

---

Нет, не так-то просто сложить что-то из немногих обязательных слов, невзирая на видимую примитивность и т. п.

### 2.VIII. Внуково

Третьего дня в 11.30 продолжилась беседа. На этот раз часа два с половиной. Все шло хорошо, я напомнил, о чем была речь тогда, ввернул насчет райзо,—тут он встрепенулся.

— А знаете, какое было сопротивление (упразднению райзо). И пошла «реплика», развернувшаяся главным образом на тему антипартийной группировки. Видимо, миновать ее ему было невозможно, а я, кажется, еще не задел ее. Говорил о незнании жизни, отрыве от жизни этих людей.

— С Маленковым натерпелся стыда при поездке в колхозы: ничего, как дитя, не знает в сельском хозяйстве. Молотов предлагал поехать вместе на Донбасс, где была низкая добыча. Но его там помнили по 33(?) году, когда он учинил там большой разгром кадров,—его боялись и не хотели. А я не хотел быть с ним, чтоб не краснеть за его незнание шахтерского дела. Он поехал в Кривой Рог. А я в Донбасс. Я не хвастаюсь, но разобрался во всех затруднениях, мы вынесли решение, нынче Донбасс перевыполняет планы. А он привез из Кривого Рога записку (можете ее прочесть, т. Поликарпов, устройте это)—курам смех, такая наивность в делах производства.

— Молотов—честный коммунист, но еще Сталин называл его обычно так: ж...—медный лоб.

Каганович—честный коммунист, я его знаю 40 лет. Теперь он поехал на работу в Свердловск (?), забрал брата с собой. Очень боится, что мы его посадим, а никто его сажать не собирается.

— Про Маленкова этого (о честности) не скажу. Это—глиста. Он умеет нравиться, культурен, обходителен, к месту может и пошутить, и все. Он втерся в доверие к Сталину. С Берией так дружили, что, как говорится в народе, в нужник вместе ходили. Ленинградское дело—это дело рук столько же Маленкова, сколько Берии. Берия—авантюрист, Маленков—карьерист.

(Борьба за близость к Сталину, устранение Вознесенского, намеченного Сталиным в преемники по Совмину. Примеры действия «топора» (МВД), отчасти известные мне по выступлениям на пленумах, кроме истории с шурином Сталина, грузином, фамилия вроде Санидзе[1]. Сталин подписал расстрел, но очень жалел его, застольного друга, почти члена семьи, и сказал: если попросит прощенья, покается, не расстреливайте. Тот не знал, в чем покаяться,—расстреляли.)

— Не многовато ли будет для поэта (всяких таких историй)?

— У группировки не было никакой программы, предложений. (На чем они сошлись? На обиде, на уязвленном самолюбии, что не они на первых ролях. Вспоминаю, с каким презрением Молотов говорил о Маленкове: политическая беспринципность, теоретическая беззаботность.)

Все шло хорошо, вдруг Поликарпий взвился:

— Давай уточним: ты считаешь, что нет группировок и центров,

[1] Алеша Сванидзе.

а «Литературная Москва»[1]? Это случайно, что там печатается статья Крона, уподобляющая политику партии в области искусства политике кнута и пряника. Случайно, что печатается некролог о Щеглове, написавшем в своей жизни две статейки, и в этом некрологе ревизуется решение ЦК о «Новом мире»... — И попер, попер взволнованно до крайности всю эту сурковскую муру.

Я взвился, в свою очередь, и, кажется, слишком его оборвал: от тебя уж я не ожидал, Дмитрий Алексеевич, и т. п.

Он: — Я прошу, Н. С., услышать, что я никогда подлецом не был, перед партией и ЦК не лгал.

Даже в машине потом я не мог ему разъяснить ничего, успокоить, он, не стесняясь шофера, выяснял отношения, я боялся, что у него повторится инфаркт.

— Ты второй раз в жизни подводишь меня под подлеца в ЦК... (это о его снятии с Союза в 46 (?), когда я, оскорбленный им, покинул заседание в Союзе). Это все было очень неприятно и тяжело, и жаль, что так получилось.

Он хороший человек, ко мне относится с добром. Там, у Хрущева, он, уже оскорбленный, заговорил о «гвозде» в моем сапоге, об обиде в 17 и 45 лет: происхождение, мое заявление во время обмена партдокументов.

Хрущев сказал: Вообще мы могли бы вернуться к этому вопросу. Я согласен быть клещами, которые вытянут этот гвоздь.

Я промолчал и сейчас не знаю, как я еще поступлю. Пережил уж я это, и нет сил, нет нужды, нет охоты перемалывать все сначала. [...] Руки пожимали не менее трех раз. — Будьте здоровы, будьте ближе к нам, чтоб нам с вами советоваться по делам литературы и искусства. (А не вас, мол, наставлять, и т. п.)

Предложения насчет структуры Союзов поддержал. Пожалуй, только сказал, всесоюзное управление нельзя совсем снять, надо подумать. Да, нечто вроде совета старейшин сделать.

— Алигер я бы принял, рад и готов. И Дудинцева бы принял.

**4.VIII.**

К «П е ч н и к а м».

Когда мы с майором заговорили о Маяковском, старый мастер замолчал, пережидая нас отчужденно и горделиво. Если я этого ничего не слыхал и не знаю, — как бы говорил он пренебрежительной миной и сопеньем, — так потому, что это мне ни к чему, без надобности и неинтересно, и, наверно, пустяки какие-нибудь. Но когда упомянули Пушкина, он сказал:

— Пушкин великий русский поэт. — И сказал так, как будто это он только знает, дошел своим умом и говорит первым на всем белом свете. — Великий поэт. Эх! — Он прищурился и прочел, припоминая с нарочитым выражением восторга и умиления:

> — Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
> Москва, спаленная пожаром,
> Французу отдана.
> Ведь были ж схватки боевые...

[1] Вышедшие в 1956 г. два объемистых сборника московских писателей «Литературная Москва» были попыткой членов редколлегии (Э. Казакевич, В. Тендряков, К. Паустовский, М. Алигер и др.) собрать лучшее из того, что в какой-то мере соответствовало духу XX съезда КПСС. Однако именно партийная печать незамедлительно подвергла критике входившие в сборник рассказы А. Яшина «Рычаги», Н. Жданова «Поездка на родину», Ю. Нагибина «Хазарский орнамент», а также «Заметки писателя» А. Крона, анализировавшего недостатки современной литературы и театра. На объединенном собрании парторганизаций московских писателей и Правления СП СССР обсуждался вопрос «об ошибках, допущенных редколлегией сборника» (см. «Литгазету» от 6.VI.1957 г.). На общемосковском собрании писателей (11.VI) К. Федин выступил с критикой «одностороннего» изображения жизни в ряде произведений, опубликованных в журнале «Новый мир» и во втором сборнике «Литературной Москвы» («Литгазета» 13.XI). Выступление это (с сокращениями) появилось в «Правде» (16.XI). После этого редколлегии «Литературной Москвы» оставалось лишь самоликвидироваться.



— Это же Лермонтов, — засмеялся майор, а старик только покосился в его сторону и, как бы ничего не слышал, продолжал:

> Ведь были ж схватки боевые,
> Да, говорят, еще какие.

— Это Лермонтова «Бородино» —

> Недаром помнит вся Россия
> Про день Б о р о д и н а. —

— Или «Полтавский бой», — продолжал он с хвастливой мечтательностью. — Горит восток зарею новой.

— Это Пушкин, верно, только «Полтавский бой» — один отрывок, а это поэма целая «Полтава».

— А я разве говорю, что не Пушкин. Пушкин, конечно, — взбодрился старик, не желая возвращаться к вопросу об авторстве «Бородина». — Кто же так еще напишет. Может быть, твой Маяковский? Нет, брат.

— Маяковского нет в живых, — терпеливо заметил майор. — Что бы он еще написал — неизвестно.

— Хе! — старик с величайшим недоверием махнул рукой, как бы говоря, что ему-то доподлинно известно, что тот Маяковский мог написать.

— Ну, и корень ты, — осторожно усмехнулся майор, прикрывая рот тыльной стороной перемазанной лепкой ладони. — Ох, корень.

Старику, видимо, было даже приятно, что он корень, но тут же подчеркнул, что и это ему не в новинку:

— Слава богу, на восьмой десяток взошел. Поживите с мое, тогда будете говорить.

Это уже относилось не к одному майору, но и ко мне, и ко всему поколению, а может быть, отчасти и к советскому строю.

Я думаю, что он смекнул свой промах с «Бородином», но признать это было бы для него нож острый.

---

**5.VIII. Внуково**

Сегодняшний присест — при всей черновизне — порядочно, — не сглазиться бы. Завтра нужно с утра быть с фестивальными писателями[1] в Химках — на теплоходе. Жаль утра, но трудно уклониться — слишком уж демонстративно будет воспринято руководством. Отбыть — и за дело. Теперь — финал — заря, Ангара у наших ног, память об ушедшем друге, поезд.

**13.VIII.**

Захват территории продолжался вплоть до «зари» и «друга». Вдруг увидел, что митинг лучше до «зари», а «друг» лучше после «зари», перед самым концом, но бог весть, как это все разнеслось. «Критик» выпадет наверняка, из этого можно сделать что-нибудь и отдельное.

**16.VIII.**

Считаю, что вчерне добежал по «пространству» до конца главы. Теперь закрепление. Вчерашний партком, просьба об информации о встречах с Н. С. Как будто все хорошо, но за всем этим настороженное, сурковское горячечное бденье: «Только прорваться к нему не могу» (к Н. С.), — слова Сытина, переданные мне Макарьевым. [...]

**9.IX.**

Третьего дня, закончив отбелку главы, пошел после обеда в грибы (эта глава вообще — во второй своей части обязана грибам — пойду утречком, наберу корзинку и несколько строф и строк для очередного присеста), набрал корзиночку, вспоминая отбеленную главу, — какие в ней еще

[1] В эти дни в Москве проходили встречи с группой греческих литераторов. (См. «Литературная газета», 6.VIII 1957 г.).

неувязки, недостатки, натяжки, длиннотки и т. п. На выходе из леска встретил меня Потапов[1], — он, оказывается, приехал тотчас, как я ушел в лес, и уже искал меня и окликал с обеих просек. Я ему прочел, он говорит: едем в редакцию, очень тебя просили, еще и не зная, что есть глава. Поехали. Была суббота. Прочел Сатюкову и тем, кого он собрал по редакции. Там читалось лучше, чем Потапову, не говоря уже о том, как за день-два до того читал Заксу и Сацу, — без очков, при плохом свете, запинаясь, возвращаясь, растягивая слова, и т. п. — ужасно. По лицам увидел, что доходит. Сатюков даже отважился встать и пожать мне руку, поздравляя «с большой удачей». «Если автор не возражает — дам в №». Было уже около 8 часов, номер, собственно, был готов — что-то сняли из полосы. Я остался в редакции, вычитывая рукопись с машинки, потом корректуру. Было весело, необычно и тревожно. (Мне, например, пришла мысль, что «Устье» — липа, нет такой стройки, — не нашли в службе справок — но, помнится, что так, есть в устье Ангары еще одна стройка — что-то вроде Усть-Каменск.) Во втором часу ночи дали мне из сигнальных пачку экземпляров газеты, и я, выпив с Потаповым в «Северной» коньяку, приехал на такси в четвертом часу на дачу, где Маша не спала и думала уже, что дело плохо. (Валя забыла ее предупредить, что я поехал в «Правду» и что, может быть, заночую в городе. — Хочешь видеть сегодняшний номер «Правды»? — Ничего я не хочу, иди спать. — Но я настоял, чтоб она взглянула на полосу, две трети которой были заняты главищей. — Успокоилась — и весь день была добрее, чем обычно. Валя, приехавшая из города вчера поздно, сегодня говорит, что на квартире уже есть и телеграммы.

---

Что я должен сделать, боже мой, в ближайшие дни и месяцы, помимо предполагаемых поездок в Сибирь и Италию.

1) Статейка для детгизовской «Лирики».
2) Статья для «Правды» о Маршаке.
3) Статейка о войне и литературе для «Литературной газеты» (по возможности).
4) Лирический цикл из того, что есть, и из предполагаемых:

Я живу на берегу неба...
Желуди по железной крыше...
Не ходи по земле как-нибудь
Столичное утро (стихи в газете) и др.

5) Печники.
6) Сдать в ближайшие дни «Избранное» для «Библиотеки поэзии» Гослиту.

Из отходов главы:

— Ага, — спешит мой критик едкий
Загнуть странички уголок. —
Ага, стихию напоследки
Для пущей живости привлек.

Мол, эти бури, вьюги, ливни —
Они затем и под рукой,
Чтоб труд иль подвиг коллективный
Под красной выявить строкой.

Чтоб показать единоборство
С природой косной, чтобы в нем
Подать подъем, порыв, упорство —
Испытанный прием!

Тот принцип: все правдоподобно
(Цитата точных слов моих),
И тем еще всегда удобно,
Что вместо трудностей иных.

Как будто вправе исключить я
За просто так — для красоты
Из достоверного событья
В натуре бывшие черты.

[1] Потапов Кирилл Васильевич — сотрудник отдела литературы и искусства газеты «Правда».



Мне наплевать на те романы,
Новеллы, драмы и стихи,
Где впряжены в прием бураны
И силы прочие стихий.

А что до трудностей иных,
То мне в моей дороге дальней
Искать их специально —
Нет нужды. — Ты — одна из них.

Городское московское утро, летнее, пахнет поливкой, просыхающим после поливки асфальтом. Я иду к газетному киоску (неприметный — газетный). Никто ничего не знает из стоящих в очереди.

А я-таки знаю.
(Там идут мои стихи.)
Мне ночью звонил (это было недавно)
Не просто редактор, а — главный...

## 1.XI.

28.X. возвратился — поездом — из Италии.[1]

Конечно, это было чтение книги с неразрезанными страницами, — по Гете. Дело не только в безъязычье и неподготовленности общей, но главным образом, пожалуй, в темпе и основном назначении поездки: встречи, речи, тосты — все ощупь. В этих речах мы все становились глупее, чем даже есть на самом деле.

И однако что-то зачерпнулось памятью и от Рима (Колизей, Сан Пьетро, музей Ватикана, улочки, город — смесь древности священной с безумьем сутолоки современной), и от Флоренции (Уффици — Боттичелли — впервые рассмотренный мною); и от Равенны (мозаики мавзолея Галлы Плакидии и др.); и от Палермо (залив, переезд, поездка на пароходе, дворцы норманнов, экзотическая природа); и от Неаполя: мозаика огней, когда ночью видишь город с моря, с парохода, Помпея, незатухающий вулкан Сальдажара (?), грот Сивиллы со Стиксом в окрестностях, садик, где предполагаемая могила Вергилия и настоящая Леонардо, — кстати, и Реканати — родина последнего, малюсенький городок в горах, и многое другое.

Но все это было омрачено для меня тем, что случилось со мной на аэродроме в Цюрихе и в таможенном помещении римского аэропорта. Что, в сущности, со мной было — не знаю, но я и там, и там терял сознание, — в первом случае на короткие минуты, второй — на более длительный срок. Доктор говорил о каком-то спазме.

Все это до Москвы докатилось в разукрашенном и сенсационном виде. Когда меня в эти дни встречали некоторые люди, я видел на их лицах заметное разочарование: «А говорили, что вы...» и т. д. Очень неприятно, но жить нужно.

Для стихов только одно навеялось — и то не столько в Италии, сколько в Вене — со слов консула, — о русских, застрявших, порой связавшихся с заграницей семейно, безысходной их тоске по родине. Может быть.

Неожиданным и радостным были несомненнейшие симпатии различных слоев и кругов итальянского народа к нам, СССР и нашему народу. Нужно сказать, что немалая причина тому — «спутник», запущенный перед нашей поездкой, как бы специально.

## 2.XI. М.

Гулял по отрезку новой магистрали от Ново-Арбатского моста (от угла моего дома) до выхода ее, слияния с магистралью Москва — Минск. Оттуда взглянуть — это есть прямой въезд в столицу с запада, а старый — боковая кривуля, примыкающая к нему. Кажется, что этот великолепный проспект был уже давно, но почему-то был закрыт, а езда происходила

[1] Поездка в Италию имела целью участие советской делегации в трехдневной дискуссии на тему «Поэзия нашего времени». Помимо А. Т., в делегацию входили М. Исаковский, А. Прокофьев, Н. Заболоцкий, Б. Слуцкий и еще несколько поэтов.

кривым и тесным арбатским объездом. Было еще до семи часов утра, на мосту заметно было копошение и огни ночной работы, но на магистрали пустынно. Стояли еще не полной до конца аллеей только что высаженные 20—30-летние липы,— о них хочется сказать, что они посеяны 40 лет назад до этого праздника и выстроились в возрасте революции. Вдоль забетонированных, но еще не замощенных или не заасфальтированных тротуаров—в такую же примерно ширину—полосы, где идет отсыпка грунтовой черной земли, привозной, но с примесью краснокирпичной щебенки,—это под газоны, на которых будут стоять липы, и расти им будет куда лучше, чем в квадратных окошках, прорубленных в асфальте.— В междорожье, большом клину от снесенного пивзавода до Москва-реки,— мелкие, старые, обреченные на снос дома, и здесь, кажется, будет огромный сквер, почти парк. Вспомнились Прага и итальянские города — сколько зелени, как они ухожены, очерчены срезами на склонах, прочерчены дорогами проездными и пешеходными дорожками, как защищены, обнесены откосы стенками, контрфорсами, эстакадами. Долго еще наряжаться Москве, чтобы выглядеть в таком виде, а все же она лучше, в сто раз милее. Великолепная статья француза в «Литературной газете» (Шамбрель?) [1] о нас, о спутнике и т. п. без подхалимства и сентиментов, дружеская, горячая, искренняя.

**5.XI.**

Спутники все смешали и спутали, все как-то вдруг устарело и стало меньше—особенно стихи.

Пытался среди суеты этих дней доработать еще коктебельский набросок о «крови, пролитой народом» [2]. Лепил нечто «с натуры»—о сорокалетних липах, а сегодня ночью и утром написал какие-то строфы о спутниках.

Заношу все по порядку,— завтра еще есть утро, чтобы что-нибудь достругать для «Правды».

Маршацкий юбилей дает себя чувствовать. Этот крохобор собственной славы не дает пощады ни себе, ни ближним [3].

**6.XI.**

Ходил утром по новому мосту, где еще идут работы, до слияния этого отрезка магистрали с Новинским бульваром.

**10.XI.**

Вчера весь день разбирал и подбирал по порядку свои тетради за 30 почти лет. Как ни обрывочны и случайны эти записи и наброски, все же в общей связи они дают какие-то вешки прожитых лет, где целые периоды в живой памяти спутаны и затемнены уже до безобразия. Еще осталось составить краткие заголовки содержания для наклейки ярлыков с порядковым номером. Всего, исключая страницы загорьевского ребячьего дневника, зачем-то переписанного мною когда-то до войны еще (оригинал уничтожен тогда же), и «беловых»—списки поэм и стихов (тоже с давних времен) — всего рабочих тетрадей 18, эта — 19-я (20-я?).

Приведение всего в порядок—некая побудительная к дальнейшему заполнению подобных страниц штука. Много нашел стихов, которые не только не хуже печатавшихся тогда же, но порой лучше, не обременены так обязательной идейно-содержательной нагрузкой, как предназначавшиеся непосредственно для печати. Их незаконченность выгодно отличает их от той «законченности», которая была обязательна и неизбежна.—Много и записей (довоенных) типа «Родины и чужбины», может быть, подойдут для тома прозы в Собрании сочинений. [...]

[1] Жан-Пьер Шаброль. Выступление французского писателя («Литературная газета», 1957, 2 ноября) было посвящено 40-летней годовщине Октябрьской революции.

[2] В новой редакции эта строка — она же начало лирического стихотворения — читается так: «Та кровь, что пролита недаром». (Собр. соч., т. 3, с. 91).

[3] В эти дни отмечалось 70-летие С. Я. Маршака. Некоторая ворчливость тона этой записи вызвана тем, что А. Т., давший согласие сказать вступительное слово на вечере юбиляра, нервничал перед выступлением.



**5.XII.**

Первый, в сущности, день настоящего здоровья и порыва к наведению порядка в хозяйстве за порядочный срок. И коль скоро это так, то и ожидание всевозможных неприятностей через Лидию Дмитриевну и прочих не так страшно, хотя еще бог весть—не заставят ли опять ехать в Кунцево, в тот самый приемный покой, откуда вчера ретировался, охваченный вдруг отчаянием и страхом.

(Непроизнесенная речь при открытии юбилейного вечера в Колонном зале). Тезисы.

Сегодняшняя наша встреча с Самуилом Яковлевичем посвящена семидесятилетию со дня его рождения.

— большое событие в жизни нашей литературной, подлинный праздник всей советской культуры.

Имя С. Я. принадлежит к числу самых видных и прославленных имен нашей поэзии, литературы, имен, составляющих ее красу и гордость, и естественно, что его 70-летний юбилей... Это тем более так, что дата 70-летия застает знаменитого поэта не в образе увенчанного лаврами старца на покое, а в образе полного творческой энергии, неутомимого труженика литературы, от которого мы вправе (это право дает нам вся плодотворная работа С. Я. вплоть до нынешнего дня) ожидать еще многих и многих свершений во славу родной литературы.

Нет нужды в данном случае сколько-нибудь подробно характеризовать многообразную творческую деятельность С. Я.—одного из зачинателей и создателей советской детской поэзии, представляющей собою вообще беспрецедентное явление в истории мировой литературы, блистательного мастера поэтического перевода, давшего нам <такие> несравненные образцы этого рода поэзии, как балладу и песни великого Р. Бернса на русском языке; или драматурга-сказочника, или боевого сатирика-газетчика, или автора многих работ по истории и теории литературы, наконец, замечательного редактора и организатора литературного дела.

Работу Маршака высоко ценил А. М. Горький, следивший за ней и направлявший ее на протяжении целых десятилетий до конца своей жизни.

Работа С. Я. получила такое необычайно широкое признание у большого читателя нашей многонациональной страны и за ее пределами, что поистине вряд ли какой другой из ныне живущих писателей имеет такой огромный читательский контингент — по крайней мере в возрастном смысле, так как Маршака читают и знают с самого раннего возраста и уже не расстаются с ним в дальнейшем жизненном пути.

Партия и правительство давно по заслугам оценили работу С. Я., видя в его творчестве, в первую очередь, мощное и властительное средство коммунистического воспитания молодого поколения. С. Я. награжден многими орденами и медалями СССР. Книги его удостоены трех Сталинских премий, нынешний его юбилей отмечен высшей наградой — орденом Ленина—это уже второй орден Ленина, отмечающий заслуги С. Я. в деле развития советской литературы.

Необходимо сказать, что особая благородная целенаправленность детской поэзии Самуила Маршака, ее практическая, педагогическая в самом высоком смысле этого слова (демократическая) предназначенность определили строй и стиль всей в целом литературной работы С. Я.— ее ясность, дельность, отчетливость классически отработанной формы, живой, подвижной, выразительной и изящной, но чуждой пустым формальным ухищрениям, чуждой погони за дешевизной моды.

На этом пути поэзия Маршака имеет такие вершинные достижения, как усвоение нашей родной речью поэзии Бернса и Шекспира, образцов фольклора западных народов и народов СССР. Считается общепризнанным, что эта работа С. Я. составляет значительную ступень в развитии нашей поэтической культуры.

Велико значение поэзии Маршака как образца, как примера для молодых и не столь молодых наших поэтов. Она учит высокой ответственности поэта, она — враг как беспечности относительно формы, так и бесплод-

ных, заносимых с Запада или уцелевших от отечественного декаданса крикливых и претенциозных поисков внутри самой формы. Не приходится говорить, как дорога, как ценна для всех нас помощь С. Я., как нашего мастера с бесспорным авторитетом, советчика и наставника, товарища и старшего друга по перу.

Я позволю себе от вашего имени, от имени собравшихся здесь его читателей и почитателей его таланта и его товарищей, советских литераторов, сказать здесь нашему дорогому поэту, что мы его любим, гордимся его подвижнической работой и в день его славного 70-летия желаем ему еще многих лет жизни, счастливых и дерзких замыслов и радостных находок в труде.

По поручению и т. д.

**15.XII. Ялта.**

Первый день здесь. Все позади: Сурков, Сытин и К°, Лидия Дмитриевна, даже Поликарпов, который, похоже, забыл о своем предложении «подумать» по поводу задачи «возглавить Московскую организацию»...

Уже в вагоне нет-нет и охватывало такое чувство естественной свободы от всех этих «снов» и «яви», которые в Москве обступали грозным и унижающим душу кошмаром. Зачем мне все это, если выполнение главной задачи дня и всей жизни обусловливается только тем, что там кажется совсем не обязательным и не важным — моими писаниями? Правда, все же это чувство свободы не было так сладостно, как оно представлялось заранее, когда еще нужно было преодолевать какие-то помехи и препятствия (врачи, «страх» перед Сытиным и неловкость перед Дмитрием Алексеевичем). Но все же.

К утру в вагоне сложился замысел пьесы, который как будто уже много лет просился на бумагу, — его нужно будет изложить на свежую голову завтра. Здесь, с момента приезда и до послеобеденного «творческого сна», от которого не удержался с дороги и после большой прогулки вниз к морю, все было мне так хорошо, что я по опыту уже знал, что так долго не может быть без перемен.

Погода — по-видимому, это и есть южное зимнее ненастье — то дождь, то солнце; бушуют в парке вечнозеленые деревья (кедры, туи, еще разные), навевая дремоту, море, мутное, как вода в стиральном корыте (до какой-то черты), гремит и местами переплескивается через парапет, — почему так — не мог сообразить, — местами. Воскресный день, вся набережная забита гуляющими, отдыхающими и чающими целебного действия стихий на их натуру. Одежда — от рубашки без пиджака до шубы с воротником и шапки-ушанки.

Дом на 30 человек (комнат), а живет (с нами!) не более 10. Монастырь в лучшем смысле, спал с открытой на балкон дверью.

Практические задачи на здешний период:

1) «Стихи читателей «Теркина» (предисловие, сопроводительная заметка к текстам).

2) Разные стихи (в дороге задумалось об Александровском централе и др.).

3) Дописать, наконец, рассказ «Печники».

4) «Дали».

5) Пьеса, о которой больше всего думаю.

6) «Теркин на том свете».

**16.XII. Ялта.**

Конечно, лучше бы всего назвать пьесу «Пан Твардовский», но это заглавие я хочу сохранить для «главной книги».

1930 г. Осень. Семья накануне раскулачения — получено «твердое» или «индивидуальное», которое выполнено быть не может, так как лето семья уже проработала в колхозе, мать отмыла и выходила запаршивевших колхозных свиней. Уже примирились с переменой жизни — как люди, так и мы. Но глава семьи (как не хочется называть его иным именем или прозвищем, чем «пан») не пошел в колхоз, он уехал куда-то по старой памяти на Юзовку (в Донбасс), чтобы там окорениться и забрать семью, покинув хутор и вообще деревенскую жизнь, где, он видит, добра уже ждать нечего. И в колхозе с Алешкой Рядчиковым и др. «болтунами» он быть не намерен.



Старшему сыну лет 22 — он на 2 года старше второго сына, который издавна был определен в семье для интеллигентной судьбы, он комсомолец, «идейный», фанатичный юноша, преданный весь новому, страдающий от отцовских собственнических навыков, замашек и фантазий. Он-то и сбил, сговорил мать и старшего брата, любящего его нежно, пойти в колхоз, вопреки воле отца. Он, старший брат, собственно, такой же начитанный и сознательный юноша, как и младший, но он издавна определен «хозяином», кто останется на земле и будет держать хутор и будет опорой старых и малых.

Там еще целая куча детей — до маленького 2—3-летнего ребенка, но как с этим быть на сцене, не знаю. Может быть, оставить одну сестру, уже заневестившуюся, малограмотную и некрасивую, — ей не мечтать о чем-либо другом, кроме черной работы, и колхоз ей не страшен, наоборот.

Получено задание, семья уже в «списке», составленном группой бедноты под диктовку приезжей «тройки», для которой главной приметой зажиточности была новая пятистенка, год-два назад купленная отцом-честолюбцем и хвастуном за бесценок у «самоликвидировавшегося» богатея, загодя порвавшего с деревней.

Мать из «дворянской семьи», малограмотная, ничего, кроме домашней и полевой работы, не умеющая, прекрасная работница, испытывавшая всю замужнюю жизнь отвращение к «торговым» и иным махинациям мужа, кончавшимся неизменно провалами, уводом единственной коровенки со двора и т. п. «Поставщик двора его величества».

Эта пятистенка срублена из панского леса, который пошел под топор в годы революции. Отец не рубил, не желая равняться с другими и, может быть, в надежде, что ему это зачтется хозяевами леса, когда все встанет на место. Он вообще не рад был вольной земле, лесу, — он свою купил, положив на это все молодые годы в изнурительном труде, какого не знал Алешка и подобные ему, которые теперь получили землю за здорово живешь.

Младшему сыну нечего сказать своим родным, которых он страстно, изо дня в день агитировал вступить в колхоз, рисуя волновавшие его и занимавшие его воображение картины социалистической жизни.

Более того, он уже знает, что если помедлит бегством из родных мест, то поедет с семьей туда, куда ее вышлют. Отчаяние, горчайшее отчаянное недоумение: значит, и я враг колхозов, советской власти. Так не может быть, но нет, может, и будет именно так. Он еще секретарь комсомольской ячейки, над ним уже занесен меч. Он должен порвать с семьей, отказаться от нее, проклясть ее — тогда, может быть, он еще останется «на этом берегу», а нет — хочешь не хочешь — будешь «врагом», кулаком, которому никогда и ничем не отмолить себе прощенья у советской власти. Но он любит и жалеет свою мать, знает, что она не виновата, любит брата, который для него, собственно, окорнал свою судьбу, надев лямку «хозяина».

«Бывают такие времена, когда нужно выбирать между папой-мамой и революцией» — это слова секретаря Смоленского обкома И. П. Румянцева (когда я ходил к нему в 31 г.), «лучшего ученика тов. Сталина», впоследствии разоблаченного как «враг народа» и еще впоследствии реабилитированного посмертно.

Эти слова младший брат слышит из уст секретаря партячейки, сельского учителя, который благоволил к нему, никогда не считал его кулацким сыном, знал хозяйство его семьи и т. д., но который бессилен что-нибудь сделать против «тройки», которая приезжала как-то в ночь и в ночь, наверно, наедет, как уже заведен этот порядок, чтобы вывезти и эту семью в неизвестном направлении.

Младший брат не может найти иного объекта своей ненависти, кроме семьи, из-за которой, так или иначе, он попадает в это ужасное положение. Он обращает на нее те жестокие и обидные попреки, которые разве что могли бы быть обращены к отцу, от которого страдали и мать, и брат, и все (и он сам, между прочим).

Мать говорит:

— Ладно, что с нами ни будет — все равно, мы уж свое отжили, но вам жить нужно. Уезжайте, детки.

Младшему стыдно и горько, старший говорит, что он не бросит мать и других. Он мирится с навязанной ему ролью «хозяина», но тут и своя гордость.

Младший решает бежать, но скрывает это, он будто бы едет в район на попутных санях и к вечеру вернется. Все делают вид, что верят, но мать при этом снаряжает его в дорогу, как на день не снаряжают: белье, продуктишки, деньжонки. И потихоньку плачет.

Он уезжает, в последнюю минуту бросившись со слезами к матери, но все же не говоря, что уезжает навсегда.

Последняя сцена. Возвращается отец, в доме уже другие люди. А он привез гостинцев и все данные, разрисованные им с обычным хвастовством, на переезд в город, на хорошую жизнь и т. д.

— А где они?

— Может, еще на станции, в эшелоне мерзнут, иные по две недели ждут.

Все кончено. Нет хозяйства, нет иных дорог в жизни. Он расспрашивает, как ему найти своих, куда предъявиться, чтобы следовать вместе с ними. И прощается со своими нелюбимыми соседями, которые не могли простить ему его гордости, заносчивости, хвастовства.

— Так, сукины сыны, — говорит он. — Хорошо! Ну что ж, значит, я не чета вам, голодранцам, раз меня выселяют, значит, был я житель и настоящий человек. — Это в других словах, но он испытывает величайшее удовлетворение, что попал в «тот» список, равняющий его с теми, до кого ему было далеко. Он — горд.

**17.XII. Вчера:**

(Строки без напряженья и вдохновенья, на одном навыке, — так, должно быть, пишет Долматовский — раз сел, то и написал).

В цемент навечно впущенный топчан...
На нем, должно быть, бился по ночам
(Какой, наверно, страх — бессонный).

Передо мной кругом вставали реки
Иных времен и поколений —
Людей, что здесь когда-то встарь
Держал далекий петербургский царь.

И странно — новый строй — тот самый строй, во имя которого страдали здесь борцы, — строитель и воин — наследье это хорошо освоил.

И даже приумножил и развил (усовершенствовал). Церковь разобрана, и из нее сложена каменная тюремная стена; водоем среди двора — от ручья, пересекавшего двор, — где арестанты мыли белье и мылись сами в жару, — заключен (ручей) в трубу и отведен со двора.

Мне скажут: рано об этом говорить, зачем бередить раны. Но рана заживающая — радость, и честь ему (строю), что он на это дело оглянулся и упразднил, и развенчал тюрьму.

И пусть неповадно будет впредь увлечение этими достижениями.

И если б вздумалось кому
Вновь утвердить и освятить тюрьму (политическую),
То вряд ли б это удалось ему.

**17.XII.**

Сегодня в связи с заметкой в «Курортной газете».

«Высоковольтная линия электропередачи
Иркутск — Братск вступила в строй»

Иркутск. (ТАСС). После всесторонних испытаний и проверки включена для принятия промышленной нагрузки линия электропередачи Иркутск — Братск напряжением в 220 киловольт. Протяженность линии — почти 650 километров.



Линия электропередачи Иркутск — Братск сооружена в рекордно короткий срок — немногим более чем за два года. На строительстве ее самоотверженно трудились тысячи юношей и девушек, приехавших в Сибирь по путевкам комсомола. При прокладке трассы строители преодолевали горы и топи, врубались в вековую тайгу, очистив от леса полосу общей площадью в 3300 гектаров. На линии установлено около 1800 стальных опор, смонтировано почти четыре тысячи тонн сталеалюминиевого провода. Благодаря применению опор облегченной конструкции удалось сэкономить 1500 тонн металла.

Высоковольтная линия Иркутск — Братск — первое звено будущей единой энергетической системы Восточной Сибири. Она позволит еще шире развернуть основные гидротехнические работы у Падунского порога, быстрее электрифицировать отдаленные северные районы.

Энергия Иркутской ГЭС и других станций, входящих в систему «Иркутскэнерго», со вчерашнего дня идет на строительные площадки крупнейшей в мире Братской ГЭС. В дальнейшем, когда этот гигант советской энергетики вступит в строй, ток будет передаваться в обратном направлении, на предприятия и стройки Иркутско-Черемховского промышленного комплекса».

...И, может быть, она уже не вернулась в тайгу, уехала домой, и ничего особенно дурного здесь нет, но сегодня, когда она прочла в газете об окончании стройки, может быть, у ней сердце притихло от тоски, точно город взят без тебя, а ты на дальних подступах вышел из строя. — Но может быть, и иное: мол, там я кровь пролила, там была. Это стройка моя. — Это трудно сказать...[1]

---

Набрасывать, что есть в запасе, и приводить в порядок резервное. К пьесе страшно вдруг приступить, — как весомы, выразительны и естественны должны быть слова, обстановка, как сразу дать время, место, погоду за стеной, заднее и переднее.

Младший сын приезжает домой из города, где он учится в институте, он первый раз в этой пятистенке. Старший сын поехал за сеном для падающих колхозных коров, хотя уже все ясно, что из колхоза они механически выпадают. Но ему жаль скота, он почти что сам вызвался в эту трудную поездку.

**23.XII.**

Московское утро
(внуковский набросок, взбодренный вчера).

Скорее всего распадется на два стихотворения, одно к московскому циклу — невинное, о том, как я покупаю газету, немного грустно; другое — с крамолой.

**Вечером, 24.XII.**

Я не могу не понимать, что занимаюсь покамест пустяками — переписываю, перелицовываю, перешиваю, кое-что по мелочам, новое затеваю, но даже такое дело, как необходимое окончание «Печников», все откладываю. Но пусть выпишутся все стихи, заметанные в тетрадках и в голове, а там уж за прозу.

Времени до обидного получается мало. Встаю рано, вернее, просыпаюсь часа в 4. Куда и что в это время — только в нужник сходить. Начнешь досыпать, покурив, уже хуже дело — 7 — 8 ч. А сегодня проснулся в полшестого и не отважился гулять по темноте, заленился, заснул вновь и — 9 ч. Утром бегаю маленько по ближайшим горным тропинкам вверх от дома, после завтрака сижу до обеда, едва успеешь связать несколько строчек — все, а еще письмишки, делишки. После обеда прогулка вниз

[1] После подклеенной газетной вырезки — заметки о линии Иркутск — Братск — идет черновая запись темы стихотворения «От Иркутска до Братска» (см. Собр. соч., т. 3, с. 93), заключенная раздумьем о возможных вариантах.

к морю или заодно — кино, а после ужина едва ли не в первый раз здесь еще сажусь за стол. А в 10 уже клонит ко сну, да почитать. Но все же все идет в добром порядке. По крайней мере, страницы тетрадки заполняются, и то хлеб. По-видимому — хороша ли, худа эта моя тетрадочная система, но мне уже ее не менять. Пусть так и будет, что одно набрасывается, другое переписывается с доработкой, третье отбеляется и идет на выход. Тетради — мое спасенье.

Почти каждый день — кино. М. И., Оля смотрят все до конца, а я, по грехам нетерпеливости, порой убегаю. Особенно тяжелы «соцкомедии» да еще, скажем, болгарские. Но вот посмотрел первую серию «Тихого Дона», что боялся смотреть, предчувствуя недобро, и это оказалось совсем не так плохо. Заставило вновь задуматься над этой книгой, подобно тому, как в 40-м году, когда я думал, что финская война все сместила на свете, и вдруг 4-я часть, — нет, это не сместить. И прахом показались все наши «боевые эпизоды» и всякое такое, чем мы кичились: вот, мол, на самой передовой.

---

Прочел (начал еще в Москве) «Лотту в Веймаре». Верно говорит Казакевич — в сущности, из ничего вещь, но выполнена так, что читаешь, никуда не денешься. Нет, у таких, как Т. Манн, и второстепенное замечательно. А может быть, и не нужно бояться второстепенного. Кое-что оттуда.

«Читая Гафиза в год русского похода, ты был потрясен и очарован этой модной книгой, а так как ты умеешь читать лишь затем, чтобы чтение настраивало, оплодотворяло, совращало тебя, вводило в искушение самому создать подобное, продуктивно воскресить пережитое, то вот ты и стал писать, как перс, и прилежно, неусыпно накоплять все потребное для маскарада... Самостоятельность! Хотел бы я знать, что это такое? «Он был оригинал и, знать, по сей причине ни в чем не уступал любому дурачине...».

— Гете — Манн: оригинальность — это нечто отталкивающее, это безумие, бесплодное искусничание, тупое чванство, стародевическое бахвальство духа, стерилизованное шутовство. Я презираю его несказанно, так как хочу плодоносного, женственного и мужественного зараз, оплодотворяющего и приемлющего, своего широко обусловленного и все же личного.

«Я заодно с Гафизом — он тоже держался мнения, что людям надо угождать привычными и легкими песнями, что даст тебе право время от времени подсовывать им тяжелое, трудное, недоступное. Без дипломатии не обойтись и в искусстве».

**26.XII.**

Вчера устроил себе первый выходной за все дни здесь — поехал с М. И., Олей и «молодоженами» в Никитский сад, просмотрев предварительно книжечку «Никитский ботанический сад им. В. М. Молотова». День был на редкость хорош — чистая солнечная осень по-нашему. Приехали в момент, когда только что состоялось открытие памятника В. И. Ленину — бюст установлен на несоразмерном постаменте Молотова, убранного в свое время. Как раз уносили пальмы в кадках, выставленные для церемонии.

Парк чудо как хорош — верхний, нижний, приморский. Деревья-иноземцы разрослись за полтораста лет, поднялись выше местных зарослей, вровень с дубами — кедры ливанские, платаны, сосны итальянские и другое. Они видят море, по которому их привезли сюда семенами или саженцами. Так странно: вот берег, и от этого берега, скажем, до берегов Америки, откуда родом многие деревья сада, только вода, земли — та и наша — берег в берег. Впрочем, это так легко — вывести что-нибудь этакое «поэтическое» и в этом случае.

Опять посетитель, учительница географии из соседней школы:

— Вы, как сообщает «Курортная газета», были в Норвегии, а у меня как раз был урок по Норвегии — вот бы вы рассказали ребятам...



— Не могу и т. д.

— А я шла в таком уверении... — И с угрозой: — Что ж, так и скажу ребятам.

---

«Веселый скелетик» — Мухина Валентина Михайловна[1]. 8 лет в лагере, плюс 9 лет, минус 36 городов. Чуть устроилась на какую-нибудь работу, кроме черной, — разоблачение и увольнение. Муж с ней делил все эти скитания — его увольняли (преподаватель языка и литературы) за «связь» с ней. До войны были книжки, теперь что-то выходит, печатается в «Октябре», просила прочесть рассказ.

**27.XII.**

Из «Падуна» (второй набросок) что-то получается, при всей рискованности антропоморфического диалога.

Он кропотлив (людской) их труд.
Но знай: беда (твоя) в пути.
Имей в виду, взялись — доймут,
Доделают — учти.

(Для концовки «Далей»).

Ты (читатель), видел те картины.
Прочел сперва до середины,
Потом дошел и до конца,
Не отрываясь от столбца.

И, может, молвил, что поэты
Еще родятся на Руси.

И книгу ты, вздохнув, закрыл.
Ну вот, а что я говорил?

---

Море на запоре

И тем звучней
Удар тысячетонный,
Чем — прочней
Засов (запор) бетонный (стены).

Форма — режим
И дисциплина.

---

Запор надежный для словес —
Так-сяк готовых хлынуть.
Зато хорош и переплеск
Волны — порой.

**28.XII.**

Вчерашней ночью опять видел сон, который мне снится уже свыше 10 лет, после войны, с некоторыми изменениями в деталях обстановки и лиц, но с одним неизменным настроением тревоги, беспокойства и грусти, но и «молодости странной»: будто бы мне еще нужно сдавать 2—3 курса университета (или института, однажды это была сельскохозяйственная академия Тимирязева), не сданные из-за войны[2]. Просыпаюсь всегда с облегчением и чувством какой-то утраты. Наверно, здесь действует какая-то «пластинка» далеких лет — не только ИФЛИ, который я порывался

---

[1] Мухина-Петринская Валентина Михайловна (р. 1909) — прозаик.
[2] См. стихотворение «Который год мне снится, повторяясь...» (Собр. соч., т. 3, с. 176).

бросить ради литературной жизни и понимал, что это будет нехорошо, но и еще более далеких, ранне-юношеских лет, когда мне не удалось учиться и год за годом, то потухая, то нарастая, томила эта тревога, что время уходит, нужно догонять сверстников, и это уже почти невозможно.

---

Среди почты опять письмо «IX классов»:

— Пришлите нам поздравление к Новому году.

«По примеру московских школьников мы решили выпустить газету с новогодними пожеланиями нашему классу от наших любимых писателей, поэтов, артистов и других знатных людей страны... Просим написать пожелания на листочке в линию шириною в 14 сантиметров с расчетом возможности помещения оригинала письма в стенгазету. Редколлегия IX класса средней школы села Пыржота, Рышльенского р-на, Молдавской ССР». — Как это все нехорошо.

---

Вчерне округлил «Разговор с Падуном», — во всяком случае, длинно и, наверняка, скучновато, кроме середины насчет «слабостей людских». Завтра перепишу в тетрадь — и пусть отлежится, освободится от лишних и пустых слов, строк, ходов.

---

«Это едва ли не самая странная и не самая поучительная книга, какая когда-либо появлялась на русском языке! Беспристрастный читатель, с одной стороны, найдет в ней жестокий удар человеческой гордости, а с другой стороны, обогатится любопытными психологическими фактами касательно бедной человеческой природы... Впрочем, нисколько не прав будет тот, кем, при чтении этой книги, попеременно стали бы овладевать то жестокая грусть, то злая радость, — грусть о том, что и человек с огромным талантом может падать так же, как и самый дюжинный человек, — радость оттого, что все ложное, натянутое, неестественное никогда не может замаскироваться, но всегда беспощадно казнится собственной же пошлостью... Смысл этой книги не до такой степени печален. Тут дело идет только об искусстве, и самое худшее в нем — потеря человека для искусства»...

(В. Г. Белинский. «Выбранные места...», 1847).

**29.XII.**

Мысли о сталинской главе
(соединение и общая доработка «мартовской» главы с наброском, что в тетрадях).

**30.XII.**

Вчера перебрался в другую комнату — рядом с «люксом», где Маша с Олей. Комната точно такая, так же и те же стол и кровать и все, но она другая не только по № 19, а не 23, но и вся другая, это другое место. А я, как сидел, так и сижу, как читал в постели, так и читал на ночь. А смолоду меня такие вещи томили своей невысказанностью: ведь это не т е стены, не та часть неба и моря в окне. Но сегодня подумал: все каждый день, каждый час — уже не то, хоть и не сходи с места совсем. Мы очень хотим, чтобы было все время т о, а это только иллюзия.

---

Дорабатывал деда-земляка [1].

[1] Стихотворение «Старожнл» (См. собр. соч., т. 3, с. 110).



**31.XII.**

Конец года — конец тетради. Скромные итоги:
1) На Ангаре — 500 строк.
2) Сибирские стихи — до 500 строк.
3) Из лирики разных лет (подборка) до 500 строк, но это не в счет — все старое.

На 1958 (ближайшие месяцы)

1) Сталинская глава
2) Печники (рассказ доделать)
3) Лирика
4) Статья к «Стихам читателей «Теркина»
5) Пьеса (после Смоленска)
6) Дальнейшие дали (после поездки в Сибирь весной).

С ночи дождь, теплынь, сейчас солнце. Новый год встречаем в ресторане с «художниками» [1].

---

Подчищал и сокращал «Разговор с Падуном» — это суховато, но серьезно.

---

Мои записи в послевоенные годы становились все бедней, приобретая преимущественный характер рабочего приема: записать, перенести, сохранить. Что чего не записано хотя бы в таком виде, как война, — заграница, Сибирь, Смоленщина.

### Набросок несостоявшейся речи на 1-м съезде писателей РСФСР

Для русских литераторов нашей Республики особые обязательства и особая ответственность проистекают из того, что они прямые наследники великой русской литературы, сыгравшей колоссальную историческую роль в общественном развитии страны, в подготовке революции и оказавшей огромное влияние на все крупнейшие литературы мира. Я, конечно, не хочу сказать, что этих обязательств, этой ответственности не несут писатели нерусских национальностей Федерации или писатели наших братских республик, но в отношении русских дело обусловлено единым с нашими классиками родным языком, всеми факторами воспитания и обучения, образования и самообразования и непосредственной литературной учебы. Поистине с молоком матери, с детских лет, с первых навыков устной и письменной речи мы приобщаемся таинствам «великого и могучего русского языка», его образного строя, его поэзии, — языка Пушкина, Гоголя, Тургенева, Некрасова, Толстого, Чехова, Горького. Более того, наши старшие товарищи по перу, современные русские писатели и поэты, творчество которых уже приобрело широчайшее признание в стране и за ее пределами и значение образца в самой литературе (Маяковский, Фурманов, Фадеев, Островский, Шолохов, Федин, Исаковский) — все они, каждый по-своему, обязаны развитием своих талантов в первую очередь богатствам русской классической традиции. Словом, наши великие предшественники стоят, как говорится, у колыбели русской советской литературы, сопутствуют ей на всех этапах ее развития, бессмертные их творения для всех нас и являются эталоном высокой идейности и мастерства, совершенства формы и содержания.

Однако вряд ли можно всерьез оспорить то положение, что нынешнее состояние русской литературы еще весьма далеко от этого эталона, хотя обычные и привычные утверждения нашей печати и праздничных речей в самой нашей организации чаще всего преисполнены духом благополучия и даже бахвальства.

Слов нет, что наша литература, одушевленная великими идеями марксизма-ленинизма, преданная всем своим существом интересам народа,

[1] Соседи по столу в Литфондовском доме.

делу партии, делу строительства нового, коммунистического общества на земле, прокладывает свой путь в неведомой ранее территории, врубается в толщу никем ранее не освоенного материала, и нельзя не радоваться ее хотя бы отдельным успехам и достижениям на этом пути. Но это не освобождает от необходимости суровой и трезвой самооценки видения реальной, а не мнимой картины действительного состояния литературы. Пусть даже будет так, что мы в деловой, нелицеприятной взыскательности к себе несколько переборщим, — потомки охотно исправят это и воздадут нам должное. Вообще, как говорится, на этом свете лучше немного недополучить, чем переполучить и унести с собой не по заслугам доставшуюся славу. Но дело не столько в потомках и не в самочувствии того или иного покойника, при жизни с лихвой увенчанного лаврами, а в главном и насущном интересе — интересе великой армии наших современных читателей — советских людей, строителей завтрашнего коммунизма.

Можем ли мы, например, назвать такой роман последних лет, который хоть и не был бы по значению равным «Тихому Дону», но занял бы, захватил бы на более или менее длительный срок внимание широких читательских масс, стал бы, как говорят на Западе, «бестселлером», стал бы предметом горячих споров и обсуждений не только на специальных вечерах, но и в семейном кругу, в вагонах дальних поездов, в трамвае и т. п. Ответ один: не можем. Не можем, если не считать [...] случая с «Братьями Ершовыми», где все было, казалось бы, сверхправильно, но где интерес был подогрет некоторыми внелитературными сторонами. Об этом произведении будет еще подробнее сказано ниже.

Можем ли мы назвать за последнее время какой-нибудь сборник, который, хоть и не равнялся бы по воздействию на сердца читателей, скажем, лирике Есенина в лучшей ее части, но стихи которого переходили бы из рук в руки, заучивались наизусть, были бы на устах нашей молодежи, пользовались бы повсеместным спросом?

Не можем назвать — без всяких оговорок.

Или стихи для детей, напомнившие бы нам искрометную живость и остроумие произведений Маршака или молодого Михалкова? Или поэтические переводы, подобные по мастерству переводам маршаковским из Бернса?

И не можем назвать пьесу, идущую на сцене, пусть бы она и не была «Любовью Яровой», но, просмотрев которую, наши друзья нам или мы нашим друзьям и знакомым говорили бы: «Посмотрите, посмотрите непременно — это замечательная вещь»? Нет, чаще мы слышим и говорим другое: «Не ходите, не стоит». («Просмотрел — как будто еще на одном заседании вечер провел»).

А назвать фельетон, сатирический или юмористический рассказ, хотя бы они и уступали в мастерстве этого жанра М. Кольцову, Ильфу и Петрову, но все же крепко запоминались, переходили бы со страниц печати в широкий изустный обиход?

Или публицистический очерк, не уступающий «Районным будням» Овечкина по смелости постановки и освещения практических вопросов, волнующих миллионы людей, по хозяйскому, уверенному овладению материалом? К сожалению, и сам В. Овечкин последнее время не пишет таких очерков.

Я знаю, что меня можно сейчас же забросать именами писателей, поэтов, драматургов и очеркистов, названиями их произведений, имеющих, как у нас говорят, отличную прессу, поминаемых в «обоймах» и, действительно, несколько выделяющихся из массы того, что у нас печатается в журналах и выпускается издательствами. Но я говорю не о внутрилитературных наших оценках и мерках, а о выходящих за эти рамки произведениях, привлекающих к себе массовый читательский интерес, когда считается неприличным, невозможным не знать, не прочесть, хотя бы речь шла о передовой, интеллигентной части общества. Мне както, давно уже, приходилось высказывать такую мысль, что произведения поэзии становятся общественным явлением тогда, когда они читаются уже и теми, кто обычно, как правило, стихов не читает А до того стихи могут быть лучше или хуже, но они остаются объектом так сказать, внутрицеховых оценок, суждений и споров, — большому читателю до них как бы нет дела. В отношении прозы необходимо иметь в виду, что проза



у нас, как и во всем мире, читается, как правило, больше, входит в неизмеримо более широкий читательский обиход. Но и при этой оговорке мы не можем отрицать, что и произведения прозы у нас последнее время очень редко выходят за пределы литературного существования, редко становятся явлением общественным, составляющим большой духовный интерес в народе.

Мы врубаемся в толщу материала нового, неизведанного —

1) Наследование
2) Однако пафос количества
3) Тема современности
4) Искусство — познание, произведение — поиск, разведка, а не иллюстрация
5) Роль критики
6) Время (важность совпадения значительного этапа в жизни общества с наиболее восприимчивым этапом жизни художника).

Культурная революция породила не только читателя, но и собирателя — библиотеки в рабочих и колхозных семьях и т. п.

## *1958*

**3.I. Ялта.**

Начал было округлять «Печников», но оказалось, что при очень чистом, отработанном начале дальше все расплывается. Хуже нет как думаешь, что работа небольшая, ждешь легкости, готов согласиться на облегченное решение, ан тут-то и получается, что надо все начинать с чистого, сняв все приблизительное и набросочное. Ясно, почему залежался рассказ — захотелось легкости: печка, мол, в сущности, хороша, но вот кирпич уронил печник в трубу. А пробная топка? Кирпич «подвинулся» и «улегся» окончательно после. А как его обнаружили? Провесил гирькой трубу. Но ведь это делают всякий раз, как чистить трубу? Неужели таки не догадался почистить трубу. Ведь это первое, что приходит на мысль, когда с печкой неладно. Словом, надо-таки печку разобрать и сложить. Егор Яковлевич соглашается. Майор: я уж у вас за глинотопа буду. Автор сам готов помочь и тут в деле — все показывают себя. Так-то будет верней. А то я хотел было справиться с печкой — продолбить в одном месте, освободить дымоход — и все. Нет, печка нехороша в целом. «Вялость тяги», громоздкость, неэкономичность, неприспособленность к «торфобрикету» и т. д.

Занялся с утра, и стало дело валиться из рук. Это всегда, как только без должного напряжения и сосредоточенности берешься.

«Веселый скелетик» показала рассказец «Каникулы Вали Герасимовой» в сборнике «О любви, о дружбе». Рассказец слабенький, с банальной имитацией стиля дневника 13-летней школьницы, претензиями на юмор, жалким «конфликтцем» (папа — настоящий и отчим, мама щеголиха и мещанка) — все это упрощенно, жалко, беспомощно. И плохо понимает, когда объясняешь.

А ее изустный рассказ (по дороге из дома Чехова) М. И. и мне о том, как ее отправляли с многотысячной партией заключенных из Владивостокского пересыльного пункта на Колыму, как пароход, загоревшийся еще в порту, с непотушенным до конца пожаром горит в открытом море! Как на SOS парохода подошел японец, но не сгрузить же ему несколько тысяч арестантов, а потом встречный из Колымы, груженный золотом «по ватерлинию» (это, может быть, и легенда) и способный принять к себе на борт только команду и следующий в отдалении, чтобы это сделать в последнюю минуту. Как дым проник в мужское отделение, началась паника, люди кинулись на выход, а солдат начал стрелять, убил кого-то, а сзади поднаперли, и было убито выстрелами и задавлено 160 человек. Как женщины шили мешки для погребения, — капитан не позво-

лил команде выбрасывать покойников за борт без морского ритуала, тем более, что материи было не жалко — какая там была — все равно добру тонуть. И кормили замечательно, — все запасы были пущены в ход. И так пришли в Нагаево — с дымом и огнем. И она при этом была больна брюшняком, но утаила это перед отправкой, чтобы не оказаться в энском корпусе, откуда никто не выходил, и еще страдала морской болезнью. И было ей 26 лет, осуждена (тройкой) она была за попытку реставрировать капитализм и намерение с этой целью применять индивидуальный террор, — осуждение на 8 лет, так как не успела применить террор на деле. — И т. п. и т. д.

— Вы не думаете это записать, как-то разделаться с этим, излиться, так сказать?

— Кто же мне это напечатает? — И она пишет нечто такое ничтожное по содержанию в сравнении с тем, что пережито ею, что заполнило главную часть жизни и никогда не может быть забыто. Ведь если б она понимала, что, не разделавшись с этим, ничего другого она не сможет сделать по-серьезному. И сколько я видел уже таких людей, которые уходят от необходимости обмыслить, выразить это, хотят обойтись без этого, забыть, отказаться. И вообще это у нас так объясняется: зачем это? Зачем бередить раны? И общество делает само для себя вид, что ничего не было, а что было — исправлено, — пойдем дальше. — Это ужасно, тем более, что «исправлено», т. е. было признано безумие безумием.

**5.I.**

Вчера с вечера захолодило, а сегодня с утра — настоящий зазимок: морозец в 2 градуса подсушил грязь на дорожках, дул холодный, невлажный ветер, на крышах виден был сухой, надутый с ночи снежок — и он там не таял. Я вышел утром в плаще и без перчаток — зазяб с непривычки и поскорей побежал от моря на гору. К середине дня белых мух, чуть кружившихся в воздухе, сменил настоящий снегопад (метель). Занятно было видеть, как настоящая, косая, мягкая и чудесно дремотная метель неслась наискось на всю эту вечнозеленость кипарисов, кедров, лавров и др. и на зеленые кусты сирени, которая будто бы только что отцвела, и на желтые молодые дубки. Хороша метель и над морем, не оставляющая на нем следа, мглистая и угрюмая. Вода от нее, однако, чернеет, но это, вероятно, по контрасту с белизной.

Вчера: Олег О — й, — 19 лет, бывший (?) актер новосибирского драмтеатра, недоучка (по 2 — 3 недели обучения в двух-трех институтах), без планов на жизнь, без денег, конечно, в дрянном плащишке, небритый (отпускающий усы, а может быть, и бороду), стихи плохие, пустоманерные, малограмотные, но с каким-то вызовом urbi et orbi, надрывом, может быть, и искренним, но все же не более, чем мальчишеским — «Писать я все равно не брошу»... — Это дело хозяйское. —

Вечером зашел доктор Никаноркин Анатолий Игнатьевич, 1922 г., местный поэт, автор статей и брошюр по историко-медицинским предметам, участник одного из десантов 43 года (в качестве младшего полкового врача) на Олдинин[1], ныне Героевка (придумать же такое!). Очень симпатичный, очевидно, неглупый, и даже стихи ничего, только — робость, как у человека, изучившего грамматику, бывает робость — так или не так пишется слово, ставится запятая и т. п.

Вчера только начал читать «Стихи читателей «Теркина». Что с ними делать — покамест ума не приложу. Много славословий по моему адресу, а просто убрать их, как и вообще длинноты и неисправимо безграмотные места — нарушить достоверность и натуральность подлинника. Нет, кажется, мне не быть «составителем». Скорее всего — нужно написать обстоятельный обзор этого сборника с широкой цитацией. И, может быть, не мне, но это псевдоскромность, ибо письма эти — мое достояние, и заполучить где-нибудь помимо меня невозможно.

Когда провожал Никаноркина, зашли в здание бывшей гостиницы «Россия», где теперь санаторий «Большевик» («Большовік»). Там

[1] См. А. Никаноркин, «Сорок дней и сорок ночей». Симферополь, 1969.



в 1876-м г. жил больной Некрасов, — Никаноркин писал об этом заметку к 80-й годовщине смерти поэта для «Курортной газеты». Огромное это здание совершенно не видно с приморского бульвара, так как заслонившие его балаганы (ресторан «Украина»), хоть и невысоки, но стоят слишком близко к морю. Трехэтажный замкнутый корпус с массивным подъездом, колоннами над ним (на два верхние этажа) и крыльями с более легкими колоннадками, балконами. Это первое крупное здание в Ялте (1875 г.). Внутренний дворик — зимний сад с пальмами, стеклянной крышей и фонтаном, а по этажам — галереи, куда выходят двери номеров. Номер Некрасова 68-й — на северную сторону, скромный, как рассказывал Никаноркин, — мы были только внизу — было поздно осматривать. Наверно, по своему времени это все выглядело фешенебельной новизной. Некрасов писал здесь «Кому на Руси».

«Печники» подвигаются с подозрительной отчасти, но и приятной легкостью, почти без помарок — боже мой, сколько они лежали у меня, обдумывались, переписывались поначалу. Возможно, что завтра вчерне добегу до конца, а потом хорошенько почеркаю.

Читаю «Историю Петра» Пушкина — чудесные тезисы, огромный объем материала, бездна деталей, имен, географии и прочего. Читаю как будто на неизвестном языке — что понятно, а что и непонятно по незнанию, но все же интересно и удивительно. — Читал еще С.-Ценского из первых томов, даже самые знаменитые вещи — «Печаль полей» и «Дерябин» — не так уж хороши и нудноваты. А сейчас старец пишет и печатает (в той же «Правде») стишки, которые, будь они писаны рукой 15-летнего мальчика, не свидетельствовали бы о способностях его к этому делу.

Валя — говорили с ней сегодня по телефону — ложится завтра в ту больницу, из которой я бежал перед отъездом сюда.

**8.I.**

Кажется, добил-таки «Разговор с Падуном», раз за разом улучшая, добавляя, подстругивая. Но в «Правде» наверняка почти застесняются «слабостей людских» — жаль.

Опять после короткого заморозка — дожди, теплынь, снег согнало не только здесь, внизу, но и на горах, где он белел по откосам. Море сегодня утром было дурное, мутное, пена — и та серая, а не белая, — это с гор несет всякие обмылки, и, где берег не защищен, подмывается эта своеобразная крошка породы — наподобие угольного шлака. Следы оползней — разорванный вдруг асфальт, вытолкнутые камни подпорных (?) стен, — под ними или за ними — ползучая каша.

Вчера говорил со «скелетиком» насчет третьего ее произведения — рассказа из времен гражданской войны, — тетя Леля с чудесными косами ниже пояса, которые ей обрезали при повешении белые, Костя — архитектор, офицер деникинский, борьба между чувством и долгом, «два мира» и т. п. Но все же чище, определеннее, грамотней прежнего. Рад был, что могу сказать ей два-три слова, а то у ней, чуть что, закипают такие — мучительно видеть — слезы, и вся пятнами. Рассказывала всерьез, что много лет назад видела во сне, как за круглым столом (в верхней нашей гостчной), она сидит передо мной (или кем-то вроде), а я ее ругаю. Другой ее сон, который она видела в тринадцать лет <и потом> много лет по два-три раза в год — ужасная картина чего-то разительно-сходного с тем, что ей предстояло в жизни:

— Вижу какие-то пустынные, угрюмые места, много-много людей, оборванных, измученных, с лопатами и т. п. в руках, и я там, и у меня лопата, мы копаем что-то, нам всем тяжко и страшно чего-то... — Говорит, что ни в тюрьме (3 г.), ни на Колыме в лагере ничто не совпадало с этим

сном, только на поселении совпало до крайней точности, до ужаса. Мучится одиночеством, боится в комнате ночью, — говорит, что после полутора месяцев одиночки тюремные врачи сказали, что ей противопоказано такое содержание, и ее перевели в общую камеру. Добита, домучена до ручки, тем более, что добрая и светлая душа, по всему — по лицу и глазам — видно, по голосу и смеху.

[...]

---

Мороз и море. Зимнее море. Бок о бок с морем, с океаном. Все с ним, самим, бок о бок. Стоишь, идешь — оно у ног. — Приляжешь — в изголовье.

**11.I.**

Уже отправил (после нескольких перебелок на машинке и доделок) «Разговор с Падуном» в «Правду», как вдруг появилось то «просветление», какое бывает часто именно тогда, когда ты уже как бы не располагаешь возможностью поправить дело: что бы я еще и как бы я мог там исправить и дополнить. И засел вновь и, кажется, сделал лучше, во всяком случае, мне бы уже не хотелось, чтобы «Разговор» появился в газете в том виде, как послан. Дождусь или не дождусь ответа на первый вариант, пошлю второй, — все-таки есть, из чего похлопотать.

«Печники» на машинке. Читал М. И., она говорит, что рассказ хорош, но учитель этот не молодой, а старый человек по всему, так бы, мол, и сделать, опустив упоминаемую жену с ребенком и т. п. Нет, не стану делать этого, пусть будет, как есть. Пусть он несколько старомоден по письму, пусть «учитель» мой «нетипичен» — это все не беда. Но если правда, что рассказ хорош, плотно сбит, целен, то это хорошо. Мне большую радость доставили те три сеанса утренних, что пошли на дописывание его — 20 с лишним страниц почти без помарок, во всяком случае, без замены хотя бы одного листа — набело, в сущности. Это так было приятно, что я позволил себе мечтать, что у меня в жизни еще будет эта радость труда над прозой, я буду писать много и дельно и т. д. И, как всегда, наперед уже обдумал несколько затей, отчасти записанных или задуманных вне тетрадки в разное время. «Дом на полозьях», «Родина и чужбина» (записи по памяти о впечатлениях из Болгарии, Норвегии, Италии, вообще из заграничных впечатлений и отчасти от брата Ивана (из финско-шведской его чужбины).

«Веселый скелетик» (в связи с тем, что я спросил у соседа, на какой реке Красноярск):

— Вы у меня спрашивайте, где что в Сибири.

И рассказала, как она (недавно) встретилась в командировке в одном глухом уголке со стариком, известным и почти что почитаемым за свою бывалость — где только не бывал (города, реки, края). Оказалось, что она бывала во всех тех местах (она, между прочим, за время своих мытарств знала и мороз в 60 градусов, и жару самую крайнюю в Союзе), где бывал он, но и сверх того, где он не бывал. Он приуныл, задумался, видя, что в глазах земляков меркнет его авторитет. Тогда говорит:

— Зато я бывал еще кое-где (в тюрьме или лагере).

— А сколько лет?

— А все пять.

— А я все девять.

35 тысяч срубленных в окрестностях Ливадии кипарисов (для создания в интересах охраны открытой зоны обзора) и мамонтовых деревьев. Комендант дворца — [...] генерал-лейтенант, бывший духанщик, царь и бог здесь, куда хозяин приезжал раз в год по обещанию. Охрана охраняла, разумеется, его. Бог весть, сколько этих легенд, так близко граничащих с действительными фактами и, может быть, уступающих последним в своей фантастичности.



**12.I.**

Проводили «художников», ходили на ялтинский рынок — на горе, с высокой, как колокольня, часовней, бывшем кладбище, где еще есть и вполне сохранные памятники с надписями, вроде «Статский советник князь Николай Николаевич Долгорукий»... «тело незабвенного нашего отца Карла Ивановича» и т. п. Толчея не хуже, чем в ГУМе, даже движение, вернее, кружение толпы налажено так, что как вошел в нее, так и пошел по кругу, покамест тебя и раз, и два не протолкнет мимо того же старика со шкурками барашка или какой-нибудь тетки с одной туфлей в руке... Есть даже книги, но одна жалость. Среди хлама на уцелевших, обтертых плитах бывшей ограды — всякая немыслимая дрянь: ржавые напильники, гайки, мотки электропровода длиной с метр-два, печные дверцы, гвозди горелые, обломки ножей, подернутые зеленью ложки, ночные горшки, побывавшие в ремонте.

Переехал в третью комнату — еще одно новоселье — рядом с угловым двойным номером, выходящим прямо на море, где после «художников» поселились мои. Вчера было нечто вроде проводов, сегодня из-за этого — да и воскресенье — решил сделать выходной.

**13.I.**

Доживающие (?)[1]
Для «Родины и чужбины»

Это был не то пансион, не то богадельня, не то больница, но вместе и дом заключения, откуда его обитатели, если б и хотели, и имели какую-то возможность, не могли бы уйти, — у них не было ни паспортов, ни иных видов на жительство, ни каких-либо связей — не только на родине, покинутой ими много лет назад и проклявшей их, но и здесь, в этой славянской стране, где симпатии к русским были давней традицией.

Заведение это располагалось в одноэтажном приземистом домике на территории, издавна принадлежавшей русской церкви, построенной у подножья знаменитой Шипки в честь победы над турками и в память русских воинов, павших за Плевну.

С этой церкви наша группа (секретарь посольства, я с другим московским товарищем и переводчица Живка) должны были начать осмотр шипкинских достопримечательностей.

Сторож церкви — звали его Андреич или Михеич (мы нарочно не вынимали своих блокнотов, чтобы не выглядеть некоей комиссией, записывающей, опрашивающей) — был могучий старик в теплой, тяжелого солдатского сукна поддевке, несмотря на теплый день октября, похожего на лучшие дни нашего бабьего лета. Ходил он прямо, но с раскачкой всего огромного корпуса — он был на деревяшке.

Громоздкая монументальность его фигуры обнаруживала незаконченность, когда взгляд падал вниз на деревяшку рядом со здоровой ногой в огромном сапоге, служившей опорой этому мощному телу. На голове была старая-престарая солдатская фуражка с кокардой над поломанным и в двух местах сшитым козырьком, давно утратившим свой первоначальный светло-зеленый цвет. Оказалось, что отпереть церковь он сам не может без разрешения какого-то полковника.

---

[1] «Доживающие» — так предполагал Твардовский назвать очерк об остатках бывшего белогвардейского войска, доживавшего свои последние дни в приютившей их Болгарии.

Нельзя не отметить непримиримость и даже жесткость тона этой записи, совсем не свойственные другим описаниям и очеркам автора и не умягченные на этот раз и долей сочувствия к теперь уже беспомощным людям. Такова сила памяти об их преступлении против Родины и народа — в глазах Твардовского, наиболее непрощаемом.

— Да вот и сам господин полковник...

Снизу, от домика, поднимался к паперти человек без шапки, с зачесанными над плешью редкими седыми волосами, в защитного цвета кителе или френче без погонов и таких же брюках-бриджах (или полугалифе), заправленных в легкие хромовые сапоги.

Он поднимался, вернее сказать, взбегал быстро и работал локтями с явной претензией на грациозность и выворачивая ступни с лихостью молодого человека из тех, что распорядительствуют на танцах.

Но когда он подошел и, задыхаясь, представился, пошмыгивая каблуками, мы увидели, что он уже очень стар.

Сквозь старческую опрятность одежды и щеголеватость выправки проглядывала сама немощь. По его свежевыбритым щекам и подбородку, тщательно подрубленным усикам видно было, что бритью и отделке этих усиков человек посвящает ежедневно достаточно времени. — Он, заслышав нашу машину, устремился сюда, как бы опасаясь, что приезжие без него займутся осмотром.

— Нет, какое же разрешение. Это только так говорится. Я, собственно, все это добровольно. Михеич, отпирай, голубчик.

Он впустил нас в церковь первыми и, войдя, быстренько взмахнул рукой от лба к груди и задержался щепотью сложенными пальцами на пуговице кителя, как бы только проверяя и оправляя что-то. Потом встал наотдаль и начал заученной скороговоркой экскурсовода:

— Храм Успения Пресвятой богородицы (?), построен в 18...— 18... годах на средства, собранные по инициативе (?) великой княгини... и освящен в 18... таким-то... На стенах вы видите наименования частей и списки офицерских нижних чинов... павших смертью храбрых.

В тоне этого изложения как-то непринужденно совмещалась истовость хранителя вверенной ему святыни с угодливостью и даже подобострастием гида, рассчитывающего на подарок.

Я присмотрелся к его френчу и бриджам — они лоснились той крайней степенью заношенности и потертости, какую приобретает от давности лет тщательно оберегаемая одежда. Но это было то самое английское суконце, что носили офицеры деникинской армии.

Когда мы уже выходили из церкви, прибежала также запыхавшаяся крупная и, должно быть, некогда очень красивая женщина с ленточкой георгиевского крестика на белой блузке, выглядывавшей из отворотов какого-то форменного халата. Она представилась Еленой Владимировной Подгаецкой (?).

— Вот наша сестричка, наш, так сказать, ангел-хранитель и попечительница, — засуетился Николай Федорович при ней, и было сразу заметно, что всевластная государыня здесь она, а он лишь придворный, пользующийся ее милостями. — Елена Владимировна, наши дорогие гости хотели бы посмотреть, как обитают здесь их, так сказать, соотечественники...

— Пожалуйста, пожалуйста, только одну минуточку еще... Жаль, у меня такой беспорядок. — Точно она принимала у себя лично. Елена Владимировна улыбалась, скрадывая улыбку, открывавшую под наскоро накрашенными губами старушечьи широкие, в два-три зуба, окошки внизу и вверху. Она должна была улыбаться, не могла не улыбаться и мгновенно закрывала эту улыбку, пересиливая навык воспитанности и едва уловимого жеманства. Говорила она голосом, совсем не подходящим для ее возраста — «пютюрбургским», — складывая губы трубочкой и стараясь ими прикрыть свои «окошечки».

Из полутемной прихожей мы вступили в коридор, темный, совсем темный, где только привычному человеку можно было найти двери по обеим сторонам. И уже в этом коридоре был запах, который не смущал хозяев и обитателей заведения, принюхавшихся к нему, но свежим людям едва позволял удержаться от того, чтобы не зажать нос рукой и не гримасничать. Это был, как говорится, сложный запах, где сочетались затхлость больничной палаты, дурной кухни, банной раздевалки и еще чего-то, вовсе непереносимого, — как я потом догадался, это был запах клея, употребляемого для изготовления папиросных коробков.



Это были палаты-мастерские, где лежачие и ходячие занимались склеиванием этих коробков за ничтожную плату, которая шла им на карманные расходы.

В первой комнате было две кровати — на одной из них сидел остриженный под машинку, весь серый-серый старик с длинным небритым лицом с какой-то толстой книгой с картинками на коленях; на другой кто-то лежал, завернувшись с головой в одеяло, скрючившись, лицом к стене — одеяло обтягивало тощий, выставленный на комнату зад. Он как будто нарочно выставлял этот свой зад соседу, хозяйке и нам, любопытствующим посетителям.

— Дежурный генерал Четвертой Донской армии, — хриплым и слабым голосом представился сидевший, привставая и отложив книгу на постель.

— Ну, как поживаете, — сказал кто-то из нас, чтобы что-нибудь сказать.

— Не поживаем, а доживаем, — раздельно и выразительно прохрипел дежурный генерал, — и, видимо, не первым нам говоря эти слова, с безнадежной горечью, без расчета на чье-либо сочувствие.

— Бывает, отец, — заметил шофер, русский, продувной, из фронтовиков, видавший всякие виды. — Зато вы когда-то в генералах ходили. Против нашего брата сражались, стояли за капитализм. — Он как бы хотел ободрить бывшего генерала.

Тот ничего не ответил и продолжал стоять с опущенными по швам руками и склоненной немного вбок головой.

Я полюбопытствовал, что у него за книга — это была переплетенная «Нива» за 1916 год, фотографические снимки: полковая церковь на передовой позиции, рассказ Муйжеля, целые страницы из квадратиков с фотографиями офицеров, погибших на войне (или награжденных?).

И неужели у этого человека было когда-то детство, родные, школьные годы, юность, мечты и желания, — была родина, Россия, которую он, может быть, по-своему любил и, конечно же, не мог удалить из сознания, памяти, хоть и лишился ее три десятка лет назад.

Он лишился ее с того дня и часа, когда, еще имея возможность выбора, выбрал лагерь врагов своей родины, надел английское обмундирование и стал воевать против нее во имя того «порядка», которого она лишилась и в котором, по его мнению, более всего нуждалась.

Ради родины можно жить и вне родины, прожить жизнь, состариться и умереть на чужбине, как это было со многими лучшими ее сыновьями, чьими именами она горда перед всем миром (Герцен с Огаревым и др.), и это не значит не иметь родины. Но можно потерять ее на ее же земле, говоря на ее языке, вдыхая воздух ее лесов и полей, слушая ее песни и полагая, что ты любишь ее.

Все дело, какою ты хочешь видеть ее, какого пути желаешь ей, чьи интересы, надежды и притязания отстаиваешь ее именем.

Велика сила памяти, сила душевной привычки к старому, особенно если это старое не стесняло тебя в удовлетворении твоих телесных и душевных потребностей, содержало в условиях, освященных традицией удобств и привилегий меньшинства... Тут все идет на подкрепление твоих неправых позиций — и могилы отцов, и память детства, и бесценные радости близости к родной природе, и стихи Пушкина, и страницы «Войны и мира», и многое другое, нешуточное в своей привязчивости, в своей неотъемлемости и как бы незаменимости. Но все это до того часа, когда вдруг не явится простая мысль о том, что эта твоя любовь — неправомочна, своекорыстна, жестока по отношению к огромному большинству твоих соотечественников, лишенных всего этого.

1) «Озорник».

2) Усач — 27 — 57 лет.

Они пользовались убежищем и куском хлеба, которые им давала страна — что бы там ни думали ее правители, враждебные советской России, — из глубокой признательности, внушенной с детства любви и признательности к русским, единокровным братьям, освободителям.

И они действительно были освободителями, в чем бы там ни усматривали тогдашние правители России свои действительные цели и интересы этой войны.

А эти — полковник — теперь стремились прилепиться к их славе по одному тому сходству, что и они были русскими. Но этого одного мало.

И теперь, когда те русские, что изгнали их, русских (сознательных и несознательных врагов родины), с родной земли, выбросили их на задворки Европы, пришли сюда и принесли болгарам освобождение от другого ига — ига гитлеровцев, — они, эти бывшие русские, были застигнуты беспримерным возмездием судьбы — русские не протянули им руки, прошли мимо, и Родина не стала сводить с ними счета, но наказала их страшнейшим возмездием — забвением.

Русские из белоэмигрантов младшего поколения, участники партизанской борьбы в Болгарии...

[...]

Восхождение на Шипку, облака (или туман) под ногами, изморозь на плитах старых могил. Могилы (ниже, под горой) этих русских.

— Золотая метель листопада закружила над ними и укрыла их последней лаской природы (художественный стиль полковника). Обелила.

— Это все подробно изложено в моем труде «История русско-турецкой войны 1877—78 гг.», находящемся в настоящее время в рукописи,— он то и дело ссылался на этот источник, находящийся в рукописи. Но у него, как видно, были и беллетристические претензии.

Восхождение на колокольню, стук деревяшки сторожа. Казак, бывший денщик чей-то или что-то в этом роде. Просто знал, что вернуться на родину, на Дон, ему нельзя,—та часть жизни осталась где-то за чертой.— Родные? Должно быть, уже и нет никого.

Заправил колено ноги в петлю веревки, забрал, как вожжи, концы веревок от мелких колоколов в обе руки и начал.

— Эх, Михеич, давай толкнем,—кивок на самый большой колокол.

Полковник уперся руками в тяжелое било главного колокола и стал то пихать, то отпускать, лицо его надулось, налилось краской, белесые, некогда, может быть, голубые, глаза с краснотцой—выкатились,—точно готовы были лопнуть.

Наконец, било дошло до края колокола, и звук оглушил нас. Казалось, и колокольня пошла куда-то из-под ног.

Это был разгул, отчаяние и восторг, дикое торжество причуды.

— В России слышно.

Но в России не слышали этого рева, гудения и завывания о прошлом.

---

**15.I.**

Как вдруг пришло это на память — Чертолино, где я был от «Рабочего пути» в 33 (?), подобрал в избе французский журнал со снимками, посвященными жизни колхоза — бывшей усадьбы гр<афов> Игнатьевых. Я захватил этот журнал в Смоленск, чтобы сделать перевод текста, среди которого были помещены эти фото, так как уже на месте знал, что это очерк и фото бывшего владельца (или наследника) усадьбы и имения гр<афа> Игнатьева А. А., о котором я лишь впоследствии узнал как об авторе записок «50 лет» — да он таковым и стал лишь впоследствии.

Об этом посещении графом-помещиком своих наследственных владений в Чертолине было много изустных полулегендарных или полуанекдотических рассказов (россказней).

— Приехал он из Парижа с женой, со станции пришли пешком, с небольшим ручным багажом. Вещичек всего—что в руках да фотоаппарат на ремешке. Одеты, как полагается, во все заграничное. Говорили между собой все больше не по-нашему. Говорят, а что говорят—не поймешь, может, ругают нас, может, подсмеиваются. А с нами—по-русски, честь честью.

— Поначалу их было забрали, пригласили в сельсовет (что прежде—забрали или пригласили?), но там он вынул свою бумагу да как показал, так наши говорят: извините, пожалуйста, недоразумение. Можете находиться где угодно и сколько угодно. И тут же дали им записку в правление колхоза отпускать им ежедневно по 2 литра молока.

— В лицо их никто не знал, ее-то и не было здесь никогда, а кто знал его, те уже поумирали—давно это было. Только конюх признал самого, но не сказал при народе из опаски, а подстерег будто бы его где-



то одного да и в ноги.— Батюшка-барин, Лексей Лексеич, я ж вас вот этаким катал на лошадках,—лошадка-то была, господи...

— Сходил на кладбище в церковной ограде. Только там уже ничего не было. Обежал все постройки,—скотник, гумно, где шла молотьба, молочную ферму.— Что это он все снимает да записывает, может, убытки свои подсчитывают — прошли было и такие слухи, что будут им все возвращать и возмещать все их убытки. (Должно быть, был сделан подсчет, показывающий, что колхоз по стаду, по валовому сбору зерна и т. п. уже много богаче, чем бывшее имение графов.)

У меня была идея дать в «Рабочем пути» «полосу» под общим заголовком «Два Чертолина».

Но когда в Смоленске одна старушка перевела мне эту статью (не помню уже, был ли у меня в руках текст перевода), оказалось, что граф очень лояльно освещал жизнь колхоза, отмечал достижения, культурный рост и пр. Редакция вообще усомнилась в этом материале. Так оно и забылось дело, покамест через несколько лет я не прочел записки графа, а потом и познакомился с ним, возымевшим, между прочим, ко мне впоследствии (после войны) большие симпатии, прислал как-то книгу, я ему тоже послал «Теркина». А однажды [...] мы с С. Ив. Вашенцевым даже забрели к нему на квартиру (позвонились), и там он нас пышно, хоть и скудно по существу, угощал, показывал свое седло в кабинете, на котором можно было сидеть, кастрюли красной меди на кухне (от огромной до маленькой) и свою уборную с книжной полочкой для пользования легким чтением на французском и других языках. Вообще говоря, он был человек порядочный, но и довольно ограниченный.

**15.I.**

Перечитал «Дневник предколхоза» ввиду книги прозы и в дальнейшем Собрания сочинений. Подивиться порой зоркости и меткости в отношении частностей, деталей, лиц, языка и т. п. Но, боже мой, какая чистосердечная мука натяжек и недомолвок в главном. Я уже тогда на материале 31 г. пытаюсь решить вопрос о приусадебных участках, а он и сейчас, через четверть века, не менее труден, и решит его только полная ликвидация (отмирание) этой мучительной «формы собственности».

Может быть, дам все же, ничего не исправляя, но опустив всю канитель с брюквой и обобществлением коров колхозников — это уже не дань времени, а дань юношеской узости взгляда, недомыслию. Другие в то время не меньше врали, может быть, больше, но они и не сдабривали вранья долей правды в мелочах, как я.

Ходил в сторону Ливадии, колесил по этим срезам, уступам и закоулкам поднявшегося (когда-то) довольно высоко в горы городка. Следы оползней—рваный асфальт, обрушения стенок (контр-форсов), накренившиеся деревья.

За столом наша палеонтологичка (жена «фантаста» Ефремова) насчет какого-то самолета американского, с атомными бомбами взорвавшегося или сгоревшего в воздухе или на земле. Такая запись, вполне пустяковая и нестоящая, может вдруг оказаться последней не только из моих записей.

В Софии есть улица Игнатьева (кажется, даже не одна).[1] [...]

Полковник показывал издали маленькое кладбище своих сотоварищей по приюту.

— И золотая пурга заметает их могилы, сама природа справляла по ним тризну,— что-то в этом роде, точно он начитался Паустовского.

А на вершине Шипки были могилы офицеров и братские могилы солдат, павших на Шипке. Там никакой золотой пурги не было (это выше)—голая гора, заволоченная не то туманом, не то облаками—сказать не соврать, кажется, именно облака там клубились в виде редкого тумана, как, например, у нас по дороге на Ай-Петри. Почему я тогда не записал ни одной надписи, ни названий древесных пород по дороге? Но вот

---

[1] Новые подробности о семье графов Игнатьевых содержатся в недавнем интервью одного из потомков рода Игнатьевых, канадского гражданина Георгия Павловича Игнатьева («Правда», 1989, 19 июня).

я не записал эту историю с приютом и др., но забыть ее не мог, и мне просто-таки нужно как-нибудь ее выписать. Это и в отношении других материалов «Родины и чужбины», моей сборной прозы за много лет.

**16.I.**

После обеда ходил на старое ялтинское кладбище, где, мне казалось, я был в прошлые разы моего здешнего пребывания, но, кажется, был на другом. Упраздненное, оно в таком запущенном виде, что и узнать трудно. Расположено, как и город, в многоярусном порядке — тот же город, город с более и менее богатыми улицами и фасадами, насаждениями, оградами и даже крышами. Территория его располагалась, по-видимому, еще выше, где нет деревьев (или вырублены), вплоть до подпорной стены, поддерживающей шоссе вверху,— оттуда вся Ялта внизу. Оттуда именно город живых начал уже теснить пережитый им город мертвых: грядки, загородки с колышками из трубочного, угольного и др. железа, калитки — дверцы решеток и т. п. Похоронены там какие-то «Князья Трубецкие», много надписей, нанесенных одной синей краской недавнего времени на старых памятниках. Как мы до сих пор дико небрежны и нечувствительны к безобразному виду подобных мест! Закрыть так закрыть — убрать, что лишнее, может быть, даже оставить наиболее сохранные и красивые надгробья и сделать парк. А то южнокурортный быт влезает в пределы этой мрачной (из-за кипарисов) колонии, как придется: там поблизости от домов — стол со скамеечками, на деревьях концы веревок от гамаков, склепы некоторые приспособлены под складские помещения.

Той же синей краской на главной аллее — «Добро пожаловать!»

Намахал с утра длинющие стихи «Московское утро», соединив както два делившиеся в нем начала.

Замысел полосы в «Рабочем пути» — «Два Чертолина» — школа, количество обучающихся и т. п. Оказалось, граф это же сделал.

**17.I.**

Даже этим своим приютом (у болгар) они были обязаны ей (Родине), ее имени.

Как до дела, так и начинается. Противопоставление или хотя бы сопоставление тех бродяг-белогвардейцев с гр<афом> Игнатьевым, чей «патриотический подвиг» (совершенный в Париже в переходное время, ни царя, ни иного «законного» правительства) описан и расписан,— штука неподходящая: генерал-лейтенант Советской армии, член ССП и т. п.

С другой же стороны — судьба *тех* может вызвать даже больше человеческого сочувствия: они рядовые люди старого класса, армейская машина взяла их в свой оборот, и с какого-то часа они уже не имели возможности выбирать. Они щепки, уносимые мутным потоком. А гр<аф> Игнатьев уже по одному тому, что не воевал, «паркетчик», не несет на себе груза той *общей* вины, которая на них. Начал читать «50 лет».

**19.I.**

Вчера отнес Валентине Михайловне («веселому скелетику») однотомник (появились вдруг в некоторых киосках) из чувства какого-то обязательства сделать этому человеку — что в силах моих — что-то приятное. Была очень обрадована. [...]

Ходил до завтрака на переговорочную, говорил с Машей — в «Правде» напечатан «Разговор» — во 2-м варианте [1]. Если без купюр, то это необычайно и очень хорошо.

[1] «Разговор с Падуном». («Правда», 1958, 19 января).



Проснулся сегодня с сердцебиением от тяжелого сна — из тех, после которых всерьез радуешься, что это был сон. Портной какой-то примеривает мне костюм — сметанный — и говорит, что это нужно, потому что завтра (или сегодня ночью) меня арестуют, есть уже ордер, и поэтому нужно закончить мой костюм. Я мучаюсь ожиданием этого часа, говорю с каким-то военным, типа «инструкторов», который будто бы мне сочувствует и даже советует мне попроситься в некую вроде как экспедиционную группу генерала такого-то. «Там ведь я же должен буду пойти в качестве рядового».— «Да, конечно».— «Как же можно,— в отчаянии говорю я стыдные мне и во сне слова,— как можно меня, поэта всесоюзной и даже мировой известности»... «Ну, уж и мировой»,— скупо и едва усмехается «инструктор», и я вижу, что напрасно сказал это и что он, конечно, прав, и мне вдобавок ко всему еще и стыдно. Так и проснулся, было еще меньше семи часов, темно, сел делать эту запись.

**20.I.**

Был вчера по случаю необыкновенно теплого и солнечного дня в Ливадии после обеда. Ливадия — та же Ялта, только не город, а усадьба, и все сделано лучше, основательнее, не говоря уже о дворцах или дворцовых помещениях, но срезы дорог в городе, подпорные стенки, сточные желоба — все сделано капитальнее, чище, надежнее. Место выбрано с понятием: море в поле зрения — огромное и в разных горизонтах — с разных этажей парковой террасы, крылечек и балконов дворца — разное, оно то у ног, то подступает тебе под грудь, то забирает тебя по самые глаза, так что парк и дворец как бы исчезают, но ты знаешь, что они остаются со всем своим благоустройством, прочностью, комфортом и изяществом. Побывал на могиле дочери Соколова-Микитова Иринушки, имя которой не вдруг прочел на бортике из цемента: в таком написании: Ирин + ушка. Написал Ивану Сергеевичу: все можно сделать. Парковый рабочий («садовник») Николай Егорович Корнев оказался действительно милейшим парнем, только немного длинно и подробно изъясняется.

Замечания Т. Семушкина [1] по рассказу:

— О печах и печниках все хорошо, интересно. Егор Яковлевич — русский человек, его видишь, и т. п.

— Рассказ длинноват, и его можно бы сократить за счет майора, который тоже ничего, но зря пишет стихи, ни к чему это.

— «Своеобычный» вместо своеобразный — неологизм (!)

— Слово «хотьба» лучше писать через «д», а «хотьба» — это хотение.— Не будь Панферовым, который после критики его романа сказал, что я ни х... не понимаю.

Планы в голове сперва у меня складывались в таком минимуме на время пребывания в этих благословенных кущах Литфонда:

1) Окончание цикла (добавление) сибирских стихов — есть.
2) Окончание рассказа — есть.
3) «Дом на полозьях» — стучится в голове множеством точных деталей, натурой и общим смыслом-символом, который не дай бог сильно перегреть заранее.
4) Два очеркишка — записи задним числом для «Родины и чужбины» — «Доживающие» и «Два Чертолина».
5) Статья об Иване Сергеевиче.
6) «За далью даль» (захватил тетрадь с начальными главами, думал продолжить перебелку до конца наличествующих глав).
7) Думал перенести в отдельную тетрадь начатое в прошлом году перебеление и, может быть, закончить в том или ином виде эту штуку, чтобы уж она была закончена — для дела или для сохранения.
8) Думал о сталинской главе.

[1] Семушкин Тихон Захарович (1900—1970), прозаик, автор имевшего успех романа «Алитет уходит в горы».

9) Теперь вдруг вчера решил, что у меня есть еще одна глава — военная — с давнишним, береженым «ядром» анекдота (теркинского) насчет ф р о н т а  и  т ы л а — дорожный спор.

— Все так, — заметил осторожно мой майор, вступая в спор, — хотите, так пустопорожний, а нет — дельный разговор.

## 24.I.

Уже переписывая это с карандашных клочков, вижу, что не годится, начиная, может быть, с первой строфы и далее. Очень важно «душу» как слово поставить половчее. Но — чувствую — дело пойдет, и глава обещает быть какой-то не похожей на другие.

Покамест набрасывал утром, стал вдруг видеть (чего, кажется, не было еще) примерное завершенье «Далей»: эта глава, сталинская глава, глава колхозно-смоленская и тихоокеанская с оглядкой на дорогу. За тою далью — опять же будет даль, но это уже будет книга, хотя с тем же жанровым обозначением «Из путевого дневника», с той же открытостью для дополнений и продолжений.

## 26.I.

Впервые, пожалуй, за все время в Ялте сажусь за стол так поздно — в 11 утра, хотя встал в 6, зачищал стихи о старике на новостройке [1], ходил на почту и с час просидел в телефонной будке — говорил с Маршаком и Ващенцевым, которого пришлось долго ждать.

Стихи о старике значительно выпрямились и прояснились в начале и в конце, чем-то они мне даже нравятся. Взялся их доводить в связи с подготовкой книжечки для «Огонька» («Из сибирских стихов» — не хватало немного до 1000). Но какое это верное дело — взяться вновь и вновь за вещь, которая чем-то томит, какой-то несделанностью, неладностью, натяжением, и бросить вроде жалко, как это было с падунским наброском. Сразу и настроение лучше и чего-чего не задумаешь и не сообразишь впредь.

Так сегодня думал-думал и хорошо додумался, что книгу прозы мне следует начинать не далее, как только с «Родины и чужбины», как она печаталась в «Знамени» [2] и понесла название «фальшивой прозы» — по заглавию гнусавца В. Ермилова, спешившего «попасть в точку» так, что он ограничился обозрением лишь 1-й части (продолжение еще не выходило из печати) [3]. С «Родины и чужбины» — оставляя на суд потомков, как и «Дневник предколхоза», все довоенные очерки и рассказы, хотя с тех пор еще не читал их (боялся как-то взяться, хотя лежат эти папочки на столе справа — Маша привезла [4]). Может быть, как и думал когда-то, я помещу кое-что из них в виде приложения к т. I. Но это — видно будет.

Таким образом, книга определяется в своем составе так: «Родина и чужбина», как она была в «Знамени», очерки об Албании и Норвегии, «Печники», записки из Болгарии (задним числом) о «доживающих» (напи-

[1] Упоминавшееся ранее стихотворение «Старожил».

[2] Цикл очерков «Родина и чужбина» опубликован в журнале «Знамя» №№11, 12 за 1947 год.

[3] Ермилов Владимир Владимирович (1904—1965) — критик, литературовед, прошедший практическую школу РАППа и критиковавший прозу Твардовского с позиций этой школы («Литературная газета», 1947, 20 декабря. В. Ермилов «Фальшивая проза»).

[4] В Москву мне понадобилось съездить по разным причинам. Захворала в наше отсутствие дочь-студентка, и хотя по телефону нам сообщили, что ничего опасного нет, хотелось убедиться в этом собственными глазами. Главным заданием А. Т. было отобрать и привезти его смоленские очерки, опубликованные в «Рабочем пути».



сать) и гр. Игнатьеве (написать), а г л а в н о е «В Смоленске и Смоленщине» (написать нынче в Смоленске на основании всего, что знаю из послевоенных поездок (после тех очерков, которыми кончается «Родина и чужбина») и что еще сверх того узнаю нынче, взглянув на город и область уже с такой задачей. — Туда, между прочим, целиком втопчется история о перевозке дома на полозьях.

Туда же:

1) О приусадебных участках («Мне уже приходилось как-то писать в газете, что когда я вижу на приусадебном участке... ржицу»... («Литгазета», 48—47?).

2) Николай Семенович Шераев (секретарь Починковского райкома) еще в 1955 (?) году говорил мне о порядочном количестве «возвращенцев» в колхозах района. Еще о запрещении перевозить избы из колхозов в город. Правда, после этого мне стало известно о перевозке в город, по крайней мере, одной избы из колхоза «Новая деревня», той самой, которую я подробно описал в предыдущих очерках, когда она еще возводилась (тут кратко история Фрузиной жизни, так, чтобы не задеть ничего неположенного).[1]

3) Выгоды от большой родни, скопившейся в Смоленске и находящейся на «периферии». Знаю, кто в чем и в каком направлении может соврать и т. д. Рассказы Кости и др.

4) О земляках, которых видел где — в Норвегии — «Сын кузнеца, а?», в Сибири, в Берлине — Минаев «Я помню девушку с лучистыми глазами» (единственное стихотворение).

Таким образом, на ялтинское время у меня приходится, кровь из носу, следующее:

1. Глава «Далей» — к 40-летию Армии — Ф р о н т  и  т ы л.
2. Лирика — в дополнение к «Лирике разных лет» — хотя бы «Зимнее море» — море на запоре, со взбросами (заметка в сегодняшней «Курортной газете»).
3. «Болгарские записи».
4. Может быть, «Автобиографическая заметка» (о моей фамилии).

О Соколове-Микитове, напишу в Смоленске же, но прочесть <его> нужно здесь.

## 27.I.

Когда стал читать вчера очерки из «Рабочего пути» (33—36), то увидел, что нужно более подходящие из них поместить в книге. Они своей дельностью, достоверностью и тенденциозностью от чистого сердца просто очень мне понравились. Забываясь, читал с интересом, как будто «открыл» молодого талантливого, знающего дело очеркиста, почти писателя. Странное дело, что многое там по части колхозного устройства предвосхищает то, о чем заговорили только в послевоенное время. Вообще — после войны как будто все сначала началось в колхозах. Хотя это был уже другой с л о й, но в нем опять же виднелись отпечатки прежних противоречий и трудностей. Все это как-то нужно выразить в предисловии. Но главное — в «Смоленске и Смоленщине», где опять оглянуться на все, начиная с «Вопросов крестьян с. Рибшева», («и ответы были правильные»).

Почему я решился поместить в книге эти четвертьвековой давности газетные очерки (в которых многое определялось уже их обычным размером — «подвальной» статьи)? — Потому, что в них достоверность тогдашнего свидетельства во всей, может быть, наивности и т. д. Потому, что и новый слой (колхозной жизни) нес на себе отпечатки прежних трудностей и противоречий. Потому, что это уже — история. И наконец, это документы, имена, записи о людях, которых в большинстве уже нет на свете, — этих ранних тружеников колхозного строя 30-х годов на Смоленщине. Пусть им казалось, что все уже ясно и что прошлое уже тогда было далеко позади, хотя на самом деле этого не было.

За исключением двух-трех случаев, когда действительные имена заменены вымышленными, здесь все — документально: имена, адреса, события.

[1] См. «В родных местах». (Собр. соч., т. 6, с. 391).

Теперь уже многое приобрело ценность документальную: названия колхозов, цифры, выработка, ручной труд.

Горести и радости первых лет колхозного строя.

Завтра Маше — 50, Оле — 17. Купил «Альбом для стихов» — в бархатном переплете — изделие, которое даже покупать неловко, вроде как что-нибудь в аптеке. Но для смеху — ничего. Написал стариковские стишки о том, что, авось, и правнуков дождемся.

**30.I.**

Перебираю, подбираю и отдаю Маше на машинку свою давнюю «прозу» — очерки «Рабочего пути», выборки из тетрадей, между прочим, из «повести» [1], где немало ценных деталей, но полная несвязанность в композиции, основной линии, вернее сказать, я заносил туда жизненные эпизоды, мыслимые в некоей повествовательной раме, но в сущности — разнобойные и страшно подробные в отношении описательном: «он встал, придерживаясь, взглянул, как будто, пошел так-то и так-то» и т. п. — хотя в этой мелочной детализации много верного. Это была полная неспособность справиться с наблюденным материалом, частностями, подробностями, когда ради одного сравнения вводилась чуть ли не целая ситуация, во всяком случае — происходило торможение, дробление, и все рассыпалось, еще вернее, вытекало, как горсть льняного скользкого семени, зажатая в кулак, — чуть ли не до зернышка: что больше захватишь — то скорей утечет.

Но я это все делаю, не решив еще окончательно — что включу, что не включу и включу ли вообще эту Смоленщину-довоенщину в книгу «Родина и чужбина», делаю без чувства бесплодной работы, пустой затеи. Уже одно то, что, перебирая, я вспоминаю, что за всем этим, занесенным на бумагу, стоит в жизни, было на самом деле, — уже одно это — «повторенье — мать ученья». Все это (записи, наметки, взятое буквально с натуры и вымышленное по образцу натуры), все это было как будто рядом со мной — в столе, в тетрадях, а, между тем, этому делу, страшно сказать, четверть века, и не может же быть, чтоб из одного авторского пристрастия мне были интересны эти странички тетрадей и «подвалы» и «трехколонники» — вырезки.

И хорошо бы разобраться и развязаться с этим «запасом», чтобы не обольщаться на счет его и быть свободным для освоения новых впечатлений и затей. По крайней мере, это мой отбор «наследия» — сверх которого — уже нечего и копаться.

У подъезда кино, куда направились сегодня, некий человек в демисезонном пальто и сапогах — вглядывается, вглядывается в меня, не моргая и довольно беспокояще, — уж я подумал, грешным делом... Прохожу еще раз — он, и я уже чувствую, что он обратится. «Вы не Александр Трифонович? Я из Сельца»... — Оказалось, Петров, Виктор Васильевич, нынешний председатель колхоза «Новая жизнь» (Сельцо — Загорье — Столпово — Огарково — Одоево (?), Кошелево, Птахино — что еще?). Отдыхает здесь, «нервная система»; колхозные дела плохи, дожди, все почти погнило. — Пригласил его завтра зайти. Шутка: мой сверстник (1913 г.), чуть ли не единственный человек — уроженец тех мест, оставшийся там доныне (и наверно, мечтающий о том, как выбраться оттуда).

**31.I.**

Со вчерашней ночи — снег с крепким (для этих мест) заморозком. Утро было в пурге, заметающей парк, дорожки, улицы города, набережной, намело немного, но и не таяло. С утра вчера выходил в шапке, которая так и валялась до сих пор в шкафу. Порядочная гололедь была — Семушкин плюхнулся по дороге в кино. — Сегодня опять же — ветер, всю ночь стучавший в окно и балконные двери и шумевший густо и натужно в парке, легкий морозец, ходил к морю в плаще и кепке. — Телеграмма Кащевского: «Деньги получил». Покупка совершилась.[1]

[1] Незаконченная и посмертно опубликованная вещь («Наброски неудавшейся повести», «Новый мир», 1987, № 3).



**1.II.**

С утра продвигался в главе [2], набросал второго спорщика, «щеголя с усами», но мысленно был еще во вчерашней беседе с Виктором Васильевичем Петровым в ресторане «Южный». Выпили коньяку, говорили о загорьевском колхозе, и было очень грустно. Так свалилось это Загорье мне на душу, когда я занимаюсь писаниями моей юности — поры восторженной и безграничной веры в колхозы, желания видеть в едва заметном или выбранном из всей сложности жизни то, что свидетельствовало бы о близкой, незамедлительной победе этого дела.

Я у него спрашиваю, как и что, а он у меня:

— Какой все же конец предвидится нашей местности? — (Это десяток деревень, ранее чуждых, в сущности, одна другой, где когда-то было до 2500 душ населения, а теперь 360).

— О чем бы вы просили, если бы было у кого просить, — спрашиваю я, — о чем в первую очередь?

— О самостоятельности, о свободе колхоза в планировании своего хозяйства.

— Но ведь оно же давно в действии, — притворяюсь я простаком.

— Оно давно сказано на словах, но на деле все по-прежнему — «спускание плана», та же кукуруза, которой в 56 г. было у нас 160 га. — вся погибла, — и меня заставляли с сенокоса выставлять людей на прополку ее, хотя уже было вполне ясно, что делать с ней нечего, — я, правда, схитрил, продолжал заниматься сеном и тем спас стадо от неминуемой бескормицы зимой. Я знаю, как убирать лен и картошку без городской помощи, быстро и хорошо. Я давал 5 руб. за трудодень на этой работе и выплачивал эту пятерку вечером того же дня. Я как-то просил в районе: дайте мне 50 тыс. обернуться, и я бы обернулся с выгодой простейшим способом — своевременной уборкой без потерь и высоким качеством.

— Так у вас попросту — совхоз, только плохой?

— Совхоз, только плохой...

Ничего нет от того, что так ли сяк было в 30 годах, — какой-то подъем, вера, надежды на улучшение, самоотверженность передовиков. Шаг ступил — плати.

Ни у кого ни яблоньки на приусадебных участках — никто не живет, думая жить здесь долго и прочно.

— Пожалуй, хуже еще, чем было поначалу?

— Конечно, хуже. Ведь мы 25 лет обманывали людей. Никто ничему не верит.

Болен. Видимо, здорово пил, так и говорит — пил. 7 декабря на пленуме РК случился припадок (был после большого питья и переволновался, а еще дышать было нечем в помещении).

Условились с ним еще встретиться. Уговорились пойти вместе или как к Доронину [3], выпросить на школу, выцарапать автомашину, оплаченную еще в 56 г. сверхплановой продажей хлеба государству.

Мне нужно со всем этим развязаться в стихах ли, в прозе. Иначе прав будет один мой корреспондент-земляк (где-то это письмо?), что писал: нечего, мол, искать «далеких далей» — свои под рукой (на Смоленщине).

Выполню и давнее намерение (все не просто как-то) сделать нечто заметное в материальном отношении для этого клочка земли, где меня знают по прежней памяти едва 3 человека и где ни куста, ни угла, ни пня от того, что было при мне, — только та сажалка «Сатурн».

Можно все понимать — что к чему и чем оправдывается в конечном счете, но когда твоя бедная живая память наполнена картинами обезлюдения, одичалости и уныния в том краю, с которым связано, может быть, все самое лучшее, золотое и чистое в сердце, — это ужасно, — чтобы только не искать других слов.

[1] Приобретение портрета И. А. Бунина работы художника Кащевского.

[2] Глава «Фронт и тыл».

[3] Уже упоминавшийся секретарь Смоленского обкома.

Единственное, что мне было и остается, — выразить, выписать, выговорить все это для себя и для всех — в прозе и стихах, — и оно все перестанет быть ужасным хотя бы для памяти сердца.

**1.II.**

На случай предисловия к «Муравьям» Халифмана[1].

Есть книги, прочитав которые, сожалеешь, что не прочел их (или не мог их прочесть) в детстве или юности, когда они на много лет задали бы уму, наблюдательности, известной склонности благотворную пищу (работу).

Сколько раз я стоял и присматривался к муравейнику где-нибудь на угретой солнцем опушке (но муравейник в тени), к его непонятной хлопотливой жизни. Сколько раз видел сожженные их поселения — ямка золы, которую можно проткнуть палкой. Сколько ходило легенд о муравьином царе и т. п. Странное дело, я почти не знал в детстве ребят, разорителей муравьиных куч. Большие коричневые муравьи, конусы, кучи которых были построены по преимуществу из сухих еловых хвоинок, — не беспокоили даже босых ног пастушонка. — Не любили мы мелких светло-желтых муравьев или древесных (темных) мурашек, которые «кусались» больно и неприятно.

В романе А. Кронина «Юные годы» выведен главным героем шотландский мальчик Роберт Шеннон, которого ведет по нелегким путям его детства и ранней юности рано пробудившаяся страсть к научному исследованию. Эта страсть составляет главное его влечение и мечту. Кронин, сам биолог и врач по профессии (автобиографичность), с замечательной тонкостью раскрывает, как это влечение героя берет начало от некоей книжки (?).

Дело не в том, чтобы все те юные читатели, кого увлечет книга Халифмана, стали муравьеведами (энтомологами), но пробудившаяся в них охота к наблюдению пригодна в мире любых явлений природы и т. д.

А книга способна зарядить читателя любознательностью, навыками пристальности при изучении всяких, с виду неприметных явлений.

Суть этой науки далеко не в том, чтобы вывести искусственно муравьев, охранителей ценных растений и деревьев от многих вредителей. И не в том даже, что подобное изучение помогло, например, распознать природу «фляттера» в авиации. Хотя и это (и то, и другое) очень важно, — смысл в увлекательной тяге к познанию закономерностей мира, в познании...

Вне обстоятельности нет увлекательности, — говорил Т. Манн. Халифман обстоятелен без назойливости, подробен без скуки...

Его книга написана дельно, вместе <с тем> изящно, хотя, по правде, я не верю в изящность без того, что в старину называлось дельностью содержания. Чем он хуже Ильина-Маршака[2]?

**2.II.**

Ему в годину испытаний
Железный все сказал закон:
С ним разговаривать не стали,
Когда на фронт просился он.

Он должен был болеть о тыле,
Ковать победу вместе с ним.
Его на фронте заместили,
В тылу он был незаменим.

[1] Халифман И. А. (1902—1988), биолог, автор известной книги «Пчелы» (1950) и научно-популярных книг о муравьях и термитах. Обращался к А. Твардовскому по поводу договорных недоразумений с издательством «Молодая гвардия». Суть их и оценка рукописи И. Халифмана изложены в письме А. Твардовского к директору издательства С. В. Потемкину. (См. Собр. соч., т. 6, с. 72).

[2] Ильин (Илья Яковлевич Маршак) (1896—1953), брат С. Я. Маршака, автор популярных в свое время книг «Рассказ о великом плане», «Горы и люди», «Рассказы о вещах».



Его решенья, предложенья
Нарком лишь подписью снабжал...

Но я, пожалуй, в изложеньи
Вперед немного забежал. —

Майор (он возражает фронтовику — его слова об «овчинке») и говорит, что, с его точки зрения, прошедшего войну в различных должностях — от солдата до комбата, от отделенья до полка, — на фронте, конечно, легче, спокойней: убьют тебя — простое дело, а не накормят — так ЧП. (И все в заботе о тебе.) И голодает фронт в последнюю очередь. А как подумаешь о женах, о жалких карточных пайках — и прочем. Нет, тыл — старший брат, а младший — в холе, обеспечен. — Однако... — это шахтер. —

День за днем нашивая строфу к строфе, продвигаюсь по схеме замысла, приобретающей все большую заглубленность, из которой, как по линии фронта, так и тыла нужно еще будет выйти без потерь. Эта глава, кажется, у меня наиболее компактна и цельна по замыслу, и идет она, в основном, без мучительных уклонений в случайные стороны. День за днем, но сколько еще дней и когда тот день, когда почувствуешь, что — оно произошло, чего уже не может не быть, как не было ранее и как еще нет покамест.

Утром подумал, что моя «дорога» должна уложиться в рамках четырех времен года: ранняя весна с метелью и непогодью, весна, лето (Ангара) и «Сибирь — осенняя страна» — и опять, может быть, «дремотный дым пурги над лесом» — в этом роде. —

**2.II.**

И еще лучше, кажется, надумал, что запускать на орбиту мою бедную прозу 30-х годов в таком, как есть, виде — отбирай не отбирай — нельзя, — давний день, только специальный интерес, а мне нужно другое. Нужно в нынешней работе о Смоленщине взять еще глубже, начиная действительно с «рибшевских вопросов» и — где просто цитируя, где пересказывая, где только имея в виду про себя — подчинить весь этот материал нынешней моей задаче, дать его в нынешнем наклонении, а наклонение это позволит уцелеть всему, что хоть чего-нибудь стоит, и само будет иметь реальную опору — впечатления, отчасти уже перепаханные, но совсем не на той глубине. И может получиться тем более серьезная и значительная книга, что я уже не обязан внутренне, как прежде, подгонять материал и развитие своей мысли под «его же не прейдеши», заданное в узком смысле, как это было в ту пору. Тогда это было можно и даже хорошо, а теперь нельзя и преступно. Это должна быть книга, которая была бы интересна, давала бы нечто и моему земляку В. В. Петрову, и кому хочешь другому. И я смогу это сделать, даже и не вдаваясь в цифирь и всяческие преходящие достоверности (и они у меня есть), а говоря лишь о том, что живо и точно обозначилось, определилось за эти более чем четверть века, когда я не переставал думать обо всем этом, чем бы по видимости (и не по видимости) я ни занимался другим. — Уже душа требует такого именно разговора, и толку нет, что это будет не чисто художественно, не «сюжет» и т. п.

1. Начать именно с «вопросов», на которые, как мне тогда казалось, уже полностью ответил колхоз «Память Ленина», а, на поверку, и до сих пор нет окончательного ответа.
2. Отступить к исходному, 1930 г., к первой моей поездке в колхозкомбинат (Ржевский) в качестве «писателя», как это ни забавно. Что-то для памяти найдется в моем тогдашнем «очерке», не увидевшем света.
3. Загорье — кратко, по возможности, без привлечения личного материала, — это для другого раза.
4. Разные колхозы и районы области, очерки 1933 — 36 г.
5. Послевоенные времена, начиная с избы М. Худолеева. — Смоленск, набитый родней и иными выходцами из известных мне. — Колхозный материал из других мест (немного «Большевик» — Горшкова и красно-

уфимский колхоз) — только в плане общей постановки: «участка» и колхозного поля, обезлюдения деревни, нарастания всевозможных «штатов» и т. д.

8. Нынешнее Загорье и все подобное ему и — что же дальше, «какой будет конец нашей местности?..»

**4.II.**

Длинновато и перечислительно. Сократить. С «Теркиным» — опустить уже по одному тому, что это лишнее указание на близость стиха к теркинскому, — так легко было бы перевести всю эту рацею в хорей.

Попробовать завтра все от начала.[1]

**6.II.**

Вынес на листы (6) все, что было главным, — до «штрафбата».

Дальше нужно как-то дать слушателей и спорщиков, поочередно недоумевающих, — что же он? И нужен смех самого майора, фронтовика, слушателей, даже «секретаря» (в меру). Он сверх того, что всем известно, — осведомлен. И лирическая концовка — о том, что везде хорошо и лучше бы не оспаривать это первенство на земле.

Лучше бы всего этой главке дать отдышаться, как обычно, но — с другой стороны — раз идет, пусть идет, — не так это часто у меня.

Поездку в Севастополь, необходимость выступать, поневоле дав согласие, уже переживал, как несчастье, — хоть заболеть бы. Но правильный метод в борьбе против рецидивов мелко-буржуазной расхлябанности — браться за это самое дело.

Третье утро на прогулке прочитываю по памяти стихи для чтения — «Переправу», «Юность», «Нет, жизнь меня не обделила», «В тот день, когда окончилась война». Стал спокойнее ждать 9.II. и не без пользы вообще — такое прочтение некая мера, проба. В нем отчетливо обнаруживается — что слабее, что лучше. Кое-какие строки показывают вдруг, может быть, больший запас смысла, чем это казалось по памяти, и — наоборот.

Помимо всего — вычеркнул навсегда 2 строфы («В тот день») и вписал одну в «Ленине и печнике» — она была где-то в голове.

**7.II.**

Вял с утра — беспричинно. Утром только это[2] набросал через силу, завтра, может быть, пойдет, но все ближе Севастополь, все меньше запас полного покоя. Или я уже привык к райским условиям этой жизни, и мне уже нужна перемена. Или даже устал немножко, несмотря что пополнел наверняка. Или — по приближении главы к завершению — вижу, что она — так себе. — Но приходить в отчаяние по этому поводу не стану. В сущности — еще о д н а  г л а в а,  с т а л и н с к а я, — а там проза до весны.

**11.II.**

Поездка в Севастополь, удовлетворенность, хоть и не полная, общественной акцией. — Смутные неясные приметы памяти этого города, «примбуля», улиц, гаваней. — Коробка института Сеченова, — одного из двух-трех уцелевших в городе зданий. — На крейсере «Фрунзе», тоска нелегкой службы, которая под силу только молодости. — Рассказы о гибели «Новороссийска». Слух о выступлении Хрущева[3] (газеты на другой день,

[1] Критически разбирается запись в рабочей тетради первой половины главы «Фронт и тыл».

[2] Один из вариантов начала главы «Фронт и тыл».

[3] См. Н. С. Хрущев. Речь на приеме в честь советской народной интеллигенции. («Правда», 1958, 9 февраля).



как и здесь), унылая вечерняя официальная выпивка в Доме офицеров флота. Ночевка в гостинице, утро без чая, прогулка в 6 ч. Буфет — сытые, белые крупные капитаны II ранга, поедающие кефир с булками — делегаты флотской партконференции — частично слушатели наши в зале ДОФл. Прелесть обратной дороги: облака внизу над морем, которого не видно, солнце, весенняя теплынь, прочистка ручьев по боковым стокам и ремонт подпорных стенок, дер. Ополяновое. — Ялта с ее «оргвыводами» по поводу хрущевской речи. Моя популярность, преследовавшая меня вчера на набережной («Простите, я вас не знаю, но моя жена знает сестру вашей жены»...), в похоронном бюро («Поэт Советского Союза»), по пути на кладбище, куда ездил за надгробной подушкой для могилы дочери Соколова-Микитова, все, впрочем, без связи с речью Хрущева.

Прочел Маше главу еще до сегодняшнего сеанса по доведению конца. Она, между прочим, сказала: — Жаль, что «Теркин на том свете» так и пойдет у тебя по частям и уже сам по себе не сможет звучать, как бы мог. — А по мне — пусть. Гони правду в дверь, она — в окно. Пусть даже то был тактический просчет, важно, что то было существенно, раз оно все время пробивается в других вещах.

**13.II.**

К очерку для «Родины и чужбины»

Чертолино, легендарное посещение бывшим владельцем — графом своего имения.

Мой жгучий интерес к помещикам, барам, о которых я знал только по книгам. В первую весну после революции — находка в болоте книги «Потерянный и возвращенный рай». Да, где-то близко возле моего детства ходили баре, господа и т. п., книга Бартоломея. Пан, которого я знал в натуре, был пан ничтожный и неинтересный, не похожий на тех, которых я знал по книгам: он подшивал валенки (когда-то грозившийся застрелиться, как только не будет уже и жаркого, и теперь варивший простой серый горох, что привез отец, все же, видимо, гордившийся близостью с «паном», так как и сам он был «паном» в какой-то мере, хотя бы по звучанию фамилии).

И вдруг настоящий граф из Парижа.

Но тот детский интерес не шел в расчет тогда, но по навыку молодого газетчика я соображал, что из этого будет «полоса»: «Два Чертолина» (цифры, сравнение старого и нынешнего, колхозного, села и т. п.).

Но, оказалось, когда мне перевели статью из парижского журнала, найденного мною в Чертолине, что граф уже сделал эту работу. Но зачем нам объективные показания графа. Это было ни к чему, словом, «полоса» отпала. А спустя лет пять я познакомился с графом в одной из московских редакций — это был Игнатьев А. А.

Обо всем этом я вспомнил, когда увидел в Софии улицу имени Игнатьева и узнал, что это один из тех Игнатьевых, о которых упоминается в книге «50 лет в строю».

И там же, в Болгарии, мне случилось увидеть настоящих белоэмигрантов (кроме тех, что были участниками партизанской борьбы против оккупантов). «Доживающие».

Мне их не было жалко. Казалось бы, пожалеть. Странно, но они не говорили почти о родине и не очень ею интересовались. А самая большая боль — родина.

Какие бы человек ни сделал ошибки и т. п., с ним еще можно говорить, покамест у него в сердце — Родина, пусть в его самых ограниченных понятиях. А эти родину вспоминали только как время, когда им было хорошо. И жалели о ней, как жалеют об утраченном богатстве, потерянных деньгах, пропущенной возможности жить сытно, праздно и разгульно.

**16.II.**

Дела ближайших московских дней:

I. 1) С т а л и н с к а я г л а в а

2) Лирика разных лет

II. Издания:

1) Огоньковская книжка

2) За далью — даль и др. — «Советский писатель»

За далью — даль

Сибирские стихи

Из лирики разных лет.

3. «Родина и чужбина» — в знаменском составе: очерки: албанский и норвежский, «Печники». Может быть, включу и очерки — уральский и «Столица и провинция».

4. Договориться с Молодой гвардией (или?) об издании толстого однотомника, может быть, с образцами прозы и статей, примерно:

1) Записи, очерки, рассказы.

2) О Пушкине, Исаковском, Маршаке, «Ответ» [1].

**21.IV. Москва**

Все по порядку выползания из тьмы, которая на добрый месяц после Ялты охватила меня: невыход в город, мука в клетке, дурной сон, потом сознание хотя бы одного дня воздержания за спиной, всякие зелья Л. Дм., телевизор, книга (на этот раз Лундквист «Дикари живут на Западе»), разбор почты, раздача и рассылка денег, чтение корректур («Теркин» — «Избранное» — Детгиза и Гослита), сдача в издательство «Советский писатель» «Далей» с сибирскими стихами и сибирских стихов в «Огонек», появления «в свете», в ЦК и т. д. вплоть до возвращения к тетрадке.

Новости этого периода, пришедшие как нарочно, чтобы поддержать слабеющий дух мой:

I. Посещение Поликарпова в ЦК, приглашение к Фурцевой по двум вопросам:

1) Гимн («партийное поручение»)

2) Журнал «Новый мир».

Поликарпов свалился и в больнице к моменту, когда я уже должен был прийти с ответом (по журналу), Фурцева уехала в Польшу с Ворошиловым. Сижу в неопределенности, которая бог весть сколько продлится. Решение принято: если, как мне было сказано, «все условия», то первое из них — редколлегия (из старой оставить одного Федина); второе — полгода, а лучше год — не производить экзекуций в закрытом помещении.

«Московское утро» «встревожило» «главного»: для кого это написано? — Замял, к его удовольствию: я ведь только так, памятуя о нашем уговоре, что все новое я прежде показываю вам, т. е. «Правде». — В пакет «неопубликованного».

---

Эпизод с «попыткой выдвинуть (снизу!) т. Твардовского в депутаты Верховного Совета СССР» где-то в Костромской обл. Так как затейник [2] был один раз уже исключен из партии за эти штуки и возобновил это дело по восстановлении, то его исключили вторично и уже накрепко. А он говорит Дементьеву, что не будет просить о восстановлении.

---

В Гослитиздате намечено Собрание сочинений — слышал об этом со стороны и сегодня от ведущего редактора Надежды Дмитриевны [3] — по-видимому, 4-томник.

---

[1] «Ответ читателям «Василия Теркина». Впервые опубликован в «Новом мире», 1951, № 11.

[2] Буртин Ю. Г., в то время работавший учителем русского языка и литературы, бывший студент А. Г. Дементьева.

[3] Крючкова Н. Д. — редактор Гослитиздата.



Гимн — поистине трудная штука. Заношу свои попытки слепить все из тех же 16 слов что-нибудь человекообразное. Исаковский при этом очень умно и правильно критикует и редактирует, а Сурков «на подхвате», но это я его предложил в состав «ударной группы», имея в виду, что только таким образом мы втроем что-нибудь сделаем, будучи и авторами, и редакторами этого дела.

**28.IV.**

Новости: кампания в газетах против Ленинского Комитета [1]. Дело представляется фокусом нынешних обстоятельств в искусстве. Комитету предлагают, по существу, «передумать», признать ошибкой свое решение. Если так произойдет, это будет зловещим делом, и я всерьез думаю, что тогда я должен буду уклониться от журнала, тогда это будет делом безнадежным начисто.

К сегодняшнему экстренному заседанию Комитета:

1) Премия Ленина не может не быть редкой, Комитет не может вступать на путь старого Комитета.

2) Сделать необходимые разъяснения и поставить вопрос о пересмотре статута Комитета в сторону «совокупности».

К с т а т ь е о С о к о л о в е-М и к и т о в е

Родина большая и малая.

Тот угол Смоленщины, где она смыкается с соседними Калужскими (?) местами.

Лесной этот край — малая родина; Россия, Союз — большая, а там и иные края и страны, куда поэта заносила судьба. И всюду он нес с собою — сыновью любовь к родной земле и к малой ее частице, согретой живой памятью детства, — надугорской стороне — с ее пустошами, лядами, зарослями иван-чая.

Там и там — вдруг возникает этот мотив родной земли, как дорогая сердцу, не затихающая в нем песня.

Может быть, эта любовь еще обострилась в испытаниях, какие достались судьбе художника. Он, слушавший Ленина, — (сын народа, солдат был занесен на чужбину, где душа его не находила и не могла найти себе начала).

Ива со спичку.

У знойных берегов Африки.

Цитата о просторах Родины.

Язык. Язык и есть писатель.

Очерки и рассказы 20-х годов.

Эта линия обрывается где-то на грани 20-х г. — север, юг и юго-восток страны, теплые страны и т. д.

Какие бы, казалось, мог такой слух и такой глаз уловить, подсмотреть и расслышать картины и (речи) в годы развернувшейся перестройки деревни.

Можно об этом пожалеть. Но нельзя упрекать талант за то, чего он не дал, нужно быть благодарным за то, что он смог дать.

Эти скромные, непритязательные, на первый взгляд, страницы уже пережили не один короткий век модных романов и эпопей «односезонных»

---

[1] 24 апреля 1958 г. в «Правде» появилось «Письмо в редакцию» группы работников московского завода «Серп и молот»: «Достойно оценить достижения литературы и искусства. (Почему не отмечены премиями выдающиеся произведения литературы, живописи, кино?)». Достойными премии назывались рассказ М. Шолохова «Судьба человека», роман М. Стельмаха «Кровь людская — не водица» и поэма А. Твардовского «За далью — даль». Дело в том, что ни одно из выдвинутых на соискание Ленинской премии произведений не собрало при голосовании в Комитете нужного числа голосов. Год 1958 для литературы стал беспремиальным. Следует отметить, что, в отличие от других произведений, названных в «Письме в редакцию», поэма «За далью — даль» не выдвигалась на соискание Ленинской премии, поскольку еще не была завершена. Автор ее, как видно из дневниковой записи, стоял на позиции духа и буквы статута Комитета. Можно добавить, что по завершении поэмы ей была присуждена Ленинская премия (1961).

и ныне по-прежнему могут доставить читателю живейшую радость <встречи> с чудесным даром простого и сердечного рассказа.

**4.V.**

Вчера поехал к Заксу насчет колхозных очерков смоленских времен, которые 1.V. дал ему отдельно, и уже знал, что не буду их включать в «Родину и чужбину», хоть бы он уверял меня в обратном. Он еще не дочитал, но я забрал их с облегченным чувством, хотя было и неприятно, что я не ошибся: не стóит «история», а для открытия первой, в сущности, моей книжки прозы — тем более.

Сегодня Комитет. Слышно, что все встанет на место. — В 3 ч. еще в Московском отделении — совещание. Сегодня же — звонить Е. А. Фурцевой (27—35).

Мою колхозную штуку буду писать для «Дневника писателя» — в журнале. Лучшая, пожалуй, форма «необязательности» моих размышлений, воспоминаний и т. п. Название? «За четверть века»? Уж больно по-стариковски, а, впрочем, пустяки.

**6.V.**

Рукопись «Родины и чужбины» сдал издательству.

Телеграмму — подтверждение насчет предисловия к Соколову-Микитову послал Лениздату.

Третьего дня на Комитете — изготовление письма. Вчера у Суслова — победа правого дела, похвалы «мужеству и стойкости» Комитета, чувство удовлетворения (выступал первым после Тихонова, обошедшего как-то всю остроту положения и приумолкнувшего после слов С<услова>: «А может быть, учесть замечания общественности?»).

Суслов при прощании: — Я не мог сказать Вам при всех (почему?), но теперь скажу, что мне очень нравится все, что Вы делаете последнее время. Вы, оказывается, и в прозе... и т. п. Да, у вас идет накопление на Ленинскую, — сказал он еще при Фурцевой, полагая, что больше всего этим меня осчастливит. Фурцева — о гимне. Она-то и проговорилась, что, мол, вчера на Президиуме как раз говорилось о том, что Комитет правильно держится... Я тогда же, сидя рядом с ней, спросил, кто именно говорил. Она удивленно взглянула — как этого не понять:

— Никита Сергеевич.

Вчера я сказал ей свое д а относительно «Нового мира».

Встреча будет после Пленума (дня через 3—4).

Еду на дачу, чтобы поработать в саду и попасть еще хоть на вечернее заседание семинара.

На семинаре. Как я и знал наперед — дело до неловкости натянутое, вздутое в руководительском восторге деятелей Московского отделения. Уровень — рабочая самодеятельность. Хорошие ребята, уже мужчины, семейные (Сергеев, Гадалов — почти одного уровня, Елфимов — нечто еще совсем первоначальное), рабочие люди 30—35 лет. Пишут уже много лет на одном уровне стихов, печатающихся с указанием профессии автора. Пожалуй, им не выйти из этого качества «рабочих поэтов». — мало, страшно мало читали, образование — низшее, загруженность основной работой, стихи — дело малого досуга, выходного дня. — Всячески старался, не впадая в ложь, обойтись с ними помягче. Мои соруководители семинара — Солоухин, Субботин, Сорин, Санников (не участвовавший вчера). Будь они до 25 лет, стоило бы, может быть, рекомендовать в Институт (краснодеревщик Гадалов, каменщик Сергеев), но начинать все это в 30—35, при семье, детях, при отсутствии средней школы, уже вряд ли возможно. А если поглядеть на них с точки зрения общекультурного подъема — хорошо: Сергеев «многотиражковый» поэт, Гадалов — пишет для радио «композиции», песни для своего коллектива самодеятельности (музыка профессиональных композиторов). МО подошло к этому с другой мерой — как к резерву «пополнения рядов» — и ерунда. И теперь говорит о «требовательности», готовы обзывать «графоманами».



**7.V.**

Вчера закончил «программу» семинара. Под конец — тяжелый случай с Молокановым — моим протеже. Несомненные блестки чего-то, энергия, напор — и очевидная болезнь. «Самоиздательская деятельность». Был на фронте, был в тюрьме, инженер-конструктор, но, может быть, такой же, как поэт. Бедняга еще со вступительной речи был встречен беспощадным хохотом участников, учуявших, насколько они умнее сумасшедшего. Его было жаль, я постарался обойтись с ним возможно мягче.

---

Вся затея — неоправданно громоздка — 120 человек загребли в одной Москве и области, взяли самую «низовку» — и что же? Ничего почти, кроме горечи, недоумения и обиды простодушных людей, писавших себе потихоньку, — кто для коллектива самодеятельности, кто для многотиражки, кто для своих «Выпусков», как Молоканов, кто для кружкового обсуждения. Как можно научить их подняться выше их уровня заурядной литературной с а м о д е я т е л ь н о с т и до каких-то иных измерений, когда это люди с 7-летним образованием, работающие на производстве, уделяющие «творчеству» лишь какие-то часы своего дня и дожившие так до 30—35 лет. Вдруг их с их стишками, стабилизованных в своем «самодеятельном» уровне, собирают, берут с производства, распределяют по №№ и начинают бранить, стыдить, попрекать возрастом, призывать к чему-то, чего они понять не могут. — Что знаете из Пушкина? — «Зимнюю дорогу»...

Удел их в большинстве — бытие в качестве «рабочих поэтов», печатающихся в газетах и журналах с обозначением профессии, как в отношении детей — их возраста. Своеобразный а н а х р о н и з м «сурковщины». — Но то были иные времена, тогда в редкость был человек из народа — мастеровой, мелкий торговец и т. п., «сам пишущий», а теперь это на фоне общекультурного роста масс зауряд явление — стенгазета, самодеятельность и т. д. Правда, что и Шаляпин вышел «из самодеятельности», но с тех пор нет второго.

А кто обучает, кто затевает все это? Люди, мало осознающие свою задачу, люди, сами крошечного литературного профиля, — С. Б. и т. п. Когда я смотрел на руководителей семинаров, я считал возможным из них составить семинар, но со значительным отбором. И многим пришлось бы узнать, услышать, что им еще рано считать себя «мастерами».

Нет худа без добра, но сколько же худа, сколько добра — необходимо учитывать — в какой доле они являются.

О принципах воспитания не говорят в присутствии воспитуемых.

Необдуманное, «чоховое» мероприятие — не отстать от второго этажа: чем мы хуже. — Самые догадливые и чуткие покидают семинары с чувством неприятным. Они должны вернуться на производство, в семью, в круг своих близких и друзей. — Ну что, как? — Да вот, говорят, учиться... Если бы они отобраны были как каменщики, столяры и т. п., — их бы хвалили, поощряли, они возвращались бы в настроении подъема, радости, а тут другое.

«Главная задача МО — воспитание молодых, — решили руководители. — Взрослые-то к нам не идут». — Но получается нечто пустопорожнее, стыдное, архинепродуктивное.

**13.V.**

Муторное состояние неопределенности, ожидания и неожидания, опасения и желания, чтобы уж все, наконец, обратилось во что-то очевидное, реальное, чем и заниматься. Эти «верха» обладают божественной способностью нечто начать, во что-то тебя вовлечь — и забыть, отложить, все ос-

тавить на волю времени,— как будто тебя и нет на свете.— В сущности, около полутора месяцев я думаю и все располагаю в соответствии с предположением редакторства: отменил и переменил свои планы на год, не влезаю в серьезную работу (Смоленск), вовлек в круг своих настроений, хоть и с оговорками об «условности» этого дела,— добрых людей (и недобрых, что тоже существенно), а звонка просто нет, и дело не такое, чтобы самому «подшуровывать». И нельзя вдруг, если б и была во всем ином полная возможность, махнуть на все рукой, уехать, заняться своим хозяйством. Однако, может быть, именно так я и поступлю, закончив свои дела на даче.

---

Вот проклятие, близкое по всему к проклятию писания, когда ищешь какую-то «линию», а край все неровный, получается что-то не то, и мысль не отрывается от пустяковой задачи выведения какого-то «бортика» вдоль дороги и перемещения цветочной грядки в сторону.

[...]

---

**8.VI. Внуково**

Все в той же позиции: зама нет, Лифшица не берут (Поликарпов и Сурков одновременно и единодушно). А июньская книжка «Нового мира», которой уже быть бы в пути к подписчику, еще не полностью сдана в набор! — Бог весть, с кем и как я буду хлебать эту кашу и кто за меня будет писать «Дали» и пр. А покамест что мне не только отступать некуда, но я поставлен в такое положение, что сам звоню, хлопочу, напоминаю, как бы прошусь на эту должность. И так уже 2 месяца. Едва сегодня домучил статейку о Соколове-Микитове (предисловие). [...]

**3.VIII. Внуково**

Чуть не два месяца ни одной записи. А всего, начиная с первого разговора у Е. А. Фурцевой, уже едва ли не четыре месяца, на каковые приходится лишь «текст», лядащее предисловие к Соколову-Микитову да десяток-другой «рецензий» по журналу, где неотрывно, каждодневно нахожусь с 20.VI. [...]

Сдано три номера (7, 8, 9), из них один уже вышел. Сейчас период мучительной «утряски» административно-финансовых вопросов, штатного расписания и т. п. А зама нет, «публициста» нет, «критика»-члена нет, а люди из аппарата идут в отпуска.

Если не будет решительно изменено положение, то я скажу: вот на орбиту, мол, журнал я вывел, а там решайте: править ли мне чужие, по большей части скверные рукописи и не писать ничего самому — или как? Не только писать, читать печатных книг некогда. Едва урвал время ознакомиться с «боевиком» — сплетней и ябедой в лицах — «Ершовыми» Кочетова (к слову — потрясен этой штукой, вернее, возможностью такого «явления» в литературе.— Если это литература, то мне там делать нечего, как и всем добрым людям).

**11.X.**

Еще два месяца без единой записи. За последние три недели — первое утро (притом воскресное), когда нет срочного, обязательного чтения по журналу. [...] За делами по журналу и прочим успевал только немного потрудиться на даче, где хоть, может быть, и не буду жить, но в силу самого влечения к такой работе и ее явно оздоровительного воздействия; расчищаю участок, выкорчевывал с незаменимым напарником Иваном Петровичем[1] около десятка осин, затеняющих сад и мозоливших мне глаза из года в год и угнетавших нетронутостью задачи. Точь-в-точь — как

[1] Пиманкин Иван Петрович — уже упоминавшийся шофер А. Т.



будто взялся за трудную, долго отодвигавшуюся свою рукопись, и давай ее кромсать, и все посветлело, и предстоящие труды только веселят. Этим буду заниматься еще с неделю, вместе с пересадками деревьев в саду (чтобы разредить их).

Ближайшие (до отпуска, который хочу взять не позднее середины декабря и, если ничего лучше не удумаю, то поеду в Ялту) задачи, помимо журнала:

1) Собрание сочинений

2) Речь на съезде[1] (или статья перед съездом).

Это нужно написать.

**13.X.**

Какое все же нешуточное дело — подготовка первого Собрания сочинений. Здесь, пожалуй, несмотря на опыт и прочее, есть чего переживать побольше, чем при подготовке первой твоей книги, ибо — там проба, там все впереди, все можно поправить второй, третьей и т. д. книжкой, а тут уж есть некая «необратимость». Я бодрюсь и говорю себе и друзьям (да, появляется и «маршакизм» — неудержимая потребность говорить об этом деле с близкими тебе людьми): подведем, мол, черту, а там — дальше. Это, мол, затрем,— заново начнем. Но нельзя не понимать, что кой-чего уже не скажешь лучше того, как сказал в лучшие годы жизни,— их напор, их щедрость позволяли и без нынешнего «понимания» говорить то, что нужно. Быть может, уже и не сможешь в существенном изменить картину. Такие и другие мысли и соображения сейчас занимают неотступно. Правда, есть здесь и то, что приятно: видишь, что все же кое-что тебе удалось сделать, так же приятно «вылизывание» своего детища (по Марксу), подбор, расположение, разумные изъятия и дополнения. И это, чую, будет занимать вплоть до подписания верстки последнего тома. Кроме того, может быть, хорошо, что такая работа выпала на такое время, когда весьма трудно двигаться дальше, не кривя душой.

Нет, переводы не включаю, они для меня дело случайное. [...]

**21.X.**

К Автобиографии

1) Фамилия с приставкой «пан», дорого обошедшаяся ему (отцу) в 30-е г.

2) Ной на стройке ковчега.

3) Первое напечатанное стихотворение («Новая изба» — Пашка на возу сена).

4) Смоленск — Исаковский, сверстники Марьенков, Локтев Аркадий Николаевич[2].

5) Ранние поэмы, «Дневник предколхоза» — (правдивость в мелочах и вранье в существенном).

---

Еще не пришло время открыто написать в автобиографии о том, какой напряженной фальшью было стремление (из самых добрых побуждений) «показать кузнеца-кулака» — да еще под именем «Гордеича». А может быть, отчасти и можно (местные условия,— кулацкий признак — веялка и т. п.).

---

Не то что забыта, но и не была никогда на памяти у читателя поэма «Вступление», как, впрочем, и «Путь к социализму».

[1] Имеется в виду XXI съезд КПСС.

[2] Упоминаются те, кто был наиболее близок в это время Твардовскому. Локтев А. Н.— редактор журнала «Западная область» (Смоленск), благожелательно относившийся к А. Т. и принявший его на работу в журнал.

**23.XI.**

День рождения Вали, которой пошел 28-й год! Научная моя дочь, давно ли ты сидела у меня на плече, держась за мою голову, а я одной рукой держал твои босые ножонки! —

Стал было раздвигать Автобиографию, но теперь вижу, что не стоит это делать. Или писать уже вполне широко, или строго, без «экивоков», как и написана эта моя Автобиография лет 10 назад. Нужно сохранить в ней этот строгий стиль и план документа, сделав, может быть, отдельные вставки фактического порядка. А «живопись» — это уже область «Пана Твардовского» или каких-нибудь «автобиографических заметок».

---

Заношу для сохранности эти не вошедшие в текст «Автобио» вставки в тетрадь.

1. Эта шляпа и это эфемерное «панство» дорого обошлись отцу в условиях нашей местности, в тридцатом году. Правда, еще немалую роль тут могла сыграть почти новая пятистенка, которую отец незадолго перед тем (30 г.) купил за полцены у одного зажиточного соседа (Роман Ив. Игнатенков), рано учуявшего приход больших перемен жизни и покинувшего наши места по собственной инициативе. Пятистенка была поставлена на месте нашей старой «пуни» и выглядела снаружи очень солидно, но за недолгое время, сколько жила в ней наша семья, «освоена» по-зимнему была только передняя половина с обычной русской печью, а вторая, чистая, где предполагалось быть голландке («зал»), оставалась холодной и неотделанной. В этом новом жилье я посетил в последний раз в родных местах свою семью зимой тридцатого года, будучи уже городским человеком, отрезанным ломтем. (Еще был в 31 г. в канун выселения семьи, когда я еще вернул им лошадь, взятую мной, помнится, с холодного, забитого снегом двора дьякона Ляховского, где она простояла суток трое голодная.)

К этому еще нужно добавить, что характер у отца был малосимпатичный, заносчивый и нетерпимый в отношении хуторян-соседей, которых он подчеркнуто ставил ниже себя (не только по уму, что само собой разумелось, но и по благосостоянию, что было весьма условно).

Может быть, именно в силу этих черт своего характера отец, как это ни странно, все потрясения и испытания, выпавшие в последующие годы на долю его и многочисленной семьи (кроме меня), воспринимал с некоторым тщеславным удовлетворением, видя, должно быть, в них уже несомненное подтверждение того факта, что он-таки действительно был «паном», или «жителем», как у нас называли людей определенного достатка.

2. Мать моя (здравствующая поныне) была почти во всем полной противоположностью отцу — мягкой души, дружелюбная и уступчивая, она всю жизнь с болью переносила его жестковатую заносчивость и тщеславие.

Смолоду она очень тосковала по своей родне, дому, родным местам, которые представлялись ей покинутыми где-то вдалеке, хотя находились в каких-нибудь 10 — 12 верстах от этой «пустоши Столпово». Происходя из крайне захудалой, попросту омужичившейся, но все же дворянской («пушкарской», как у нас говорили) семьи, она была совсем малограмотной, едва могла расписаться, и, лишь как-то по нужде подучившись, могла нацарапать немудрящее письмецо отцу, мобилизованному в годы первой мировой войны. («Триша кот».)

Но при всем том она, сколько я помню ее, обладала редкостной восприимчивостью к тому, что читалось из книг или рассказывалось, или пелось в песнях. Сама она, когда была помоложе, очень хорошо пела своим слабым голосом городские песни из дореволюционных песенников, но с особенным чувством те деревенские, бабьи и девичьи песни, каких не было ни в одном песеннике.

В поле и дома, во всякой женской работе она, что называется, не знала равных себе по чистоте, быстроте и выносливости, хотя совсем не



отличалась здоровьем. Во всякой работе, говорила она, нужно найти «ряд», «слой», а там она и пойдет. — Эти ее слова я запомнил на всю жизнь.

Отец был, может быть, еще более зол и неутомим в работе, работал он до ожесточения, будь то у кузнечного горна или на раскорчевке ляда, в косьбе и т. п., но тут главное было в материальном расчете, корысти и опять-таки тщеславии. Кроме того, эта работящесть была неравномерной, порывистой. Он мог вдруг, в разгар самой сезонной работы в кузнице или в поле, уткнуться в книгу и, как выражалась мать, «окаменеть» над ней на час, на два. — И книги, не в упрек ей сказать, она недолюбливала, видя, может быть, в них одну из тех неприятных черт, которыми он как бы подчеркивал перед соседями и родней, что он им не ровня.

3. «...но это были стихи, звучащие, как из книги». Может быть, такому восприятию способствовало еще и то, что стихи были иллюстрированы собственноручным рисунком дяди Коли, изображавшим «осень» и эти «голые сучья». — Рисунок этот, пожалуй, самое первое мое впечатление поразительной верности, натуральности изображения. — Около этого времени я нашел в кустах, в болоте огромную роскошную книгу в красном переплете и с золотым обрезом. Она была брошена там после погрома ближайшей (Ляховской) барской усадьбы (осень, зиму она пролежала в болоте, но, помнится, мало деформировалась). Прочесть в ней я ничего не мог, — это была, как я сообразил много лет спустя, вспоминая о ней, поэма Мильтона «Потерянный и возвращенный рай» на французском языке, с рисунками Доре. (Однако я тогда от отца, что ли, знал, что это «Потерянный и возвращенный рай» Мильтона.) Впечатление от этих рисунков было настолько сильным, что я с риском поломать себе шею долго пробовал сбрасываться с балки сарая (пуни) на сено вниз головой и развернув локти врозь, как это делали черти, низвергаемые с неба в преисподнюю. Однако мне до сих пор памятно мучившее меня чувство неловкости и неправильности того, как на одной из картинок полуголый лысый старик (Ной на стройке ковчега) что-то пилит обыкновенной одноручной пилой, держа ее за верхний угол станка, т. е. так неумело и неправильно, что он одного раза двинуть этой пилой не мог бы.

4. «...и жалела меня». Это было с ее стороны тем же примерно чувством, каким она прониклась ко мне, когда я лет 10 — 11-ти стал отличаться исключительной религиозностью и однажды объявил в семье, что собираюсь посвятить себя богу, т. е. пойти в попы или монахи. Отец, кичившийся своим безбожием, отпустил по этому поводу непристойную поговорку («был бы ты попом, да голова у тебя кляпом» — кляп у нас — член). Мать же приняла все всерьез и даже стала меня исподволь прикармливать (насколько это было возможно при такой куче детей) в предвидении ожидавшей меня подвижнической жизни. Но религиозный пыл, явившийся следствием чтения каким-то путем попавших мне в руки изданий вроде «Почаевского листка» и т. п., вскоре оставил меня и сменился множеством других настроений и мечтаний под воздействием опять же чтения, неутолимой страсти моего отрочества. Чтение это было фантастически беспорядочным: в 11 — 12 лет я читал «Братьев Карамазовых», а «Трех мушкетеров», о которых знал из литературы же, прочел уже где-то около сорока лет и т. п.

Окончание следует

---

## *Мемуары. Архивы. Свидетельства*

П. А. Родионов

# КАК НАЧИНАЛСЯ ЗАСТОЙ?

### ЗАМЕТКИ ИСТОРИКА ПАРТИИ

С Брежневым я встречался не раз. В известном смысле даже являюсь его «крестником»: когда в конце 1963 года принимали решение рекомендовать меня на пост второго секретаря ЦК КП Грузии, я был у него на приеме дважды. Первая беседа была продолжительной, и о Брежневе у меня сложилось вполне благоприятное впечатление. В дальнейшем я встречался с ним еще, но особенно мне запомнилась встреча, которая состоялась в конце моего пребывания в Грузии.

Но сперва расскажу, что предшествовало ей. Положение в Грузии сложилось совершенно нетерпимое: коррупция, разложение кадров достигли здесь наибольшего расцвета. Это уже значительно позже Узбекистан, Казахстан, Туркмения да и соседние с ней республики отнимут у Грузии сомнительную «пальму первенства». Тогда, правда, еще не произносили слова «коррупция», термин этот был не в ходу, как, впрочем, и «мафия». Поэтому когда на теоретическом семинаре для республиканского партийного актива в сентябре 1969 года я сказал о том, что среди руководящих работников широко распространилось взяточничество, в том числе под видом дорогостоящих «подарков», и что на политическом языке это называется коррупцией, выступление вызвало буквально бурю.

На меня посыпались жалобы, и это понятно, ибо среди участников семинара было немало таких, на ком, что называется, «шапка горела». Атаковали, кстати, не только меня, но и тогдашнего министра внутренних дел Э. А. Шеварднадзе, который в отличие от своего союзного шефа Щелокова вел борьбу с коррупцией не на словах, а на деле.

Став впоследствии первым секретарем ЦК КП Грузии, Э. А. Шеварднадзе немало сделал для оздоровления морально-психологического и нравственного климата в республике. Правда, совсем пресечь коррупцию так и не удалось, но все же мздоимцы не могли теперь действовать так открыто и нагло. В то время, о котором я веду речь, они не были разборчивы ни в способах поборов, ни в способах борьбы с теми, кто им мешал. В ход шло все: и клевета, и угрозы (вплоть до убийства), и попытки «откупиться». По машине секретаря ЦК стреляли из пистолета, и стрелявший, кстати, так и не был установлен, зато в ход пошла версия, что это, мол, «ребячьи шалости»...

Борьбу с коррумпированными элементами сильно осложняло то, что у жуликов и взяточников всегда находились сильные защитники, и не только внутри самой республики. Однажды в моем кабинете раздается звонок телефона правительственной связи (ВЧ). Абонент представляется: «С вами говорит Яков Ильич Брежнев». Представившись, стал просить за арестованного махровейшего жулика. Я ему ответил: «Извините, но я не имею никакого права вмешиваться и давить на следственные органы», а в ответ слышу: «Вы все можете, в ваших руках большая власть». В самой категорической форме я заявил звонившему, что никаких шагов на сей счет предпринимать не стану. Содержание нашей беседы передал первому секретарю ЦК КП Грузии В. П. Мжаванадзе, который лишь сказал: «Это меня не удивляет. В другой раз адресуй его ко мне».



И до этого звонка доходили до меня слухи, что некоторые грузинские комбинаторы нашли дорожку к Я. И. Брежневу, однако не придавал значения этим разговорам. Слышал, что он большой поклонник Бахуса, впрочем, я и сам, встречаясь с ним на различных приемах в Москве, видел, что он активно прикладывается к рюмочке. Это уже потом, после Грузии, узнал я, что был он запойным пьяницей, что на своей работе в Минчермете лишь числился, отсутствуя иногда по 2—3 недели, и что на вопрос Л. И. Брежнева: «Где Яков?» — руководители министерства часто ничего не могли ответить. (Кстати, о похождениях Якова Ильича многое известно водителям гаража ЦК КПСС, которым приходилось развозить его по различным адресам даже после кончины венценосного брата. Много толков шло и идет по сей день о шикарной даче, построенной для Я. И. Брежнева в районе Барвихи. Нет ли там «долевого участия» любезно опекаемых им комбинаторов?)

Протекционизм, «телефонное право» принимали в Грузии массовый и открытый характер. В ряде партийных организаций шла торговля... партийными билетами, за прием в КПСС разного рода жулики, выдвигавшиеся затем на более высокие должности, давали крупные взятки. Получив сигналы о таких позорных фактах и убедившись в том, что они верны, мы в отсутствие Мжаванадзе, собрали бюро ЦК и строго наказали виновных, исключив кое-кого из партии. Решение, надо признать, было принято с большим скрипом, потому как некоторые члены бюро не желали «выносить сор из избы». Особенно сопротивлялся фаворит Мжаванадзе Чануквадзе, который рьяно защищал своего выдвиженца — тогдашнего первого секретаря Сухумского горкома партии, получившего в конце концов строгий выговор с занесением в учетную карточку за злоупотребления, допущенные при приеме в ряды КПСС.

На моей памяти Мжаванадзе сменил несколько фаворитов, но этот последний оказывал наибольшее влияние на патрона. Коварный и хитрый, льстивый, действовал он зачастую и через домашних Мжаванадзе, особенно через его супругу, связывая «шефа» буквально по рукам и ногам. Когда же Мжаванадзе освободили наконец от занимаемой должности, первым от него отрекся не кто иной, как его могущественный фаворит Чануквадзе, имевший к тому времени большие связи в Москве. Его освободили от поста секретаря ЦК, подвергли острой критике (делегаты абхазской партийной конференции, к примеру, решительно отвергнув кандидатуру Чануквадзе на очередной съезд Компартии Грузии, откровенно сказали о его злоупотреблениях), тем не менее еще десяток лет он «ходил в министрах».

Добавлю ко всему этому, что мой преемник в Грузии Чуркин, один из героев дневников С. Н. Хрущева («Пенсионер союзного значения», «Огонек», №№ 40—44, 1988 г.), который на журнальном снимке стоит рядом с Медуновым, провожая Н. С. Хрущева из Сочи,— протеже все того же всесильного фаворита. Молва о Чуркине как о «великом комбинаторе» шла еще с тех пор, когда он был председателем Сочинского горисполкома, и вдруг, проработав какое-то время вторым секретарем Краснодарского крайкома, этот выученик и сподвижник Медунова прибыл в Грузию.

«Сам я товарища Чуркина не знаю,— представлял его Мжавакадзе на Пленуме ЦК,— но его хорошо знает Шота Чануквадзе. Посчитаемся с его рекомендацией». Большинство членов ЦК цену такой рекомендации знало хорошо, однако же проголосовали «за». И что же? Правоохранительные органы республики вскоре уличили Чуркина в крупных взятках. В числе вещественных доказательств оказался галстук из чистого золота, подаренный Чуркину бывшим директором фармакологического техникума Тодуа, у которого при обыске было обнаружено ценностей на 765 тысяч рублей. Чуркина же, хотя и исключили из партии, тотчас устроили на хорошую работу в Калинине.

Меня часто спрашивают: имеют ли реальную основу слухи о причастности Мжаванадзе и его супруги к коррупции? В свое время на сей счет я получал информацию из заслуживающих полного доверия источников и делился ею с руководящими товарищами из ЦК КПСС, но, поскольку делу не был дан ход, прибегать к каким-либо категорическим утверждениям не могу, памятуя к тому

же о презумпции невиновности. Но скажу другое. Вскоре после моего переезда в Грузию чета Мжаванадзе пригласила меня и мою жену в гости. Жили хозяева скромно, одевались тоже. Однако прошло время, и все изменилось — у жены и дочерей первого секретаря стали появляться дорогостоящие наряды, украшения, стало входить в моду пышное празднество дня рождения супруги Мжаванадзе — «царицы Виктории», как ее называли, с приглашением большого количества гостей и преподнесением дорогостоящих подарков. И квартиру чета Мжаванадзе занимала теперь не в таком скромном, как раньше, особняке — заметно выделялся он и фасадом, и планировкой, и отделкой. Правда, был особняк на несколько семей, включая и семью последнего фаворита, но огромная квартира Мжаванадзе напоминала скорее антикварный магазин высшего класса, чем жилье. Вот такая метаморфоза за каких-нибудь несколько лет! К этому добавлю, что супруга «первого» стала бесцеремонно и, надо полагать, отнюдь небескорыстно вмешиваться в расстановку кадров в республике, определяя на престижные должности и «теплые местечки» людей из своей «личной номенклатуры».

Видя, что моя информация о положении дел в Грузии не находит должной реакции в аппарате ЦК КПСС, я обратился напрямую к Л. И. Брежневу и попросил принять меня. Он внимательно слушал мой рассказ, поощряя даже к большей откровенности, но только потом я понял, что сообщенные мною факты интересовали его не сами по себе, а нужны были как аргументы для устранения последнего из «мавров», сделавших свое дело: в свое время Мжаванадзе помог Брежневу устранить Хрущева, о чем я расскажу ниже...

Доводилось мне встречаться с Л. И. Брежневым и в иной обстановке, когда он посещал Грузию. Был он общителен, контактен, любил шутку и сам умел пошутить, особенно во время застолий. Мог вдруг разоткровенничаться. Насчет того, например, как тяжело ему носить «шапку Мономаха», что в голове под этой шапкой и ночью прокручивается все, над чем приходится думать днем. «А думать приходится ой как много и о многом!» Если отбросить позерство Брежнева, то на многих людей, которые с ним общались, он производил очень хорошее впечатление.

При всем том Брежнев принадлежал к числу людей, о которых в народе метко говорят: «Мягко стелет, да жестко спать». В прессе как-то попалась на глаза фраза о том, что сентиментальность Брежнева соседствовала с беспощадностью, что бархатные перчатки лишь прикрывали стальные кулаки. С этим я полностью согласен: Брежнев без колебаний убирал всех инакомыслящих, подслащивая при этом пилюлю. Не щадил он и тех, кто был близок к нему, но сделал вдруг неосторожный, опрометчивый шаг, вызвавший неудовольствие патрона. Так оказался в опале Ф. Д. Кулаков, тогдашний член Политбюро и секретарь ЦК, ведавший вопросами сельского хозяйства (кстати, именно он покровительствовал Чануквадзе), впал в немилость С. М. Цвигун, который благодаря близости к Брежневу стал первым заместителем Председателя КГБ, членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР и в числе очень немногих людей пользовался его особым доверием. Переменчивость Брежнева настолько потрясла Цвигуна, что он покончил жизнь самоубийством. Патрон же его и «благодетель» даже не поставил под некрологом свою подпись...

Вот вам и «отсутствие ярко выраженного честолюбия и властолюбия», как в одной из публикаций говорилось о Брежневе. Вот вам, наконец, и «пустой резиновый сосуд», как образно назвал Брежнева Федор Бурлацкий. Подобные характеристики, с моей точки зрения, расходятся с истиной.

Что касается отсутствия «ярко выраженного честолюбия» и «властолюбия», то многочисленные факты опровергают такой вывод. Относительно же «пустого резинового сосуда» тоже, по-моему, требуется кое-что прояснить. Если иметь в виду интеллект, эрудицию, остроту ума, то да, подобный образ, пожалуй, удачен. Брежнев в этом смысле был действительно посредственностью. И отнюдь не случайно он окружал себя, как правило, людьми серыми, чтобы выделяться на этом фоне. Он убирал тех, кто поумнее, поспособнее, проявляя при этом необычайную изворотливость, недюжинную хитрость, ловкость. Умело



используя явную слабость демократических традиций в партии и в обществе в целом, он шаг за шагом укреплял свое положение в верхнем эшелоне власти. За многие годы Брежнев накопил опыт политического выживания, маневрирования в борьбе за власть, что особенно ярко было проявлено им при соперничестве с Ф. Р. Козловым и Н. В. Подгорным, главными его оппонентами. Многому, очень многому научился он и у Н. С. Хрущева, который в беседе с французским государственным деятелем Ги Молле назвал Брежнева одним из своих преемников. К тому времени Ф. Р. Козлов уже «сошел с дистанции», и Хрущев подыскивал на его место такого человека, который был бы предан ему лично. Известный западный советолог Поль Мерфи в своей книге «Брежнев — советский политик» не без основания писал, что вряд ли в партии был человек, преданный Хрущеву больше, чем Брежнев, без чего последний, разумеется, никогда не поднялся бы наверх. Однако своим поведением Брежнев стал не удовлетворять Хрущева, он проявлял определенную независимость в суждениях, а порой даже и в действиях, что, конечно же, понуждало Хрущева искать ему противовес из тогдашних членов Президиума. Прежде всего он обратился к украинским кадрам. Кандидатуру Кириленко исключил с ходу, так как тот был слишком близок к Брежневу, а выбор свой остановил на Подгорном, поскольку в политическом отношении тот был более зависимым и, надо сказать, не в пример Брежневу менее честолюбивым. Брежнев воспринял этот шаг Хрущева весьма болезненно, что впоследствии и побудило его бороться за устранение Хрущева. Имея высокие полномочия в Секретариате ЦК, опираясь на свои кадры (в первую очередь днепропетровские и молдавские), которые при недогляде Хрущева он расставил на важнейших участках работы, в том числе в руководстве Вооруженных Сил и КГБ, Брежнев постепенно набирал силу. С определенного момента его поддержали Подгорный и Суслов, и вот эта-то троица и стояла во главе заговора против Хрущева, а не Шелепин, как ошибочно пишут авторы некоторых статей о том, как смещали Хрущева, хотя, конечно, и Шелепин играл существенную роль.

Волею обстоятельств я оказался в свое время посвященным во многие детали, связанные с подготовкой и проведением октябрьского Пленума 1964 года, на котором снимали с должности Н. С. Хрущева. Считаю необходимым вспомнить об этом сейчас, ибо события того года проливают свет и на биографию самого Брежнева, который сменил Хрущева на посту главы партии.

В последнее время появился ряд публикаций, авторы которых обоснованно свидетельствуют о том, что подготовка к Пленуму носила характер заговора. Среди таких публикаций в первую очередь хочу назвать дневники сына Хрущева — Сергея Никитича «Пенсионер союзного значения».

Хочу начать не с существа огоньковской публикации, а с изложения своего мнения о В. И. Галюкове, одном из главных героев событий тех лет, который четверть века тому назад назвал имена участников сговора, а точнее сказать, заговора против руководителя партии и страны. Конечно, если говорить объективно, он делал доброе, политически важное дело, шел ради этого на огромный риск. И тем не менее с полной убежденностью считаю, что героя из него делать не следует. Попытаюсь объяснить, почему я так думаю. В свое время автор этих строк был с ним знаком. Запомнился он мне своим видом типичного служаки старой выучки, военной косточкой. На вопросы вместо «да» он неизменно отвечал: «Так точно». Откровенно выказывал преданность «хозяину» — Н. Г. Игнатову, которого я довольно хорошо знал по совместной работе на Орловщине. Происшедшая с ним в дальнейшем метаморфоза кажется мне удивительной и труднообъяснимой. Должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, задевающее лично Галюкова, чтобы он решился нанести обожаемому шефу удар, которого он не ожидал. Причина, убежден, была очень серьезная. Сообщенные им в свое время сведения о готовящемся против Н. С. Хрущева заговоре, безусловно, верны. Основанием для столь категоричного утверждения, помимо всего прочего, служит и свидетельство самого Игнатова.

Будучи вторым секретарем ЦК Компартии Грузии, в одну из своих командировок в Москву (примерно год спустя после октябрьского Пленума ЦК) я по-

звонил Игнатову, чтобы, как говорится, засвидетельствовать свое почтение. В ответ услышал: «Ты, голубчик, что-то стал зазнаваться. Бываешь в Москве, а ко мне не заходишь и даже не звонишь». Я отшутился: «Не хочу отрывать драгоценное время у президента Российской Федерации». Условились о встрече. И вот я на Делегатской, где в то время размещались Президиум Верховного Совета и правительство РСФСР. Беседа шла в комнате отдыха за чашкой чая. После обмена несколькими ничего не значащими фразами Игнатов совершенно неожиданно для меня принялся буквально поносить Брежнева. «Дураки мы,— говорил он в нервной запальчивости,— привели эту хитренькую лису патрикееву к власти. Ты посмотри, как он расставляет кадры! Делает ставку на серых, но удобных, а тех, кто поумнее и посильнее, держит на расстоянии. Вот и жди от него чего-либо путного».

Говоря о людях «посильнее» и «поумнее», мой гостеприимный хозяин наверняка имел в виду самого себя. В нем буквально клокотала обида: столько сделал для подготовки «дворцового переворота», а в результате черная неблагодарность! По ходу тирады он вдруг промолвил: «Никита (именно «Никита», а не «Хрущ»!) сам виноват. Он же получил сигнал о затеваемых против него кознях! Незадолго до своего отъезда в Пицунду, на одном из заседаний, когда остались лишь члены Президиума ЦК, он знаешь, что сказал? «Что-то вы, друзья, против меня затеваете. Смотрите, в случае чего разбросаю, как щенят». По словам Игнатова, многих из присутствующих это повергло в полушоковое состояние. Придя в себя, «друзья» чуть ли не хором стали клясться, что ни у кого из них и в помыслах ничего подобного не было и быть не могло. Тем не менее Хрущев, обращаясь к Микояну, проговорил: «Давай-ка, Анастас Иванович, займись этим делом, постарайся выяснить, что это за мышиная возня».

«Микоян,— продолжал Игнатов,— не проявил особой прыти в раскручивании этой истории... Конечно же, Хрущева сильно подвела его самоуверенность. Мужик он, безусловно, дюже башковитый, а тут промашку дал. Иначе Брежнев и его компания потерпели бы крах».

Самое поразительное и непостижимое в этом разговоре, навсегда врезавшемся в мою память, было то, что Игнатов говорил о случившемся как бы со стороны, будто начисто забыв, что сам являлся одним из главных действующих лиц той драмы.

Судьба самого Игнатова во многом драматична и поучительна. Это была личность самобытная, незаурядная. В прошлом участник гражданской войны, чекист, оказавшись волею судеб в Ленинграде, Игнатов в короткий срок, несмотря на то, что имел всего лишь низшее образование (сам он говорил, что окончил ЦПШ, то есть церковноприходскую школу), проявил себя как прирожденный лидер и был выдвинут на руководящую партийную работу. Сначала работал парторгом ЦК ВКП(б) на фабрике «Гознак», а затем первым секретарем одного из райкомов Ленинграда. В 1937 году его направили вторым секретарем Куйбышевского обкома, и произошло это вскоре после того, как первым секретарем того же обкома был назначен или избран (что по тогдашним временам не имело никакой разницы) Павел Петрович Постышев, к тому времени уже очередной «штрафник». Спустя короткое время Постышев был расстрелян, и первым секретарем обкома стал Игнатов. На этом высоком посту он развернулся вовсю. Зная свою слабинку по части сельского хозяйства, Игнатов засел за книги. Часто советовался со специалистами, как будто предчувствуя, что именно из-за сельского хозяйства потеряет он свой высокий пост. А случилось вот что. Выпало слишком дождливое лето, и под явной угрозой оказался выращенный с таким трудом урожай зерновых. Будучи по натуре человеком смелым, решительным и инициативным, Игнатов принимает единственно возможный в тех условиях шаг: он приказал выдавать треть урожая участникам уборки, и мера эта помогла — урожай спасли. Однако то, что было сделано, не укладывалось в тогдашние каноны и рамки, вызвало гнев Сталина, который срочно направил в область А. И. Микояна с поручением расследовать «ЧП». Расследовать-то, собственно, было нечего, «проступок» Игнатова был очевиден, и его с треском сняли с работы. На состоявшейся вскоре XVIII партийной



конференции он был выведен из состава ЦК ВКП(б). Казалось, что его карьера, начавшаяся так удачно, закончилась бесславно, но Игнатов был не из тех, кто опускает в подобных случаях руки и покорно смиряется перед ударами судьбы. Ему предложили должность заместителя председателя облисполкома, но он упросил оставить его на партийной работе, дать ему хоть какой-то пост. Очевидно, полагал, что таким путем сможет при благоприятном стечении обстоятельств снова подняться вверх. Так оно, собственно говоря, и вышло. В 1940 году, оказавшись на Орловщине, он за короткое время прошел путь от заведующего отраслевым отделом до первого секретаря обкома. Потом стал первым секретарем Краснодарского крайкома, а после XIX съезда партии членом Президиума, секретарем ЦК КПСС. В дальнейшем — второй секретарь Ленинградского обкома и одновременно первый секретарь горкома, первый секретарь Воронежского и Горьковского обкомов...

В июне 1957-го, когда некоторые члены Президиума ЦК КПСС, среди них Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, предприняли попытку сместить Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС и захватить руководство в партии и стране, именно Игнатов (а не председатель КГБ Серов, как ошибочно утверждал в газете «Аргументы и факты» историк Рой Медведев) возглавил так называемую «двадцатку», группу членов ЦК, в которую вошли руководители ряда крупнейших партийных организаций страны, некоторые известные государственные и военные деятели. Эта группа потребовала срочно созвать Пленум ЦК с тем, чтобы пресечь попытки приверженцев Сталина похоронить решения XX съезда КПСС, столкнуть партию с избранного курса, а заодно и уйти от ответственности за совершенные при их активной помощи сталинские злодеяния. «Двадцатке» пришлось преодолеть упорнейшее сопротивление фракционеров. Когда члены «двадцатки» вошли в здание, где заседал Президиум ЦК, они потребовали, чтобы их допустили в зал заседаний. Такое требование было передано ими через ныне здравствующего бывшего заведующего сектором Общего отдела ЦК КПСС Н. А. Романова. Как он свидетельствует, его сообщение о требовании пришедших членов ЦК допустить их на заседание Президиума встретил грубой бранью тогдашний председатель Совмина СССР Н. А. Булганин, который буквально выставил Романова за дверь. И только с третьего захода члены антипартийной группы согласились начать переговоры с «двадцаткой», в чем немалую, можно сказать, решающую роль сыграло заявление Хрущева о том, что в противном случае на встречу с членами ЦК он пойдет один.

После июньского Пленума (1957 года) Игнатов, работавший до этого в Горьком, становится членом Президиума и секретарем ЦК. Однако через какое-то время выяснилось, что он, как, впрочем, и другой член Президиума и секретарь ЦК Е. А. Фурцева, также активно поддержавшая в июне 1957 года Н. С. Хрущева, пришлись, как говорится, не ко двору: они были выведены из состава Президиума ЦК и понижены в должностях. В ноябре 1966 года, находясь в Чили во главе парламентской делегации, Игнатов заболел и по возвращении в Москву скончался. Так оборвалась его бурная, полная коллизий, взлетов и падений жизнь. К слову сказать, тогдашнее руководство партии и страны хотя и с опозданием, но отдало покойному должное, похоронив его у Кремлевской стены, чего не удостоился даже Н. С. Хрущев.

Активно выступив в 1957 году в защиту курса XX съезда КПСС, в защиту Хрущева, Игнатов через семь лет после этого проявил такую же, если не большую активность в заговоре против него. Руководили им, конечно же, не соображения принципиального характера, а обида на Хрущева, лишившего его реальной власти, тем более что, по его мнению, кое-кто в руководстве занимал более высокое положение не по праву. Когда же он убедился, что вожделенный кусок пирога власти, на который он так рассчитывал, ему не достанется и что придется по-прежнему довольствоваться церемониальным постом в масштабах пусть и самой крупной республики (это ведь только теперь положение радикальным образом меняется, а вплоть до XIX партконференции даже пост Председа-

теля Президиума Верховного Совета СССР был по преимуществу церемониальным или номинальным), его стала терзать обида на Брежнева...

Впрочем, не только с Игнатовым происходили подобные метаморфозы. Тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Грузии В. П. Мжаванадзе, обязанный своим выдвижением, введением в состав Президиума ЦК КПСС, а также присвоением ему звания Героя Социалистического Труда именно Хрущеву, в чем он сам признавался, с готовностью и рвением участвовал в интригах против него, и мотивы тоже были личные. Однажды Хрущев в резкой, даже угрожающей форме отчитал Мжаванадзе за случай в Тбилиси, когда чуть не был сорван концерт известной зарубежной певицы, исполнившей на ломаном русском языке знаменитую «Катюшу»,— Мжаванадзе этого не забыл. В дальнейшем у него с Хрущевым были более серьезные трения, в результате чего он стал опасаться за устойчивость своего положения «вождя грузинского народа»...

В речи на мартовском (1965 года) Пленуме ЦК КПСС Мжаванадзе, говоря о причинах смещения Н. С. Хрущева, вменил тому в вину разделение партийных и советских органов на промышленные и сельские. «Члены ЦК, с которыми я встречался,— заявил он,— выражали негодование по этому вопросу, говорили Хрущеву, что разделение осложнит работу, что нельзя этого делать, но он не желал ни к кому прислушиваться». И далее следовала гневная тирада: «Все вынесли, но посягательства на партию члены Центрального Комитета не вынесли, не стерпели и совершенно правильно поступили». Тут невольно напрашивается вопрос: а почему эти «негодующие» члены ЦК, включая и самого Мжаванадзе, заведомо зная, что предпринимаемая реорганизация принесет вред, что совершается «посягательство на партию», не сказали об этом три года назад на ноябрьском (1962 года) Пленуме ЦК, который обсуждал и решал указанный вопрос? Впрочем, они говорили, но нечто прямо противоположное. «Мы,— заявил на Пленуме тот же Мжаванадзе,— целиком разделяем положения, высказанные Н. С. Хрущевым, что теперь старые организационные формы уже становятся в известном смысле тормозом в деле руководства партии и правительства. Мы целиком разделяем и поддерживаем предложения Н. С. Хрущева о новой структуре партийных органов». В таком же примерно духе высказывались и другие члены ЦК, хотя до Пленума действительно у некоторых из них были возражения по данному вопросу.

Одним из активных участников заговора против Хрущева был А. Н. Шелепин. В памятные дни июня 1957 года он, будучи первым секретарем ЦК ВЛКСМ, входил в уже упоминавшуюся «двадцатку» и впоследствии не был обойден вниманием со стороны Хрущева. Но Шелепин, очевидно полагая, что занимаемые им должности (он был секретарем ЦК КПСС и одновременно заместителем председателя Совмина СССР и председателем Комитета партийно-государственного контроля) гораздо ниже его возможностей, рвался к власти более высокой, даже самой высокой. После октябрьского Пленума он представил программу, дух и буква которой во многом напоминали о временах культа личности Сталина. Люди, близко знавшие Шелепина, единодушно утверждают, что он в противоположность Брежневу всегда был представителем так называемого твердого крыла. Между ним и тогдашним Генсеком уже после октябрьского Пленума начались разногласия, которые со временем приобрели более острый и почти открытый характер. Распространявшиеся одно время слухи о нездоровье Брежнева были инспирированы если не самим Шелепиным, то его окружением, и должны были служить средством, облегчающим новую «смену караула». Окружение переусердствовало, чем и было ускорено падение Шелепина.

Если вернуться к программе Шелепина, то невольно задумаешься: какому Шелепину верить? Тому, кто выступал с речью на XXII съезде партии, в которой он, тогдашний председатель КГБ, привел потрясшие всех факты гибели от репрессий видных партийных, государственных и военных деятелей, ни в чем не повинных людей, сказал и о роли в этой кровавой расправе некоторых членов антипартийной группы; нам, слушавшим Шелепина, казалось, что оратор говорил искренне, убежденно. Или Шелепину, который был автором указанной программы, сталинистская направленность которой очевидна.



Шелепин, насколько я могу судить, был одним из немногих деятелей в тогдашнем руководстве страны, кого отличали и интеллект, и большие организаторские способности, творческая жилка. Но ох уж эта распроклятущая жажда власти! Сколько людей, в том числе и одаренных, она развратила и погубила, какой ущерб нанесла партии и обществу! Думаю, погубила она и Шелепина.

И наконец, о самом опытном и, пожалуй, самом хитроумном из заговорщиков — М. А. Суслове. Примечательно, что на каждом крутом повороте истории он вдруг оказывался «на коне». Во многом разделяя взгляды Молотова и его союзников, он не спешил взять их сторону, опасаясь, видимо, что может лишиться своего положения в верхнем эшелоне власти. Когда же он «узнал» о том, что «двадцатка» категорически требует созвать Пленум и требование это после кратких, но бурных переговоров с группой выделенных Президиумом ЦК представителей (Ворошилов, Булганин, Микоян, Хрущев) было удовлетворено, позиция Суслова определилась четко, и именно ему было поручено выступить на созванном 22 июня в Свердловском зале Кремля Пленуме ЦК с сообщением «Об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича».

В дальнейшем он сделал немало, чтобы свести на нет линию XX съезда КПСС, подталкивая Н. С. Хрущева на акции, явно противоречащие этой линии.

Примечательно, что идея заговора против Хрущева объединила самых разных людей, в том числе и таких, которые испытывали друг к другу неприязнь. Между Шелепиным и Мжаванадзе были весьма натянутые отношения, особенно после XXII съезда. По инициативе Хрущева Мжаванадзе должен был выступать на съезде и требовать выноса из Мавзолея праха Сталина. Такое поручение его никак не устраивало и, как принято в подобных случаях говорить, он «срочно заболел». От республиканской партийной организации пришлось выступать Председателю Совета Министров Грузии Г. Д. Джавахишвили. Шелепин отослал в Президиум ЦК специальную записку, в которой ставил под сомнение болезнь лидера Компартии Грузии. Легко себе представить реакцию Мжаванадзе, однако в ходе подготовки октябрьского Пленума они сблизились, и Мжаванадзе в узком кругу называл Шелепина не иначе, как «Саша».

Впрочем, в борьбе за власть такое случалось частенько. В июне 1957 года во фракционной группе стали союзниками Молотов, Маленков, Каганович и Ворошилов, которые относились друг к другу с явной неприязнью, но общая цель их, что называется, сплотила.

Теперь кое-кто утверждает, что октябрьский Пленум готовился по всей форме, в согласии с Уставом, что никакого заговора не было. Позволительно спросить: а зачем тогда предварительно обрабатывали многих членов ЦК? Почему в ходе подготовки к Пленуму надо было использовать КГБ, а не механизм внутрипартийной демократии? Тогдашний секретарь ЦК КП Украины О. И. Иващенко (а не Насриддинова, как ошибочно указал в «Неделе» М. Струа) пытался дозвониться Н. С. Хрущеву в Пицунду, чтобы предупредить его о сговоре, но эти попытки были блокированы. В прессе промелькнуло предположение, что заговор удался потому, что противники Хрущева, извлекая опыт из прошлого, действовали искусно. Пожалуй, это так (по крайней мере по сравнению с 1957 годом), хотя не обошлось и без серьезной накладки, которая могла бы очень дорого обойтись заговорщикам: ведь Хрущев об этом узнал!

По свидетельству тогдашнего Председателя КГБ В. Е. Семичастного, некоторые члены высшего руководства вынашивали идею об аресте Н. С. Хрущева. Вот даже как!

Утверждение бывшего первого секретаря МГК КПСС Н. Г. Егорычева, содержащееся в его интервью специальному корреспонденту «Огонька» (1989 г., № 6), о том, что «дело вовсе не в «заговоре» против Хрущева, а в том, что он сам вел дело к своему освобождению, что ЦК, избранный на XXII съезде партии, нашел в себе силы освободить от должности своего Первого секретаря, не дав возможности разрастись его ошибкам», мягко говоря, неполно, тем более что дальше у него идет оговорка: «Пленум надо было готовить, а это дело непростое, в известной мере опасное».

Разумеется, каждый Пленум ЦК, а уж тем более такой, где должен был решиться вопрос о руководстве, должен тщательно готовиться. Но готовиться не тайно, а на демократической основе. На самом же деле подготовка к данному Пленуму носила (и думаю, что Егорычев это знает не хуже, а, может, даже лучше многих других) заговорщический или, если хотите, закулисный характер. Это, собственно говоря, пусть и косвенно, подтверждает сам Егорычев, указывая на опасность подобной подготовки, которая была настолько реальна, что, по его словам, Брежнев, узнав о том, будто «Хрущев обладает какой-то информацией» насчет «демократической» подготовки к перевороту, настолько перепугался, что даже «никак не хотел возвращаться из ГДР, где находился во главе делегации Верховного Совета СССР». Думаю, знает Егорычев и о том, что среди организаторов и участников «подготовки» к Пленуму были заранее распределены роли и что каждый имел поручение «поговорить» с определенными членами ЦК. Сам Егорычев беседовал с группой москвичей — членов ЦК, в чем он сам и признается. Кстати, беседа с четырьмя-пятью членами ЦК не может служить основанием для утверждения, что «большинство членов ЦК были внутренне готовы к такому обсуждению» (то есть к обсуждению вопроса о замене Хрущева на посту Первого секретаря ЦК).

Сообщая читателям «Огонька» о том, как снимали Хрущева, Егорычев отступает от истины. Когда же он говорит о том, что поначалу у него с Брежневым сложились «достаточно хорошие отношения»,— вот тут он объективен. Что касается речи Егорычева на XXIII съезде КПСС, то она, пожалуй, была одной из самых (если не самой) апологетических по отношению к Брежневу.

Конечно же, нельзя события тех дней сводить только к заговорщическим методам подготовки октябрьского Пленума. Речь должна идти и об объективной, назревшей тогда необходимости перемен. Хотя, повторюсь, от вопроса о том, как готовился и как был проведен Пленум, при всем желании никуда не уйдешь.

Зададимся теперь таким вопросом. Почему за столь длительное время подготовки к «перевороту» не было составлено обстоятельное, по существу вопроса сообщение, содержащее не только критику ошибок Хрущева, но и комплекс мер по исправлению этих ошибок, более или менее конкретной программы действий?

Тут я должен засвидетельствовать: сообщение, с которым выступил на пленуме М. А. Суслов (а оно называлось так: «О ненормальном положении, сложившемся в Президиуме ЦК в связи с неправильными действиями Хрущева»), не содержало глубокого анализа положения дел в партии и обществе, а уж тем более конкретной программы действий. Слишком много говорилось о «некоторых» лицах, близко стоявших к лидеру партии и якобы плохо влиявших на него. Особенно досталось зятю Хрущева А. И. Аджубею за его зарубежные поездки. По ходу сообщения зал разражался криками «позор!», и кричали это те, кто считал себя обиженным Хрущевым.

Выступая, Суслов специально подчеркнул два момента. Во-первых, то, что ему поручено изложить единодушное мнение членов и кандидатов в члены Президиума, а также секретарей ЦК КПСС. Правда, поначалу были некоторые разночтения. А. И. Микоян, например, предлагал сохранить за Хрущевым пост Председателя Совмина, но, встретив решительные возражения большинства членов Президиума, тут же снял свое предложение. Второй момент — это заявление о том, что Хрущев, признав правильность критики в свой адрес, просил Президиум разрешения не выступать на пленуме. Здесь потребуется уточнение. Дело в том, что, по признанию самого Суслова, в ходе заседания Президиума Хрущев подавал якобы неправильные реплики, фактически отрицал критику в свой адрес, однако напор со стороны многих членов Президиума был настолько силен, что Хрущев вынужден был перейти к обороне, а потом прекратил сопротивление.

В конце своего сообщения Суслов заявил: Хрущев признал, что состояние здоровья не позволяет ему выполнять возложенные на него обязанности, и поэтому просит освободить его от занимаемых им постов. Докладчик тут же зачитал



письменное заявление Н. С. Хрущева на имя Пленума ЦК (вместо устной речи, которую тому фактически запретили произнести). Прения «предпочли» не открывать.

Все это свидетельствует о том, что организаторы заговора до конца не верили в успех задуманного. Например, Мжаванадзе, вернувшись из Москвы в Тбилиси, на встрече с членами бюро ЦК Компартии Грузии рассказывал о своих дорожных переживаниях, когда, купив на одной из крупных станций газеты, не увидел в них сообщения о Пленуме. Это ему показалось плохим предзнаменованием, он даже решил, что произошло что-то непредвиденное. Когда же, по его словам, услышал он по радио приподнятый голос диктора: «Передаем информационное сообщение о Пленуме Центрального Комитета КПСС»,— тогда только пришел в себя. На радостях, по его словам, даже рюмочку пропустил...

Вернемся, однако, к самому Пленуму. Решение, которое он принял, отвечало духу доклада. Подвергая критике ошибки и недостатки Н. С. Хрущева, ничего не было сказано о том, как и что делать дальше, и лишь позже, уже на мартовском и сентябрьском (1965 года) Пленумах, а затем и на XXIII съезде партии, намечены были меры, направленные на развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

Октябрьский Пленум, несомненно, занял свое место в истории. Необходимость перемен действительно назрела, она носила объективный характер, многое осложнялось проявлениями хрущевского субъективизма и волюнтаризма. Отметим в данном контексте, что за несколько месяцев до октябрьского Пленума был еще один Пленум — июльский, о котором в печати, как это ни странно, даже не сообщалось. Был рассмотрен вопрос об освобождении Л. И. Брежнева от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР (на этот пост Пленум рекомендовал А. И. Микояна), после чего неожиданно для членов Президиума ЦК с большой речью выступил Н. С. Хрущев, который дал понять, что намеченный на ноябрь Пленум ЦК будет решать вопросы, связанные с очередной реорганизацией сельского хозяйства и реформой в области науки.

Все это не могло вызвать энтузиазма, реорганизациями были сыты по горло, их воспринимали как очередное проявление субъективизма Хрущева.

Немало сделав для преодоления культа личности Сталина, Хрущев со временем и сам оказался в плену этой опаснейшей болезни, воспринимая как должное потоки славословия в свой адрес, хлынувшие с газетных страниц и трибун. В начале 60-х, работая главным редактором журнала ЦК КПСС «Агитатор», я, как говорится, набрался храбрости и обратился с письмом на имя Н. С. Хрущева, смысл которого, если отбросить дипломатические уловки, сводился к тому, что сам Никита Сергеевич должен притормозить начинавшее захлестывать партию и страну славословие. В письме привел конкретные факты этого и писал о том, что люди, поющие хвалу руководителю партии и страны, зачастую делают это далеко не бескорыстно, что тем самым они оказывают лидеру партии медвежью услугу и что рецидивы культа личности могут нанести большой вред и партии, и обществу...

Реакции на письмо, однако, не последовало, хотя, прежде чем отослать его, я звонил по «вертушке» помощнику Н. С. Хрущева Шуйскому, который обещал не только прочитать письмо, но, если потребуется, и доложить о нем Никите Сергеевичу. Как видно, «не потребовалось». Не хочу скрывать, в те дни я много переживал, поскольку мое обращение к Н. С. Хрущеву могло иметь для меня самый неблагоприятный оборот, ведь он был человеком непредсказуемым.

Кое-кто сегодня пытается оспаривать тот факт, что Н. С. Хрущев искренне стремился внести изменения в устаревший политический и экономический механизм, что он хотел улучшить жизнь людей, а особенно тех, кто годами и десятилетиями ютился в подвалах и бараках. Очень многое делалось для решения этих и других вопросов, но, к сожалению, непоследовательно. Предпринятые тогда реформы не подкреплялись глубинными демократическими преобразованиями, что сводило на нет прогрессивные начинания и реформы. Большие надежды, порожденные новым курсом партии, идеями XX съезда КПСС,

постепенно сменялись скептицизмом и даже откровенным, горьким разочарованием. Геннадий Иванович Воронов, который в те годы был членом Политбюро ЦК КПСС, пишет в журнале «Дружба народов» (№ 1, 1989 год) о том, как «мелькнула и исчезла» надежда на глубокие преобразования, напоминающие нынешнюю перестройку. И честно признает: «Ответственность за то, что возможность коренного перелома в жизни страны осталась нереализованной, несем перед партией и народом мы, тогдашние руководители. Признать такого рода ошибку куда труднее, нежели всякую иную, но сделать это необходимо, и уж тем более необходимо сделать это сегодня, когда повторение такого рода ошибки было бы, в полном смысле, роковым».

И все-таки одно мне кажется совершенно бесспорным: что бы ни утверждали тогдашние да и нынешние противники и недоброжелатели Хрущева, как бы ни была противоречива его личность, история воздаст ему должное за многое. Хрущев сумел отстранить от руководства Берию; окажись тот у кормила власти,— а такая опасность была вполне реальной,— наше общество испытало бы немало тяжких бед и трагедий. Вслед за этим Хрущев ликвидировал концлагеря, освободил и реабилитировал полмиллиона невинных жертв сталинско-бериевского террора. Наконец, архимужественное разоблачение культа личности Сталина, круто переменившее советское общество, положившее начало его обновлению,— все это способствовало и переходу от «холодной войны» к мирному сосуществованию с Западом.

Даже Суслов, выступая на октябрьском (1964 года) Пленуме ЦК, вынужден был заявить, что генеральная линия, выработанная на XX, XXI и XXII съездах, в разработку которой внес определенный (?!) вклад Н. С. Хрущев, является правильной и нерушимой, что следует отметить его положительную роль в разоблачении культа личности Сталина, в проведении ленинской политики мирного сосуществования государств, в борьбе за мир и дружбу между народами и что было бы неправильно забывать эти заслуги Хрущева. Признание это тем более важно, поскольку мы теперь знаем, при каких обстоятельствах оно было сделано.

Бесспорно, что для Н. С. Хрущева назрела пора уходить с высших постов в партии и государстве, хотя бы из соображений возраста. Однако у «нашего Никиты Сергеевича» (именно так назывался широко демонстрировавшийся тогда кинофильм) не хватило решимости подать в отставку. Правда, как свидетельствуют некоторые авторы, в том числе и его собственный сын Сергей Никитич, Хрущев собирался сделать это на ближайшем съезде партии. Но до съезда еще было далеко. Впрочем, в нашей советской истории еще не было подобного прецедента (если не считать размышлений К. У. Черненко о возможности своей отставки незадолго до кончины, о чем мы узнали из мемуаров А. А. Громыко «Памятное»). А ведь, в сущности, это должно было бы стать явлением обычным. С руководящей работы, включая верхние эшелоны, очень важно уходить вовремя, а уж если говорить о лидере, то тем более. Это не только в интересах партии, всего общества, но и в интересах тех, кто уходит на заслуженный отдых.

Помню, в середине 70-х западная пресса делала прогноз: Брежнев уйдет в отставку на XXV съезде в 1976 году, когда ему исполнится 70 лет. Увы, не произошло этого ни в 1976-м, ни позже. Брежнев об отставке не помышлял и, как это впоследствии подчеркивалось в документах партии, растущее расхождение между высокими принципами социализма и повседневной реальностью жизни стало совершенно нетерпимым. Конечно, брежневский режим — главный виновник застоя, тут я целиком согласен с авторами публикаций о том периоде нашей истории. Однако я не хочу упрощать — корни застоя не только в личности Брежнева, а в первую очередь в несовершенстве наших политических институтов, включая и саму партию, что, конечно же, совсем не исключает персональной политической ответственности лиц, составлявших в застойные годы партийное и государственное руководство страны. Почему многие из них мирились с создавшимся положением? Почему прямо и честно не сказали тому же Брежневу, что ему пора оставить свой пост, ибо этого требуют интересы



партии и народа? В случае нежелания Брежнева выйти в отставку, решить этот вопрос можно было в рамках демократических норм и структур, в открытую, как это делается в некоторых западных компартиях. Кемеровский коммунист, директор киселевской обувной фабрики Тенгиз Георгиевич Авалиани, нашел в себе мужество в преддверии XXVI съезда КПСС написать на имя Брежнева письмо, в котором по существу убеждал адресата уйти в отставку. Автор писал о том, что «промедление с пересмотром основ методов руководства» советским обществом, народом, тем более промедление еще на пять лет, «может дорого обойтись», что положение в стране очень серьезное, что «мириться и... увязать в нем нельзя», и потому «оно должно быть также серьезно и беспромедлительно обсуждено на Политбюро», что «этот вопрос должен быть главным в повестке дня съезда», что «нельзя допустить, чтобы съезд и подготовка к нему вылились опять в большой хвалебный, театрализованный спектакль». В письме откровенно и напрямую было сказано, что Политбюро и правительство не справились с возложенными на них обязанностями.

Как и следовало ожидать, то письмо было расценено как крамола, «покушение на устои». О содержании письма доложили К. У. Черненко, который поручил позвонить в Кемеровский обком и «разобраться» с автором. Авалиани сняли с должности директора фабрики, и неизвестно, как сложилась бы его жизнь, не начнись в стране перестройка. Стала важной и публикация письма.

Я не случайно обращаюсь к письму Авалиани. Обоснованность выдвинутых в нем требований о необходимости решительных перемен в партии и обществе хорошо понимали и те, кто находился в высшем эшелоне власти. Неверно было бы считать, что в руководстве партии и страны не было людей, противодействовавших чрезмерному возвышению Брежнева и проводимой им политике.

Мэлор Стуруа, например, пишет на страницах «Недели» (24—30 октября 1988 года) о том, как в годы правления Брежнева устранен был «занесшийся Кириленко», об «укрощении строптивого Шелеста», о расправе со «взбунтовавшимся Егорычевым». Другой публицист, Федор Бурлацкий, в своей статье «Брежнев и конец оттепели» («Литературная газета», 1988, 14 сентября) приводит факт из жизни тогдашнего первого секретаря Московского горкома партии Н. Г. Егорычева, который в разговоре с одним из руководителей сказал: «Леонид Ильич, конечно, хороший человек, но разве он годится в качестве лидера такой страны?» «Фраза эта,— пишет далее автор,— дорого обошлась ему, как, впрочем, и его открытая критика на одном из Пленумов ЦК военной политики».

Надо сказать, что подобным фактам авторы дают порой преувеличенную и не всегда точную оценку. В отношении «занесшегося Кириленко», например, тут вообще какое-то недоразумение. Есть, правда, данные, указывающие на то, что его отношения с Брежневым в 1978—1979 годах охладели и это повлекло за собой некоторое снижение влияния Кириленко в высшей партийной иерархии, куда он попал исключительно благодаря Брежневу. Но может ли это служить основанием для утверждений о каком-либо противоборстве его с Брежневым?

Что касается «строптивого Шелеста», то, не оспаривая такой черты его характера, как строптивость, скажу тем не менее, что никто его не «укрощал», а что его, как это было кем-то остроумно замечено, «без шума и шелеста» спровадили на пенсию (что он недавно и сам признал публично). Сделать это было легко, поскольку особой популярностью он не пользовался, слыл за человека с сильными националистическими замашками, сторонника жесткой линии.

Особо — о Н. Г. Егорычеве. Думаю, что называть его выступление на июньском (1967 года) Пленуме «бунтарским» также нет оснований. Как участник злополучного для Егорычева пленума могу засвидетельствовать: та часть его выступления, в которой он критиковал недостатки в организации противовоздушной обороны, не давала никаких оснований для последовавших затем оргвыводов. То было лишь некоторое «шевеление воздуха», но и тем оно запомнилось слушателям, что такие «шевеления» были тогда крайне редки. Глубоко убежден, что оратор, выступая с критикой, рассчитывал на поддержку самого Брежнева, так как руководствовался он лишь благими намерениями и речь его в этой части носила к тому же характер самокритики, поскольку сам Егорычев являлся

членом Военного Совета Московского округа ПВО. Но что не учел Егорычев, так это то, что вторгается он в закрытую зону, куратором которой наряду с Д. Ф. Устиновым был сам Генеральный. Вот почему неожиданно для большинства участников пленума дело приняло крутой оборот. Досрочно был объявлен перерыв, а после перерыва очередные ораторы (включая Мжаванадзе) свои заранее заготовленные речи начали с проработки Егорычева, причем чуть ли не одними и теми же фразами. Свое пространное заключительное слово Брежнев почти целиком посвятил Егорычеву, доказывая, что ЦК много и последовательно занимается обороной страны, а уж в особенности противовоздушной. Стало ясно: судьба Егорычева предрешена. Между тем накануне из достоверных, как говорится, источников я узнал, что на этом пленуме предполагалось избрать Егорычева секретарем ЦК. Перед этим он вместе с Брежневым был в Грузии, и мы уже тогда слышали эту новость, и я, честно говоря, радовался за Егорычева, поскольку довольно неплохо его знал и всегда относился к нему (и отношусь!) с искренним уважением.

Когда же судьба сыграла с ним неожиданно злую шутку, очень за него переживал, как, впрочем, и за наши «сверхдемократические» порядки.

Что же касается фразы, брошенной Егорычевым в разговоре «с одним из руководителей», то, будь она известна Брежневу, судьба Николая Григорьевича была бы куда драматичнее и вопрос о его выдвижении не возник бы.

Тем не менее были люди, которые действительно оказывали Брежневу серьезное противодействие. Кроме Шелепина и Подгорного, которых Брежнев с помощью своих подручных буквально вытолкал из состава Политбюро, а заодно и с занимаемых ими высоких постов, опасаясь лишиться единоличной власти, был еще и А. Н. Косыгин. Его разногласия с Брежневым — разногласия принципиальные. Косыгин отстаивал экономические приоритеты во внутренней политике, считая, что именно на этой основе надо поднимать материальное благосостояние трудящихся. Во внешней политике он выступал за разрядку и торговлю с Западом. Именно Косыгин явился инициатором экономической реформы 1965 года. Главнейшим условием ее осуществления он считал свободу действий в управлении экономикой, которое должно было осуществлять правительство. И до сегодняшнего дня в печати появляются рассуждения о том, что реформа эта сорвалась якобы из-за противодействия чиновников, особенно на местах. Все это по меньшей мере наивно. Реформа, несомненно, была зарублена «наверху», и не в последнюю очередь из-за ревностного отношения Брежнева к Косыгину.

Алексей Николаевич Косыгин пользовался заслуженным авторитетом как в нашей стране, так и за рубежом, это был опытный, компетентный государственный деятель. Отмечу, к слову, что когда в печати промелькнула заметка о том, что помощники Косыгина были чуть ли не церберами, ограждавшими шефа от народа, мне стало как-то не по себе от явной несправедливости подобного утверждения — Косыгин был демократичным человеком, и одной из черт его характера было сильно развитое чувство справедливости.

От мелких уколов, от некомпетентного вмешательства Брежнев, ставя перед собой цель ослабить позиции А. Н. Косыгина и возглавляемого им правительства, перешел к более ощутимым акциям. Мне вспоминается декабрьский (1969 года) Пленум ЦК КПСС, посвященный вопросам экономики. Был он необычным, поскольку на нем, пожалуй, впервые за многие годы так резко критиковалось правительство. Сценарий, правда, был типичным: один за другим выступали ораторы и, направляя стрелы по преимуществу в сторону Госплана, на самом деле метили в правительство и в Косыгина, который его возглавлял. Некоторые речи, особенно тогдашнего первого секретаря Алтайского крайкома партии Георгиева, который даже не говорил, а буквально кричал, словно оказался на многолюдном митинге, отличались явной тенденциозностью, чрезмерной категоричностью, а главное — неаргументированностью и вопиющей бестактностью.

Сидя за столом президиума, Косыгин терпеливо и, как мне казалось, очень внимательно выслушивал ораторов. Однако нельзя было не заметить, что он



нервничал, хотя по натуре это был человек огромной выдержки. Многие из нас ждали, что Косыгин выступит, но выступил не он, а председатель Госплана Н. К. Байбаков. Признав справедливость ряда критических замечаний, он спокойно, но весьма убедительно, на фактах показал истинное положение дел в экономике, а особенно в сельском хозяйстве. Изложив объективные и субъективные причины такого положения, он доказал тем самым всю несостоятельность грубых нападок на Госплан (читай: и правительство). Тот же Георгиев, к примеру, жаловался, что их краю не выделяют достаточно средств на развитие сельского хозяйства, а Байбаков привел данные, из которых явствовало, что алтайцы не осваивали даже выделенные средства...

В 1976 году Косыгин серьезно заболел. Кто-то сознательно пустил в ход и раздувал слухи о том, что после выхода из больницы он уже якобы не сможет выполнять свои обязанности Председателя Совета Министров СССР. На пост первого заместителя Председателя Совмина назначают Н. А. Тихонова, приятеля и земляка Л. И. Брежнева, чтобы в скором будущем сделать его главой правительства. Конечно же, этот выдвиженец и в подметки не годился Косыгину, популярность его была на нулевой отметке. Но что до этого тем, кто стоял за его спиной и кто личную преданность ценил выше деловых качеств, кто личные интересы ставил выше интересов государства...

Отдельно скажу о предшественнике Тихонова Кирилле Трофимовиче Мазурове. Мне доводилось с ним встречаться в бытность его первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Впечатление осталось самое благоприятное. Авторитет его в республике был прочным и вполне заслуженным. Став первым заместителем Председателя Совмина СССР, К. Т. Мазуров оказался хорошей опорой для главы правительства и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Но Брежнева он, по-видимому, не очень-то устраивал, так как считался, во-первых, выдвиженцем Косыгина, а во-вторых, никогда не пытался потрафить «вождю». Понятно, что преждевременный его уход с активной работы «по состоянию здоровья» никого не мог удивить. Отмечу попутно, что возвращение Мазурова к общественной деятельности не может не радовать всех тех, кто знал его раньше. В «застойные» времена судьбу Мазурова окончательно решило, как он сам недавно поведал, его столкновение с Генсеком по довольно деликатному вопросу, и вопрос этот касался недостойного поведения дочери Брежнева — Галины Леонидовны, которой сходили с рук все ее «художества». Более того, замечу попутно, что тогдашние члены Политбюро и Секретариата ЦК КПСС сочли даже возможным наградить сие чадо... орденом Трудового Красного Знамени в связи с ее пятидесятилетием, которое отмечалось очень пышно...

И, наконец, еще об одном «инакомыслящем» — уже упоминавшемся выше Геннадии Ивановиче Воронове. Лично я с ним знаком не был, сужу о нем по выступлениям на пленумах и Секретариатах ЦК, по тому, как в свое время вел он заседания Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Воронов производил на меня впечатление сугубо делового и очень принципиального руководителя. По его собственному признанию, приход Брежнева к власти явился для него неожиданностью и встречен был им, судя по всему, отрицательно. Занимая пост главы правительства РСФСР, а затем Председателя Комитета народного контроля СССР и являясь членом Политбюро ЦК КПСС, Воронов всегда имел мужество высказывать и отстаивать свою собственную точку зрения по таким, в частности, вопросам, как строительство КамАЗа, Чебоксарской ГЭС, назначение того же Щелокова на пост министра внутренних дел. Знаю о том, что к решению о вводе наших войск в Чехословакию в августе 1968 года он отнесся отрицательно, о чем сужу по факту его выступления в Новосибирске перед членами бюро обкома, где он прямо и недвусмысленно расценил этот шаг руководства как глубоко ошибочный, дав понять, что подобную точку зрения высказал и на Политбюро. Занять такую позицию в тех условиях мог лишь человек большого личного мужества, и не случайно в конечном итоге стал он неугоден Брежневу...

Повторю: я касаюсь проблемы лишь с точки зрения политической ответственности тогдашнего руководства страны за принятие решений, подобных вводу войск в Чехословакию, а вот тут-то есть о чем поговорить. Во-первых, это реше-

ние было принято не полным составом Политбюро. Наиболее активную роль играли Брежнев, Подгорный, Андропов, Косыгин (к сожалению, и он!), Шелест и некоторые другие члены Политбюро. Во-вторых, разве принципиальные вопросы такого рода могут быть прерогативой лишь Политбюро ЦК? Не были созваны ни Пленум ЦК, ни сессия Верховного Совета СССР. Конечно же, при существовавших тогда порядках и традициях они скорее всего «проштамповали» бы решение Политбюро, как это делалось обычно, но Брежнев и его соратники даже не пытались создать и видимости демократичности. Я уж не говорю о том, что ни об истинных событиях в Чехословакии, ни о том, по какой причине ввели мы туда войска, сказано не было ни до событий, ни после. Более того, наши центральные газеты зачастую публиковали такие необъективные материалы, которые чехословацкие сатирические журналы перепечатывали без всяких комментариев и правки, потому что их содержание заведомо было не в нашу пользу.

Журналисты — очевидцы «пражской весны» 68-го года рассказали на страницах «Московских новостей» (№ 35, 28 августа 1988 года) о том, с какими трудностями была сопряжена их работа в Чехословакии. События в братской стране нарастали с каждым днем, и журналисты, конечно же, испытывали понятную и жгучую потребность рассказать о них советским людям, однако ничего не шло в печать. И вот в Прагу прилетает Брежнев. Александр Дидусенко (тогдашний собкор газеты «Труд») и Василий Журавский (собкор «Правды»), воспользовавшись подходящим моментом, обратились к нему за помощью: «Как же нам быть, что писать?», а в ответ услышали: «Пишите правду». Потом Брежнев подумал и добавил: «В одном экземпляре». Еще подумал и заключил, ткнув пальцем в своего помощника: «Вот в его адрес». Должно было пройти целых 20 лет, чтобы журналисты смогли поведать правду уже не в одном, а во множестве экземпляров, и высказали они при этом очень важную мысль об уроках прошлого. Один из этих уроков звучит так: нельзя военной силой решать политические проблемы другой страны, другой нации, все это — опасная иллюзия, и история не прощает подобных шагов. Во взаимоотношениях между социалистическими странами не должны возникать ситуации, когда одна страна присваивает себе право решать что-то за другую. Уважение этого принципа — самая надежная гарантия неповторения событий 1968 года. Политика не должна быть беспринципной, такая политика пагубна для тех, кто берет ее на вооружение, пытается извне вмешиваться во внутренние процессы, происходящие в других странах с целью переиначить их на свой лад.

Вспоминаю, как после чехословацких событий 1968 года небольшая группа советских коммунистов по приглашению ЦК ФКП приехала во Францию. Куда ни посмотришь — пестрят антисоветские лозунги, да и свои французские коммунисты не скрывали своего негативного отношения к вводу советских войск и войск Варшавского Договора в Чехословакию. Помню, с каким гневом говорилось это нам на встречах в различных районах страны. Зато в одной из речей Брежнева была сделана попытка обосновать правомерность ввода войск в Чехословакию, что послужило поводом говорить о «брежневской доктрине ограниченного суверенитета социалистических стран», подрывало авторитет КПСС и страны...

Приход Брежнева к руководству партией и страной еще не давал ему той реальной единоличной власти, какую он обретет несколько позже. В руководстве, как это вскоре обнаружилось, нашлись люди, способные бросить ему вызов. Именно поэтому в официальных документах того времени усиленно подчеркивалась необходимость строго соблюдать принцип коллективности партийного руководства, а фамилия Брежнева указывалась лишь в редких случаях. Но так продолжалось недолго. Брежнев был хитроумным тактиком, он умело использовал самые различные рычаги для достижения своих целей. Активно поддерживал лично ему преданных работников, раздавал должности друзьям, однокашникам, которым сходили с рук всевозможные прегрешения. За короткий срок в составе Политбюро и Секретариате ЦК произошли изменения, в результате чего власть Брежнева была упрочена, а к середине 70-х годов она стала, по существу, безраздельной.



Брежнев умело схватывал уроки истории, один из которых знал назубок: начиная со времен Сталина решающим средством для упрочения власти было установление господствующего положения в Политбюро, Секретариате ЦК, а также в центральном аппарате. Пример Маленкова, этого опытнейшего, проженного аппаратчика, которого сумели — да еще как сумели! — провести, лишний раз доказывал это. Известно, что после смерти Сталина пост председателя Совмина был предложен Маленкову. Естественно, возник вопрос: а каково же будет его положение в ЦК? Как рассказывали мне знающие люди, с подачи Н. С. Хрущева было заявлено: подобное уже было при Ленине, пусть Маленков ведет заседания Политбюро, хотя он и не является секретарем ЦК. Уловка, что называется, удалась. Маленков некоторое время председательствовал на заседаниях Политбюро, но вот на одном из них резонно был поднят вопрос: а почему, собственно говоря, Г. М. Маленков занимает ведущее положение в руководящем органе партии? Маленков в растерянности: вы же сами так решили, вы же ссылались на практику, которая была при Ленине? В ответ ему было заявлено: как можно сравнивать, Ленин — всеми признанный вождь партии...

Брежнев первым делом упрочил свои позиции в руководящих коллегиях ЦК, его аппарате, а уже потом прибрал к рукам и высшую государственную власть. К. Т. Мазуров, безусловно, прав, когда в одном из недавних интервью говорит, что Брежнев был хорошим выучеником сталинской административно-командной системы. Умело пользуясь «методой» этой системы, он постепенно создал послушный ему секретариат, с помощью которого проводил свою линию и решения через Политбюро, переведя последнее как бы во второй эшелон (не случайно заседания Политбюро длились нередко лишь 15—20 минут). Со временем это позволило ему сосредоточить в своих руках все важнейшие рычаги партийной и государственной власти. Однако я не во всем согласен с Мазуровым, который сейчас, отдавая должное Хрущеву за то хорошее, что он сделал, считает, что причиной резкого падения его популярности в партии и народе, брожения и возбуждения среди интеллигенции стали ошибки Никиты Сергеевича, за что он-де и был свергнут. Но тогда возникает логичный вопрос: а разве популярность Брежнева к середине 70-х годов не упала до нулевой отметки? Разве не было и тогда «возбуждения» и открытого недовольства всем происходящим, в том числе некомпетентностью лидера, подбором и расстановкой кадров из числа земляков и друзей? Разве Брежнев не похоронил на деле принцип коллективности руководства? Тогда почему же его не устранили от руководства, как устранили в октябре 1964 года Хрущева? Сегодня Мазуров утверждает, что он, как и многие другие участники октябрьского Пленума, руководствовались прежде всего желанием «восстановить доброе имя» нашей идеологической, партийно-политической службы. Но почему тогда то же самое желание не возникло в эпоху Брежнева?

К. Т. Мазуров высказывает соображение о том, что нельзя сосредоточивать всю политику в руках только руководителя партии, поскольку если она неправильна, то вина за все недостатки и провалы ляжет на партию, а это вредно для общества. Но ведь именно это и случилось при Брежневе! И что? Где было Политбюро? Сам К. Т. Мазуров верно определяет его роль как такого органа политического руководства, задачей которого является не только выработка и осуществление политики партии, но и предотвращение деформаций, отход от ленинских норм и принципов партийного руководства. Этой-то роли, по его собственному признанию, Политбюро не выполняло, и даже те из членов Политбюро (включая и самого Мазурова), кто не одобрял поведение и действия Брежнева, кто испытывал боль за создавшееся нетерпимое положение, ничего сколько-нибудь действенного и эффективного не предпринимали. Но почему? Мазуров честно признает, что «в его интересы не входило вступать в какую-то конфронтацию с руководителем, даже если я с ним не согласен». И тут же он объясняет почему: «Меня сдерживали постоянные неурядицы в нашей партии и мнения иностранцев. Я лично много слышал от зарубежных коммунистов упреков: «Когда у вас кончится? Сталина вы разоблачили, Хрущева свергли (!), Брежневым недовольны... Никакой стабильности». Касаясь причин культового синдрома,

Мазуров наряду с потребностью в «добром барине» и бескультурьем называет «заботу о единстве партии, боязнь ослабить ее».

Оставляя в стороне тему «доброго барина», бескультурья, а также упреки зарубежных коммунистов, которые, кстати, были далеко не однозначны, коснемся такого архипринципиального вопроса, как понимание единства партии, заботы о ее авторитете. Указанная выше позиция очень напоминает мне иные, сталинские времена, когда некоторые крупные и заслуженные деятели нашей партии, представители ленинской гвардии (включая Бухарина, Рыкова и других) ради ложно понимаемого единства сознательно шли на сделку с совестью и фактически поступались интересами партии. Когда же потом они пытались выступить против Сталина, растоптавшего ленинские нормы партийной жизни, было уже поздно. А ведь Ленин никогда не отделял единство от внутрипартийной демократии, считал, что они должны составлять органическое, взаимосвязанное и взаимообусловленное целое, без чего невозможно нормальное развитие партии. И когда ныне приходится встречаться с утверждением, что даже при Ленине с его огромным авторитетом плюрализм, демократия с единством не очень-то уживались, то с этим, по моему глубокому убеждению, согласиться никак нельзя.

Возвращаясь к эпохе Брежнева, скажу, что в то время были забыты горькие и неоднократные уроки истории, за что мы вновь заплатили слишком дорого. Те же, кто не закрывал глаза, действовали локально, разрозненно, а потому, не достигнув своих целей, были выброшены за борт.

Одним из инструментов, который максимально использовал Брежнев, по признанию К. Т. Мазурова, было раболепство его ближайшего окружения. И опять-таки находит этому оправдание. «Да, мы проговаривали иногда (?) цитаты Брежнева, так как это были ссылки не на мысли Брежнева, а на установку партии, выраженную его устами. Да, мы иногда говорили какие-то приятные слова, но это обычно принято у людей. По одному этому нельзя считать, что мы создавали культ». Зато смысл его дальнейших рассуждений сводится к тому, что больше всех виноваты журналисты, которые слишком цветисто расписывали заслуги Брежнева. Но так ли это? Словно бы понимая свою неправоту, К. Т. Мазуров высказывает мысль, что, мол, «разобраться надо, кто начинал, может быть, сам носитель культа».

«Носитель», разумеется, не сидел сложа руки, но ведь и окружение его изрядно «поработало», создавая культ личности Брежнева, который точнее назвать культом должности. Уже вскоре после октябрьского Пленума вовсю был запущен механизм славословия. Немаловажным импульсом для этого послужило предпринятое XXIII съездом КПСС преобразование Президиума в Политбюро ЦК и восстановление поста Генерального секретаря. В данном контексте интересно отметить, что такое положение сохранялось до XVII съезда партии, после которого Пленум ЦК уже не избирал Генерального секретаря, причем фамилия Сталина при перечислении состава Секретариата называлась просто по алфавиту. На то были причины, которых мы здесь не касаемся. Скажем лишь, что для Сталина, занимавшего указанный пост с апреля 1922-го по февраль 1934-го, приставка «Генеральный» носила чисто формальный характер, поскольку к тому времени он фактически был уже бесспорным лидером партии и ее руководящих коллегий, хотя, например, Л. Б. Каменев, А. П. Смирнов, Н. Б. Эйсмонт считали, что он не годится для этой роли.

На XXIII съезде, обосновывая целесообразность восстановления поста Генерального секретаря, говорилось о том, что должность эта была введена после XI съезда якобы по инициативе Ленина. И хотя предложение восстановить пост Генсека внес на съезде тогдашний секретарь Московского горкома Н. Г. Егорычев, для всех было очевидно, что инспирировано оно верхами, а точнее, самим Брежневым. Предложение переименовать Президиум ЦК в Политбюро опять-таки мотивировалось тем, что так было заведено еще при Ленине.

Именем Ленина еще не раз будут прикрываться в те годы. В 1973 году начался обмен партдокументов, и средства массовой информации оповестили весь мир о том, что рукой Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева под-



писан был партийный билет за № 00000001 на имя Владимира Ильича Ленина; буквально на следующий день было сообщено, что партбилет за номером 00000002 вручен самому Леониду Ильичу. Вдохновителей этих «процедур» даже не смутил тот факт, что в биографии В. И. Ленина (издание 1960 года) была помещена фотография ленинского партбилета № 114482, выданного ему в 1922 году за подписью секретаря Замоскворецкого райкома (райкома, а не ЦК!). Партбилет, выданный Ленину в 1917 году и подписанный членом Выборгского райкома, учеником Ильича по партийной школе Лонжюмо И. В. Чугуриным, имел № 600. Что же касается билета № 1, то его выдали питерскому рабочему Г. Ф. Федорову, активному участнику Октябрьской революции, в доме которого Ленин скрывался перед отъездом в Разлив. Об этом замечательном большевике можно прочитать на странице 565 50-го тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина.

Популярность нового лидера партии катастрофически падала. «Трюком» с выпиской партбилета № 1 на имя В. И. Ленина и партбилета № 2 на имя Брежнева искусственно пытались доказать «преемственность» новым руководством страны ленинского курса («от Ильича до Ильича!»). Ближайшее окружение Брежнева делало все, чтобы поддерживать своего «патрона», и не кто иной, как «серый кардинал» Суслов, как его называли, предлагает осуществить ряд мер по укреплению авторитета Л. И. Брежнева, увязав это с приближавшимся 70-летием последнего. Среди прочего предусматривалось подготовить к изданию книгу «Леонид Ильич Брежнев. Краткий биографический очерк». Об этом стоит рассказать особо, тем более что волею судеб мне пришлось возглавить эту работу, выполняя поручение ЦК. Рассказать хотя бы ради того, чтобы покаяться.

Однажды, когда директор Института марксизма-ленинизма был в отпуске и я как первый заместитель выполнял его обязанности, меня вдруг вызвали к тогдашнему секретарю ЦК Михаилу Васильевичу Зимянину, который ведал вопросами идеологии. В самом начале беседы мне было сказано: «Есть поручение оперативно подготовить и издать краткий биографический очерк о Леониде Ильиче Брежневе. Объем — где-то листиков 8—10. Срок исполнения — 6 месяцев». Когда зашел разговор о содержании работы, хозяин кабинета вдруг бросил фразу: «Но чтобы все было без соплей и воплей!» Честно скажу: меня эта фраза и удивила, и обрадовала. Все это не вязалось с общим тоном нашей тогдашней пропаганды, с безудержным славословием, которое процветало в то время. Очень не хотелось мне, чтобы и наш Институт участвовал в кампании по созданию нового культа. Поделился своими мыслями с Михаилом Васильевичем. Тот лукаво улыбнулся и после некоторой паузы сказал, что по всем вопросам, связанным с подготовкой и изданием рукописи, я должен буду обращаться прямо к нему или к Суслову.

Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что при выполнении данного нам поручения мы столкнулись с большими трудностями, поскольку не хватало материалов чисто биографического характера,— у нас в отличие от Запада такие сведения не принято было публиковать. Чтобы не попасть впросак, попросили товарищей из ЦК КПСС выслать нам регистрационный бланк члена КПСС Л. И. Брежнева, где обозначены лишь самые краткие биографические данные. Остальное надо было скрупулезно выискивать, как это делали, например, помощники тогдашнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникова, которые в конечном итоге обнаружили номер многотиражки Днепродзержинского металлургического комбината, а в нем заметку, содержащую похвалу группарторгу Леониду Брежневу. Казалось бы, не ахти какая находка, но когда Тяжельников упомянул о ней в своей речи на съезде партии, это имело «нужный» эффект... Позже появится печально знаменитая «автобиографическая» трилогия Брежнева, написанная бойкими перьями тех, кто тоже «выполнял поручение»...

Впрочем, если говорить честно, на поиски и времени-то особого не было, поэтому то, что было связано с биографией Брежнева, заняло совсем мало места. Старались больше говорить о деятельности партии, ее ЦК. Мы не усердствовали по части славословия, хотя обойтись без него не смогли, ибо на это толкал и сам жанр, характер книги. Скажу еще, что эта рукопись из-за сроков

и специфики потребовала огромного напряжения сил... Работая над ней и выпуская ее в свет, мы отнюдь не претендовали на какие-либо лавры, не афишировали ее, благо работа была безымянная. Хотя кое-кто и намекал прозрачно насчет «вхождения куда следует», однако если говорить со всей откровенностью, лавров Институту это издание не прибавило. Вспоминаю, как однажды заведующий секретариатом ИМЛ принес мне эту книжицу и пояснил, что прислал ее один читатель со своими комментариями, которые помещены внутри. Освободившись от неотложных дел, я стал перелистывать присланный читателем наш многострадальный труд, и оказалось, что почти все страницы книги перечеркнуты крест-накрест цветным карандашом, а на многих страницах сделаны надписи: «Зачем выпускали?», «брехня», «чушь собачья», «Брежневу давно пора уходить. Куда он ведет и приведет страну?», «А за что, за какие же заслуги такой «золотой дождь»?», «Разве на Малой земле решился исход войны?», «Орден Победы выдается только полководцам. А какой же к черту Брежнев полководец? Все это делают лизоблюды и подхалимы из окружения Брежнева. Стыд им и позор!» И все в таком духе, а кое-где даже похлеще.

Читать это было, разумеется, неприятно, но ведь и возразить было нечего, тем более что стараниями вассалов на Брежнева в то время и действительно ниагарским водопадом низвергался золотой дождь звезд, всевозможных наград и почестей. С различных трибун, в том числе и самых высоких, звучали речи, все чаще и чаще напоминавшие заздравные тосты. Замечу к слову, что на октябрьском (1964 года) Пленуме ЦК Суслов с праведным гневом клеймил Хрущева за то, что тот бесцеремонно способствовал восхвалению и возвеличиванию своей личности, что угодники все делали для того, чтобы едва ли не в каждом газетном номере публиковались его фотографии, длиннющие речи. После тирад такого рода в зале раздавались аплодисменты, и никто, конечно же, не догадывался, что пройдет время и новые угодники, в числе которых будет и сам Суслов, создавая культ Брежнева, будут действовать куда более активно и целенаправленно. Тот же Хрущев с трибуны съезда пытался хотя бы для порядка приструнить чересчур ретивых аллилуйщиков; у Брежнева не было этого даже в помыслах. Аллилуйщиков ничуть не смущало, что славословие в адрес лидера принижает роль коллективных органов партии, что наподобие яда оно медленно, но верно оказывает свое разрушающее действие.

Одним из тех, кто активно способствовал прославлению «вождя» был К. У. Черненко, отмеченный самыми высокими наградами и почестями вплоть до присуждения, правда, в закрытом порядке, Ленинской премии за участие в... реконструкции одного из кремлевских зданий.

Коль скоро речь зашла о Черненко, скажу, что знал я его довольно хорошо по совместной работе в секторе (он им тогда заведовал) идеологического отдела ЦК. По натуре замкнутый, немногословный, он не больно-то легко открывался. О таких людях обычно говорят: «себе на уме», что в общем-то соответствовало натуре Константина Устиновича Черненко. Добросовестный, исполнительный, службист до мозга костей, он всегда стремился и умел потрафить начальству: вовремя что-то сказать, вовремя, если сложились другие обстоятельства, промолчать многозначительно. Не будучи мастаком по части писания бумаг, умело использовал возможности других, выжимая из подчиненных ему работников максимум возможного, причем даже и в делах, не входивших в круг их прямых обязанностей. Обладал совершенно поразительным чутьем в отношении приемлемости или неприемлемости того или иного готовившегося в секторе документа, тонко и почти безошибочно угадывая конъюнктуру, требования момента.

«Голубой мечтой» Черненко был пост заместителя заведующего отделом, благо с тогдашним заведующим отделом Л. Ф. Ильичевым у него сложились очень хорошие отношения. Мечта была близка к осуществлению, не стань Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев, который, формируя свой аппарат, первым делом пригласил К. У. Черненко, чтобы предложить тому пост начальника канцелярии Председателя. На размышление был дан



всего лишь день, и именно в тот день, когда Черненко должен был дать ответ Брежневу, я зашел к нему с каким-то срочным делом. И что же я вижу? Сидит мой шеф, обхватив голову обеими руками, туча тучей, сам чуть не плачет. Отложив довольно небрежно принесенную мною бумагу, после длительной и мучительной паузы он вдруг сказал мне о предложении, которое сделал ему Брежнев. Подобный приступ откровенности случался с ним лишь в самых исключительных случаях. «Если бы ты знал, как я этого не хочу! — сказал он мне.— Но что делать? Отказаться — значит испортить отношения с Брежневым, а это мне может дорого обойтись».

Брежневу он дал согласие, хотя новый пост был для него, по существу, понижением. Значительно позже стал Черненко начальником Секретариата Президиума Верховного Совета, и таким образом его статус заметно был повышен. С уходом его из ЦК разошлись и наши пути. Честно говоря, думалось, что так он теперь и застрянет на этом новом для себя поприще, тем более что указанной должности он вполне соответствовал. И конечно же, я и представить себе не мог, какой неожиданный оборот примут события всего лишь через какие-нибудь три-четыре года, какие перемены произойдут в жизни Черненко.

Когда Брежнев стал лидером партии и страны, уже можно было с большой долей вероятности предположить, что Черненко он переведет в ЦК и скорее всего на должность заведующего Общим отделом, поэтому назначение последнего на указанный пост у меня не вызвало, да и не могло вызвать удивления. Тогда, помню, мысль мелькнула: «Ну вот и достиг он своего потолка». Так же, вероятно, думали многие из тех, кто знал возможности Черненко. И когда того избрали секретарем ЦК, оставив одновременно заведующим Общим отделом,— даже это можно было еще как-то объяснить, понять, хотя тут уже был большой перебор. Последующий же взлет его был, что называется, фантастическим, особенно если иметь в виду его избрание Генеральным секретарем. Такое, даже с учетом наших тогдашних «порядков», никак не укладывалось в голове.

Те качества Черненко, о которых я говорил выше, позволяли ему стать среднего уровня (и то для своего времени) заместителем заведующего отделом и даже заведующим, скажем, Общего отдела, в котором он мог, повторю, проявить присущие ему качества и наклонности. На роль же главного идеолога партии, тем паче Генсека он не годился никак, не обладал для этого ни интеллектом и эрудицией, ни политическим кругозором, ни общей культурой, ни организаторскими способностями. Вспоминаю в этой связи 1983 год, июньский Пленум ЦК КПСС, речь Ю. В. Андропова и доклад К. У. Черненко. И речь, и доклад были подготовлены бригадами аппаратчиков при участии ученых. Однако, слушая Андропова, было ясно всем, что над подготовленным материалом он работал дополнительно, внес в него много своего, глубоко осмысленного, выношенного годами. Доклад такого впечатления не произвел, я уже не говорю о том, что «главный идеолог партии» (а Черненко тогда им числился) часто спотыкался, неправильно произносил многие слова. В кулуарах говорилось откровенно: до чего же мы дожили? Каково же было потом, когда Черненко стал лидером партии и страны!

Надо сказать, что Черненко претендовал на пост Генерального секретаря ЦК сразу после смерти Брежнева.

Выбор кандидатов на этот пост по тогдашним условиям был весьма ограничен — или Черненко, или Андропов, и объективно дело складывалось так, что вокруг них и развернулась настоящая борьба. Именно борьба, ибо не все было так просто, как это подчас изображает наша печать, упрощая сложнейшую ситуацию: «на следующий день, после того как страна узнала о смерти вождя, в Москве состоялся внеочередной Пленум ЦК КПСС», «на повестке дня стоял всего один вопрос — избрание нового Генерального секретаря», «накануне этот же вопрос обсуждался на экстренном заседании Политбюро, которое поручило Константину Черненко предложить участникам Пленума кандидатуру секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова»,— все, повторяю, просто, но в действительности многое было совсем не так.

Хотя амбиции Черненко были абсолютно необоснованными, он имел поддержку в Политбюро со стороны тех, кого вполне устраивала обстановка бесконтрольности, вседозволенности и всепрощенчества, сложившаяся в стране, кто не желал и боялся перемен в жизни партии и общества — Кунаева, Тихонова, Романова...

Как бы то ни было, но победа, все же была на стороне Ю. В. Андропова, и только тогда Политбюро действительно поручило Черненко выступить на Пленуме ЦК, состоявшемся 12 ноября 1982 года. Его речь в основном была посвящена ушедшему лидеру, о котором он говорил как о талантливом продолжателе ленинского дела, великом и неутомимом борце за идеалы мира, как о человеке, жившем интересами общества, народа, как о выдающемся руководителе, оставившем партии и народу драгоценное наследство, о том, что нормами нашей жизни стали при Брежневе требовательность и уважение к кадрам, нерушимая дисциплина и поддержка смелых полезных инициатив, нетерпимость к любым проявлениям бюрократизма и постоянная забота о развитии связей с массами, о подлинном демократизме советского общества. Говорилось все это, разумеется, совершенно серьезно, возможно, даже с искренней верой в справедливость и реальность сказанного.

Что касается рекомендации на пост Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова, то она была весьма лаконичной. Для порядка назвав Юрия Владимировича ближайшим соратником Леонида Ильича, который высоко ценил его, Черненко заявил, что все члены Политбюро считают, что Юрий Владимирович хорошо воспринял «брежневский стиль руководства», «брежневскую заботу об интересах народа», «брежневское отношение к кадрам».

«Хорошо воспринявший брежневский стиль» Ю. В. Андропов, став Генсеком, действовал вопреки этому «стилю». Черненко, вынужденный мириться с тем, что произошло, как видно, не оставлял надежд стать при соответствующем стечении обстоятельств Генсеком. После Андропова он считался вторым человеком в руководстве, но именно считался. Вот весьма характерный эпизод той поры. Будучи как-то в ЦК, я встретил в коридоре одного из его помощников. Тот попросил меня зайти к нему, благо встретились мы возле его кабинета. Видя, что он не в духе, я задал ему вопрос: «Вы чем-то расстроены?» — а в ответ услышал, что, да, расстроен, но еще больше расстроен «шеф», который на несколько дней раньше срока вышел из отпуска, чтобы принять участие в крупном совещании, а Андропов, встретив его, заявил: у тебя еще отпуск, так что ты догуливай его, а совещание мы проведем без тебя. Когда же Черненко заметил, что из-за этого совещания он прервал отпуск, торопился в Москву, Андропов ему бросил: ладно, мы подумаем. Рассказав мне это, помощник присовокупил: ведь Андропов очень больной человек, зачем он стремился на этот пост, ему надо бы подать в отставку. Я, конечно, понял, что слова эти не его, а его шефа. Про себя же подумал, что Черненко тоже не может похвастаться здоровьем, а что касается его личных качеств, то с Андроповым ему, конечно же, тягаться не под силу... Добавлю еще, что упоминавшееся выше совещание (мне довелось на нем быть) открыл краткой вступительной речью не Черненко, а М. С. Горбачев.

Самое время сказать о Юрии Владимировиче Андропове. Несомненно, по своим качествам он стоял несравненно выше Брежнева, и отнюдь не случайно, что после октябрьского Пленума, как об этом уже сообщалось в печати, именно он, а никто другой, предложил наиболее емкую, четкую программу действий. Программа эта была более последовательной, чем при Хрущеве, опиралась она на линию XX съезда партии. В нее были включены такие пункты, как экономическая реформа, переход к современному научному управлению, развитие демократии и самоуправления, сосредоточение партии на политическом руководстве, прекращение гонки вооружений, ставшей бессмысленной, и, наконец, выход СССР на мировой рынок с целью приобщения к новой технологии.

К сожалению, эти меры, назревшие, продиктованные общественным развитием страны, не встретили понимания ни у Брежнева, ни у Косыгина, ни у других влиятельных в то время членов Политбюро. Результатом предпринятого Андроповым шага стало перемещение его самого на пост Председателя КГБ, что устраивало и Суслова, который подозревал Андропова в том, что тот метит на его место, и одновременно Брежнева, стремившегося иметь во главе КГБ верного человека, чтобы обезопасить себя от той «шутки», которую сыграли с Хрущевым. Для большей верности он держал при Андропове в качестве первых замов и соглядатаев своих верных людей — земляка Цинева и уже упоминавшегося Цвигуна.



Несмотря на тяжкую болезнь, Ю. В. Андропов, став Генсеком, внес весомый вклад в работу ЦК партии по преодолению тех трудностей, с которыми столкнулась страна. Наш народ воздает ему должное за все то доброе, что сделано им в интересах партии и государства, за умение мыслить широко и масштабно, за высокую принципиальность, требовательность и личную порядочность. Но Ленин учил нас видеть у тех или иных деятелей как достоинства, так и недостатки и слабости, как плюсы, так и минусы. Что же касается Ю. В. Андропова, то с него, по моему глубокому убеждению, никак нельзя снимать политическую ответственность не только за застойные явления в стране в «эпоху Брежнева», но и за серьезные недостатки, промахи и даже срывы в работе Комитета государственной безопасности, который он возглавлял много лет. Да, на этой должности Ю. В. Андропов много делал для улучшения деятельности КГБ, но вместе с тем, к великому сожалению, верно и то, что именно тогда началась в стране «охота на ведьм», усиленно создавался образ врага, применялись непомерно суровые методы борьбы против инакомыслящей интеллигенции. Именно в те годы шла во многих случаях неоправданная «утечка мозгов» за рубеж. В борьбе с инакомыслием КГБ вкупе с другими ведомствами применял порой совершенно дикие по своему характеру и формам методы. Чего стоит уничтожение выставки художников-нонконформистов в семьдесят четвертом году в Москве, когда в ход пустили бульдозеры? Кстати, по сообщению «Правды», организатор этой печальной памяти выставки А. Глезер, оказавшись на Западе, создал в Париже и Нью-Йорке два музея русского современного искусства, а теперь, глубоко сочувствуя начатым на его вынужденно покинутой родине преобразованиям, объявил о создании «Международной ассоциации интеллигенции в пользу перестройки», обещает передать 300 полотен, из которых 50 принадлежат ему лично, в будущий музей современного искусства в Москве...

Никуда не уйдешь и от прискорбного факта, что конец 60-х, все 70-е и начало 80-х годов ознаменовались у нас в стране широкой кампанией по борьбе с так называемыми диссидентами, или «узниками совести», чьи высказывания объявлялись клеветой на советский общественный строй. Судебными процессами, тюремным заключением и ссылкой дело, однако, не ограничивалось. Для усмирения инакомыслящих использовались психиатрические больницы, куда направляли совершенно здоровых людей. Так было, например, с героем Великой Отечественной войны, ныне покойным генералом Петром Григорьевичем Григоренко, с известным ученым-биологом Жоресом Медведевым, проживающим ныне в Англии и издавшим несколько книг, вызвавших большой интерес зарубежных читателей. К слову сказать, популярный ныне историк Рой Медведев, родной брат Жореса, давно уже и широко известный на Западе своими произведениями, издававшимися там, долгие годы «ходил» в тунеядцах и диссидентах. Любопытный факт: Ю. В. Андропов, в бытность свою секретарем ЦК КПСС, не только не осудил, как об этом сообщает сам Р. А. Медведев в газете «Московские новости» от 12 февраля 1989 года, его работу над книгой «Перед судом истории», но и советовал продолжать ее. Однако, став вскоре Председателем КГБ, Андропов передал Медведеву свое пожелание продолжать начатое исследование, но не издавать рукопись за рубежом, ибо в противном случае против того будут пр.. ыкты меры, а он, Андропов, не сможет ему помочь. Медведев не внял совету, и свой первый большой труд, посвященный Сталину и сталинщине, издал в США, после чего был исключен из партии за «клевету на

советский общественный строй». Гришин тогда заявил на бюро горкома: «У нас теперь иное отношение к Сталину». После смерти Ю. В. Андропова целых полтора года три офицера КГБ следили за квартирой Медведева, проверяли каждого, кто туда входил.

Замечу также, что Рой Медведев, сам того, возможно, не подозревая, оказался человеком, по вине которого пострадал в 1982 году житель Сочи А. П. Чурганов, приговоренный коллегией Краснодарского краевого суда к шести годам лишения свободы; в числе самых «страшных» обвинений было и такое: «С целью подрыва и ослабления Советской власти, сблизившись с жителем г. Москвы Роем Медведевым, получал от него печатные произведения, издаваемые за рубежом...»

Беспрецедентной мерой борьбы с инакомыслием в послесталинское время была ссылка без суда и следствия. Так был сослан в Горький «главный диссидент» академик Андрей Дмитриевич Сахаров, что одновременно сопровождалось кампанией клеветы в его адрес, когда публиковались разного рода «протесты» писателей, композиторов, рабочих. В числе прочих было и составленное в тиши кабинетов «обличительное» письмо под заголовком «Когда теряют честь и совесть» («Правда», 29 августа 1973 г.), подписанное сорока академиками, проявившими малодушие и не решившимися, как это сделал, скажем, академик В. Гольданский, выступить в защиту Сахарова. Письмом дело не кончилось. Были предприняты упорные попытки добиться исключения Сахарова из Академии наук СССР, но к чести большинства академиков и к неудовольствию организаторов травли эта попытка была сорвана. Остается только сожалеть, что Академия не смогла защитить выдающегося ученого и честного человека от притеснений, унижений и надругательства над его именем; иначе чем надругательством нельзя, на мой взгляд, назвать и книгу «ЦРУ против СССР», автор которой Н. Яковлев обливал грязью известного всему миру ученого.

Масштабы репрессий тех лет не идут, конечно же, ни в какое сравнение со сталинскими. Но одно то, что происходило это после XX и XXII съездов партии, не может не поражать. Нет никакого оправдания тому, что после «оттепели» подули холодные ветры. Повинны в этом, конечно, не только работники КГБ и его руководители, хотя, несомненно, их вклад был немалым. И здесь я не могу не согласиться с А. Д. Сахаровым, который пишет, что, с одной стороны, органы КГБ благодаря своей элитарности оказались почти единственной силой, не затронутой коррупцией и поэтому противостоящей мафии, а с другой — встали на путь безжалостного преследования инакомыслящих. Противоречие это и двойственность, по мнению Сахарова, несомненно, отразились и на личной судьбе, и на позиции руководителя КГБ Ю. В. Андропова. В самом деле, не дай в свое время Андропов сильный импульс в деле разоблачения коррупции, организованной преступности наших доморощенных мафиози, могло и не появиться ни «узбекских», ни «краснодарских», ни «московских» громких дел. Как признают сами следователи по особо важным делам Прокуратуры СССР, участие КГБ в ходе следствия сыграло решающую роль, например, в деле небезызвестного Трегубова, который, пользуясь покровительством Гришина, многие годы совершал тягчайшие преступления.

Но, с другой стороны, и об этом справедливо пишет в «Огоньке» А. Головков (№ 4, 1989 г.), именно работники КГБ в эпоху Брежнева буквально стряпали «дела» некоторым истинным патриотам, проводили их через суды, «подчиняющиеся только закону», отправляли на муки мученические в колонии строгого режима и ссылки. Там такие же «служители Закона» всячески глумились над заключенными, по надуманным поводам создавали новые «дела», что влекло для заключенных новые сроки и новые муки. Доводя людей до полного отчаяния, заставляли их «раскаиваться» в грехах и преступлениях, которых те не совершали: эти сюжеты показывали по Центральному телевидению, статьи о «прозрении» публиковались в газетах. «Метода», как видим, очень смахивает на ту, что применяли сталинские опричники. Правда, говоря об одном из украинских следователей — майоре КГБ Зинченко, автор замечает, что он человек вежливый, неглупый, непохожий на бывалых садистов из НКВД. Но этот «вежливый» и «неглупый» сфабриковал дело на не повинного ни в чем человека — преподавателя средней школы В. И. Беликова, который сравнил брежневский режим с ракетой, потерявшей управление. К 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки был он приговорен коллегией Киевского суда. Такая же участь постигла «особо опасных преступников» — майора запаса Ф. Ф. Анаденко и подполковника В. С. Волкова, вся вина которых заключалась в том, что они послали в редакцию «Правды» статью, в которой просили ответа на вопрос о происхождении культа личности Сталина, обращая при этом внимание на «медлительность возвращения к ленинским принципам». И только постановлением Пленума Верховного суда от 27 сентября 1988 года они оба были полностью реабилитированы, приговор киевского городского суда и все последующие решения в отношении их отменены, а «дела» прекращены за отсутствием в их действиях состава преступления...



Все эти противоречивые факты относятся опять же к тому периоду, когда во главе КГБ стоял не кто иной, как Ю. В. Андропов. Когда связываешь все это с его именем, то невольно думаешь: как этот человек, с его высокими принципами, справедливо считавший, что необходимо более последовательно проводить курс XX съезда партии, вдруг сам выступает в роли гонителя тех, кто осмелился поднять наболевшие проблемы политической, религиозной, национальной жизни, свободы творчества. Наиболее убедительное объяснение, на мой взгляд, в том, что находился он под сильным давлением сверху, особенно со стороны таких деятелей, как Суслов, хотя, повторяюсь, это ни в коей мере не снимает ответственности и с самого Андропова.

Мне особенно больно писать обо всем этом, так как я искренне уважал Ю. В. Андропова. Замечу, к слову, что свое отношение к нему автор этих строк выразил в статье «Жизнь, отданная народу», опубликованной 15 июня 1984 года в «Правде» в связи с 70-летием Ю. В. Андропова, хотя в то время во главе партии и страны находился человек, который, выражаясь деликатно, сильно недолюбливал последнего. Но факты есть факты и не замечать их нельзя.

Коль скоро зашла речь об органах государственной безопасности, хочу затронуть ряд моментов, связанных уже с нынешним временем. Решительно не согласен с теми, кто считает, что обнародованные факты (а их наверняка будет обнародовано в будущем еще больше) чудовищных сталинских беззаконий и массовых репрессий, истребления миллионов невинных людей кладут пятно не только на все чекистские кадры того времени, но и на нынешний состав работников КГБ безотносительно к тому, когда пришли они в органы и как себя проявили. Всякого рода обобщения вредны, а потому недопустимы. Другое дело, что от работников КГБ — и руководящих, и рядовых — советские люди вправе требовать активного участия в анализе того, что было связано с вопиющим произволом, попранием социалистической законности и массовыми репрессиями, того, что органы госбезопасности вышли из-под контроля и были поставлены над партией и государством. Только тогда мы сможем извлечь необходимые уроки из прошлого, выработать и создать прочные гарантии, которые исключат произвол и беззакония.

К сожалению, долгое время работники КГБ отмалчивались. Их выступления в печати стали появляться лишь в самое последнее время. Причем не всегда достаточно самокритичные, а зачастую с налетом старых подходов и стереотипов. Почему, например, критика в наш адрес со стороны Запада, когда речь заходит о соблюдении хельсинкских соглашений, касающихся гуманитарных проблем, расценивалась до самого последнего времени как вмешательство в наши внутренние дела? В журнале «Коммунист» (№ 13, 1988) опубликована замечательная, глубоко аналитическая статья сотрудника КГБ В. Рубанова «От культа секретности — к информационной культуре». Единственно, на мой взгляд, чего в ней не хватает — так это самокритичности: ведь именно органы КГБ сыграли решающую роль в том, что наряду с разумными и обоснованны-

ми мерами по охране государственных и военных тайн засекречено было заодно и то, что секретами не является и не может ими являться, а это наносило немалый ущерб обществу.

Что касается сталинщины, тяжелейшим и наиболее трагическим проявлением которой явилась свирепая, зачастую палаческая и совершенно бесконтрольная деятельность органов госбезопасности, то об этом говорится, как правило, в общей форме, а зачастую дается неточная квалификация и событий прошлых лет, и зловещей роли КГБ в этих событиях. Газета «Аргументы и факты» (№ 52, 1988 г.) опубликовала материал под рубрикой «КГБ СССР сообщает и комментирует» о партийной конференции Комитета госбезопасности, в котором сказано, что на конференции речь шла «и об ошибках, издержках прошлого». О каких «ошибках» и каких «издержках», если сами авторы публикации ведут ниже речь о массовых репрессиях периода культа личности (не называя почему-то Сталина), «унесших сотни тысяч жизней ни в чем не повинных людей, в том числе и чекистов».

Верно, конечно, что были среди репрессированных и чекисты. 20 тысяч, как сообщается в прессе, среди которых были высокопрофессиональные работники, выдающиеся разведчики, беззаветно преданные партии коммунисты. Верно и то, что как среди погибших, так и среди оставшихся в живых чекистов были и такие, кто, рискуя не только должностью, положением, но даже самой жизнью, делал максимум возможного, чтобы облегчить участь невинных людей, а порой даже спасал их от верной гибели. Так мы узнали о том, что именно чекист предотвратил арест Михаила Шолохова и тем самым спас ему жизнь. Еще вспоминаю такой факт: в декабре 1969 года редакция «Правды» подготовила закрытый обзор откликов на статью, посвященную 90-летию со дня рождения И. В. Сталина, среди которых упомянуто было письмо волгоградца К. И. Флуга, который писал: «Я — один из тех, кто является невинной жертвой кровавого Джугашвили... Провел двадцать два года в тюрьмах, лагерях и ссылках вплоть до реабилитации в 1955 году... И если бы не настоящие коммунисты, которые встречались среди работающих в ГУЛаге, моя гибель, как и сотен моих товарищей по несчастью, была бы неминуемой».

Все это так, и разговор этот можно вести долго. Однако среди чекистов было великое, великое множество больших и маленьких ежовых, ягод, евдокимовых, меркуловых, хватов и кабуловых, настоящих палачей и садистов; многие из них, как, например, бывший следователь НКВД, а ныне «ученый муж» Боярский или тот же пресловутый Хват преспокойно доживают свои дни в ведомственных домах, получая пенсию...

«Мы понятия не имеем о том, чем занимаются в плане внутренней политики люди, работающие в огромных зданиях КГБ,— выступает в «Огоньке» (№ 50, 1988 г.) ученый Л. Баткин.— Я ничего не слышал о сокращении этого аппарата. Он работает! Над чем? Какие у него задачи внутри страны? Демократизация и гласность, по-моему, означают, что объем таких задач резко сужается и, следовательно, должно происходить сокращение аппарата. Предвидится ли оно?».

«Поражает мое воображение и великолепие нового здания на Лубянке. Зодчий создал архитектурный образ большой впечатляющей силы»,— делится своим мнением читатель «Огонька» (№ 39, 1988 г.). Это о новом здании КГБ, что ведь несколько раньше та же организация выстроила для себя такое же, если не более величественное здание. Его возведение началось одновременно со строительством здания Министерства обороны на Арбатской площади. Создавалось впечатление, что два эти ведомства как бы соревнуются друг с другом в размахе строительства. Победителем вышел КГБ; в дальнейшем он вообще оставил родственное ведомство далеко позади, за короткий срок выстроив тот самый дворец, о котором пишет «Огонек». Замечу, что буквально напротив этого «дворца» находится здание знаменитого Политехнического музея, своего рода реликвии Москвы, которое давным-давно уже требует капитального ремонта. У музея, как пишет пресса, нет специальных хранилищ, он десятилетиями «эксплуатирует»



существующие экспозиции, хотя располагает богатейшими архивами и фондами редких книг, недоступных пока из-за тесноты для широкого использования и изучения. Из-за аварийного состояния кровли утрачен известный всей стране Большой зал Политехнического музея, где выступали В. И. Ленин, А. В. Луначарский, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, С. И. Вавилов, В. В. Маяковский, С. А. Есенин. Специальным постановлением Совмина СССР Политехнический музей официально объявлен Головным музеем истории науки и техники СССР, но при нынешнем состоянии он не может выполнять возложенные на него задачи. Почему бы Комитету государственной безопасности не помочь музею, передав своему соседу «архитектурный образ большой впечатляющей силы»? Это был бы не просто красивый, а главное, необходимый и обоснованный жест, тем более что КГБ, если судить по возведенным новым зданиям, не приходится жаловаться на тесноту, и к тому же вопрос этот прежде всего политический. Почему даже в сталинские времена КГБ «обходился» старым зданием на Лубянке, а теперь, в эпоху демократизации, вдруг стало тесно и надо так сильно расширяться? Я уж не говорю о том, какой острейший характер приобрела в Москве жилищная проблема, как нелегко живется нашим музеям — не только Политехническому, но и музеям В. И. Ленина, Третьяковской галерее, истории Москвы, Библиотеке имени В. И. Ленина... К слову сказать, при Хрущеве было законсервировано строительство здания правительства и Верховного Совета РСФСР, некоторые другие объекты — ресурсы перекинули на сооружение жилья, на неотложные нужды Москвы. А разве сейчас острота этой проблемы снижена?..

В своих публичных выступлениях — письменных и устных — люди самых различных профессий резонно замечают, что КГБ живет некоей самостоятельной, ни от кого не зависимой жизнью, что отсутствует социальный институт контроля за его деятельностью, что нет какой бы то ни было действительной отчетности перед обществом. В самом деле, ведомство это остается и ныне, пожалуй, единственной закрытой или почти закрытой зоной. А ведь это противоречит ленинским традициям. Как известно, вскоре после создания Всероссийской чрезвычайной комиссии ЦК РКП(б) признал целесообразным создать специальную комиссию под председательством В. И. Ленина для выработки мер по усилению контроля партии и Советского правительства за деятельностью ВЧК, укреплению революционной законности. Поводом для подобного решения явились аресты людей по ложным доносам. ВЧК было предложено строго, вплоть до расстрела, наказывать за ложное доносительство. Позднее В. И. Ленин ставил вопрос о необходимости «выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности» и в связи с этим «подвергнуть ВЧК реформе, определить ее функции и компетенцию и ограничить ее работу задачами политическими...»[1]. Это положение имело принципиальную важность, и легло оно в основу решения IX съезда Советов, признавшего необходимым сузить круг деятельности ВЧК и ее органов, а также принятого 6 февраля 1922 года Постановления ВЦИК об упразднении ВЧК. В задачу созданного на ее базе Главного политуправления при НКВД (ГПУ) уже не входили судебно-следственные функции. Наркомат финансов, который возглавлял революционер-ленинец Г. Я. Сокольников, бывало, что и урезал ассигнования на органы безопасности, и подобный подход был нормой. Однажды в разговоре с Ф. Э. Дзержинским он, говоря о том, что надо экономно расходовать народные деньги, высказал очень любопытное соображение: «Спрос рождает предложение. Чем больше средств получат ваши работники, тем больше будет дутых дел. Такова специфика вашего весьма важного и опасного учреждения». Впоследствии работники органов взяли «реванш» у Сокольникова: в ряду других соратников В. И. Ленина он был уничтожен...

Сегодня же, когда ширится и углубляется процесс демократизации общества, как никогда важны гарантии неповторения ошибок прошлого. Стоит вопрос о постоянном контроле за деятельностью КГБ — партийном, государственном,

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 328—329.

общественном. В своих официальных выступлениях и публикациях руководящие работники КГБ неизменно повторяют, что работают они под руководством партии, ее Центрального Комитета. Верно, конечно, но ведь не только партия, но и государство и общество должны знать, разумеется, с учетом специфики КГБ, чем и как занимаются органы госбезопасности, как они решают свои задачи. Между тем до самого последнего времени, например, в республиках КГБ если и выходил на Советы Министров, то только по хозяйственным вопросам, хотя в недалеком прошлом само учреждение именовалось «Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР» (или соответствующей республики). О контроле КГБ со стороны Верховного Совета и говорить не приходилось, ибо высший орган государственной власти практически не имел никакого отношения к деятельности органов госбезопасности.

Уточним для ясности вопрос о руководстве партии работой КГБ. Не будучи осведомлен насчет того, как руководит и контролирует работу Комитета ЦК, его коллегии, аппарат, могу лишь отметить, что на съездах партии о работе органов госбезопасности речь идет лишь в самой общей форме и, как правило, в позитивном плане, если, конечно же, исключить XX и XXII съезды. На пленумах ЦК вообще не доводилось об этом слышать. Что касается местных партийных органов, то как человек, которому довелось быть и первым секретарем райкома и горкома КПСС и вторым секретарем ЦК компартии союзной республики, скажу одно: руководители органов госбезопасности информировали о своей деятельности преимущественно первых секретарей соответствующих партийных комитетов, причем нередко по принципу ноль пишем, два на ум берем... В определенной степени работники комитета были связаны и с секретарями, курировавшими отдел административных органов, но после того как Л. И. Брежнев стал лично курировать этот отдел, многие первые секретари местных партийных комитетов последовали его примеру. Ни на бюро, ни тем более на партийных пленумах вопросы, входящие в компетенцию органов КГБ, как правило, не обсуждались. Какой же это контроль?

Во времена Хрущева председатель КГБ не входил в состав Политбюро ЦК. При Брежневе эта практика была отвергнута, и руководитель КГБ Ю. В. Андропов вскоре стал кандидатом, а затем и членом Политбюро ЦК, хотя, скажем, министры обороны в последние десятилетия далеко не всегда удостаивались этой чести. Более того, кроме председателя КГБ в состав ЦК КПСС входили (и входят) несколько его заместителей, чего вообще не было никогда, даже при Сталине.

Мне рассказывали сведущие люди о том, что при Хрущеве поднимался вопрос об упорядочении положения с личной охраной центрального руководства, но Суслов и некоторые другие решительно воспротивились этому. Разумеется, никто не берет под сомнение необходимость охраны для первых лиц, а тем более лидера партии и страны. Во всех остальных случаях необходимо, как мне представляется, сохранять чувство меры, и уж, конечно же, вряд ли следовало вводить вновь охрану руководителей республиканских партийных органов.

Конечно, многое зависит от самого руководителя. Довелось однажды отдыхать в подмосковном санатории, когда были там на лечении А. Н. Косыгин и только что избранный секретарь ЦК, бывший до этого одним из многочисленных помощников Брежнева. И что же? Секретарь, упиваясь собственным величием, с угрюмым выражением лица гулял по территории санатория (по существу, закрытого) в сопровождении двух телохранителей, а глава правительства тем временем прогуливался с министрами и знакомыми ему работниками, ведя оживленную, непринужденную беседу, которую пересыпал шутками и смехом. Аналогичную картину наблюдал я много лет назад и в кисловодском санатории «Красные камни». А. Н. Косыгин и А. Н. Шелепин (оба — члены Политбюро) запросто и охотно общались с отдыхающими, зато прибывший вслед за ними П. Е. Шелест, который был тогда первым секретарем ЦК КП Украины, мало того, что расположился на государственной даче по соседству с санаторием (это, собственно, тогда и не удивляло), но и привез с собой немалую свиту.



Даже по территории санатория он ходил в сопровождении охраны, вел себя по-барски.

А разве не выглядит в наше время анахронизмом охрана домов и подъездов, в которых живут члены центрального руководства и опять-таки не первые лица? Круглосуточно, даже когда «опекаемые» не находятся дома, фланируют вокруг офицеры в штатском, получая за это, кстати сказать, немалую зарплату. И уж тем более недоумеваешь, узнав, что обслуживаются даже бывшие члены руководства и их семьи...

Работа КГБ нуждается в обновлении, но это может во многом остаться благим пожеланием, если не будет Закона о государственной безопасности, который четко очертит рамки деятельности этой организации. Только закон, только строжайший контроль, гласность и демократизация гарантируют и чекистов, и всех нас от рецидивов трагических явлений давнего и недавнего прошлого.

Сделав это отступление, вернусь к вопросу, ради которого взялся за эти заметки,— о политической ответственности тех, кто был в ближайшем окружении Брежнева, и особо выделю период, когда закатывалась брежневская эпоха и неизбежно возник вопрос о преемнике лидера, который, правда, был лидером уже чисто формально, символически...

Газета «Известия» в номере за 12 октября 1988 года опубликовала любопытное, на мой взгляд, письмо читателя М. Сандлера из Йошкар-Олы, в котором сказано: в газете много публикаций о Сталине, однако более близкую к нам историю она освещает слишком робко. Как могло случиться, задает вопрос читатель, что смертельно больной Черненко стал Генеральным секретарем и мы тут же всеми силами ринулись искать погранзаставу, где он служил? «Трудно,— продолжал он,— об этом писать, но надо, если мы хотим, чтобы в гласность поверили до конца».

Чтобы в гласность поверили до конца, сказать надо о многом.

О том, например, что в «брежневскую» эпоху вошло в практику сооружать бюсты руководящим работникам, удостоенным дважды звания Героя Социалистического Труда, не на «родине Героя», как предусмотрено Указом о награждении, а преимущественно в республиканских, краевых, областных центрах или на худой конец в ближайшем от места рождения городе. Дело иногда доходит до конфузов с политической окраской. Наглядный пример — история с установлением бюста М. С. Соломенцеву, который, кстати говоря, работал в свое время в Казахстане вторым секретарем ЦК, но после одной пикантной истории был вынужден срочно ретироваться из республики. Впрочем, в обиду его не дали, и не кто иной, как Брежнев, помог ему переместиться на пост первого секретаря Ростовского обкома партии, откуда тот перебрался в конце концов в Москву.

Теперь о бюсте «на родине Героя». Родился М. С. Соломенцев в селении, расположенном на некотором расстоянии от старинного Ельца, входящего ныне в состав Липецкой области. Именно в Ельце в разбитом специально и хорошо благоустроенном сквере и соорудили ему бюст, который был выполнен Л. Е. Кербелем, кстати, автором памятников Карлу Марксу и В. И. Ленину... Выбором места, разбивкой сквера и установлением бюста руководил один из помощников Соломенцева, который бывал тут неоднократно. Не случайно все было сделано на самом высоком уровне. Правда, не была учтена «мелочь» — то, что расположенная по соседству со сквером площадь Ленина и установленная на ней скульптура вождя находились в самом плачевном состоянии. В различные инстанции, в том числе и центральные, пошли от горожан гневные письма, после чего срочно пришлось принимать меры: заказывать новую скульптуру Ленина, приводить в божеский вид площадь, хотя она и по сей день явно уступает скверу, где стоит бюст Соломенцева. До недавнего времени на территории, примыкающей к скверу, даже движение транспорта было запрещено...

Никогда не забуду отвратительные политические шоу, которые разыгрывались в те дни, когда Черненко уже одной ногой стоял в могиле. В ходе изби-

рательной кампании по выборам в Верховный Совет СССР велись передачи из загородной больницы — на всю страну демонстрировали К. У. Черненко, который опускает бюллетень в избирательную урну, получает через несколько дней временное удостоверение о его избрании депутатом Верховного Совета, читает благодарственную речь, которую его заставили читать, и было видно, чего ему стоило все это. Организатором этих нелепейших акций был В. В. Гришин, бывший первый секретарь МГК КПСС, претендовавший на пост Генсека. Именно ему, а не Черненко нужны были эти шоу, которые срамили и позорили нас на весь мир, порождали насмешки и злые анекдоты. Заставлять смертельно больного позировать перед телекамерами — что может быть нелепее и кощунственнее! Но чего не сделаешь ради своей карьеры, ради заманчивой перспективы стать первым в партии и стране!..

Вспоминая и анализируя все эти факты, осмысливая свой жизненный опыт, я часто задумываюсь: как же сделать, чтоб не повторилось прошлое? Конечно, крайне важно сломать старый механизм торможения, покончить с накопившимися заводями безнравственности, лжи и лицемерия, возродить забытые, а порой сознательно отвергнутые во времена сталинщины и брежневщины ленинские идеи и нормы партийной и государственной жизни. Важнейший урок и гарантия необратимости благотворных процессов перестройки, на мой взгляд, в том, чтобы с помощью демократических механизмов и структур начисто исключить такое положение, при котором судьбы партии и народа, как это было в недалеком прошлом, определялись бы всякого рода случайностями, эгоистическими интересами консервативных сил в руководящем ядре партии, далекими от интересов общества и находящимися в вопиющем противоречии с ленинскими принципами партийной и государственной жизни.

Впрочем, эта тема требует отдельного разговора.

---

*Критика*

*Виктор Святелик*

# ЛЕГЕНДА, ПРИШЕДШАЯ К ПУШКИНУ

История возникновения поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1821—1823) необычна: она занимала особое место в жизни и творчестве поэта. Первые произведения, пришедшие к читателям, последовавшая затем южная ссылка подготовили тогдашнее русское общество к тому, что о Пушкине заговорили, заспорили, с нетерпением ждали появления новых его творений.

Несмотря на раннюю известность, Пушкину тем не менее было нелегко порою преодолевать инертность иных издателей и сопротивление цензуры. В частности, чтобы поэма увидела свет, понадобилось покровительство П. А. Вяземского, в те времена известного поэта, который по просьбе Пушкина написал предисловие к «Бахчисарайскому фонтану». Однако препятствия к публикации оказались не столь уж значительными. Ее успех у читающей публики, с восторгом принявшей историю польской княжны Марии, похищенной крымским ханом Керим-Гиреем, был несомненен. Примечательно, что за первое издание поэт получил фантастический по тем временам гонорар — три тысячи золотом, что знаменовало собой появление на Руси первого литератора-профессионала.

Шумный успех, невероятный гонорар... Однако сам поэт почему-то поэмой был недоволен, о чем не раз признавался в своих письмах.

Это, пожалуй, первая загадка, связанная с «Бахчисарайским фонтаном»: публика в восхищении, создатель недовольно морщится, глядя на свое детище. Почему?..

Вторая, не менее любопытная загадка: как возникла, как родилась легенда о княжне Марии, которая легла в основу пушкинской поэмы? Существовала ли Мария в жизни или это плод поэтического воображения создателя? И если такая легенда существовала, то как изменилась, став основой поэмы, и изменилась ли вообще?.. В тексте поэмы фамилия Марии не упоминается, но из предисловия Вяземского к первому изданию она стала известна: Потоцкая. Потоцкие были графами, в поэме же Мария носит княжеский титул. Чем руководствовался Пушкин, когда «повысил» свою героиню в звании?..

И, наконец, пожалуй, самый интересный вопрос для читателя. В письмах к брату Льву и к А. А. Бестужеву Пушкин связывал появление «Бахчисарайского фонтана» с некоей загадочной женщиной, в которую он, по его словам, был страстно и тайно влюблен. Имени ее, как считается, он никогда нигде не называл. Этой женщине будто бы поэт обязан и появлением многих лирических отступлений в «Евгении Онегине», некоторых «южных» поэм, крымского цикла стихотворений... «Утаенная любовь» — такое название получила эта проблема среди тех, кто занимается исследованием творчества поэта. На роль тайной вдохновительницы стихотворца, по мнению исследователей, могли бы претендовать не менее десяти известных женщин пушкинской поры — Мария, Екатерина и Елена Раевские, Карамзина, Голицына, Собанская, Кочубей... Проблема сия столь известна, что Эйзенштейн намеревался даже снять об этом фильм. В самом же тексте «Бахчисарайского фонтана» есть красноречивое признание:

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
О ней в изгнании тоскую...

Поэтому, думаю не ошибусь, предположив, что поэма эта представляется подходом, прелюдией к изучению неизвестного нам доселе А. С. Пушкина. От нее тянутся тайные, неизведанные нити и к «южным» поэмам, и к «Евгению Онегину», и еще ко многим неясным, «зашифрованным» местам в лирике и обширной корреспонденции поэта.

Если загадки поэмы «Бахчисарайский фонтан» так важны для понимания творчества великого поэта,—закономерно поинтересуется читатель,— почему же до сих пор никто не разгадал эту загадку?

Дело здесь в том, что изучением этих проблем невозможно было заниматься, не касаясь истории татарского Крыма, истории Украины и Польши. Все это требовало определенных знаний, которыми в недавнем прошлом наши ученые не располагали. Надо было, в частности, изу-

чить историю рода Потоцких, установить связь между представителями этого рода и двором Керим-Гирея. Надо было наконец располагать знаниями об исторических особенностях местности в XVIII—XIX веке, непосредственно связанной с развитием сюжета поэмы «Бахчисарайский фонтан»... Все это стало возможным не так давно, в наши дни, когда и в Польше и на Украине появилось немало новых разысканий ученых, связанных с этим вопросом. Сегодня, обладая знаниями об этих разысканиях, новых книгах, я постараюсь по возможности тщательно проследить историю создания бессмертной поэмы А. С. Пушкина, но не с точки зрения литературных ее достоинств, а под иным углом зрения.

Итак, Пушкин, по его собственному признанию, узнает легенду, легшую в основу «Бахчисарайского фонтана», от некоей женщины. Восьмого февраля 1824 года он пишет А. А. Бестужеву, писателю-декабристу, редактору альманаха «Полярная звезда»: «Радуюсь, что мой «Фонтан» шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины» [1]. В «Отрывке из письма к Д.», который И. Фейнберг считал частью утраченного крымского дневника поэта (почему обычно этот отрывок не помещают среди писем Пушкина), поэт еще раз упомянул о таинственной женщине, от которой он услыхал легенду о Марии Потоцкой: «Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К. поэтически описывала его мне, называя la fontaine des larmes («фонтан слез») [2].

«Отрывок из письма к Д.» являлся, как предполагается, фрагментом дневника Пушкина, впервые он был напечатан в «Северных цветах» в 1826 году, а затем появился во втором издании поэмы в 1827 году уже как авторское предисловие. Таинственная К., как из этого явствует, играла в этой истории весьма значительную роль. Со всем сказанным перекликаются и строки из поэмы:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
*Фонтаном слез* именовали.
(выделено Пушкиным)

Некая девушка вместе со своими подругами узнает легенду о «фонтане слез». Очевидно, событие сие происходит до крымского путешествия Пушкина в 1820 году; если мы согласимся с версией, что «Отрывок из письма к Д.» является частью крымского дневника, то впервые Пушкин должен был услышать легенду еще в Петербурге. Ведь он пишет: «Я прежде слыхал...» Девушка та, должно быть, была тесно связана и с Крымом, где узнала легенду («младые девы в той стране преданье старины узнали»), и с Петербургом, где впервые поведала поэту легенду о «фонтане слез». В письме к Бестужеву она названа «молодой женщиной» (очевидно, к тому времени уже вышла замуж), а в «Отрывке...» она «зашифрована» под буквой К. Исследователи толковали это «К» по-разному: Карамзина, Катерина (Екатерина) Раевская...

Надо заметить, что расшифровка каждый раз шла в русле осмысления очередной версии. Для подлинного же прочтения надо было прежде всего установить принцип действия шифра поэта: что обычно скрывалось под первой буквой: имя или фамилия? Пушкин не был оригинален в подобной шифровке, то было в духе времени. Встречались, конечно, исключения. Так, в воспоминаниях А. И. Дельвига, двоюродного брата друга Пушкина, приводится случай, когда Пушкин подписал стихотворение «Череп» буквой «Я», имея в виду себя. Читатели же полагали, что автором был поэт Языков [3].

И все же традиционно в подобных случаях первой буквой обозначалась фамилия, не имя. Поэтому резонно «Отрывок из письма к Д.» читали как «Отрывок из письма к Дельвигу». В том же «Отрывке» упоминается книга «М». (И. М. Муравьева-Апостола). Подобных примеров в стихах, прозе, письмах Пушкина можно привести немало. Так, в повести «Метель» фигурирует некто Гаврила Гаврилович Р., в «Капитанской дочке» — Андрей Карлович Р. Прибегал поэт и к другим нехитрым приемам шифровки, но одной буквой, как видим, обычно обозначал начало фамилии.

Итак, фамилия «младой девы», которая к 1824 году стала замужней женщиной, начиналась на «К». Ни Карамзина, бывшая лет на 20 старше Пушкина, ни Екатерина Раевская, ни ее сестра Мария, полагавшая, что «Евгений Онегин» и «Бахчисарайский фонтан» посвящены ей, этой «К» быть не могли. Конечно, тут нельзя в смелом предположении этом винить Марию Раевскую: она была одной из самых необыкновенных женщин своей эпохи, сыграла в жизни поэта значительную роль.

Стало быть, из всех женских имен этой «К», пожалуй, могла быть лишь одна: Киселева София Станиславовна, которой в 1960 году известный романист и исследователь Л. П. Гроссман посвятил большую статью [4]. Упомянул он о Киселевой и в своей биографии Пушкина, вышедшей в серии «ЖЗЛ».

Киселева, урожденная графиня Потоцкая, стала женой генерала П. Д. Киселева летом 1821 года, то есть какие-то ее биографические данные и первая буква фамилии совпадают с предварительными сведениями, упомянутыми Пушкиным. Относительно связей Киселевой с Петербургом и Крымом речь еще пойдет, но такая связь несомненно существовала.

Говоря о том, что Киселева рассказала Пушкину легенду о «фонтане слез», Л. Гроссман оперировал письмами Пушкина. Поскольку в письме поэта Вяземскому от 4 ноября 1823 года, на которое ссылался исследователь, есть неясные с первого взгляда места, стоит прибегнуть



к цитированию черновика этого письма, где мысль Пушкина выражена более конкретно, определенно: «Припиши к Бахчисараю (маленькое) предисловие или послесловие — если не ради меня, так для Соф. Киселевой...» [5]

Получается, что упоминание о С. Киселевой для Пушкина едва ли не важнее, чем о нем самом: он упрашивает Вяземского написать предисловие к поэме в первую очередь ради нее. Логично также выглядит и предположение, что именно от С. Киселевой, урожденной Потоцкой, поэт впервые услышал легенду о Марии Потоцкой и что она несомненно была заинтересована в напечатании «Бахчисарайского фонтана». Текст поэмы не подтверждает этого, но в черновиках Пушкин говорит весьма определенно:

Он кончен верный мой рассказ
Исполнил я друзей желанье
Давно когда мне в первый раз
Поведали сие преданье [6].

Несколько раз повторив: «они поведали», «рассказали мне», Пушкин обратился к человеку, который занимал тогда его мысли:

Исполню я твое желанье,
Начну обещанный рассказ,
Давно печальное преданье
Ты мне поведал в первый раз.

Тут уж яснее не скажешь: тот, кто «поведал» Пушкину легенду, тот и был инициатором ее создания. Пушкин словно писал на заказ. Редчайший случай! Ведь поэт в творчестве своем всегда был волен, как птица, и обычно выбирал сюжеты своих произведений без посторонней помощи. А тут будто отчитывался в исполнении чьего-то «желания», настолько твердого и непреклонного, что и легенду ему рассказывали не раз и не два. В чем заключался интерес рассказчика, мы поймем позже, а пока заметим, что доказательства, извлеченные из писем Пушкина Гроссманом, подействовали на исследователей его творчества. Многие согласились с Гроссманом. Так, скажем, в примечаниях Д. Д. Благого к изданию поэмы в двухтомнике Пушкина 1978 года сказано: «В основе сюжета лежит легенда о похищении крымским ханом Керим-Гиреем польской княжны Марии Потоцкой, еще до ссылки слышанная Пушкиным, по его собственным словам, от одной «молодой женщины», в которую он «был очень долго и очень глупо влюблен» (по новейшим биографическим разысканиям, гр. С. С. Потоцкая, вышедшая в 1821 году замуж за генерала П. Д. Киселева)» [7].

Совсем недавно возник метод контент-анализа, метод простой, но эффективный. В 1943 году в США издавалась газета профашистского толка «Истинный американец». Для того, чтобы закрыть эту газету, президенту Рузвельту посоветовали привлечь двух специалистов по контент-анализу, которые, проанализировав тексты ее за год, показали, что число утверждений типа «президент США — нежелательное лицо», «Америка — слаба», «Германия справедлива и мужественна» в 11 раз превышает число обратных утверждений. На основании контент-анализа газета была закрыта, а главный редактор попал в тюрьму [8].

Проанализировав известные нам письма Пушкина подобным образом, мы убедимся, что рядом с названием поэмы «Бахчисарайский фонтан» всегда появляется и словосочетание «некая женщина», «молодая женщина», в двух письмах встречается имя С. Киселевой. Других имен нет.

Эти доказательства, впервые предложенные Л. Гроссманом и развитые в этой статье, должны обратить пристальное внимание на Софию Киселеву, по желанию которой поэт создал одну из самых значительных своих поэм. Здесь, однако, мы ведем речь не о ней самой и чувствах, которые испытывал Пушкин к этой женщине, а об истоках поэмы «Бахчисарайский фонтан»: Киселева была лишь носителем легенды, а не ее создателем.

Л. Гроссман, однако, не в состоянии был ответить на вопросы, почему Пушкин сначала поверил Киселевой, бывшей моложе его и явно не имевшей никакого отношения к событиям, разыгравшимся якобы в Бахчисарае где-то около 1764 года, и почему сперва считал ее рассказ «верным»? Ведь он так был убежден в истинности легенды, что сумел внушить эту уверенность и другим.

П. А. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу от 30 апреля 1823 года сообщает: «На днях получил я письмо от Беса-Арабского Пушкина. Он скучает своим безнадежным положением, но, по словам приезжего, пишет новую поэму Гарем о Потоцкой, похищенной каким-то ханом, событие историческое...» [9] Известно, что Пушкин действительно сначала называл свою поэму «Харем», придавал письму, обращенному к Вяземскому, особое значение, так как 5 апреля этого же года справлялся у него же: «Охотников приехал ли? привез ли тебе письма и прочее?» [10]

Становится ясно, что молдавский приятель Пушкина Охотников лишь подтвердил Вяземскому мысль об историчности легенды, которую слыхал он от самого Пушкина. Здесь свидетельства Вяземского и черновика поэмы полностью совпадают.

Но далее начинаются сомнения. Пушкин вдруг решил проверить подлинность легенды и обратился к Вяземскому. Проверка дала неутешительные результаты. Вяземский в письме от 18 ноября 1823 года пишет А. И. Тургеневу: «Одесский Пушкин прислал мне свой «Бахчисарайский фонтан» для напечатания. Есть прелести. Есть ли в Петербурге «Путешествие в Тавриду» Апостола-Муравьева, в котором он говорит об «Ольвии»? Узнай и доставь тотчас. Да расспроси, не упоминается ли где-нибудь о предании похищенной Потоцкой татарским ханом и на-

веди меня на след. Спроси хоть у сенатора Северина Потоцкого или у архивиста Булгарина. Пушкин просит меня составить предисловие к своей поэме». Тургенев ответил: «Книгу Мур/авьева/ посылаю. О романе графини Пот/оцкой/ справиться не у кого: графа Север/ина/ здесь нет, да и происшествие, о котором ты пишешь, не графини Потоцкой, а другой, которой имя не пришло мне на память» [11].

Запомним это очень важное в наших разысканиях письмо: ведь Тургенев собственно играет здесь роль «главного эксперта» по Потоцким, к письму придется нам не раз возвращаться, но пока отметим, что поиски ни к чему не привели: и Тургенев, и И. М. Муравьев-Апостол в книге «Путешествие по Тавриде» отрицали подлинность легенды о Марии Потоцкой.

Отрицание это, наверное, не беспочвенно: сейчас известно, что на фонтане, якобы поставленном в честь Марии Потоцкой, арабской вязью начертана была выдержка из Корана и дифирамб хану Керим-Гирею. Надпись на мавзолее, где, по преданию, похоронена Потоцкая, гласила: «Да будет милосердие божие над Дилярою. Молитва за упокой души Диляры-Бикеч» [12].

Надо думать, поэт с тревогой ожидал выхода книги Муравьева-Апостола, где развенчивалась легенда о Марии Потоцкой. Вот поэтому, хотя поэма Пушкина и получила самую восторженную оценку публики, хотя ее выход и знаменовал появление в России первого профессионального литератора, сам Пушкин отзывался о ней довольно сурово: «Бахчисарайский фонтан», между нами, дрянь...» — признается он в письме к тому же Вяземскому в октябре 1823 года [13].

В стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца» Пушкин подвел печальный итог своих поисков истины в сложном деле Марии Потоцкой и «Фонтана слез»:

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...
Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Недоумевающий, растерянный предстает перед нами в этих строках поэт: нет разгадки, кто же такая эта Мария.

Кто они, Мария и Зарема? Реально существовавшие когда-то женщины или «одни счастливые мечты»? Пока никто, начиная с самого автора поэмы, не дал определенного ответа на этот вопрос.

Один лишь умница Вяземский понял сложность ситуации, в которую попал его молодой друг. Поэма закончена, а Пушкину внезапно вздумалось проверять историчность фактов, легших в ее основу. Поэтому в своем предисловии, на котором так настаивал Пушкин, он дал весьма дипломатичную оценку:

«Предание, известное в Крыму и поныне, служит основанием поэме. Рассказывают, что хан Керим-Гирей похитил красавицу Потоцкую и содержал ее в Бахчисарайском гареме; полагают даже, что он был обвенчан с нею. Предание сомнительно, и г. Муравьев-Апостол в Путешествии своем по Тавриде, недавно изданном, восстает, и, кажется, довольно основательно, против вероятия сего рассказа. Как бы то ни было,— сие предание есть достояние поэзии.

История не должна быть легковерна, поэзия напротив. Она часто дорожит тем, что первая отвергает с презрением, и наш поэт очень хорошо сделал, присвоив поэзии бахчисарайское предание и обогатив его правдоподобными вымыслами; а еще лучше, что он воспользовался тем и другим с отличным искусством. Цвет местности сохранен в повествовании со всей возможною свежестью и яркостью. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чувствах, в слоге» [14].

Вяземский доказывает, что в поэме смешаны правда и вымысел, хотя и не поясняется конкретно, что есть вымысел, а что правда. Точку зрения приятеля с радостью одобрил Пушкин: «Не знаю, как тебя благодарить: «Разговор» (т. е. предисловие.— В. С.) прелесть, как мысли, так и блистательный образ их выражения. Суждения неоспоримы» [15].

Основываясь на размышлениях Вяземского, дал свою оценку поэмы и В. Г. Белинский в своих знаменитых статьях о Пушкине: «Лучшая сторона поэмы — это описания, или, лучше сказать, живые картины мухаммеданского Крыма... (...) краски нашего поэта всегда верны местности» [16].

Но суждения эти не положили конец сомнениям. До сих пор идут споры, существовала ли Мария на самом деле, правдива ли легенда о «фонтане слез» или Пушкин просто воспользовался сюжетом какого-то ранее известного произведения. По-разному оцениваются источники, но основа оценок одна: пока не был найден дополнительный материал об истоках легенды, любая из них имела право на существование, поскольку и сам автор не разобрался до конца в этой загадочной истории.

Сегодня, после обнаружения новых фактов, касающихся исторической основы поэмы, можно судить о вопросах, мучивших Пушкина, более определенно.

В начале своей работы я отталкивался от работы Л. Гроссмана. Догадки его, высказанные в статье, по-моему, верны и блестящи, но и ошибки исследователя также имеют свои достоинства. Сомнение вызвало одно положение работы, где Гроссман утверждал, будто София Киселева (тогда еще Потоцкая) в 1820 году владела имением в крымской Массандре, километрах в двадцати от Гурзуфа, и Пушкин должен был ходить к ней пешком. Возможно, что 21-летний поэт был в состоянии преодолеть такое расстояние, но Гроссман ошибался, когда считал 19-летнюю в то время Софию собственницей имения. Она была еще несовершеннолетней, мужа в то время не имела и находилась под опекой своей матери, знаменитой авантюристки Софии Потоцкой.

Что касается владений Софии Киселевой-старшей, то архивные документы об этом находятся в ЦГИА УССР: из них стало известно, что имения матери в Крыму стали собственностью ее дочерей, Софии и Ольги, уже после смерти Софии Потоцкой-старшей в конце 1822 года. Среди многочисленных решений судов есть и такое утверждение: «Земля же, в Крыму находящаяся, как собственность матери, назначается по вечность сестрам» (ЦГИА УССР, ф. 49, оп. 3, д. 268, л. 80), однако при условии, что, возможно, понадобится продать эти земли для уплаты материнских долгов [17].

Для того чтобы найти в Крыму в 1820 году Софию-младшую и ее сестру Ольгу,— а они, по мнению Гроссмана, и явились «младыми девами», познакомившими Пушкина с легендой про их родственницу Марию,— надо было сначала отыскать крымские владения их матери. И не совсем ясно, почему Гроссман упустил из виду одно высказывание И. М. Муравьева-Апостола из книги, которая так интересовала Пушкина и его друзей. Ведь Муравьев-Апостол путешествовал по тем же самым местам Крыма, что и сам Пушкин, посетил их буквально через несколько дней после поэта. Вот что пишет Муравьев-Апостол про свой выезд из Гурзуфа, где останавливался и Пушкин: «...Я бы проехал без всякого внимания одно любопытное место, если бы проводник мой не сказал мне, что тут будет город Софиополь. Пышное название!» [18].

Известно, что среди польской аристократии существовал обычай присваивать географическим местам собственные имена. Отец С. Киселевой родился в Кристинополе, названном в честь Кристины Потоцкой. В его собственную честь в имениях магната существовало по крайней мере два Щенснополя (поляки называли мужа Софии Потоцкой-старшей Щенсным, то есть счастливым). Подобный обычай существовал и среди русской аристократии, но у матери Софии Киселевой он превратился буквально в манию: ее именем назван прекрасный парк в Умани, парк в Мисхоре, улица в Одессе (теперь улица Короленко). Что касается Софиополя, то еще до крымских приобретений Потоцких один Софиополь уже находился близ их главной усадьбы в Тульчине [19].

Но Гроссман, загипнотизированный неверным суждением, взятым из какого-то журнала более позднего времени, будто Потоцкая-Киселева владела имением в Массандре, «подсказки» Муравьева-Апостола не заметил. Знал Гроссман и о записках французского поэта де Лагарда, который служил еще Потоцкой-старшей в 1811 году и даже получил от нее предложение стать управителем Софиополя [20]. Но, очевидно, немолодой к тому времени ученый просто не имел возможности тщательно проверить как полагается все источники.

Некоторое время тому назад в Ленинградской научной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина я нашел оригинал книги «Софиополис», написанной знаменитым польским писателем и ученым Яном Потоцким в 1810 году. Эта находка уже сама по себе должна заинтересовать польских исследователей, ведь до недавнего времени считалось, что последняя книга Потоцкого появилась в 1802 году.

На первой странице рукописного оригинала книги, изданной в типографии Плюшара, есть запись, которая свидетельствует, что в июле 1810 года графиня София Потоцкая, мать С. Киселевой, приобрела у князя Голицына имение в Крыму. Запись эта заверена собственноручной подписью графини [21].

Письма Потоцкой-старшей к будущему зятю, начальнику штаба Второй армии П. Д. Киселеву и к другим членам семьи (из фонда 49, фонда Потоцких, ЦГИА УССР), напечатанные впервые несколько лет тому назад варшавским профессором Лоеком в документальной книге о Потоцких, дают основание утверждать, что Потоцкая-старшая вместе с дочерьми Софией и Ольгой летом 1820 года совершили путешествие в Одессу и Крым [22]. На конец года намечалась свадьба дочери Софии и П. Д. Киселева, который в это время вместе с генералитетом Второй армии также находился в Крыму [23]. К тому же для Софии-старшей это путешествие было жизненно важным: она была тяжело больна и врачи рекомендовали ей морские купания [24].

Софиополис был задуман Потоцкой-старшей как город-курорт. Муравьев-Апостол описывает эту затею весьма скептически, полагая, что помещикам не к лицу заниматься подобными нововведениями. Однако он в своей книге отмечает, что в селении находится барская усадьба, раскиданы бревна — признак того, что-де что-то делается все же. Ян Потоцкий в книге «Софиополис», созданной с рекламной целью, утверждает, что в городке 50 домиков, есть грязе- и водолечебница, врач и т. д. Во всяком случае, жизнь в «Софиополисе» если не цветет буйно, то все же существует.

Для нас же более всего интересно место, где находилось имение Софии Потоцкой. Ян Потоцкий ориентирует гостей Крыма на Гурзуф и Аю-Даг, а, судя по описанию Муравьева-Апостола, Софиополис находится совсем рядом с Гурзуфом. Тут, конечно, понадобятся архивные и краеведческие розыски, но, мне кажется, речь идет о селении Ай-Даниль километрах в двух от Гурзуфа.

Известный литератор пушкинского времени Гераков, который посетил Крым одновременно с Пушкиным, а затем, как и Пушкин, гостил в Одессе, в октябре

1820 года, встречался в одесском доме Потоцких с Ольгой Потоцкой, младшей сестрой Софии Киселевой, которая была тогда в обществе юной гречанки, служанки из Балаклавы [25]. Тут речь, очевидно, идет о служанке Потоцких, которая стала потом женой декабриста И. Г. Бурцова — об Анне Казубовой (Казабубо)...

Ну, вот, пожалуй, и все пушкинские «младые девы». Установлена и прямая связь С. Киселевой не только с Крымом, но и с Гурзуфом, где гостил Пушкин.

Поскольку София-младшая была очень близка со своей матерью, чьей особой любовью и расположением всегда пользовалась; поскольку мать Киселевой еще в конце XVIII века планировала покупку земель в Крыму, а с 1810 года стала владелицей городка, который назвала в свою честь; поскольку, наконец, она была авантюристкой, снискавшей славу прекраснейшей женщины Европы и отличалась к тому же незаурядными способностями, постольку все «подозрения» в авторстве «народной» легенды про Марию Потоцкую пали именно на нее. Внимательное изучение фактов жизни С. Потоцкой-старшей позволило впервые выявить обстоятельства, при которых возникла и легенда о «фонтане слез».

Обратимся же к началу жизненного пути Софии Потоцкой. Родилась она в Турции, жила в Стамбуле, где некоторое время пребывала даже в гареме турецкого султана. Таким образом, гаремную жизнь знала не из поэм Мура или Байрона, а по собственному опыту. Когда Софии исполнилось 17 лет, мать продала ее польскому послу в Турции Боскампу Лясопольскому, чьи записки послужили Е. Лоеку для написания документальной биографии Софии. В жизнеописании Боскампа наиболее интересен тот факт, что он до своего назначения послом Польши в Турции был послом Пруссии при дворе... крымского хана Керим-Гирея, героя поэмы Пушкина.

На глазах Боскампа строился мавзолей, который со временем стали называть мавзолеем Марии, видел он и возникновение фонтана Бахчисарая. В 1764 году после ссоры с Керим-Гиреем Боскамп был вынужден покинуть Крым и перейти на дипломатическую службу в Польшу, откуда попал в Стамбул и где стал властелином матери Киселевой [26]. Ясно, что его рассказами про двор крымского хана воспользовалась впоследствии София, которая в глазах Пушкина, Вяземского и их современников должна была выглядеть знатоком восточных обычаев, как оно на самом деле и было.

После того как Боскамп бросил свою любовницу-рабыню, она вышла замуж за майора польской армии Иосифа Витте. Отец Витте — генерал, комендант Каменец-Подольской крепости и приятель польского короля, противился браку своего сына с «мадам Константинопольской, которую продавали на базаре», как именовали тогда Софию. Тогда-то она и создала свою первую известную легенду про Локсандру Скарлатос о том, что Локсандра, дочь главного поставщика гарема турецкого султана, выходит замуж за князя Маврокордато, и от этого союза возникает род князей Маврокордато Скарлатос де Челиче, из которого происходит София [27].

Эта легенда уже чем-то близка легенде о Марии Потоцкой; здесь мастерски соединились выдумка, историческая правда, реально действующие лица: волошский господарь в 1632—1654 годах Матей Бесараб, сват Богдана Хмельницкого Василий Лупул, жена мултанского господаря Александра Коконула Роксана Скарлатос и другие. Суть же легенды и ее мораль состоят в том, что София Потоцкая оказывается потомком сразу двух княжеских родов — греческого Маврокордато и итальянского де Челиче. Без зазрения совести она будет потом всю жизнь жить под двойным княжеским титулом, вчерашняя рабыня выйдет замуж за графа Потоцкого. Копия брачного свидетельства, хранящегося в Центральном историческом архиве УССР [28], фиксирует эту беспримерную аферу авантюристки.

Вот поэтому-то и возник разнобой в титулах героини поэмы Марии Потоцкой. В легенде и поэме Мария — княжна, в письме А. И. Тургенева она названа своим истинным титулом — графским. Совсем недавно польский историк Габриэла Клоновская доказала, что Потоцкие получили этот графский титул при дворе австро-венгерских императоров. При случае, очевидно, им умело пользовалась и София Потоцкая, мать С. Киселевой, распространяя о себе легенды [29].

Не обошлось в легенде этой, конечно, и без гарема (вспомним начальное название поэмы Пушкина — «Гарем»).

Вскоре после брака с Витте София сочиняет и еще одну «гаремную» историю, которую следует считать началом легенды о Марии Потоцкой. Вот вкратце ее содержание (опуская первую часть, где рассказывается о том, как сестра Софии попадает в гарем).

Во время штурма русскими войсками турецкой крепости Хотин София узнает, что в гареме хотинского паши находится ее старшая сестра Елена (или Фатима). По капризу Софии штурм крепости приостанавливается (!), и она едет проведать сестру. В Хотине София узнает, что ее сестра не первая, а лишь вторая жена в гареме, а первая, красавица грузинка, никак не может родить паше мальчика. Недавно она родила девочку, про что грозному деспоту боятся сообщить и обманывают его, говоря, что на сей раз появился мальчик. Во время обеда в голове Софии родится коварный план. Вроде бы, нечаянно говорит она, что у грузинки родилась девочка и поздравляет с этим пашу. Тот поражен, устраивает проверку, в результате которой грузинку бросают в мешке в реку, а ее место будто бы занимает сестра Софии (которой на деле никогда не было) [30].

В сюжете этом нетрудно обнаружить



основные элементы легенды про Марию: действие происходит в восточном гареме, главная героиня — прекрасная пленница европейского происхождения, близкая родственница Софии Потоцкой (значит, по логике Потоцкой, княжна), ей мешает первая жена грузинка, которая погибает по приказу паши (хана) и погибает, брошенная в реку, то есть точно так же, как в поэме: «Она гарема стражами немыми в пучину вод опущена». А родственница Потоцкой становится женой паши (хана). Вспомним предисловие Вяземского к первому изданию поэмы: так, по его словам, должна закончиться эта история. Если добавить, что Вяземский прекрасно знал обеих Софий, писал в их честь стихи и даже питал страсть к С. Киселевой, которая не осталась безответной, то все становится на свои места.

Легенда про Елену-Фатиму отличается от легенды про Марию Потоцкую только местом действия и еще разве тем, что в ней присутствует автор обеих легенд, София Потоцкая, мать Киселевой. Более существенных различий нет.

Таким образом, мы получили редчайшую возможность наблюдать, как возникает «народная» легенда, как она «обрабатывается», трансформируется и автором, который создал ее отнюдь не в силу своего пристрастия к литературе и литераторам: о Марии Потоцкой, кроме Пушкина, писали Мицкевич, Леся Украинка, Костомаров... Елене-Фатиме польский историк, писатель-дилетант Антони Ролле посвятил повесть «Фатима».

Польский историк Доната Цепенко-Зелинская в книге о Потоцких приводит отрывок из дневника известной польской писательницы конца XVIII века Изабеллы Чарторыйской, из которого выясняется, что случай с грузинкой и в самом деле имел место в жизни Софии Потоцкой в Хотине в 1786 году, хотя все было несколько не так, как в легенде. Однако предоставим слово Чарторыйской, участнице тех событий:

«Мы прибыли в Хотин во главе большой делегации, куда входили Немцевич, Бернатович с женой и другие, присоединилась к нам и жена генерала Витте, впоследствии жена Потоцкого, известная своей красотой.

После обеда княгиня (то есть сама Чарторыйская.— **В. С.**) попросила у паши посетить вместе с дамами гарем. Жена паши, необычайной красоты грузинка, в прекрасном одеянии лежала в постели, потому что пару дней тому назад родила ребенка. На ее прекрасном лице отражалось беспокойство, и следы горячки были в ее чудных глазах. Причиной тревоги было то, что она родила паше подряд третью дочь, тогда как повелитель хотел сына. Боясь его гнева, ему сказали, что родился сын.

Княгиня, сочувствуя больной, после возвращения к паше спросила его, можно ли прислать своего врача. Посреди разговора госпожа Витте случайно сообщила паше, что видела новорожденную девочку. Паша, который надеялся, что имеет сына, впал в великий гнев... когда на следующий день лекарь Гольтц прибыл в Хотин, он уже не застал в живых жены паши...» [31].

Так был обнаружен первоисточник, из которого забил «фонтан слез».

Но оставался еще не решенным вопрос о самой Марии Потоцкой. Существование ее многими или подвергалось сомнению, или просто отвергалось. Пушкин сомневался. Но вернемся к столь важному в этой истории письму его друга А. И. Тургенева: в нем не отрицается существование графини Потоцкой, но Тургенев утверждает, что похищенне случилось не с ней самой.

Основываясь на созданных Софией Потоцкой легендах и стремлении предприимчивой женщины создать рекламу своему городу-курорту Софиополю, логично предположить, что героиня легенды о «фонтане слез» должна была быть близкой родственницей Софии, иначе она теряла для Потоцкой смысл. Если бы среди близких родственниц Софии не существовало Марии (имя вообще в генеалогии Потоцких редкое — у мужа Софии было одиннадцать дочерей и ни одной Марии), то все доказательство повисло бы в воздухе.

Но загадочную Марию искать долго не пришлось: у Станислава Феликса Потоцкого, мужа Софии Потоцкой и отца С. Потоцкой-Киселевой, было три сестры. Старшую, любимую, которая заменила ему рано умерших родителей, звали Марией. Ей было около 18 лет, когда в 1764 году умерла любимая жена Керим-Гирея Диляра, когда, кстати, и происходит действие поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Мария была хороша собой, о чем можно узнать из хвалебных стихотворений ее брата, мужа Софии, и известного поэта Польши XVIII века Кобляиского [32]. Последние годы своей короткой жизни она жила в родовом имении Потоцких Кристинополе (теперь г. Червоноград Львовской области), где и скончалась в 1773 году. Мария отличалась кротостью нрава, была щедра к нищим, судя по внешнему облику ее брата была блондинкой, то есть ее портрет совпадает с описанием Марии в поэме Пушкина. О Марии Потоцкой, по мужу Брюль, София должна была услышать в самом начале своего пребывания на Украине, так как муж Марии генерал Брюль был комендантом той самой крепости в Каменец-Подольском, где эту же должность в разное время занимали свекор и первый муж Софии-старшей Иосиф Витте. Потоцкий хранил самые нежные чувства к взрастившей его сестре... а его жена впоследствии, ничтоже сумнящеся, использовала доброе имя этой женщины в своей очередной «гаремной» истории. Надо полагать, Мария была сделана героиней легенды не случайно: в последние свои годы она жила и скончалась в Австро-Венгрии, так что человеку непольского происхождения проверить

истинность легенды было весьма непросто.

Таким образом, теперь можно с уверенностью отделить в легенде о «фонтане слез» правду от выдумки, проанализировать сложный путь ее, вплоть до того времени, когда она стала известна А. С. Пушкину.

В свете новых фактов можно иначе посмотреть и на некоторые подробности жизни самого поэта, которые до сих пор оставались в тени или получали разноречивую оценку. Вспомним, что Вяземский и Тургенев при проверке сей легенды обращались к сенатору Северину Потоцкому. Это тоже не случайно: Северин был братом Яна Потоцкого, автора книги «Софиополис»; Ян был женат на сестре Киселевой Констанции, так что Северин находился с матерью Софии Киселевой в довольно близких родственных связях. Он также был ее соседом по имению в Одессе и Тульчине, в силу своей честности и порядочности стал арбитром в деле решения нескончаемых споров из-за наследства мужа Софии. Словом, он был хорошо осведомлен и о подробностях жизни своей авантюристичной родственницы, которая его недолюбливала и, конечно, сведущ в генеалогии Потоцких.

В воспоминаниях П. И. Долгорукова есть рассказ о споре между Пушкиным и Северином Потоцким, который чуть не закончился дракой[33]. Причиной этого спора без свидетелей считается разговор на моральную или социальную тему. Но встреча состоялась в марте 1822 года, когда поэт уже начал работу над поэмой «Бахчисарайский фонтан» и был твердо уверен в правдивости легенды, которую Северин, как честный человек, должен был отрицать. Потому-то и велся этот разговор без свидетелей, дабы не привлекать к нему лишнего внимания,— разговоры о неправдоподобии легенды, касающейся Марии, могли только повредить Пушкину. Только так можно объяснить то обстоятельство, что поэт, уже, по сути, закончив поэму «Бахчисарайский фонтан», вдруг принялся проверять верность ее истоков, тогда как книга Муравьева-Апостола им еще прочитана не была, хотя он и знал о ее скором появлении и попросил у Вяземского найти ее для него. Очень логично предположить, что разговоры и ссоры с Северином Потоцким, которого Вяземский и Тургенев в силу его возраста и знаний об истории рода привлекли для проверки легенды, все же посеяли сомнения в душе поэта, книга же Муравьева-Апостола и предисловие Вяземского только подтвердили его опасения.

Можно лишь удивиться прозорливости М. И. Выгона, который предсказал, что легенда о Марии Потоцкой скорее всего создавалась в семье самих Потоцких. Да, именно так, как теперь становится ясно, и возникла эта «народная» легенда.

Провидцем оказался и Л. П. Гроссман, когда утверждал, что Пушкин в своей поэме воспользовался описанием Тульчина, главной усадьбы Потоцких. В поэме есть также описание и еще двух географических мест: Бахчисарая, где жила Мария, и имения ее отца, в котором прошли ее детство и юность. Откуда же у автора «Бахчисарайского фонтана» знание и этой усадьбы?

Сам Пушкин наиболее последовательно проводил в жизнь принцип работы Байрона, который оценивал так: «Байрон говорил, что никогда не возьмется описывать страну, которой не видал бы собственными глазами. Однако ж в «Дон Жуане» описывает он Россию, зато приметны некоторые погрешности противу местности»[34].

Когда Вяземский, влюбленный в Софию Киселеву, также захотел написать свой собственный вариант «фонтана слез», Пушкин тут же предостерег его в письме: «Ты, кажется, сбираешься сделать заочное описание Бахчисарая? брось это. Мадригалы Софье Потоцкой, это дело другое»[35]. В одном письме, где поэт еще раз связал легенду о Бахчисарае с Киселевой, он вместе с тем заявил и о своем творческом принципе: не делать заочных описаний, быть в этом смысле «бóльшим байронистом», нежели сам Байрон. Тульчин же — единственное место, где Пушкин мог видеть родовое имение Потоцких. Пока очень мало известно о пребывании поэта в этом городе, ставшем впоследствии центром Южного общества декабристов: Пушкина мельком видел адъютант П. Д. Киселева, декабрист Н. В. Басаргин, в доме все тех же С. С. и П. Д. Киселевых, где, по логике вещей, он, конечно, не мог не побывать в то время.

Представим, что поэт и в самом деле не терпел «заочных описаний», что С. Киселева поведала ему сюжет о фонтане Бахчисарая. И вот, работая над поэмой, он доходит, наконец, до места, где Мария Потоцкая вспоминает свою усадьбу, дворец и т. д. Перечитаем это место:

> И пышный замок опустел.
> Тиха Марина светлица...
> В домовой церкви, где кругом
> Почиют мощи хладным сном,
> С короной, с княжеским гербом
> Воздвиглась новая гробница...
> Отец в могиле, дочь в плену,
> Скупой наследник в замке правит
> И тягостным ярмом бесславит
> Опустошенную страну.

Естественно, все это Пушкин мог видеть только в Тульчине.

На основании изученных документов можно утверждать, что все детали этого описания соответствуют Тульчину времен Пушкина. Сейчас в центре города стоит «домовая церковь» магнатов — Доминиканский костел. Архивные поиски последнего времени показали, что он был «семейным» в полном смысле этого слова. Построенный после смерти отца С. Киселевой на средства трех сыновей магната в 1817 году, костел стал местом захоронения членов семьи, на гробни-





цах которых изображали гербы Потоцких и родственных им семей[36]. Часть этих гробниц сохранилась в соседнем с Тульчином селе Печора, которое в первой половине прошлого века принадлежало сестре С. Киселевой Октавии, затем перешло к ее племяннику. Корона и «княжеский» герб — непременные атрибуты парадных портретов Потоцких, которые воспроизводит Ежи Лоек в своей книге о них.

Почему герб княжеский, когда Потоцкие были графами, тоже известно: преднамеренная ошибка матери С. Киселевой, которая и в поэме стала ошибкой непреднамеренной.

Во времена Пушкина, с 1820 года Тульчином правил брат Софии Киселевой Мечислав. Поэт сумел выделить со свойственной ему точностью главные черты характера этого человека: скупость и жестокость. Вот что пишет про Мечислава его современник Т. Бобровский: «Граф Потоцкий из Тульчина, владетель огромных богатств, женится на бедной Швейковской. Всем известные надменность, скупость и жестокость графа не позволяют этому верить...»[37].

Таким образом, семейное положение Марии Потоцкой в поэме полностью совпадает с семейным положением Софии Потоцкой-младшей во времена Пушкина: «отец в могиле», «скупой наследник замком правит». Мечислав играл в семье роль изгоя, изгнав в 1820 году из тульчинского дворца свою мать и захватив дворец силой. Естественно, что София-младшая в этом поединке была всецело на стороне матери, которая в ней души не чаяла.

В связи с этим хочется высказать и такую мысль: если женская часть семьи Потоцких, мать и ее две дочери, выступили инициаторами написания Пушкиным поэмы о «фонтане слез», то и нападки на скупость и жестокость наследника современники должны были воспринимать как личные выпады в адрес Мечислава Потоцкого. Таким образом личная и даже социальная направленность поэмы Пушкина, на которую мы долго смотрели как на сказку, как на воплощенную в стихах романтическую мечту поэта, очевидна. Она подтверждается известным уже письмом Пушкина Вяземскому от 4 ноября 1823 года, где поэт упрашивает своего старшего друга написать предисловие к поэме. Сразу после просьбы написать предисловие если не ради автора, то ради С. Киселевой, идут такие довольно необычные слова: «Прилагаю при сем полицейское послание, яко материал; почерпни из него сведения (разумеется, умолчав об источнике)»[38].

Странный материал для предисловия к романтической поэме — полицейское послание!

Вяземский им не воспользовался, и мы не знаем, о чем шла речь в этом документе. Однако слова Пушкина весьма определенно доказывают: «Бахчисарайский фонтан» не произведение, написанное о бог весть каком времени. Речь в нем шла о событиях, сравнительно для Пушкина недавних, затрагивались вещи и люди, поэту современные. Можно высказать предположение, что речь шла о том же Мечиславе, прославившемся своими скандальными похождениями, притеснениями подданных. Его судебных дел хранится великое множество как в Винницком областном архиве, так и в фонде 49 (фонд Потоцких Центрального исторического архива УССР).

На чрезвычайно характерную особенность тульчинского дворца Потоцких указывает и черновик поэмы «Бахчисарайский фонтан»: Мария Потоцкая в юности занималась балетом:

> Никто равняться с ней не мог,
> Когда на играх Терпсихоры
> Она полетом стройных ног
> Невольно [увлекала] взоры...

Это уже факт из биографии самой Киселевой: она, как пишет в своих записках француз де Лагард, была балериной-любительницей и выступала в театре дворца[39].

Известный польский поэт Красинский, чьей «музой» была первая жена брата Киселевой Мечислава Дельфина, женившийся на племяннице Киселевой Элизе Браницкой, в одном из своих стихотворений характеризовал Киселеву так: «больше всего она любит танцевать и в греческой куртке скакать на коне».

И, наконец, осталась последняя деталь, последний штрих, который должен связать Киселеву с той К., что рассказала Пушкину сюжет о «фонтане слез»,— это ее связь с Петербургом. И связь эта очевидна. Мать С. Киселевой, выкупленная вторым мужем, Потоцким, у Витте за огромные деньги, еще в 1798 году появилась в Петербурге при дворе императора Павла. Затем Потоцкий приобрел дворец в столице, а с 1812 года, как утверждает документальная книга о Потоцкой профессора Лоека, она постоянно проживает в Петербурге[40]. Зимний сезон — в столице, лето и начало осени — в Крыму и Одессе. Это-то и объясняет путь легенды о Марии Потоцкой к поэту.

«Бахчисарайский фонтан» связан многими нитями с другими произведениями Пушкина, другими фактами его жизни. Эта статья не исчерпывает всех недавно найденных материалов о поэте, она лишь о том, как легенда о «фонтане слез» пришла к А. С. Пушкину.

гор. Тульчин

### ПРИМЕЧАНИЯ


[1] А. С. Пушкин. Собрание соч. в 10 тт., т. 9, М., 1962, с. 91.

[2] И. Фейнберг. «Незавершенные работы Пушкина». М., 1965, с. 203.

[3] В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон. «Сквозь умственные плотины». М., 1986, с. 31.

[4] «Пушкин. Материалы и исследования», Т. 3. М.-Л., 1960 г. статья Л. П. Гроссмана «У истоков «Бахчисарайского фонтана».

[5] «А. С. Пушкин. Материалы и исследования», т. 9. М. Л., 1979, с. 127.

[6] Все отрывки из черновика поэмы «Бах-

чисарайский фонтан» цитируются по изданию «Полное собрание сочинений А. С. Пушкина». изд. АН СССР, 1937, т. 4.

[7] «А. С Пушкин Избранные сочинения». М., 1978, с. 721.

[8] Г. Г Воробьев. «Твоя информационная культура». М. 1988. с. 73—74.

[9] Цит. по книге М. А. Цявловского «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина», М. 1951, т. 1. с. 381.

[10] «А. С Пушкин». Собрание соч. в 10 томах, т. 9, с 64

[11] М. А. Цявловский. «Летопись жизни и творчества А С. Пушкина», т. 1, с. 419.

[12] М. И. Выгон. «Пушкин в Крыму», Симферополь 1974, с. 52.

[13] А С. Пушкин Собрание соч. в 10 тт. т. 9, с. 73.

[14] П. А. Вяземский. Сочинения в 2-х томах М., 1982, с. 98.

[15] А. С Пушкин. Собрание соч. в 10 тт., т. 9, с. 94.

[16] В. Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина», статья 6 (цит. по книге «А. С Пушкин в русской критике», М., 1953), с 216.

[17] ЦГИА УССР, ф. 49, оп. 3. д. 268, л 80.

[18] И. М. Муравьев-Апостол «Путешествие по Тавриде». СПБ. 1824. с. 162.

[19] ЦГИА УССР. ф 49, оп. 2. д. 148а, л. 2, «Инвентари м. Тульчина, сел. Нестерварка. Гриненки, Зофиополя и др.».

[20] В. П. Горленко. «Южнорусские очерки и портреты» Киев. 1898. с. 145.

[21] Potockij Ivan Osipovic. «Sophio — Polis». СПБ. 1610.

[22] J. Lojek, «Dzieje pieknej Bitynki» Warszawa. 1962.

[23] Г. Гераков. «Продолжение путевых записок по многим российским губерниям 1820 и начала 1621 года», Петербург, 1830, с. 36.

[24] J. Lojek, c. 333.

[25] Г. Гераков, с 69

[26] J. Lojek, c. 23.

[27] A. Chrzaszczewski, «Pamietnik oficjalisty Potockich «Tulczyna», c. 117—119.

[28] ЦГИА УССР, ф. 49, оп. 1, д. 1352, л. 1 · «Метрическое свидетельство

По Указу Его императорского Величества дано сие из Подольской духовной консистории о том, что в метрической книге Успенской церкви г Тульчина Брацлавского уезда за 1798 год во второй части о бракосочетании под № 5 значится следующая запись: венчаны 17 апреля месяца жених за разводом с первою женою его сият. граф Станислав Феликс (Щенсный) Потоцкий, сего города Тульчина помещик с разводною гр. Витте женою Софиею, урожденною Челиче — да Маврокордато в церкве Тульчинской Святоуспенской при роде третим браком венчаны»

[29] G. Pauszer — Klonawska, «Piekny Potocki», Warszawa, 1984, c. 70.

[30] D. Ciepienko — Zielinska, Warszawa, 1962, c. 113. [«Kralenigta na Tulczynie»].

[31] Там же, с. 114—116.

[32] Wiersze Józefa Kobianskiego: Stanislawa Szcresnego Potockiego, Warszawa, 1960.

[33] «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». М., т. 1, 1974, с. 266.

[34] А. С. Пушкин. Собрание соч. в 3-х тт., М., 1986. т 3, с. 444.

[35] А. С. Пушкин. Собрание соч. в 10 тт., т. 9, с. 86.

[36] Хмельницкий областной государственный архив, ф. 685, 1824 г., оп. 4, д. 23, лл. 454—499

[37] D. Ciepienko — Zielinska, c. 267.

[38] А. С. Пушкин. Собрание соч. в 10 тт., т. 9, с. 77.

[39] J. Lojek. c. 315.

[40] J. Lojek, c. 319.

*В мире журналов и книг*

# Обоснованная тревога

Нравственное состояние общества достаточно полно проявляется во всех его государственных институтах, важнейшим из которых, несомненно, является армия. Может быть, даже в большей мере, чем все общество в целом, армия страдает в условиях стагнации, автократической диктатуры, отсутствия живых, плодотворных идей, таких, например, как вооруженная защита отечества. Нечасто так случалось в нашей истории, что защищать вдруг оказывается не от кого, непосредственная угроза нападения отсутствует даже в обозримом будущем. Выполнение интернационального долга, каким бы высоким ни было это понятие, все-таки не может сравниться по своей бесспорности с вооруженной борьбой народа за собственную свободу, армия вынуждена существовать в условиях известной герметизации, корпоративной обособленности. Именно тогда в ней пышно расцветает букет весьма нежелательных явлений — хамства, беззакония, деспотии физической силы — всего того, что на деликатном, почти дипломатическом языке военных получило название неуставных отношений. Может показаться странным, что впервые об этих отношениях, в той или иной степени охвативших все слои армии, заговорили все-таки штатские люди — писатели и журналисты. Впрочем, это объяснимо: военные, несомненно, озабоченные честью собственного мундира, до сих пор неохотно идут на признание, по существу, общеизвестных фактов и традиционно непримиримо настроены против всякой критики со стороны. Не так давно они пускали критические залпы против талантливой повести Ю. Полякова «Сто дней до приказа», некоторых других вещей. Неудивительно поэтому, что столь нелегким был путь к журнальным страницам и повести Сергея Каледина «Стройбат», несомненно, раскрывающей новую, старательно оберегаемую от постороннего взгляда сторону армейской жизни.

Сергей Каледин — остроконфликтный автор, это стало ясно уже после появления его «Смиренного кладбища». Правда жизненных отношений для него главнее всего. Правда эта у Каледина, как правило, весьма горька, иногда до отвращения неприглядна. Вообще следует заметить, что мы не привыкли к такой шокирующей правдивости; воспитанные на правдоподобии, мы долгие годы предпочитали литературу благостную, «вдохновляющую и мобилизующую», а то и вовсе созданную по старым рецептам рождественских повествований про людей хороших, и в этом, быть может, главная причина неприятия литературных неприглядностей жизни. Неприятие пороков жизни усилиями некоторых критиков переносилось из нашего бытия в современную литературу, кое-где это положение остается в силе и поныне. Но правда калединских повестей не сочиненная, а вполне реалистическая, всамделишная, и в этом ее художественная сила. До опубликования с ней вполне возможно бороться испытанными средствами цензуры и редактуры, но будучи опубликованной, она неотразима. Она всепобеждающа, как всякая истинно художественная правда.

Система строительных батальонов не что иное, как компромисс, достигаемый в воинском организме между войной и миром, когда силы, изначально предназначенные для брани, вынуждены заниматься несвойственным для них, может, даже противопоказанным делом. Естественно, что эта несвойственность дела налагает свой разлагающий отпечаток на всю их человеческую сущность, взаимоотношения, логику поступков и характеров. Это в равной мере относится к солдатам и офицерам, которые по различным причинам второсортны в армии и в общем не могут не сознавать эту свою второсортность. Отсюда ущербность их нравственных отношений на службе и особенно в казарменном быту, в личное время — деспотия, насилие, алкоголизм, наркомания. На работе они собирают картошку, для вида тыча лопатой в грядки, потому что показатель производительности их труда — количество протыканных грядок, а не вес собранного картофеля. Этот их труд, лишенный оплаты, а то и смысла, разумеется, не способствует повышению солдатской нравствен-

---

**Сергей Каледин. Стройбат. Повесть Новый мир, № 4, 1989.**

ности, нормальное же чувство человеческого достоинства никогда не было в чести у стройбатовцев. Да и о каком достоинстве могут заботиться люди, которых везут на работу в зарешеченных «зековозах», вторую роту которых целиком набрали из лагерей, и теперь они по ночам рыщут в самоволках, открыто промышляют анашой. Начальство? У начальства свои заботы — главным образом о том, чтобы внутренние безобразия не вылетели за высокий забор стройбата, и оно знает себе орать перед получкой, «чтоб не нажирались, а если и нажрутся, чтоб не бросали друг друга. А если уж бросят пьяного, то чтоб на живот переворачивали, чтоб блевотиной не захлебнулся»...

Наверно, естественно и закономерно, что такая обстановка в части приводит к драматическому финалу перед «дембелем», кровавому побоищу с блатными из той же пресловутой второй роты. Полууголовная стихия находит свой закономерный выход со всеми его уголовными последствиями.

В оправдание многого из того негативного, чем чревата современная армия, некоторые ее апологеты ссылаются на то обстоятельство, что многие армейские конфликты — следствие гражданской жизни, продолжение пороков семейного, школьного, комсомольского воспитания. В общем, это справедливо. Армия за два года службы солдата вряд ли в состоянии исправить все вывихи недавнего уголовного или безнадзорного прошлого и вернуть обществу полноценно воспитанного гражданина. Но, думается, она должна хотя бы стремиться к этому. К сожалению, в свете недавних событий в этом отношении закрадываются весьма настойчивые сомнения. Во всяком случае, можно с определенной уверенностью предположить, что те войсковые подразделения, которые так своеобразно «отличились» 9 апреля в Тбилиси, воспитывались в особенной нравственной атмосфере и усвоили особые нормы человеческого поведения, во многом совершенно неприемлемые для нормального демократического общества, но чрезвычайно близкие к тому, что мы увидели в повести Сергея Каледина. Если это действительно так, то в нашей любимой народом армии, недавней героической защитнице его свободы, в самом деле что-то сместилось со своего нравственного центра. Что-то в ней явно неблагополучно, и это не может не вызвать тревогу, которую и забила наша литература. В ее ряду и новая повесть Сергея Каледина.

Обоснованно забила, скажу в заключение.

**Василь Быков**

# Несколько мыслей о Джордже Оруэлле

Литературной разработке поддается любой вопрос — самый отвлеченный и заумный. Но великие книги отвечают на простые, прямые житейские вопросы. Допустимо ли полному благородных замыслов бедняку убить бесполезную и злую богатую старушку? Осудить ли живую, полную страсти женщину, изменившую нелюбимому мужу? Задавать такие вопросы может каждый; ответить на них не может никто; некоторые физически не могут не отвечать. Острота осознания этой невозможности рождает замысел великой книги.

Джорджа Оруэлла мучает тоже очень простой вопрос: что можно и чего нельзя сделать с человеком силой? Ответы для него, английского интеллигента, выходца из обедневшей аристократической семьи, питомца элитарного колледжа, вроде бы лежат готовыми в воспитавшей его просветительской гуманистической культуре. Эти ответы с детства заучили и мы. Вот они: «Человека можно лишить имущества, но не чести». «Вера и надежда в человеке бессмертны». «Можно отнять у человека физическую свободу, но не духовную», «Любовь побеждает смерть». И — как венец, кульминация всего этого — знаменитое: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»

Но автору великого романа такие ответы не нужны как раз потому, что они готовые. Великий роман — это **лаборатория**, в которой ставится беспрецедентный эксперимент, проверяется новая гипотеза в новых условиях.

Духовный, мыслящий, любящий человек — Уинстон Смит, наделенный достаточным автобиографическим сходством с автором,— помещен в сверхтоталитарный мир «Ангсоца», в общество, управляемое Внутренней партией, элитой, впервые в истории отказавшейся от игры в равенство и справедливость и превратившей жизнь в откровенную деспотию и сплошной концлагерь. В начале романа Уинстон — приспособившийся к этому миру интеллектуал, лгущий, униженный, но полный ненависти к власти и тайной мечты о свободе. В сердцевине сюжета, после встречи с Джулией и пробуждения покаянной памяти о матери и сестре, мы видим нового человека, распрямленного любовью, вдохновленного истиной, готового к борьбе со злом. И вот он в финале — превращенный пытками в кусочек трепещущей жалкой плоти, лишенный

**Дж. Оруэлл. 1984. Роман. Новый мир, №№ 2—4, 1989.**



человеческих мыслей и чувств, в пьяных слезах лижущий руку хозяину. Художественный эксперимент отвечает: если сила безгранична, она может сделать с человеком **все**. Разумеется, лучше умереть стоя, красиво умирать стоя, сладостно умирать стоя. Но умирать стоя не дадут. Ты умрешь на коленях, обливаясь кровью и мочой, сгниешь безвестно, не оставив следа, никем не оплаканный и не помянутый, предав и прокляв всех, кого любил.

Но что из этого следует? Зачем открыта эта черная правда? Затем, что не надо обманывать себя надеждой на возможность сосуществования человечности и зла. Да, оно было возможно раньше, пока власть зла над человеком была ущербна, неполна. «Ядерное оружие и наука об управлении сознанием,— писал Оруэлл еще в конце 30-х годов,— сделают зло всесильным». Они уничтожат не только все лучшее в реальности, они отшвырнут утопию, мечту о братстве, равенстве и свободе и превратят жизнь в кровавую сиюминутность, без памяти о прошлом и мечты о будущем.

Любовь сильнее смерти? Да. Но смерть в образе голодных крыс, рвущихся из клетки к человеческому лицу,— это **другая** смерть, и перед лицом такой смерти Уинстон кричит нечеловеческим голосом: «Не со мной! С ней! Пусть они грызут ее лицо, пусть прогрызут его до костей!» И это еще не финал. Она еще равнодушно признается ему, что сделала то же самое, и что крик этот был вовсе не уловкой, подачкой палачу — это был крик души, вернее, того, что от нее осталось. «В этот момент ты не думаешь, на что обрекаешь другого человека. Ты думаешь только о себе,— говорит Джулия.— Думаешь только о себе,— эхом отозвался он».

«Нельзя быть поэтом в душе, как нельзя быть сапожником в душе»,— жестко сказала Марина Цветаева. Оруэлл через 10 лет (каких лет!) ответил страшнее: «Быть человеком в душе нельзя. Быть человеком можно только в реальности». И если всеобъемлющее насилие заменит реальность идеологической фикцией, быть человеком станет просто негде.

В этом, может быть, главное откровение романа, беспощадно прощающегося с иллюзиями индивидуалистического гуманизма, с дорогим нашему сердцу образом «тайной свободы». «Пушкин! Тайную свободу пели мы вослед тебе»,— писал Блок на заре первой великой революции XX века. Оруэлл изображает мир после последней революции, мир, лишенный даже свободы выбора между здравым смыслом и абсурдом.

Джордж Оруэлл — участник гражданской войны в Испании, боец ополчения независимых Каталонских профсоюзов, уничтоженного местными спецслужбами (руководимыми сталинским НКВД) — разгадал главную тайну тоталитаризма. «Там (в Испании),— писал он,— передо мною встал кошмарный образ мира, в котором дважды два будет столько, сколько скажет вождь. Если он скажет пять — значит, так и есть, пять». Формула $2 \times 2 = 4$ давно стала литературной метафорой: у Достоевского, Пруста, Честертона, Андре Бретона, Замятина... Но предшественники Оруэлла использовали ее как символ «тирании рассудка». Подпольный человек у Достоевского отвергает во имя свободы мир, где дважды два четыре, заявляя, что «и дважды два пять — тоже премиленькая иногда вещичка». В антиутопии Е. Замятина «Мы» обезличенные «нумера» — рабы тоталитарного государства — скандируют оду формуле $2 \times 2 = 4$.

Оруэлл не принимал этого вызова здравому смыслу; видя в нем не свободолюбие, а агрессию сверхчеловека, который «не может жить в согласии с обычной порядочностью». Он писал об этой коллизии часто: в статье о «Цветах зла» Бодлера, о «Герое нашего времени». В «1984» пытка длится ради того, чтобы Уинстон действительно увидел 5 пальцев на четырехпалой руке палача.

Так — вопреки предшествующей традиции — формулой свободы личности в «1984» становится $2 \times 2 = 4$. Непосредственный импульс к такому художественному решению Оруэлл получил из книги Е. Лайонса «Пребывание в утопии», рецензируя которую, он выделил следующие строки: «Формулы «Пятилетка в четыре года» и «$2 \times 2 = 5$» постоянно привлекали мое внимание — ...вызов и парадокс, и трагический абсурд советской драмы, ее мистическая простота, ее алогичность, редуцированная к шапкозакидательской арифметике». Эту книгу автор «1984» включил в тщательно им собираемую «русскую библиотеку».

А как мы читали Оруэлла в России: в 3-й и 4-й машинописной копии и в бледных ксероксах, читали «близко к тексту» в буквальном смысле — оглядываясь и рискуя, переплачивая и расплачиваясь, в закрытой наглухо комнате, в одиночестве или вдвоем, как читают в романе подпольную книгу Уинстон и Джулия. Как зеркально гляделись друг в друга книга и жизнь! Да, несмотря на запреты, Оруэлл прорвался хотя бы к части русских читателей, о которых он так мечтал. «Скотный двор», «1984» и — в меньшей мере — «Памяти Каталонии» сыграли свою роль в духовном становлении писателей, историков и публицистов, вошедших в нашу культуру после XX съезда.

Однако Оруэлл, несомненно, больше взял от России, чем дал ей. С горечью придется признать, что особую роль в осмыслении им сути тоталитарного террора (в ряду с империализмом, расизмом и фашизмом) сыграли трагедии и катастрофы нашей истории. Образам Борова в «Скотном дворе» и Старшего Брата в «1984» он сознательно придал сходство со Сталиным, яростно полемизируя

со всеми его западными апологетами и адвокатами, защищавшими тирана «в интересах социализма» [1].

В предисловии ко второму изданию «...Двора» он писал: «Разрушение мифа о сталинизме необходимо для возрождения социалистического движения». Признавая социализм только как утопию, как веру «добрых и слабых», он не принимал социализма организации и бюрократии. Административный социализм — это неизбежно «тоталитарная версия социализма». Для Оруэлла всегда было два социализма. Один — тот, что он видел в революционной Барселоне. «Это было общество, где надежда, а не апатия и цинизм была нормальным состоянием, где слово «товарищ» было выражением непритворного товарищества... Это был «живой образ ранней фазы социализма». Другой — тот, который установил Сталин, тот, которого ждал от «революции управляющих» на Западе политолог Дж. Бернхэм, один из самых значимых мыслителей для автора «1984». «Социализм, если он значит только централизованное управление и плановое производство, не имеет в своей природе ни демократии, ни равенства»,— писал Оруэлл в рецензии на книгу Дж. Бернхэма «Революция управляющих».

Об идейной позиции Оруэлла на Западе существуют самые разные мнения. Ее определяют как «морализм» (Д. Рисс); «диссидентство внутри левого движения» (Дж. Вудкок); «попытку консервативного сына XIX века быть демократическим социалистом» (Р. Вурдхез); как «революционный социализм, предвестие «новых левых» (Р. Уильямс), но чаще всего — как «светский евангелизм». Драма этой позиции в том, что, интеллектуальная по природе, она стремится не превысить уровень понимания и моральные нормы людей физического труда, тех, о ком Уинстон пишет в своем тайном дневнике: «Если есть надежда — она только в пролах». Но может ли и должен ли интеллектуал превратиться в прола?

И об этом еще заставляет нас размышлять Оруэлл — о судьбе интеллектуалов в научно-техническую и массово-пропагандистскую эпоху. Формула «тоталитарный интеллектуал» (один из неологизмов Оруэлла) охватывает в его публицистике самые разные социально-политические типы: поклонники фашизма, просталинские «попутчики», ортодоксальные до фанатизма католики. «Неважно, кому они лижут задницу: Сталину или Гитлеру — важно, что ими движет зловещий дух «реализма» и «политики силы». Он считал тоталитарным сам «менталитет XX века, в котором каждый поклоняется власти на своем интеллектуальном уровне. Подросток в трущобах Глазго боготворит Эль Капоне. Читатель «Нью Стейтсмен» боготворит Сталина». Сталинский режим представлялся ему вовсе не шабашем черни, властью «шариковых», а «диктатурой дюжины интеллектуалов, правящих с помощью террора».

Один из самых глубоких и тонких исследователей Оруэлла, Уильям Стейнхофф, прямо определяет «1984» как «книгу об интеллектуалах, их ценностях, их способе мыслить и чувствовать». С пристрастием исследует Оруэлл «цех задорный», к коему принадлежит сам до мозга костей. И беспощадно отмечает: жажду самоутверждения, страсть к порядку, склонность к идеологизации живого быта, к ортодоксии. Дело не в идеологии — она неизбежна для активного человека, а в степени ее ортодоксальности. «Простой англичанин может быть консерватором, социалистом, католиком, коммунистом, но он всегда при этом еретик, хотя и не осознает этого. Ортодоксия процветает только среди литературных интеллектуалов — то есть тех, кто призван быть стражем свободы мысли»,— писал Оруэлл. И как бы ни был силен и оригинален мыслитель, ортодоксия «убьет в нем сначала моральное чувство, а потом и чувство реальности». Оруэлл показал нам **труп интеллекта** в обезумевшем О'Брайене, но он не показал процесса убиения интеллекта — это было уже сделано его другом Артуром Кёстлером в «Слепящей тьме», одной из любимых книг Оруэлла.

Становясь политиком, интеллигент часто бывает вынужден отказаться от душевной тонкости, щепетильности и высокого эстетизма. Прямо формулируя свою творческую задачу как «превращение политики в искусство», Оруэлл создал на острозлободневном материале общепризнанный шедевр «Скотный двор». Это было высоко оценено демократической интеллигенцией Запада как «воскрешение античной традиции высокой политики» (Б. Крик), как исполнение завета Перикла: «Свобода есть отвага». Дерзнув вслед за сатирической сказкой на более рискованный в эстетическом отношении жанр — политический роман, Оруэлл пришел к редкой удаче — созданию художественного символа тоталитаризма. Его успех поучителен для тех интеллигентов, которых долго вынуждали печальным опытом к бегству от политических страстей. Надо, однако, очень точно представить себе строгость и жесткость границ вовлечения в политику, которые установил для себя автор «1984». В знаменитой статье «Писатели и Левиафан» он заявил: «Не считаю, что в силу утонченности восприятия, им свойственной, писатели вправе уклоняться от будничной грязной работы на ниве политики... Но какие бы услуги ни оказывали они своей партии, ни в коем случае не должны они творить во имя ее задач... Им необходима способность, поступая в согласии с этими задачами, полностью отвергать, когда это требуется, официальную идеологию».

Сам Оруэлл недолго пробыл в партии — в левой фракции лейбористов (хотя голосовал за них до конца). На «левой стороне» ему часто бывало неуютно, досадно, стыдно: он не прощал друзьям-социалистам снобизма, «диалектики» и «идиотского требования»: «Кто сказал «а», должен сказать «б». (Умненькая и столь близкая идеалу Оруэлла героиня Платонова Фро именно на это требование отвечала: «А почему должен? А может, я не хочу?» Видя, что он действительно не понимает, почему, сказав «а» (социализм), он должен сказать «б» (сталинизм), друзья снисходительно замечали, что с огромным дарованием сочетается «простодушие и наивность дикаря». Однако самый близкий и проницательный из друзей — Ричард Рисс — видел за этим «детским своеволием в политике» нечто иное и сформулировал это, на мой взгляд, блестяще: «Он был прогрессивнее левых и консервативнее правых в своем прометеевском героизме, выросшем из рафинированного и сублимированного эгоизма».

Мне кажется, ни одна работа Оруэлла не раскрывает суть его духовности так точно и тонко, как небольшая, ровно за год до смерти написанная, рецензия на английский перевод книги Махатмы Ганди «История моих поисков истины». Отдавая должное достоинствам Ганди: личному мужеству, честности, пониманию ценности человека, энергии, организаторскому таланту, спокойствию, незлобивости, вере в добрую волю людей, Оруэлл размышляет: «Но ведь надо понимать и то, что учение Ганди несовместимо с представлением, что человек — мера всех вещей и надо сделать жизнь лучше на единственной данной нам земле. Близкие, дружеские отношения, говорит Ганди, опасны, потому что вслед за другом или из преданности ему ты можешь запятнать свою святость, вступить на ложный путь. Это, безусловно, верно. Более того, тот, кто любит Бога или человечество в целом, не может избрать для любви отдельного человека,— говорит Ганди. И это верно: именно здесь религиозная и гуманистическая установки расходятся. Для обыкновенного человека любовь как раз означает любовь к одному больше, чем ко всем остальным». Для Оруэлла, религиозно воспитанного, венчавшегося, завещавшего погребение по обряду английской церкви, все же «существо человечности состоит не в поиске совершенства для себя, а в готовности пойти на грех из преданности, в отказе от аскетизма ради близости и в риске проиграть и разрушить свою единственную жизнь ради избранного любовью».

Предавшие и разлюбившие друг друга под пыткой Уинстон и Джулия пошли на этот риск. Они не святые. Они были человечны.

**В. А. Чаликова**

[1] Портрет Старшего Брата в романе пародирует образ Сталина в фильме по книге посла США в СССР Дж. Денниса «Миссия в Москву» — клюквенно-апологетическом по отношению к тирану и тенденциозно жестоком к его жертвам. Стандартная придворность портрета вместе с тем усиливает смутно проступающую в контексте романа идею, что Старший Брат — фикция пропаганды и реально не существует.



# Поэзия и судьба

Среди юношей сорок первого года, перед которыми мир «открылся кипящим котлом военным», был и семнадцатилетний крымский паренек Костя Левин, увлеченно пишущий стихи, зачитывающийся Маяковским и Пастернаком.

В 1984 году умер шестидесятилетний поэт Константин Ильич Левин.

Между этими двумя датами — трудная, неординарная жизнь.

Война оставила тяжелый отпечаток на судьбе поэта. С фотографии, открывающей его посмертный и единственный сборник стихов, смотрит мужественное и грустное лицо. В двадцать лет Левин стал инвалидом Великой Отечественной войны. Вернувшись с фронта без ноги, сожалел, что не может больше воевать с фашистами. Но знал: есть у него другая работа — поэзия. Он поступил в Литературный институт. Стихи начинающего поэта, нигде еще не напечатанные, ходили по рукам, становились известными — особенно вот это: «Нас хоронила артиллерия».

Он говорил о войне так, как в то время не было принято говорить. Не случайно ведь все еще оставались в рукописях и «Мое поколение» Семена Гудзенко, и «Баллада о расстрелянном сердце» Николая Панченко... Излишне натуралистичными казались и многие строки Левина: «пулеметы обрыгали их блевотиною разрывною», «набухшие гноем гипсы... Идущий от сердца мат», «из кожи и стали ношу цилиндр — замену голени и стопе»... Некий вызов чудился в строфе о могилах на Красной площади: «И знал поэт, равны для Родины те, что заглотаны войною, и те, что тут лежат, схоронены в самой стене и под стеною».

Стихам Левина были чужды описательность, выспренность. Они обжигали жесткостью, драматизмом, непригляженностью стиля, лексики, образов. Но нашлись люди, узревшие во всем этом

**Константин Левин. Признание. Стихи. М. Советский писатель, 1988.**

упадничество, «формализм»: на комсомольском собрании Левин был назван «декадентом», и 1947 год стал для него годом исключения из института. Однако каждому, кто по-настоящему понимал стихи, было ясно, что это поэт, обладающий даром образного видения, стремящийся к смелой емкой метафоре:

Сидят писаря, слюнявят конверты
(Цензура тактично не ставит штамп),
И треугольные вороны смерти
Слетаются на городской почтамт.

Старания напечатать стихи кончались неудачами. И с начала пятидесятых годов Левин никуда уже не обращался, не принимал предложений друзей, известных поэтов, помочь ему. Но это, как понятно теперь, не было проявлением слабости. Левин писал, не угождая никому, так, как считал нужным. Существовал на мизерную пенсию, подрабатывая рецензированием в литературной консультации. И никогда не жаловался на нездоровье, одиночество, тяжелые жилищные условия, несложившуюся писательскую судьбу.

Много лет назад Борис Слуцкий на похоронах поэта военного поколения Владимира Львова назвал его «припертым к стенке поэзии». Наверное, то же можно сказать и о Левине. «Галерным рабом поэзии» назвал он себя в одном стихотворении, на самом же деле прожил жизнь как ее рыцарь. Не имеющий выхода к читателю, он не ожесточился, не озлобился, беспощадно относился к своим стихам («как хотел, я не умел, а как умел — не хотел»).

Нужно ли нынче искать однозначный ответ на вопрос, почему на протяжении десятилетий Левин почти никому из литераторов не говорил, что продолжает писать стихи, никогда не выступал с их чтением и то ли вовсе не записывал, то ли уничтожал созданное. В числе оставшихся после поэта рукописей нет датированных позднее, чем 1951 годом. Все остальное записано на пленку с голоса, в больнице, незадолго до смерти. Да еще Владимир Корнилов вспомнил два стихотворения разных лет... Так Людмила Георгиевна Сергеева, редактор литературной консультации Союза писателей СССР, друг Левина, и составляла «Признание» — книгу, которой суждено стать одновременно и поэтическим дебютом автора, и своего рода «Избранным».

Стихи здесь очень разные. Радостные и грустные строки о любви. Нежные—о животных, с которыми у Левина были «согласье и доверье» («На выставке собак» и «С черною немецкою овчаркой...» относятся, как мне кажется, к лучшему, что написано им). Раздумья об Овидии и Бальзаке, Маяковском и Есенине, восточной поэзии и Мандельштаме. А можно ли не заметить «Старика» — дань памяти и уважения крымскому старику татарину Саиду Умэру, который некогда беседовал с самим Толстым «о лошадях, о жизни и о вере», а в годы войны не по своей воле оказался в казахстанских степях? Или наполненные горечью строки, рассказывающие о том, что если «чему и выучит Толстой, уж как-нибудь отучит Сталин. И этой практикой простой кто развращен, а кто раздавлен». Созданные в годы застоя, ныне воспринимаются они, словно только что написанные.

До последних дней своих Левин подходил к оценке людей с не менявшимися для него с годами мерками фронтового братства. Память о войне не давала душе покоя. Он чувствовал себя, как и многие фронтовики, виноватым перед теми, кто не вернулся.

...Но все глуше, ревнивей,
Все бездомнее буду скорбеть
Об упавших на черной равнине,
О приявших военную смерть.

Стихи Левина не ожесточают, а напротив, просветляют сердце читателя. За ними — не просто быт, а бытие человека душевно и духовно богатого. Несуетливого, милосердного к людям, природе. Умеющего говорить высоко и невысокопарно. Жаль, что многие стихи включить в книгу не удалось. Но работа над наследием поэта продолжается. Надо надеяться, что теперь смогут увидеть свет и такие интересные, острые его произведения, как «Памяти Фадеева», «Памяти Бунина», «Мы непростительно стареем...», «Отрывок»...

Будь автор книги жив, наверное, стоило бы обратить внимание на некоторые неудачные строки, вторичные формулировки, интонации. Но сегодня главное для читателя — встретиться с новым именем, поверить словам ушедшего от нас поэта.

Признание Константина Левина в любви к людям состоялось. Хочется верить, что состоится и читательское признание его поэтического дара.

**Виктор Гиленко**

# Критик со стороны

Когда читаешь новую книгу Льва Аннинского «Билет в рай», жанрово обозначенную как «Размышления у театральных подъездов» становится понятным, почему именно театральная критика так часто служила у нас объектом особо яростных и принципиальных проработок.

Конечно, время от времени всем перепадало, однако критикам, пишущим о театре, как-то особенно больно. И космополиты-то они, и антипатриоты, и пособники ревизионизма (это уже в более поздние, относительно вегетарианские годы), и, уж само собой, эстеты и снобы.

И это при всем при том, что данная область творчества достаточно специфична и на широчайшие читательские круги вроде бы не рассчитана. Полагаю, что даже среди завзятых театралов число завзятых читателей рецензий и обзоров не так уж велико. Театрал, как простодушно и тонко заметил Дорошевич, больше доверяет мнению соседа либо слухам, нежели присяжному рецензенту.

Так вот, повторяю, книга Л. Аннинского совершенно конкретным образом объясняет причину столь настороженной идеологической подозрительности к театральной критике, которую, кстати, по известной логике можно счесть высоким объективным признанием ее общественной роли.

Дело в том, что литературу о театре, точнее о живом театральном процессе, о судьбах драмы и комедии, о рождении и вырождении сценических форм, и более всего о том, как преломляется в этих самых драмах и сценических формах самая что ни на есть живая, мучительная и прекрасная жизнь,— такую литературу интересно читать не только театралам, а порой даже и вовсе не театралам. Ее интересно читать всем, у кого есть потребность в размышлении, в отвлеченном и несколько вознесенном над обыденностью умствовании, в столкновении идей, в логических парадоксах, в поиске истины, если уж не объективной, то по крайней мере эмоциональной, в том, что хочется назвать диалектикой души.

Так уж повелось испокон веков, что театр в России — и кафедра, и суд, и трибуна еще не существующего парламента. Потому-то и театральная критика бесстрашно и безотчетно брала и берет на себя функции и философии, и социологии, и политического памфлета, и просто серьезного откровенного разговора по душам. Не только о методе режиссера Х или о творческой манере актрисы У, но вообще обо всем, что нас волнует.

Так что удивляться не приходится, почему в недрах именно этого, на первый взгляд все же прикладного литературного жанра выработалась такая раскованность суждений, такая четкость гражданских предпочтений, такая, наконец, чисто стилистическая свобода. И в том, что критик сугубо литературный не без удовольствия нередко избирает «эмпирическим материалом» для творчества и вдохновения не текст, а зрелище, тоже нет ничего удивительного. Особенно если принять во внимание литературную личность автора, внятную всякому внимательному читателю,— психологически подвижную, открытую разнообразнейшим впечатлениям, зачастую непочтительную по отношению к сложившимся авторитетам и слишком определенно заявленным позициям.

Известна убежденность Л. Аннинского в «автономности» критики как жанра. В том, что главное — взаимодействовать с произведением искусства, интерпретировать его столь же прихотливо и непреднамеренно, как автор романа, пьесы или спектакля интерпретирует действительность. Входить же в обстоятельства авторских намерений, заботиться о неподкупной объективности суждений и даже о доказательности своих оценок он считает наивным и несущественным. Художники — сами по себе, а он — сам по себе. Он тоже художник и своими средствами осуществляет, по сути, то же самое, что и они: пишет «духовную ситуацию». И сферой обслуживания подчеркнуто не желает себя ощущать.

Это самое нежелание принимает иногда чересчур задиристые формы, как, например, во время известной беседы с Юрием Трифоновым, когда Л. Аннинский как-то уж чересчур агрессивно отмежевывался от необходимости прислушиваться и приглядываться к тайной жизни авторского духа. И как-то уж заносчиво бравировал своим правом самовыражаться, не принимая во внимание объективную данность писательских устремлений.

Однако вот что любопытно: то, что в чисто литературных декларациях, а подчас и в статьях на литературные темы выглядит некоторым бретерством, в театральных эссе представляется не только что оправданным, но и особо плодотворным.

Даже не берусь объяснить, чем особо притягательна вот такая позиция критика из соседнего цеха. С другого производства. Со стороны, если перефразировать название особо задевшей Л. Аннинского пьесы И. Дворецкого, нашумевшей в начале семидесятых.

Может, все дело в том, что спектакль, хоть и игровая, хоть и воображаемая, но все же вполне плотская, осязаемая, физическая реальность, и потому «взаимодействовать» с нею и впрямь не грех, как с живою жизнью. К тому же раз и навсегда заданной объективности в театре меньше, чем в литературе: на сцене все дышит, все течет и переливается, смещаются акценты, просыпаются подспудные силы и неосознанные намерения; так ли уж важно для критика разгадать все, что авторы и исполнители собирались сказать. Прав Л. Аннинский: важнее то, что самим фактом спектакля, режиссуры, актерской игры — «сказалось».

Вот уж кто мастер улавливать и понимать это самое «сказанное» — трактовать, интерпретировать, рассматривать так и этак, соотносить с самыми высокими духовными ценностями и самыми низкими нуждами действительности.

Мандельштам сказал как-то, что биография разночинца — это список книг, которые он прочитал. Продолжая образ, можно предположить, что биография нашего советского «шестидесятника» — это список спектаклей, на которые он рвался

Л. Аннинский. Билет в рай. М., Искусство, 1989.

в течение всех этих лет, перечень театров, какие владели его сердцем и умом.

Так что в этом смысле Л. Аннинский в новой своей книге пишет душевную биографию своего современника и сверстника, отмечая наиболее заметные явления театральной жизни, как бы определяющие вехи его (да и собственной) судьбы. Личная заинтересованность, личные пристрастия автором не скрываются, особенно в тех главах, где речь идет о спектаклях «Современника» («Моего «Современника»), эти тексты впрямую названы Л. Аннинским письмами. В них да еще в откликах на спектакли полупрофессиональных, полулюбительских студий проскальзывает порой открытое, не подвергнутое анализу, не расщепленное чувство — вздох, сердечное сжатие, навернувшаяся слеза.

И все же намеренное присутствие авторской личности не дает оснований приравнять данные критические размышления к лирическому дневнику. Время, эпоха, их «духовные ситуации» не столько проживаются и переживаются, сколько исследуются. Достаточно хладнокровно и отстраненно, при всем при том, что тон критического повествования, выбор авторских предпочтений очень личностны.

Симпатиями Л. Аннинского, как легко догадаться, пользуются драматурги социально-гражданской тематики: Игнатий Дворецкий, Александр Гельман, Александр Мишарин... Не то чтобы он их особо хвалил, на похвалы в чистом виде Л. Аннинский вообще скуп,— затронутый ими круг проблем его волнует и вдохновляет. Тут, впрочем, скорее всего сказывается собственная «ангажированность» нашего критика, его давняя зацикленность на проклятых вопросах современного социального и экономического бытия, нежели прямая увлеченность театральной эстетикой строек, заводских совещаний, обкомовских и хозяйственных летучек. Прочитав когда-то, по-моему, единственную статью Л. Аннинского, написанную непосредственно по житейскому поводу, я, помнится, подумал, какой общественный публицист, полемист и логик дремлет в этом писателе, словно бы осужденном воспринимать действительность по ее отражениям в зеркале чужих произведений. Теперь думаю — ничего, в качестве критика, в частности критика театрального, Л. Аннинский постигает такие тонкости нашего общественного устройства, догадывается о таких сложностях политического механизма, что, право же, не уступает иным знатокам экономической и производственной специфики.

У этого критика есть одно подкупающее свойство: отсутствие снобизма. О спектакле любительской, подвальной, дворовой студии он пишет с тою же энергией и широтой ассоциаций, как и об этапной постановке знаменитого режиссера в прославленном театре. Если вспомнить о том, что внимание критики, как правило, занято одними и теми же именами, кажется особенно привлекательным, когда известный критик без малейшей скидки на возраст и безвестность студийцев не просто разбирает их представления, но еще и осмысляет их им самим не вполне внятное творческое кредо. Демократично! Обаятельно! Да и справедливо, черт возьми, потому что искусство не признает чинопочитания и чистоплюйства!

И все же... даже и не знаю, как поделикатнее выразиться, в какой-то момент яркие пассажи Л. Аннинского начинают казаться неадекватными тому зрелищу, по поводу которых они возникли. Грубо говоря, постановки Спесивцева он описывает с такой экспрессией, будто в театре на Красной Пресне работал по меньшей мере Мейерхольд. Конечно, нетрудно отнести этот перебор, эту излишнюю щедрость суждений и ассоциаций на счет свойственного критику темперамента. Но, кажется, дело не только в нем, но и в сознательно лелеемом, оберегаемом нежелании, давно заявленном нежелании примыкать к определенному критическому лагерю, какою бы лестной репутацией он ни пользовался.

Некоторым из тех имен, что в последние годы были на устах и на слуху у всех театральных людей, Л. Аннинский уделяет в своей книге несколько абзацев, нетрудно уразуметь, что самого живого они в нем не задевают. Точнее, они его раздражают бесконечными ламетациями своих героев: «эмэнэсов»-перестарков, засидевшихся на ста пятидесяти рублях инженеров, бессребреников-интеллектуалов, слишком хорошо, с точки зрения критика, знающих, от чего они отказываются, от каких машин, от каких курортов, от каких дубленок и видео. К персонажам близкого ему социального слоя Л. Аннинский строг и придирчив традиционно, точно так же язвил он по поводу трифоновских интеллигентов, да и мальчикам золотой поры «Юности» от него доставалось — порой справедливо, порой не очень — по тому же самому поводу. За идеализм, за прекраснодушие, за мнимую, по его мнению, незаурядность, за благородство, не подкрепленное знанием «низких истин», за духовное, на его взгляд, иждивенчество, не подкрепленное умением делать дело.

В суете конфликтов и житейских противостояний Лев Аннинский на стороне людей действия и дела: мастеров, надежных прагматиков, крепких реалистов. На них у него вся надежда. Не оттого ли и театры он предпочитает такие, как «на Красной Пресне» и «на Юго-Западе», где меньше «чародейства» и «магии», но больше грубой и резкой «ободранной» подлинности. Ибо неспроста замечено в конце книги, что «предмет театра — не та реальность, про которую он рассказывает нам своими средствами, а та, которую он моделирует самим типом и фактом своей игры».

**Ан. Макаров**

## *Из почты «Знамени»*

# «Делай — раз!»

«Неуставные взаимоотношения» — термин армейско-канцелярского происхождения, появление которого вызвано требованиями отчетности о «чрезвычайных происшествиях», возникающих в результате конфликтов между солдатами срочной службы. Несмотря на уродливость и труднопроизносимость, термин расшифровывается просто: нарушение Устава Вооруженных Сил СССР в отношениях между военнослужащими. «Чрезвычайные происшествия», толкнувшие армейскую канцелярскую машину на словотворчество, обозначаются ею как «негативные явления» и распадаются на две группы — на «дедовщину» и «землячество».

«Дедовщина» — термин тоже канцелярский. Происходит от слова «дед» и объединяет группу ЧП, возникающих в результате конфликтов между солдатами— бойцами — разных сроков призыва. (Бойцами солдат срочной службы часто называют с иронической окраской.) Все бойцы по длительности отслуженного срока подразделяются на пять категорий. Отправные точки для разделения — приказы Министерства обороны о демобилизации и призыве в ряды ВС, которых в год выходит два: весенний — в конце марта и осенний — в конце сентября. Всего на два года срочной службы каждого бойца приходится четыре приказа (не считая приказа о его призыве).

С момента отправления с призывного пункта и до первого приказа боец называется «дух» (тут уж канцелярия ни при чем, это народное творчество, фольклор). Большую часть этого срока «духи» проводят в учебных частях и карантинах. Учебные части, «учебки», несут двойную нагрузку. Во-первых, всех призывников подгоняют под один внешний стандарт: прическа, форма, сапоги, пища, режим дня, физиологические отправления, все для всех одинаковое, любые попытки выделиться пресекаются, отклонения преследуются, прививается единая для всех манера говорить и даже стандартное выражение лица. Происходит внешняя отделка под бойца. Во-вторых, «духа» приучают к беспрекословному повиновению приказам. Универсальный, испробованный метод — противопоставление одиночки коллективу: за неповиновение одного наказываются все. Занимаются «воспитанием» как сержанты и старшины срочной службы, так и сверхсрочники. Приемы их своеобразны и имеют древние традиции. (Например, «шаг по разделениям». Сержант командует взводу: «Делай раз!» — и взвод дружно поднимает левую ногу. Сержант ходит и смотрит, кто как держит носок, и только минуты через две-три командует: «Делай два!» Закуривает, а взвод, шагнув вперед, замер; докурив, сержант командует: «Делай три!»... Ну и так далее.) «Духу» последовательно внушается, что сержант — это бог, приказ — закон, неповиновение — преступление. Не меньшее преступление — действие без приказа. Постепенно боец начинает понимать, что себе он не принадлежит, за себя и свои поступки не отвечает, а за то, чтобы он был сыт, одет, обут и здоров, отвечает начальство. У начальства это плохо получается,— «дух» теряет в среднем 10—15 процентов веса, приобретает же кровавые мозоли, болезни, увечья.

Сам о себе боец позаботиться не имеет ни возможности, ни права, ни сил. Не все выдерживают такую отделку, поэтому иногда случаются ЧП и на этом этапе. Эти ЧП попадают в графу «неуставные взаимоотношения», а поскольку отделка

призывников под бойцов происходит в полном соответствии с уставными требованиями, возникает любопытный парадокс, который, впрочем, успешно игнорируется. Из «учебки» выходит полуавтомат, способный лишь выполнять приказы.

Свой первый приказ «дух» встречает уже в боевой части, где ему предстоит служить. После этого приказа и до следующего — на полгода — «дух» превращается в «молодого».

«Молодые» в армии, по меткому солдатскому выражению, «шуршат как пчелки». Нет старшего по званию, который, увидев их без дела, тут же не нашел бы им работу. Кроме обязанностей, обусловленных родом войск и воинской специальностью, на «молодого» ложится основная масса нарядов, уборка, тяжелый физический труд, а также мелкие услуги старослужащим (постирать форму и портянки, почистить бляху, ну и просто: «принеси, подай, пошел вон!»). За выполнением работы следят тщательно, за уклонение наказывают битьем и издевательствами. Сопротивляться бесполезно: на стороне старослужащих сила, единство и поддержка начальства (невмешательством). Сильно, однако же, не бьют: если «молодой» пожалуется, ему, конечно, потом будет очень плохо, но и обидчиков накажут (не всех, одного-двух, но в назидание другим — крепко). Если уж «молодой» не понимает «по-хорошему», в ход пускается Устав. Требования Устава предъявляются неукоснительно, за нарушения их можно карать совершенно безнаказанно. Тут уже жаловаться бесполезно: для поддержания уставной дисциплины все средства хороши; Устав ВС становится инструментом «дедовщины», но даже этот парадокс успешно игнорируется.

Но вот подошло время второго приказа. После этого приказа боец еще на полгода обретает название «черпак». Он отслужил уже год, привык к пище, окреп, огрубел, он озлился, у него появились друзья по призыву, а главное, его теперь окружают новые «молодые», заступившие на его место. Теперь и ему есть куда выплеснуть накопленные за год негативные эмоции: свои обязанности он начинает перекладывать на плечи «молодых». Методы, которыми его «воспитывали», он усвоил твердо и применяет их к «молодым» в меру своих способностей и склонностей. «Черпаки» в армии — самые злые люди, они живут по принципу: «я терпел — и он потерпит», они стараются вовсю, живо помня свои мучения. Если произошла неприятность, например, «молодой» попал в госпиталь, а «черпаку» грозит трибунал, последний искренне удивляется: какие уж тут обиды, я ведь тоже прошел через это, меня вон как били в свое время — и ничего. Или того пуще: «молодой», мол, сам виноват, зачем сопротивлялся?..

Слепота такого рода воспитывается в бойцах с первого дня призыва. Открытие, что за свои поступки ты, оказывается, обязан отвечать, для таких предстает как откровение, даже как катастрофа, однако, как правило, это служит запоздалым уроком только для наказанного. Остальные же (прослушав постановления трибунала на построении) с чистой совестью продолжают в том же духе — ведь, наказывая, говорят об «отдельных нетипичных случаях»: «то — отдельный и нетипичный, а я — как все»... Логика большинства примерно такова.

Третий приказ превращает «черпака» в «деда» (отсюда и «дедовщина»). «Деду» осталось служить полгода, это уже срок обозримый. Почти все армейские обязанности с «деда» снимаются автоматически. Его дело — контроль. По работе он не общается с «молодыми»: получив задание от начальства, доводит его до «черпака», а тот уже «запрягает» «молодых». Если что не так, спросит с «черпака». Если у того возникнут проблемы с «молодыми», поможет ему. Офицеры его знают, отчитывается он только перед ними.

Став «дедом», боец обретает такую странную и непонятную вещь, как свободное время. За полтора года он прочно забыл, что это такое вообще и что с ним обычно делают. Для свободного времени (не путать с «личным временем», личное время у солдат свободным не бывает) армия, в общем, не приспособлена, поэтому «деды» слоняются без дела или занимаются чем-нибудь общественно бесполезным. Один с отвращением размахивает гирями на спортплощадке, другой превращает свой дембельский альбом в произведение искусства, оформляя его работами по дереву и по металлу, третий в поте лица трудится над парадной формой, трансформируя ее в нечто подобное скафандру. Иногда «деды» са-



дятся за книги, правда, редко,— не те условия, не то качество литературы, доступной бойцам...

Не зная, как использовать свободное время, «дед» ищет развлечений. Главное из них — воспитание «молодых». Основной принцип его педагогики — «чтоб служба медом не казалась». В этом отношении «деды» достигают значительных результатов: насчет «вкуса службы» у «молодых» очень быстро пропадают всякие сомнения. Именно эта область «неуставных взаимоотношений» порождает самые жуткие, просто фантастические по цинизму, изощренности и бессмысленной жестокости варианты насилия человека над человеком. Этот гнойник прорывается самоубийствами, психическими расстройствами, страшными увечьями. Насилие порождает насилие: «молодой» выпускает в обидчика-«деда» очередь из автомата, полученного в караульном помещении (не забудем, что люди, о которых идет речь, имеют доступ к боевому оружию), не находя иного способа прервать цепь жестокостей и издевательств.

Изнывающий от безделья и переизбытка здоровья «дед», уверенный в своей полной безнаказанности и бесконтрольности, «воспитывает» подчиненных в соответствии со своими представлениями о том, как это надо делать, своим воображением и индивидуальными склонностями. Можно утверждать без опасения ошибиться: если на «гражданке» у молодого человека были лишь зачатки жестокости, то такой «дед» может стать законченным садистом. Никакая злоба, никакая предрасположенность, однако же, не способны породить то, что порождают равнодушие, смертельная скука, безнаказанность и бесконтрольность — наличие «дедовщины» в нашей армии это доказало и доказывает очень убедительно.

«Стодневка» — термин, прочно вошедший в армейский обиход, обозначающий, что до последнего, «дембельского», приказа осталось служить сто дней. С этого момента боец превращается в «дембеля», негласную аристократию армии. Единственная забота «дембеля» — срок отправки домой. После приказа об увольнении в запас командир части обязан уволить отслуживших в трехмесячный срок. В пределах этих трех месяцев все в руках командира, после осеннего приказа он волен отпустить бойца и 30 сентября, и 31 декабря в 23.55 по московскому времени. Для рвущегося домой «дембеля» отсрочка — страшнее трибунала, поэтому живет он тихо, избегая всего того, что может привести к з а л е т у, то есть конфликтов, стычек с «молодыми». Перед отправкой домой «дембелю» поручают «дембельную работу». Выполнил — свободен. Объем работы рассчитан на неделю, выполняется она, как правило, за сутки. При этом энергия, изобретательность и работоспособность «дембеля» достигают невиданных высот и масштабов. (Недаром в армии шутят: объяви всему составу Вооруженных Сил увольнение в запас, а в качестве «дембельского задания» поручи перенести Большой Кавказский хребет в Подмосковье — перенесут за ночь...)

Схема, изложенная выше, в той или иной мере присуща, на мой взгляд, многим формированиям нашей армии. Существуют, конечно, различия по родам войск (например, между десантом и стройбатом), по воинским специальностям (шофера — писари), но, в общем, схема эта универсальна и за десятилетия не претерпела никаких изменений.

Принято считать, что «дедовщина» началась тогда, когда сократили срок срочной службы с трех до двух лет. Это вполне возможно, но, на мой взгляд, несущественно; переход мог быть просто поводом, а причины намного глубже.

Чтобы разобраться, зададимся вопросом: чем занимается Советская Армия в мирное время? Отбросив формулы докладов Политуправления («всемерное укрепление и поднятие боевого духа», «повышение обороноспособности страны», «интенсивная боевая и политическая учеба личного состава» и т. д., и т. п.) и отставив в сторону такие всенародные бедствия, как Карабах, Ленинакан и Спитак, резюмируем: армия судорожно ищет применения той огромной потенциальной энергии, которая оказывается вырванной из сферы народного хозяйства. Армия элементарно не справляется с собственной численностью. Не говоря уже о ее кадровом составе, который количественно сравним с населением небольшого европейского государства, армия пропускает через свое горнило практически все

мужское население СССР, причем как раз того возраста, в котором человек встает на путь профессиональной деятельности. Израсходовать с пользой эту энергию очень непросто. Кадровый состав, впрочем, по-своему справился с задачей: по мере роста отчетности и усложнения контроля за ней офицеры принимают облик чиновников, перенимают их приемы. Армия вольно или невольно превращает свою кадровую иерархическую структуру в бюрократический аппарат; аппарат же, как известно, имеет замечательное свойство обеспечивать сам себя и кадрами, и должностями.

С бойцами же намного сложнее. Разумеется, Устав замечательно приспособлен — и об этом надо говорить со всей открытостью — для бессмысленного расходования времени и сил бойцов, а повсеместно используемый тяжелый физический труд помогает выполнять поставленную задачу. Но всего этого, как показывает жизнь, недостаточно, и работников в армии больше, чем работы. Порой бывает так: группе в десять человек дают работу, с которой быстро и качественно справились бы трое, причем ни в скорейшем завершении работы, ни в ее качестве исполнители не заинтересованы, ибо знают по опыту, что, заверши они одно задание, сразу найдется другое, столь же бессмысленное. Стимулы к работе, как это ни грустно сознавать, только отрицательные: сделаешь к сроку — не накажут. Положительных стимулов так мало, что они становятся фактором случайным либо зависящим от личных отношений с начальством. Возникает ситуация парадоксальная: ни один из десяти не испытывает желания трудиться на предстоящем поприще, а порученное выполнить все-таки надо — приказ! Из этих десяти наверняка кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то хитрее, кто-то глупее. Если, скажем, в этой группе подбираются трое слабых и семеро сильных, то сильным ничего не стоит заставить работать слабых, а самим следить, чтобы те работали как следует,— «контролировать». Положение ненормальное, но как раз такой оборот дела абсолютно устраивает начальство: все десять заняты работой, рассчитанной на троих, изначальная цель — занять солдат — достигнута...

В этой модели преимущества старослужащего перед только что призванными очевидны; старослужащий, во-первых, элементарно взрослее: в возрасте 18—20 лет два года разницы — срок немалый. Во-вторых, армия — это та среда, которая на первых порах духовно и физически угнетает молодого человека, вырванного из привычных с детства домашних условий. Конечно же, за годы службы боец привыкает и к новому образу жизни, и к питанию, и к армейским отношениям, ощущая себя все увереннее и увереннее в привычной среде. В-третьих, у старослужащего есть друзья, проверенные временем (два года — срок!), с которыми он жил и работал бок о бок. «Молодой» же — одинок, с однопризывниками его связывает только то, что им всем одинаково плохо. Плюс все, о чем я говорил выше. Естественно, в таких условиях возникает расслоение на неравные группы.

Что делает «дедовщину» необычайно живучей? На мой взгляд, это, назовем ее так, «формальная справедливость». Подразумевается здесь вот что: любой «дух», независимо от его личных качеств, поведения, отношений с друзьями и с начальством, обязательно станет «дембелем», и ничто не в силах этому помешать, а раз так, у него всегда есть про «запас» утешение: сейчас плохо, и с этим ничего не поделаешь, но надо терпеть, потому что чем дальше, тем будет легче. «Формальная справедливость» ставит всех в одинаковые условия, она придает «дедовщине» черты объективного закона.

Из армейской отчетности, а в последнее время и из газет, можно сделать вывод, что в армии ведется усиленная борьба с «дедовщиной». По сути, борьба с «дедовщиной» сводится к разбирательствам и судебным процессам над «отдельными нетипичными случаями», к зачитыванию решений суда на построениях «личного состава», о чем я уже сказал. И это понятно: в системе «отрицательных стимулов» бороться со злом можно только такими способами, хотя борьба эта идет уже после того, как преследуемое зло свершилось и результат, так сказать, налицо.

Но, допустим, что в нашей армии «дедовщина» побеждена сама по себе. Задам вопрос, который может показаться, что называется, из ряда вон: на пользу ли это армии в ее нынешнем состоянии? Вопрос, согласитесь, странный, как покажется странной и моя аналогия: допустим, кто-то объявит, что наличие у человека мочевого пузыря — это страшная болезнь и, чтобы его спасти, надо немедленно приступать к лечению оперативным путем. От такого «лечения» человек умрет, армия же без «дедовщины» станет разваливаться. Парадокс? Я бы не спешил с выводами, зная, что едва ли не каждый молодой офицер, столкнувшийся с необходимостью подчинить себе бойцов, неминуемо приходит к необходимости пользоваться рычагами «дедовщины», закрывая глаза на ее сущность,— иного способа командовать пока нет. Вмешаться в ход работы этого отлаженного десятилетиями механизма офицер бессилен.



Кроме того, офицера от солдат отделяет, во-первых, колоссальная разница в материальном положении и условиях жизни, а во-вторых, при нехватке офицерских кадров, многочисленности подчиненных он, хочет того или нет, в «бойцах» будет видеть прежде всего инструмент для выполнения «поставленных задач». Пока сохраняются эти два условия, «индивидуальный подход», который в директивах считается основным методом борьбы с «дедовщиной», невозможен в отношениях офицеров с солдатами.

По той же причине не дает никакого результата и борьба с другим крылом армейских «неуставных отношений», которое носит название «землячество». Борьба с «дедовщиной» и «землячеством» — это борьба со следствиями, и сводится она зачастую к оказанию медицинской помощи пострадавшим, вынесению взысканий офицерам, которые ответственны за солдат.

«Землячество» — зло не менее страшное, чем «дедовщина». Слово это объединяет группу уроженцев одной местности — земляков. Оторванные от дома солдаты скучают по родным местам, выискивая любые упоминания знакомых названий в прессе, по радио и телевизору, радуясь им почти так же, как и письмам из дома. Уроженцы одного города испытывают друг к другу почти родственные чувства. Старослужащие ищут в новых призывах прежде всего земляков и, найдя, берут под свое покровительство, всячески приближая к себе, помогая освоиться с обстановкой. В условиях «дедовщины» такое покровительство значительно облегчает жизнь молодого бойца. Старослужащие относятся к нему снисходительнее, и одиночество он не столь остро чувствует. Он уже не один, у него есть друг — земляк, и для того, чтобы возникла дружба, достаточно знать, что оба они из одного города или района. В такой интерпретации «землячество» выглядит не только безобидным, но и полезным явлением, частичной альтернативой «дедовщине».

Однако же этой простой схемой «землячество» не исчерпывается. Стремясь собрать вокруг себя земляков, «дед» или «дембель», если он занимает ключевую должность в какой-либо ячейке армейской хозяйственной структуры, перетаскивает в нее молодых. Те тянутся к нему по принципу: лучше терпеть от «своего», чем от чужого. «Молодые», «состарившись», в свою очередь, вытесняют из той или иной структуры уроженцев других местностей, заполняя ячейку уже своими земляками. Теперь уже их связывает общая кормушка (из любой армейской должности можно извлечь свои выгоды), и к этой кормушке они уже не подпустят «чужаков» или сделают все, чтобы не подпустить. В этом смысле «землячество» из оборонительного союза превращается в наступательный: когда один, исполняя порученное дело, извлекает какие-то выгоды, другой неизбежно что-то теряет. Возникает необходимость защитить свои незаконные прибытки от законных посягательств другого, а лучшая защита, как это быстро становится ясным,— нападение. На этом этапе «землячества» в армии называют уже «мафиями». Это название (еще, к сожалению, не проникшее в отчетно-канцелярский лексикон) имеет полное право на существование и гораздо лучше отражает суть явления, чем любой другой термин. Тут уж «землячества» имеют достаточную четкость национальной окраски. Если русский солдат считает земляком уроженца его родного города или ближнего села, то, скажем, для казаха из Алма-Аты земляком в армейском понимании и приложении этого слова может быть казах из любого другого города республики. В армии, где за основу общения взят русский язык, бойцы, плохо его знающие (а это, как известно, не редкость), угнетают-

ся по сравнению, скажем, с русскими вдвое сильнее. Отсюда и такая их тяга друг к другу.

И вот возникает ситуация, когда, например, в солдатской столовой какой-либо воинской части власть берут в свои руки узбеки. Солдат-узбек может быть уверен, что уйдет оттуда сытым, солдат же любой другой национальности может и вообще не получить свою «пайку». Вздумай он возмущаться — встанут грудью все солдаты, служащие в столовой. Если же обиженный пожалуется начальству, вечером с ним «поговорят» с глазу на глаз на узкой дорожке. Но если, допустим, солдат принадлежит другой «мафии», то тут есть варианты соглашений. Возможны отношения мирные: скажем, тот, кто работает на вещевом складе, будет ходить сытым, а столовские будут щеголять в новеньком, с иголочки, обмундировании. Другие же варианты приводят к настоящим войнам между «мафиями»...

Мы привыкли считать, что армия — школа жизни. Через эту школу проходят, как упоминалось, почти все мужчины Советского Союза. Чему тут обучаются, с чем выходят ее «выпускники» в обычную «штатскую» жизнь? Ту, которая за два года становится для них незнакомой, недосягаемой, желанной и вместе с тем пугающей «гражданкой»? Два года за них решали все проблемы: где спать, во что одеться, что есть; каждый день их существования был расписан по минутам. Два года их отучали думать и приучали выполнять приказы, отучали работать и приучали выполнять задания, выбивали из них индивидуальность и вбивали их в строй. «Дедовщина» приучала их быть как все и не давать себя затоптать себе подобным. Они твердо усвоили, что «инициатива наказуема», что «работа дураков любит», что сильный имеет право жить за счет слабого, и в этих вопросах они научились быть «сильными».

Но куда применить все эти навыки на «гражданке»? Многие ведь до армии не работали, жили в подростковом мире и, кроме полузабытых школьных знаний, а также вновь приобретенного армейского жизненного опыта, у них ничего нет за душой. Надо ли после этого удивляться, что и бывшие отличники «боевой и политической» совершают на «гражданке» преступления? Они лишь последовательно использовали знания, преподанные им за два года.

Где же выход?

«Неуставные взаимоотношения» предстают, на мой взгляд, не временным заболеванием неизвестного происхождения, которое по недоразумению охватило всю армию, а выражают сущность современной службы. Необходимо менять саму организацию армии, надо заставить ее работать с пользой для дела. Для этого как минимум требуется определить, чем должна заниматься армия в мирное время. Несомненно, основная задача ее — поддерживать обороноспособность страны на современном уровне. Однако к этому нельзя подходить так, как подходим мы, считая, что чем армия больше, тем она сильнее. Этот средневековый по своей наивности принцип, увы, воплощен абсолютно в нынешней нашей армии. Между тем в странах развитых количество в полном соответствии с диалектикой давно уже перешло в качество. Армии стали небольшими, немногочисленными, зато они профессионально владеют искусством ведения современного боя, а оснащаются по последнему слову техники.

Так ли это у нас? О технике, о вооруженности говорить не будем, с техникой у нас вроде бы проблем нет. Поговорим о другом, о профессиональности.

Меньше всего я хочу бросить тень на нашу армию, и если кое-какие мои выводы звучат достаточно резко, то это только потому, что за армию у меня, как и у многих солдат и офицеров, болит душа. Мы много и долго говорили о том, что армия дает молодым людям профессию. Всегда ли это так? Конечно, нынешняя боевая техника, оснащенная суперсовременными системами, не могла бы функционировать в руках людей неподготовленных, неумелых, но разве все служат в ракетных войсках, в военно-воздушных силах или на флоте? Знаю немало ребят, отслуживших срочную службу, которые ни разу не выстрелили из боевого оружия, в глаза не видели боевой техники. Если кто-то и владел специальностью до службы, имел, например, водительские права, то он и в армии станет работать водителем. Для тех же, кто не имел специальности, работа нашлась без особого обучения чему бы то ни было, но это та работа, которая не имеет ничего общего с изучением военного дела настоящим образом.



Стоит в этой связи упомянуть о призывах студентов на срочную службу из высших учебных заведений. Похоже, с этой порочной практикой мы расстаемся. Прекращена будет и мобилизация в Вооруженные Силы молодых специалистов, получивших воинские звания на кафедрах военной подготовки в некоторых институтах и университетах. Все так, но десятки тысяч студентов и молодых специалистов, призванных ранее, по-прежнему, таким образом, приобщены к «школе жизни», многие еще дослуживают. Что же получилось? Государство, потратив немалые средства, чтобы дать народному хозяйству высококвалифицированных специалистов, само и отодвинуло использование их на неопределенные сроки как минимум на два года. При этом существенно снижено качество их профподготовки, ведь перерывы в учебе и «антракты» после губительны.

Рецептов реорганизации армии много. Один из них — сделать нашу армию профессиональной — безусловно, заслуживает рассмотрения. Профессионализм — это прежде всего высокое качество подготовки специалиста к делу, которое ему надлежит выполнять. Сейчас же в нашей армии профессионалами не выглядят даже многие офицеры. Может быть, секрет в том, что материальное положение офицера зачастую и не зависит от его профессиональных качеств или умений, а определяется совсем другими обстоятельствами его службы, например, поведением и умением ладить с вышестоящим начальством. О солдатах же и говорить не приходится.

Думается, необходимо создать — не реорганизовать, а именно с о з д а т ь — армию, которая была бы материально ответственна за свою работу. Как и в нормальном трудовом коллективе, каждый военнослужащий должен быть уверен: чем лучше я работаю, то есть чем полнее овладею воинской профессией, тем лучше я буду жить. Необходимо сломать, ликвидировать барьеры, определяющие различие в положении солдат, сержантов и офицеров. Конечно же, не за счет ухудшения жизни офицерского корпуса (куда уж хуже!), а прежде всего подняв уровень жизни солдат.

Если же все-таки ставить перед собой цель обучать военному делу всех и каждого, следует сократить — вдвое, не меньше! — сроки действительной службы солдата. Но чтобы, скажем, за год службы его действительно чему-то полезному н а у ч и л и, применив уже известные, а также новые приемы истинной педагогики, а не «гоняли», ставя цель выбить «гражданскую дурь». По истечении года службы пусть у него будет свобода выбора: уйти ли в запас на «гражданку» или, оставшись в армии для профессиональной службы, добровольно подчиниться самым жестким требованиям, зная при этом, что в перспективе — выгодные, нормальные условия жизни его и его семьи.

А. Ш у с т о в,
лейтенант.

# Советуем прочитать

**Воспоминания об Анатолии Аграновском. М., Советский писатель, 1988.**

Обаятельный образ потомственного интеллигента, скромного, деликатного, доброжелательного к людям, талантливого во всем,— будь то участие в шутливом «Ансамбле верстки и правки имени первопечатника Ивана Федорова», рисование или музицирование. Таким встает со страниц этой книги Анатолий Аграновский.

Он был журналистом номер один шестидесятых, по его публикациям принимали решения ведомства, главки, министерства, самые высокие инстанции. На его счету свыше 20 книг, несколько киносценариев, единственный из современных очеркистов он имеет «Избранное».

Преемник Михаила Кольцова, продолжатель дела своего отца, представителя первого поколения советской журналистики, человек активной жизненной и гражданской позиции, главными чертами которого были правдивость и беззаветное служение делу, профессионал в лучшем смысле этого слова.

«Корень публицистики,— писал А. Аграновский,— убежденность автора. Идейная убежденность. Лучшие выступления рождаются, когда журналист мог бы воскликнуть: «Не могу молчать!». Худшие — когда: «Могу молчать».

Его главные темы — нравственность и экономика, а герои — люди думающие. Лучшие его очерки не потеряли своей актуальности и сегодня.

Среди авторов воспоминаний герои его очерков С. Н. Федоров и Е. А. Капица, летчик-испытатель М. Галлай, коллеги-журналисты, многолетние друзья З. Паперный, К. Ваншенкин, А. Борщаговский, художник Виктор Цигаль, чей портрет А. Аграновского помещен в книге.

Подготовлен сборник женой и другом писателя Галиной Федоровной Аграновской.

**Отто Лацис. Выйти из квадрата. Заметки экономиста. М., Политиздат, 1989.**

> Говорим об Америке, Японии, Китае... И все ждем рецепта «экономического чуда» для себя. Чудес не бывает.

В этом убеждаешься, читая книгу известного советского публициста и ученого Отто Лациса «Выйти из квадрата».

Работа воскрешает экономические концепции, которые возникли в годы становления Советской власти. Показывает беды современной экономики на фоне замыслов ее создателей. Ставит вопросы.

...1918 год. Голод, разрушения, нехватка всего, что нужно для жизни. А Советская власть берется за орошение Голодной степи. Строители разрабатывают проект магистрального канала с бетонированным ложем, чтобы не допустить фильтрацию воды. Это в те беднейшие годы!

...Ближе к нашим дням. Каракумский канал, вода которого до сих пор уходит в песок. Нарушился гидрогеологический режим, омертвели в солончаках огромные территории. Убийственный парадокс миллионных затрат: вода, приносящая опустынивание. А ведь современные ресурсы, средства позволяли нам проявить большую по сравнению с тем временем степень заботы о сохранении природы. Стоило только не пороть горячку, не ориентироваться на гигантоманию.

Как получилось, что административные методы стали душить все живое в экономической жизни? Какие гарантии нужны для необратимости перестроечных процессов?

Шаг за шагом вместе с автором мы приближаемся к знанию, и «...как бы ни было трудно порой расставаться с иными окаменевшими представлениями и привычками, происходящие в стране перемены не означают ни малейшего отхода от подлинных, научных принципов социализма. Они на деле означают больше социализма».

**Александр Медведев. Книга признаний. Лирика. М., Современник, 1988.**

Возможно ли, не утрачивая лирической непосредственности, серьезно и сердечно говорить в поэзии о вещах, предельно «намагниченных» политикой? Как, скажем, вот в этом стихотворении:

> Кто виноват? — Куда-то в небо тычем,
> на виноватых — судей снова кличем.
> И вот — в косяк,
> в этапный клин сгоняет стража их,
> и — в дальний край, что безд не
> пограничен.
> Так чья вина? — И делается всяк
> косноязычен, словно этот стих.

Говорить так, чтобы очередная смена общественных приоритетов, новый уровень гражданской осведомленности не отменяли бы опять и опять целые периоды истории литературы. Стихи «Несбывшееся», «Из темных вод», «Баллада о Казанском вокзале», «Буксы горят» и другие свидетельствуют о том, что автор глубоко озабочен этой проблемой.

Любопытен цикл, давший название всему сборнику,— это как бы книга в книге, это не подборка стихов, сведенных вместе лишь по признаку лирического жанра, а повесть о любви, имеющая сквозной сюжет.

> Не нам заполнить наши дневники
> дано, любовь и жизнь перевирая!
> Но смуглость горькую ее руки
> запомнишь сердцем. Вспомнишь, умирая.
>
> («Почти еще дитя...»)



**М. Холмогоров. Напрасный дар. М., Московский рабочий, 1989.**

Герои книги — московские интеллигенты, воспитанные на рухнувших идеалах юности. По существу, это уже не одно, а два поколения: старшие, взращенные хрущевской «оттепелью», но тут же остановленные быстрыми «заморозками», и те, чья сознательная жизнь целиком уложилась в рамки брежневского безвременья. Неужто жизнь этих поколений и впрямь «дар напрасный, дар случайный...»? Они обрекли себя на существование в замкнутом пространстве малогабаритных кухонь, умные разговоры — и полную невозможность проявить себя в реальной жизни.

Главная мысль, волнующая автора, и в предыдущей книге «Ждите гостя», и в повестях, составивших сборник,— как же сохранить веру, сохранить способность задавать себе честные вопросы и честно отвечать на них.

Не всем героям это удается. В итоговой повести «Сослагательное наклонение» (где действуют и персонажи двух предыдущих) окружающая действительность ощутимо меняется: начинается перестройка общественной жизни. Перед героями, изрядно подрастерявшими силы в неравной борьбе, отягощенными многочисленными компромиссами, встают новые, не менее сложные проблемы. Смогут ли они преобразовать сослагательное наклонение своих поступков, перевести его в изъявительное?.. Найдут ли для этого силы? Откуда почерпнут их?..

**Осип Мандельштам. Государство и ритм. Пшеница человеческая. Гуманизм и современность. Философские науки, № 12, 1988.**

Вновь пришли к читателю философские очерки поэта, публиковавшиеся в ставших ныне редкостью изданиях 20-х годов. Он смутно ощущал трагизм наступившего времени: «Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством». Глубоко современна мысль Мандельштама о необходимости нравственного начала в социальной сфере, экономике. Очерки полны предчувствия опасности, грозящей обществу: «...Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон»,— в них протест против того, что людей зачастую рассматривают как «простую пшеницу для помола», как сырой материал для деятельности новоявленных мессий, против того, что «ценности гуманизма ныне стали редки».

Любопытен взгляд поэта на революционные потрясения в России, хотя, к сожалению, здесь, увы, он оказался не во всем прав, сам пал жертвой сталинского террора, сгинул в лагере в конце 30-х годов.

**А. Липков. Герман, сын Германа. М., Союз кинематографистов СССР, Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр», 1988.**

Герой этой книги — одна их тех фигур в советском кино, которые сегодня привлекают к себе всеобщее внимание. Более чем за двадцать лет режиссерской судьбы ему удалось снять всего лишь три с половиной фильма: пятнадцать лет пролежала на полке лента «Проверка на дорогах», глухо замалчивались «Двадцать дней без войны», мучительный путь к экрану был у «Моего друга Ивана Лапшина» (его закрывали, списывали в убыток) — и все же, несмотря ни на что, пришло время их воскрешения из небытия. Эти горькие вехи, по нынешним меркам,— самые почетные знаки отличия.

Рассказанное в книге А. Липкова обращено не столько в прошлое, сколько в настоящее и будущее. История дописала и дописывает свой комментарий к книге. Сегодня, скажем, выглядит забавным эпизод (в те времена он воспринимался иначе), когда А. Герман осаживал редактора из Госкино, требовавшего от режиссера поправок к картине «Проверка на дорогах»: «Вот фильму дадут Госпремию: как вы будете тогда выглядеть?» Премию дали. Интересно, как выглядит теперь тот редактор? Да и другие?

Название книги точно отвечает и ее содержанию, и характеру героя: Алексей Герман предстает в ней как продолжатель (не подражатель) творческой линии своего отца, писателя Юрия Германа. Дело, которому они оба своим искусством служили и служат,— правда.

**Василий Аксенов. «Я, по сути дела, не эмигрант...» Беседу вела Анна Пугач. Юность, № 4, 1989.**

Это интервью— первая публикация известного писателя в нашей печати за последнее десятилетие. После того как в 1979 году за участие в организации литературного альманаха «Метрополь» он подвергся проработкам и гонениям, Василий Аксенов вынужден был покинуть Родину. С жизнью на чужбине писатель уже свыкся: «Я отношусь к этой стране, как к дому, не как к Родине, вы это поймите, а как к дому. Мне здесь дали приют, не ощущение покоя, но ощущение дома». Но, с другой стороны, признается Аксенов, «то, что осталось в Союзе, мне дорого, это моя жизнь. С одной стороны, в страшном сне не приснится то, что со мной было, а с другой... В эти годы было не только плохое, было много замечательного — любовь, вдохновение... 60-е годы, начало молодежной субкультуры, именно тогда это начиналось».

В этом году «Юность» обещает познакомить своих читателей с повестью Аксенова «Золотая наша железка», отданной автором в журнал в 1973 году, но до сих пор не увидевшей света.

**Олег Клинг. Невыдуманный пейзаж. Короткий роман. Дружба народов, № 2, 1989.**

Судьбе немцев в СССР посвящены увидевшие свет в минувшем году статьи в «Дружбе народов» (№ 9) и «Знамени» (№ 11).

«Невыдуманный пейзаж» — дебют молодого прозаика с этой темой в литературе. В центре романа жизнь Саши Данка и его семьи, занесенных судьбой «вечных беглецов» в степной город Сасыккольск. И хотя роман можно прочесть и как историю становления поколения, родившегося в год смерти Сталина, автор-повествователь, как и его герои, далек от стремления замкнуться в сознании собственной национальной или социальной исключительности. Мария Данк, мать Саши, немка, но она уже не знает немецкого языка; старуху Данк отпевают после смерти сначала православные подруги, потом лютеранки; сам Саша, немец по матери, но с русской кровью; уезжает от своего степного народа в Россию Гульнара и через долгую дорогу жизни постигает судьбу своей земли...

Становится полноправным действующим лицом короткого романа и город Сасыккольск, построенный заключенными и заселенный ссыльными из разных концов страны. Каждому герою по-разному открывается смысл городского пейзажа, прочитываемого как своеобразный «код жизни». Судьба рано умершей Марии Данк оказывается незримо связанной с медленным умиранием города. Иссякает месторождение, когда-то давшее этому городу жизнь. Отступает от берегов море, медленно уничтожаемое по прихоти «отцов республики». Незримо, но неуклонно уходят надежды на лучшее будущее, которое должно вот-вот наступить...

Что же противостоит агонии и смерти в повествовании молодого прозаика? Прежде всего работа духа, интеллект и творчество, внутреннее сопротивление человека всему застывшему, мертвому.

**Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга первая. Составление и общая редакция Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., Художественная литература, 1988.**

Выпуск данной серии посвящен XVII веку. Сюда вошли «Повесть о Флоре Скобееве», «Повесть об осаде Соловецкого монастыря», «Повесть о Брунцвике», «Сказание о зачатии Москвы и Крутицкой епископии», «Сказание о киевских богатырях», «Сказание о царе Василии Константиновиче», песни П. А. Самарина-Квашнина, песни в записи С. И. Пазухина и др. Широко представлена эпистолярная проза выдающегося русского писателя Аввакума Петрова (протопопа Аввакума). По словам автора предисловия академика Д. С. Лихачева, XVII век явился мостом между древним и новым периодом русской литературы. «Значение этого века,— пишет он,— в истории русской культуры приближается к значению эпохи Возрождения в истории культуры Западной Европы».

**П. А. Плетнев. Статьи. Стихотворения. Письма. Составление, вступительная статья и примечания А. А. Шелаевой. М., Советская Россия, 1988.**

«Вообще мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи,— он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен, как мертвец». Не этому ли суровому приговору, изреченному некогда Пушкиным, обязаны мы тем, что более ста лет не выходили книги Петра Александровича Плетнева (последнее — и единственное — издание его сочинений было осуществлено Я. Гротом в 1885 году)? И не только стихи. Статьи, рецензии, эпистолярное наследие — почти все предано забвению, столь же долгому, сколь и незаслуженному.

Но поэт, критик, педагог, Плетнев для нас прежде всего друг и сподвижник А. С. Пушкина. «Современник» — так назывался и журнал, издававшийся Пушкиным при самом деятельном участии Плетнева. После гибели поэта Петр Александрович счел долгом продолжить издание самостоятельно, стараясь ничего не менять в эстетической программе журнала. И хоть удавалось это не всегда, на страницах его русская публика впервые прочла неизданные произведения Пушкина, стихи Тютчева, Языкова, Вяземского, Баратынского, Плещеева, Тургенева, Ершова, Кольцова... Увидели здесь свет и статьи Плетнева — о Пушкине, Гоголе, Баратынском.

**М. К. Азадовский. Сибирские страницы. Статьи, рецензии, письма. Сост., автор предисл. Н. Н. Яновский. Иркутск, Вост. Сиб. кн. изд-во, 1988.**

К столетию со дня рождения известного советского фольклориста, литературоведа, исследователя духовных ценностей Сибири М. К. Азадовского вышел сборник избранных работ. Появление его знаменует собой восстановление справедливости не только по отношению к самому Азадовскому, но и к другим ленинградским филологам, ставшим в 1948—1949 гг. жертвами печально известной кампании борьбы с космополитизмом. Объектами травли и несправедливой критики вместе с М. К. Азадовским в те времена стали профессора Ленинградского университета В. М. Жирмунский, Г. А. Гуковский, Б. М. Эйхенбаум.

Книга содержит давно не переиздававшиеся, неизвестные доселе статьи, очерки, посвященные культуре и народоведению Сибири. Среди них труд «Сибирская беллетристика тридцатых годов», в течение длительного периода бывший достоянием узкого круга специалистов. Новое историческое звучание обретает ныне и подборка «Из блокадных писем...», рисующая жизнь ленинградской семьи, жизнь ученого, не переставшего и в осажденном городе служить науке.

# В конце 1989 и в 1990 гг. в журнале «Знамя» будут среди других произведений опубликованы:

## Романы, повести, рассказы

А. АЗОЛЬСКОГО, А. АНФИНОГЕНОВА, А. БИТОВА, В. БОГОМОЛОВА, Д. ВИТКОВСКОГО, И. ДРУЦЭ, О. ЕРМАКОВА, С. ЕСИНА, Ф. ИСКАНДЕРА, В. КОНДРАТЬЕВА, Ю. КУРАНОВА, А. КУРЧАТКИНА, Б. МОЖАЕВА, В. МАКАНИНА, Г. МАТЕВОСЯНА, Б. ОКУДЖАВЫ, А. ПРИСТАВКИНА, М. РОЩИНА, В. ФОМЕНКО, Н. ШМЕЛЕВА, М. ШАТРОВА

## Стихи

Б. АХМАДУЛИНОЙ, Т. БЕК, И. БРОДСКОГО, А. ВОЗНЕСЕНСКОГО, Е. ЕВТУШЕНКО, А. ЖИГУЛИНА, Б. КЕНЖЕЕВА, В. КОРНИЛОВА, М. КУДИМОВОЙ, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, Ю. ЛЕВИТАНСКОГО, И. ЛИСНЯНСКОЙ, М. МАТУСОВСКОГО, А. МЕЖИРОВА, Б. ОЛЕЙНИКА, О. ПОСТНИКОВОЙ, Д. САМОЙЛОВА, Т. СМЕРТИНОЙ, А. ЦВЕТКОВА, О. ЧУХОНЦЕВА, И. ШКЛЯРЕВСКОГО

## Из литературного наследия

Г. АДАМОВИЧ. **Комментарии** (О литературе, о современниках и о себе)
Р. ГУЛЬ. **Азеф.** Роман
Г. БЁЛЛЬ. **Рассказы, эссе**
Б. ЗАЙЦЕВ. **Литературные портреты**
Г. КУЗНЕЦОВА. **Грасский дневник**
В. ТЕНДРЯКОВ. **Рассказы**

## Документальная проза. Дневники. Воспоминания

Б. ВИКТОРОВ. **Записки военного прокурора**
Виктория ГАМАРНИК. **Об отце**
В. КАРПОВ. **Маршал Жуков**
Е. КЕРСНОВСКАЯ. **Скальная живопись**
В. ЛАКШИН. **«Новый мир» во времена Хрущева**
Р. МЕДВЕДЕВ. **Брежнев**
А. ТВАРДОВСКИЙ. **Из рабочих тетрадей (1953—1960)**
В. УБОРЕВИЧ. **Письма к Е. С. Булгаковой**
Н. С. ХРУЩЕВ. **Мемуары**
Д. ШЕПИЛОВ. **На трудном пути.** Воспоминания
М. ШРЕЙДЕР. **Записки чекиста-оперативника**

## Публицистика

И. АРШАВСКИЙ. **Наука и нравственность** (Судьба академика А. А. Ухтомского)
П. ВОЙЦЕХОВСКИЙ. **Размышления на Валааме**
Я. ГОЛОВАНОВ. **Катастрофа** (из жизни С. П. Королева)

Критика



---

**К сведению уважаемых авторов:**

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.



Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-48.

Технический редактор Л. С. Алексеева

Сдано в набор 09.06.89. Подписано к печати 04.07.89. А 04234. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 980 000 экз. (1-й завод 1—629 288 экз.). Заказ № 796. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.